БОРИС ЖИТКОВ



ИЗБРАННОЕ

Борис Житков

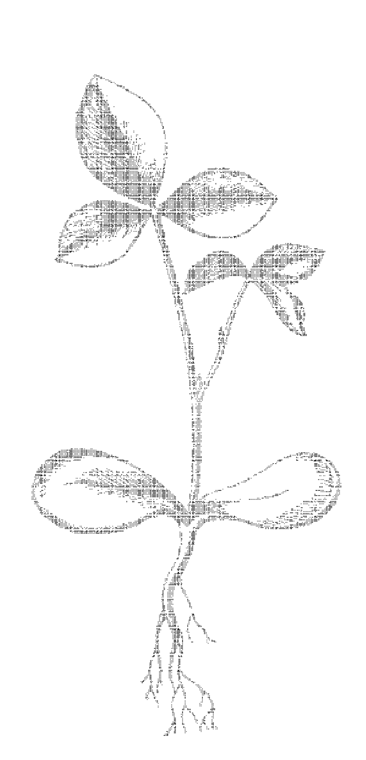
БОРИС ЖИТКОВ





БОРИС ЖИТКОВ

Избранное



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1988

84 Р 7
Ж 74

Вступительная статья
К. И. Чуковского

Иллюстрации
Б. В. Тржемецкого

Ж $\frac{4702010200-1541}{080(02)-88}$ 1541—88

БОРИС ЖИТКОВ

I

С Борисом Житковым я познакомился в детстве, то есть еще в девятнадцатом веке. Мы были однолетки, учились в одном классе одной и той же Одесской второй прогимназии, но он долго не обращал на меня никакого внимания, и это причиняло мне боль.

Я принадлежал к той ватаге мальчишек, которая бурлила на задних скамейках и называлась «камчаткой». Он же сидел далеко впереди, молчаливый, очень прямой, неподвижный, словно стеной отгороженный от всех остальных. Нам он казался надменным. Но мне нравилось в нем все, даже эта надменность. Мне нравилось, что он живет в порту, над самым морем, среди кораблей и матросов; что все его дяди — все до одного! — адмиралы; что у него есть собственная лодка (кажется, даже под парусом),— и не только лодка, но и телескоп на трех ножках, и скрипка, и чугунные шары для гимнастики, и дрессированный пес.

Обо всем этом я знал от счастливцев, которым удалось побывать у Житкова, а дрессированного (очень лохматого) пса я видел своими глазами: он часто провожал своего хозяина до ворот нашей школы, неся за ним в зубах его скрипку.

Бывало, придя спозаранку, я долго простаивал у этих ворот, чтобы только поглядеть, как Житков — с неподвижным и очень серьезным лицом — наклонится над ученой собакой, возьмет у нее свою скрипку, скажет ей (будто по секрету!) какое-то негромкое слово, и она тотчас же помчится без оглядки по Пушкинской,— очевидно, в гавань, к кораблям и матросам.

Может быть, оттого, что у меня не было ни дядей-адмиралов, ни лодки, ни телескопа, ни ученого пса, Житков казался мне самым замечательным существом на всем свете, и меня тянуло к нему, как магнитом.

Мне импонировали его важность, молчаливость и сдержанность, ибо сам я был очень вертляв и болтлив и во мне не было ни тени солидности.

Случалось, что в течение целого дня он не произносил ни единого слова, и я помню, как мучительно я завидовал тем, кого он изредка удостаивал своим разговором. Таких было немного: обрусевший итальянец Брамбилла, да Миша Кобецкий, да Илюша Мечников, племянник ученого, да еще двое-трое, не больше.

Мне совестно вспомнить, сколько я делал мальчишески неумелых попыток проникнуть в этот замкнутый круг, привлечь внимание Бориса Житкова какой-нибудь отчаянной выходкой. Но он даже не глядел в мою сторону.

Так шло дело месяца два или три, а пожалуй, и больше. Житков упорно уклонялся от всякого общения со мною. Но тут произошел один случай, неожиданно сблизивший нас. Случай был мелкий, и я позабыл бы о нем, если бы он не был связан с Житковым.

Началось с того, что наш директор, Андрей Васильевич Юнгмейстер, преподававший нам русский язык, повел как-то речь о различных устарелых словах и упомянул между прочим словечко «отнюдь», которое, по его утверждению, уже отживало свой век и в ближайшие годы должно было неминуемо сгинуть.

Я от всей души пожалел умиравшее слово и решил принять самые энергичные меры, чтобы предотвратить его смерть и влить в него, так сказать, новую жизнь: упросил всю «камчатку», около десятка товарищей, возможно чаще употреблять его в своих разговорах, тетрадках и на уроках, у классной доски. Поэтому когда Юнгмейстер спрашивал у нас, например, знаем ли мы единственное число слова «ножницы», мы хором отвечали:

— Отнюдь!

— А склоняются ли такие слова, как «пальто» или «кофе»?

— Отнюдь!

Здесь не было озорства или дерзости — просто нам хотелось по мере возможности спасти безвинно погибавшее русское слово. Но Юнгмейстер увидел здесь злокозненный заговор и, так как я кричал громче всех, вызвал меня к себе в кабинет и спросил, намерен ли я прекратить этот «бессмысленный бунт». Когда же я по инерции ответил «отнюдь», он разъярился и, угрожая мне жестокими карами, приказал остаться на два часа без обеда.

Отсидев эти два часа на подоконнике класса, я, голодный и сердитый, брел домой к себе, на Новорыбную улицу, заранее страдая от тех неприятностей, которые эта история может причинить моей матери.

Отойдя довольно далеко от гимназии, где-то в районе Базарной, я с удивлением увидел, что рядом со мною — Житков. В руке у него была скрипка.

«Задержался, должно быть, с учителем музыки»,— подумал я, бесконечно счастливый. Житков был сдержан и молчалив, как всегда, но в самом его молчании я чувствовал дружественность. Должно быть, в бестолковом эпизоде, о котором я сейчас рассказал, что-то полюбилось ему. Ни единым словом не выразил он мне одобрения, но уже то, что он шел со мной рядом, я ощутил как выражение сочувствия.

На углу Канатной он внезапно спросил:

— Грести умеешь?

— Отнюдь... То есть нет, не умею...

— А править рулем?

— Не умею.

— А гербарий собираешь?

Я даже не знал, что такое гербарий.

— А какой сейчас дует ветер? Норд? Или вест? Или ост?

Этого я тоже не знал. Я не знал ничего ни о чем. И был уверен, что едва он увидит, какой я невежда, он отвернется от меня и сейчас же уйдет. Но он только свистнул негромко и продолжал молча шагать со мной рядом.

Был он невысокого роста, узкоплечий, но, как я впоследствии мог убедиться, очень сильный, с железными мускулами. Шагал по-военному — грудью вперед. И вообще во всей его выправке было что-то военное. Он молча довел меня до Новорыбной, до самого дома, и на следующий день, в воскресенье, явился ко мне поутру с истрепанным французским астрономическим атласом и стал показывать на его черных, как сажа, страницах всевозможные созвездия, звезды, туманности и так заинтересовал ими меня и мою сестру, что мы стали с нетерпением ждать темноты, чтобы увидеть в небе те самые звезды, какие он показывал нам на бумаге, словно прежде ни разу не видели их.

С тех пор и началась моя странная дружба с Житковым, которая, я думаю, объясняется тем, что мы оба были до такой степени разные. Характер у Житкова был инициативный и деспотически властный, и так как его, третьеклассника, уже тогда буквально распирало от множества знаний, умений и сведений, которые наполняли его до краев, он, педагог по природе, жаждал учить, наставлять, объяснять, растолковывать. Именно потому, что я ничего не умел и не знал, я оказался в ту пору драгоценным объектом для приложения его педагогических талантов, тем более что я сразу же смиренно и кротко признал его неограниченное право распоряжаться моей умственной жизнью,

Он учил меня всему: гальванопластике, французскому языку (который знал превосходно), завязыванию морских узлов, распознаванию насекомых и птиц, предсказанию погоды, плаванию, ловле тарантулов... Под его ближайшим руководством я прочел две книги Тимирязева и книгу Фламмариона об устройстве Вселенной. У него же я научился отковыривать у биндюгов (то есть длинных телег, запряженных волами) при помощи молотка и стамески старые оловянные бляхи и плавить их в чугунном котелке на костре.

Моя мама, послушав наши разговоры о звездах, была с первого же дня очарована им. Другие изредка приходившие ко мне гимназисты были в ее глазах драчуны, сквернословы, хвастунишки, курильщики. Житков же, такой серьезный, внушительный, толкующий мне о небесной механике, сразу завоевал ее сердце, и вскоре у них завелись свои особые дела и разговоры. Она очень любила цветы, и Житков стал помогать ей в ее цветоводстве, пересаживал вместе с нею ее лимоны и фикусы, добывал для нее у знакомого немца-садовника тонко просеянную черную, жирную землю, которую и приносил ей на спине из Александровского парка в самодельном рюкзаке. Помню также (но, кажется, это было значительно позже), что он приносил ей какие-то выкройки и даже помогал ей кроить ситцевые блузки для моей старшей сестры по изобретенному им новому методу.

Со взрослыми он сходился охотнее, чем с детьми, может быть, оттого, что ему самому была свойственна степенная «взрослость» речей и поступков. Его взрослые приятели в огромном своем большинстве принадлежали к так называемым социальным «низам»: кочегары, переплетчики, биндюжники, отставные солдаты, фабричные и даже какой-то хромой пиротехник, изготовлявший фейерверки для «народных гуляний». В то время ни одно гуляние на Ланжероне и на Малом Фонтане не обходилось без фейерверка. Изготовляла их фирма «Курц и К°». В мастерской этой фирмы и работал хромой пиротехник. С каждым из своих взрослых приятелей у Житкова был, как сказали бы нынче, деловой контакт, для меня непонятный: одному он приносил какую-то замысловатую гайку, другому сообщал чей-то адрес, у третьего брал паклю и смолу для шпаклевания лодки, с четвертым ходил для чего-то в ломбард.

Все они относились к нему уважительно и звали его, тринадцатилетнего, Борисом Степанычем; каждого он посещал ненадолго, с каждым разговаривал малословно, деловито и веско глухим, еле слышным голосом.

Вообще он был скуп на слова. У него было великолепное умение молчать. Среди малознакомых людей он садился обычно в стороне, на отлете, и даже как-то демонстративно молчал, всматриваясь во всех окружающих спокойными, слегка прищуренными глазами.

II

Никогда не забуду, как ранней весной он стал учить меня гребле — не в порту, а на Ланжероне, близ пустынного берега, взяв для этого шаланду у знакомого грека. Весла были занозистые, тяжелые, длинные, шаланда неуклюжая и в то же время предательски верткая. Руки у меня закоченели от лютого ветра (я уже знал, что этот ветер называется «норд»), боковые волны с каждой минутой становились все злее, но я испытывал жгучий восторг оттого, что на корме сидит Житков и отрывисто командует мне:

— Левое табань, правое загребай! Закидывай подальше. Нет, еще дальше... Вот так! И сразу же дергай, сразу, понимаешь ли, сразу,— вот так! Раз-два! Раз-два!

Требовательность его не имела границ. Когда у меня срывалось весло, он смотрел на меня с такой безмерной гадливостью, что я чувствовал себя негодяем. Он требовал бесперебойной, квалифицированной, отчетливой гребли, я же в первое время так сумбурно и немощно орудовал тяжелыми веслами, что он то и дело с возмущением кричал:

— Перед берегом стыдно!

И хотя на берегу в такой холод не было ни одного человека, мне казалось, что все побережье, от гавани до Малого Фонтана, усеяно сотнями зрителей, которые затем и пришли, чтобы поиздеваться над моей неумелостью.

Лишь благодаря педагогическому таланту Житкова, его неотступной настойчивости я уже через месяц стал более или менее сносным гребцом, и он счел возможным взять меня к себе, в «свою» гавань, и совершить со мною торжественный рейс в новом, щеголеватом, свежелакированном боте — от маяка и обратно. Сам он греб артистически, как профессиональный моряк, забрасывая весла далеко назад и подчиняя каждое свое движение строжайшему ритму. Бот был чужой, но его владелец уехал куда-то и предоставил его на время Житкову; от кого-то другого (я забыл, от кого) Житкову достались две пары замечательных весел — из пальмового дерева, со свинцом в рукоятках, гибкие, тонкой работы. Эти весла хранились на дне очень высокой баржи, пришвартованной к пристани, и за ними Житков обыкновенно посылал меня. Так как во всех наших морских предприятиях сразу же установилось, что я юнга, а он капитан, я не смел ослушаться его приказаний, хотя на эту баржу нужно было взбегать по узкой, шаткой и длинной доске, чего я смертельно боялся. Особенно страшно было идти по ней вниз с двумя парами весел. Узнав о моей боязни, Житков сказал мне, что и сам он когда-то испытывал «страх высоты», но преодолел этот страх тренировкой, и в доказательство с такой быстротой взбежал

по доске, что доска заходила под ним ходуном, и я закрыл глаза от испуга.

Вскоре я настолько освоился с греблей, что Житков счел возможным выйти со мною из гавани в открытое море, где на крохотное наше суденышко сразу накинулись буйные, очень веселые волны.

До знакомства с Житковым я и не подозревал, что на свете существует такое веселье. Едва только в лицо нам ударило свежим ветром черноморского простора, я не мог не прокричать во весь голос широких, размашистых строк, словно созданных для этой минуты:

Зыбь ты великая! Зыбь ты морская!
Чей это праздник так празднуешь ты?

Житков тотчас же продолжил цитату. Он знал и любил стихи, особенно те, в которых изображалась природа. Помню, как он восхищался стихами Пушкина о морской глади, которую

Измял с налету вихорь черный.

— Подумай только,— говорил он,— сказать о воде, что она измята, как бумага, как тряпка! И этот эпитет: «черный вихорь»! И это чудесное слово: «с налету»!..

...На горизонте появился пароход. Греческий? Французский? Итальянский? Житков сразу узнал его по очертаниям корпуса и задолго до его приближения безошибочно назвал его по имени.

В море Житков становился благодушен, разговорчив, общителен и совершенно сбрасывал с себя свою «взрослость» и замкнутость. Нам случалось бывать в море по семи, по восьми часов, порою и больше; мы приставали к Большому Фонтану, разводили на гальке костер, варили в жестянке уху, состязались в бросании камней рикошетом. К концу лета мы загорели, как негры. Моя мать, до той поры никогда не решавшаяся отпускать меня к морю, теперь уже не возражала против моих долгих экскурсий — так магически действовало на нее имя «Житков».

Только раз за все лето с нами случилась авария, о которой мы часто вспоминали потом, несколько десятилетий спустя. Както перед вечером, когда мы возвращались домой, вдруг сорвался сильный ветер и погнал нас прямиком на волнорез, а разгулявшиеся буйные волны словно задались специальною целью шваркнуть нас со всего размаха о гранит волнореза и разнести наше суденышко в щепки. Мы гребли из последних сил; все свое спасение мы видели в том, чтобы добраться до гавани, прежде чем нас ударит о камни.

Это оказалось невозможным, и вот нас подняло так высоко, что мы на мгновение увидели море по ту сторону мола, потом

бросило вниз, как с пятиэтажного дома, потом обдало огромным водопадом, потом с бешеной силой стало бить нашу лодку о мол то кормою, то носом, то бортом.

Я пробовал было отпихнуться от волнореза веслом, но оно тотчас сломалось. Я одеревенел от отчаяния и вдруг заметил, или, вернее, почувствовал, что Житкова уже нет у меня за спиной. Была такая секунда, когда я был уверен, что он утонул.

Но тут я услыхал его голос. Оказалось, что в тот миг, когда нас подняло вверх, Житков с изумительным присутствием духа прыгнул с лодки на мол, на его покатую, мокрую, скользкую стену и вскарабкался на самый гребень. Оттуда он закричал мне:

— Конец!

«Конец» — по-морскому канат. Житков требовал, чтобы я кинул ему веревку, что лежала свернутой в кольцо на носу, но так как в морском лексиконе я был еще очень нетверд, я понял слово «конец» в его общем значении и завопил от предсмертной тоски.

К счастью, сторож маяка увидал катастрофу и поспешил мне на помощь. Со страшными ругательствами, которых не могло заглушить даже завывание бури, с искаженным от злобы лицом он швырнул мне конец веревки и вместе с Житковым втащил меня, дрожащего, но невыразимо обрадованного, на мокрые камни мола и тотчас же занялся нашей лодкой: зацепил ее длинным багром и велел подручному ввести ее в гавань, после чего с новым ассортиментом ругательств накинулся на меня и Житкова, требуя, чтобы мы следовали за ним на маяк.

Я ожидал необыкновенных свирепостей, но он, не переставая браниться, дал нам по рюмке перцовки, приказал скинуть промокшее платье и бегать нагишом по волнорезу, чтобы скорее согреться. Потом уложил нас на койку в своей конуре, прыкрыл одеялом и, усевшись за опрокинутый ящик, взял перо, чтобы составить протокол о случившемся. Но когда после первых же вопросов узнал, что один из нас Житков, сын «Степана Василича», отложил перо, отодвинул бумагу и опять угостил нас перцовкой.

Чтобы выпрыгнуть из лодки во время бури и вспрыгнуть на мол, нужна была ловкость спортсмена, не говоря уже об отчаянной смелости. Здесь, в эту четверть часа, передо мной раскрылся весь Житков: великий «умелец», герой, верный и надежный товарищ.

III

Лишь впоследствии, около четверти века спустя, я узнал от Житкова, что многие из тех, взрослых, бородатых людей, с которыми он в детстве водился, в том числе хромой пиротехник, рабо-

тали в революционном подполье и что он, тринадцатилетний Житков, уже в те ранние годы оказывал им посильную помощь. Например, пиротехнику, жившему далеко от города, по дороге на Малый Фонтан, он регулярно приносил в гимназическом ранце какую-то тестообразную розовато-лиловую, пахучую и липкую массу, якобы нужную для изготовления фейерверков. На самом деле, как я позднее узнал, то был «гектограф» — специальный состав для размножения нелегальных листовок, изготовленный Житковым по рецепту его сестры. Пиротехник печатал листовки, и одним из их распространителей на территории порта был (как потом обнаружилось) тот же Житков, словно созданный для такой конспиративной работы. Этой конспирации немало способствовала его мнимая, чисто внешняя барственность. Демократ, с детских лет постоянно якшавшийся с грузчиками, босяками, матросами, он долго не вызывал никаких подозрений у кишевших в порту полицейских именно благодаря своему щегольскому костюму (который он сам же, своими руками, и чистил, и утюжил, и штопал) и своей наигранной, якобы барской надменности.

В то время он часто жаловался, что ему не хватает воску для ловли тарантулов. Как я соображаю теперь, воск был нужен ему главным образом для изготовления «гектографов»; чтобы пополнить его скудные восковые запасы, мы оба без особого труда похищали огарки во всех окрестных церквах и часовнях, главным образом в афонском Ильинском подворье, тут же, на Пушкинской улице. «Гектографы» у него выходили отличные, и спрос на них был очень велик.

К тому времени я стал бывать у него в доме и познакомился со всей его семьей.

Радушие семьи изумляло меня. Оно выражалось не в каких-нибудь слащавых приветствиях, а в щедром и неистощимом хлебосольстве. Приходили к Степану Васильевичу какие-то обтерханные, молчаливые, пропахшие махоркой, явно голодные люди, и их без всяких расспросов усаживали вместе с семьею за длинный, покрытый клеенкой стол и кормили тем же, что ела семья (а пища у нее была простая, без гурманских причуд: каша, жареная скумбрия, вареная говядина), и долго поили чаем, к которому и гости и хозяева питали великую склонность. Обычно обедали молча и даже как будто насупленно, но за чаепитием становились общительнее, и тогда возникали у них бурные споры о какой-нибудь статье Михайловского, о Льве Толстом, о народничестве.

Кроме литературы, в семье Житковых любили математику, астрономию, физику. Смутно вспоминаю какие-то электроприборы

в кабинете у Степана Васильевича. Помню составленные им учебники по математике, они кипой лежали у него в кабинете,— очевидно, авторские экземпляры, присланные ему петербургским издателем.

Очень удивляли меня отношения, существовавшие между Степаном Васильевичем и его сыном Борисом: то были отношения двух взрослых, равноправных людей. Борису была предоставлена полная воля, он делал что вздумается — так велико было убеждение родителей, что он не употребит их доверия во зло. И действительно, он сам говорил мне, что не солгал им ни разу ни в чем. Говоря об отце даже с матерью, даже с сестрами, он называл его Степаном Васильевичем. Свою мать и в глаза и за глаза всегда именовал Татьяной Павловной. Раньше я никогда не видывал подобной семьи и лишь потом, через несколько лет, убедился, что, в сущности, то была очень типичная для того времени русская интеллигентская трудовая семья, каких было немало в столицах и больших городах — в Саратове, в Киеве, в Нижнем, в Казани,— щепетильно честная, чуждая какой бы то ни было фальши, строгая ко всякой неправде. В ней не было ни тени того, что тогда называли мещанством, и этим она была не похожа на все прочие семьи, которые довелось мне в ту пору узнать. Живо помню, с каким восхищением я, тринадцатилетний мальчишка, впитывал в себя ее атмосферу.

Что раньше всего полюбилось мне в житковской квартире — это множество книг и журналов и прекрасная готовность хозяев поделиться прочитанной книгой с другими, чтобы книга не осталась ни одного дня без читателей. При первом же моем посещении Житковых, едва только я случайно признался, что мне никогда не доводилось читать полное издание «Дон-Кихота», Житков-отец ушел в другую комнату и вынес оттуда Сервантеса — толстый том с рисунками Гюстава Доре,— не то что предложил ее мне, а потребовал, сердито потребовал, чтобы я взял ее с собою домой и прочитал, «да не как-нибудь, а серьезно и вдумчиво».

У него, как и у его сына Бориса, было в характере что-то суровое, и я сказал бы даже: деспотическое. Он занимал в порту сравнительно мелкую должность, но пользовался, как я вскоре заметил, большой популярностью среди моряков, особенно низшего ранга. Его терпеть не могли капитаны и владельцы судов, но матросы, кочегары и вообще все «труженики моря» относились к нему с величайшим доверием. Его нравственный авторитет в их глазах был огромен. При всяком конфликте с начальством они шли к Степану Васильевичу, либо в контору, где он работал, либо — чаще всего — к нему на квартиру, и он терпеливо выслуши-

вал их и после долгого молчания выносил приговор, всегда клонившийся к защите пострадавших. Борис был похож на него — не наружностью, а психическим складом. Наружность же у Степана Васильевича была очень внушительная, хотя росту он был невысокого: борода в стиле семидесятых годов, длинные волосы, строгие глаза, без улыбки. Таким я представлял себе — по портретам — Салтыкова-Щедрина.

Служба, видимо, не удовлетворяла его; часто он возвращался с работы раздраженный и хмурый и мрачно шагал по своему кабинету, и тогда все говорили: «Он не в духе»,— и не смели заговаривать с ним.

Мать Житкова была пианистка. Маленькая, худощавая женщина, преданная музыке до страсти. Подходя к тому дому, где жили Житковы, я часто еще издали слышал очень громкие звуки ее экзерсисов, наполнявшие собою весь дом.

Аккомпанировал ее сложным и замысловатым мелодиям ровный рокот спокойного моря, расстилавшегося чуть не у самых дверей. Мелодии были бравурные, но мне слышался в них голос тоски. Ибо я по опыту знал, что мать моего друга недаром так энергично и жадно набрасывается на раздребезженное свое пианино: для меня это всегда было верным сигналом, что она поссорилась с мужем — и теперь топит свое горе в рапсодиях. Ссоры всегда были пустяковые: вдруг из-за какой-нибудь мелочи, из-за газетной или журнальной статьи Степан Васильевич, крутой и гневливый, скажет Татьяне Павловне оскорбительное, резкое слово, после чего насупится, уйдет в кабинет, хлопнет дверью и — такой уж установился обычай — не разговаривает с женою по нескольку дней, а порою и недель. Мне, мальчишке, это представлялось вопиющей бессмыслицей: как могут любящие, взрослые люди наносить друг другу такую ненужную душевную боль! Тогда, по молодости лет, я еще не догадывался, что этим занимаются именно взрослые, особенно если они любят друг друга.

Почему-то больше всего мне было жалко Степана Васильевича, хотя эта многодневная пытка молчанием всегда возникала по его произволу. Должно быть, слишком уж явно бросалось в глаза, что терзается он нисколько не меньше жены, и, кроме того, у него не было прибежища в музыке.

Основываясь на практике наших школьных ребяческих ссор, я воображал, что ему так же легко, как и нам, гимназистам, в одну минуту прекращать свои распри. Но в том-то и дело, что он никак не умел сломить свой упрямый характер, в котором наряду с добротой и сердечностью уживались, как ни странно, черты деспотизма.

В детстве сложность души человеческой кажется непостижи-

мой загадкой, и потому меня так изумляло, что Степан Васильевич, больше всего на свете желая помириться с женой и сказать ей ласковое слово, все же упрямо молчит за обедом и ужином, угнетая ее — и весь дом — своим нарочитым многодневным молчанием.

Зато весь дом, казалось, улыбался, когда музыка в нем затихала, и к вековечному говору волн уже не примешивались рапсодии Листа. Это значило: мир восстановлен. Это значило: в доме опять доброта, деликатность, душевный уют. В такие дни — тотчас же после прекращения музыки — я наверняка знал, подходя к этому милому дому, что Степан Васильевич, подчеркнуто учтивый, уступчивый, благодушно сидит за большим самоваром вместе со своей повеселевшей женой (словно он воротился из какого-то дальнего странствия), и при этом глаза у него чуть-чуть виноватые.

...Весною 1897 года, когда мне и Борису исполнилось пятнадцать лет, Борис пришел ко мне и своим заговорщицким шепотом предложил собираться в Киев.

— В Киев?

— Да. Пешком. Вот по такому маршруту.— И он показал мне карту, которую достал у Степана Васильевича.

У меня было три рубля, у него рублей семь или восемь, мы достали две бутылки для воды (была фляга, но она протекала), купили в пекарне Бонифацци два больших калача, моя мама дала нам наволочку с сухарями и вареными яйцами, мать Житкова снабдила нас пирожками и брынзой, и на следующий день, на рассвете, мы двинулись в путь.

Предварительно была составлена бумага, в которой определялись наши взаимные отношения во время всего путешествия.

Мы должны были не расходиться в дороге ни при каких обстоятельствах, делить всю еду пополам и т. д. и т. д. и т. д.

И был еще один пункт, который вскоре оказался для меня роковым: во всех затруднительных случаях я должен беспрекословно подчиняться Житкову, как своему командиру. Если во время пути настоящее правило будет нарушено дважды, наша дружба кончена на веки веков.

Я охотно подписал эту бумагу, не предвидя, какими она чревата последствиями.

И вот под утренними звездами мы бодро шагаем по пыльным предместьям Одессы и к восходу солнца выходим на Николаевский шлях. Солнце печет нещадно. На спине у каждого из нас по мешку, на поясе — по бутылке с водою, в руке длинная суковатая палка. На первом же привале, время которого строго соответствовало расписанию Бориса, я съел за завтраком всю свою порцию брынзы — страшно соленого овечьего сыра. Мне мучительно хочется пить, но я боюсь попросить у Житкова разрешения

хлебнуть из бутылки, ибо и для этого у него есть расписание. Бутылка прилажена плохо, она бьет меня по бедру и мешает идти, но я не смею остановиться, чтобы привязать ее как-нибудь иначе.

Вдоль всей дороги, до самого горизонта,— железные столбы телеграфа, уже с утра раскаленные солнцем. Земля от жары вся в трещинах. Единственные живые существа, попадавшиеся нам на пути,— навозные жуки, с необыкновенным усердием катящие у нас под ногами свои великолепные шарики геометрически правильной формы.

Житков шагает четко, по-военному, и я, чувствуя, что он никогда не простит мне, если я обнаружу хоть малейшую дряблость души, стараюсь не отставать от него ни на шаг. В самый зной — опять-таки по расписанию Житкова — мы отыскали неподалеку от дороги глухую балку, где и прилегли отдохнуть.

Но не прошло и часа, как мы были разбужены громом.

Гром гремел в тысячу раз громче обычного, молнии сверкали одна за другой беспрерывно, а ливень превратил всю дорогу в сплошную реку. Укрыться от него было негде. Житков скомандовал:

— Разуйся и ступай босиком!

Я снял ботинки и, следуя примеру Житкова, нацепил их на палку и пошел по жидкому чернозему босыми ногами чуть не по колено в грязи. Не прошло и часа, как тучи убежали к горизонту и жаркое солнце так покоробило мокрую обувь, что ее было невозможно надеть. Она, как выражаются на юге, «скоцю́рбилась» (съежилась).

Рано утром в испачканной, мятой одежде, голодный, босой, изможденный, с уродливыми, грязными ботинками, болтавшимися у меня за спиною, я вместе с Борисом приблизился к Бугу и увидел лавчонку, где светился огонь. Я бросился к ней купить хлеба, но Житков не позволил и вместо хлеба купил, к моему огорчению, мыла, чтобы выстирать в реке наши брюки, сплошь облепленные черною грязью. Покупка хлеба, согласно расписанию Житкова, должна была произойти гораздо позже.

Обуздывая мои порывы, Борис, как он сам говорил, учил меня «зака́лять свою волю». В то время «закалка воли» чрезвычайно увлекала его.

Мы долго стирали наши грязные брюки, стоя по пояс в воде, и, разложив их на берегу, долго ждали, пока они хоть немного обсохнут, но над рекой был туман, и мы надели их мокрыми.

Когда мы вошли в Николаев и зашагали по его идиллическим улицам, у нас (особенно у меня) был такой подозрительный вид, что прохожие неприязненно сторонились от нас, как от жуликов.

Неизвестно, что случилось бы с нами, если бы нас не выручило чудо. Когда мы, стараясь держаться подальше от центра,

подошли к большому старинному кладбищу, у кладбищенских ворот на завалинке сидела рябая Маланка, когда-то проживавшая в нашем дворе, на квартире майора Стаценко, у которого она была стряпухой. Около года назад майора перевели в Николаев, и его жена взяла с собою рябую Маланку. Теперь Маланка сидела на завалинке вместе с кладбищенским сторожем и, увидев нас, изумленно воскликнула:

— Ой, это же с нашего двора паничи!

Сторож возразил ей с украинской иронией:

— Отó такú паничи?

Но она заахала, засуетилась и бросилась к нам с такой радостью, словно мы были ее ближайшие родственники. Житков попробовал было уклониться от ее слишком горячих приветствий, но не прошло и минуты, как мы уже предстали перед майоршей, которая жила в двух шагах.

Майоршу звали Ольга Ивановна, и я всегда буду вспоминать с величайшей признательностью ее жирный украинский борщ, кофе со сливками и ту мягкую, широкую постель, которую она велела постлать нам в прохладной беседке. Там мы оба проспали тринадцать часов, а потом встали, поужинали, побродили по городу и снова завалились на всю ночь.

Бывают же на свете такие добрые люди. Покуда мы спали, рябая Маланка вычистила, выгладила нашу одежду, а Ольга Ивановна написала моей маме и матери Житкова пространные письма, чтобы они не беспокоились о своих сыновьях, которых она почему-то называла «шубравцами»: «ваши шубравцы».

Она была бездетная и томилась от скуки. Весь день только и хлопотала о том, чем бы еще угостить нас, чем обрадовать, чем одарить. Предлагала нам какие-то шелковые подпояски с кистями, какой-то перламутровый ножик и даже сапоги своего майора. Я хотел было принять ее дары, но Житков, «закаляя волю», наотрез отказался от них; по его примеру отказался и я. И рябая Маланка и Ольга Ивановна уговаривали нас остаться у них, но Житков отвечал на все просьбы:

— Нам нужно поскорее в Херсон, мы и так нарушили свое расписание.

IV

И вот мы снова на пыльной дороге, в степи, шагаем мимо железных телеграфных столбов. Обувь снова у нас на ногах, она сделалась более просторной, так как Житков сразу же, чуть мы пришли к гостеприимной майорше, добыл у Маланки сухого горо-

ху, набил им доверху наши ботинки и залил его холодной водой. Горох разбух, и кожа распрямилась. Ботинки стали как раз по ноге.

Мешки снова наполнены снедью: в них и рассыпчатые коржики с маком, и сухая тарань, и вареные яйца, которыми наделила нас рябая Маланка. Кроме того, мы с Житковым прихватили по привычке с собою из кладбищенской церкви около десятка огарков.

Мы прошли уже верст тридцать или больше. Последний привал был у нас очень недавно — около часу назад. Но жарища стояла страшная, и мне смертельно захотелось присесть отдохнуть. Зной был такой, что перед нами то и дело возникали миражи — о них я до той поры читал только в «Географии» Янчина: тенистые, кудрявые деревья, склоненные над каким-то красивым, широким, прозрачным, как небо, прудом,— и казалось, что через час, через два мы будем в этих райских местах непременно. Но проходила минута, видение исчезало и таяло. По расписанию Житкова следующий отдых предстоял нам еще очень не скоро. Увидя, что я вопреки расписанию улегся в придорожной канаве, Житков убийственно спокойным и вежливым голосом предложил мне продолжать путешествие. В противном случае, говорил он, ему придется применить ко мне тот параграф подписанного мною договора, согласно которому наша дружба должна прекратиться.

Как проклинал я впоследствии свое малодушие! То было именно малодушие, потому что стоило лишь взять себя в руки, и я мог бы преодолеть эту немощь. Но на меня нашло нелепое упрямство, и я с преувеличенным выражением усталости продолжал лежать в той же позе и, словно для того, чтобы окончательно оттолкнуть от себя моего строгого друга, неторопливо развязал свой мешок и стал с демонстративным аппетитом жевать сухари, запивая их мутной водой из бутылки. Это было вторым нарушением нашего договора с Житковым, так как для еды и питья тоже было — по расписанию — назначено более позднее время.

Житков постоял надо мною, потом повернулся на каблуках повоенному и, не сказав ни слова, зашагал по дороге. Я с тоскою смотрел ему вслед. Я сознавал, что глубоко виноват перед ним, что мне нужно вскочить и догнать его и покаяться в своем диком поступке. Для этого у меня хватило бы физических сил, так как, хотя меня и разморило от зноя, я, повторяю, не испытывал чрезмерной усталости. Но минуты проходили за минутами, а я продолжал, словно оцепенелый, лежать у столба и с отвращением пить теплую, не утоляющую жажды, грязноватую воду. Пролежав таким образом около часа, я вдруг сорвался и, чуть не плача от непоправимого горя, ринулся вдогонку за Борисом. Но он ушел далеко, и его не было видно, так как дорога сделала крутой поворот.

Вдруг я заметил бумажку, белевшую на телеграфном столбе; я бросился к ней и увидел, что она приклеена свечкой, одной из тех, которые он достал в Николаеве. На бумажке было написано крупными четкими печатными буквами:

БОЛЬШЕ МЫ С ВАМИ НЕ ЗНАКОМЫ.

И ниже обычною скорописью Житков сообщал мне адрес своей сестры, проживавшей в Херсоне, Веры Степановны Арнольд [1].

Чувствуя себя глубоко несчастным, я пошел по опостылевшей дороге. Смутно, как во сне, вспоминаю, что верст через десять у меня оказались попутчицы — целая стайка босоногих деревенских девчат, которые тоже «мандрували» в Херсон. Я пробовал было заговаривать с ними, но ни одна не захотела откликнуться. Таков был тогда хуторской этикет. У какой-то балки они свернули с проезжего шляха и пошли напрямки через степь сокращенной дорогой. Я пошел за ними и потому очутился в Херсоне значительно раньше Житкова, разыскал Веру Степановну где-то неподалеку от Потемкинского бульвара, обрадовал ее сообщением, что вскоре придет ее брат, и тотчас же, после краткого умывания, был посажен за стол, к самовару.

Когда я рассказывал ей и ее юному мужу наши путевые приключения, в дверях появился усталый, весь запыленный Борис.

Он заговорил со мной как ни в чем не бывало, очень дружелюбно, без тени обиды, и вскоре мы оба были отправлены на чердак — спать.

Но едва мы очутились наедине и я вздумал продолжать разговор, как вдруг, к моему ужасу, услыхал от Бориса:

— Я разговариваю с вами только там, за столом, так как не хочу унижать вас перед Верой Степановной, но вообще — я уже заявил вам об этом — мы больше не знакомы.

...Через день или два на каком-то дрянном пароходишке я, исхудалый и грустный, воротился в родительский дом.

---

[1] Лишь недавно я узнал, что Вера Степановна с юных лет принадлежала к большевистскому подполью. В 1915 году она была разъездным агентом ЦК РСДРП(б), исполняла ответственные задания В. И. Ленина по восстановлению разрушенных связей с периферийными большевистскими организациями. Об этом сообщил мне кандидат исторических наук И. П. Лейберов, работавший в Центральном историческом архиве над материалами департамента полиции.

Так закончилась моя детская дружба с Борисом Житковым. Конечно, я был кругом виноват, и все же кара, наложенная им на меня, была, как мне кажется, слишком суровой.

Но недаром Борис Житков был так похож на своего отца: принципиальный, крутой, не знающий никаких компромиссов, требовательный и к себе и к другим. Я понимал его гнев: ведь он отдал мне так много души, руководил моими мыслями, моим поведением, а я, как плохой ученик, провалился на первом же экзамене, где он подверг испытанию мою дисциплину, мою волю к преодолению препятствий. Это многому научило меня, и я признателен ему за урок.

V

Не то чтобы наши отношения совсем прекратились, но из неразлучных и закадычных приятелей мы на долгое время стали отдаленными знакомыми — и только. Изредка он приходил к моей маме, приносил ей какие-то свертки, которые она прятала в погребе; под флигелем, где мы тогда жили, прямо под нашей квартирой, был погреб, и там в 1903—1904 годах Житков, как он сообщил мне потом, прятал агитационные листки и воззвания, отпечатанные им на тех же «гектографах».

Понемногу мы начали снова сближаться. Помню морскую прогулку на яхте вместе с ним и Сергеем Уточкиным, будущим летчиком, легендарно бесстрашным, которого мы оба любили. Помню бежавшего из Сибири украинца-подпольщика, которого Житков на две ночи приютил у меня. Помню наши встречи в книжной лавчонке общего нашего приятеля Мóника Фельдмана (на Троицкой улице), который щедро снабжал нас нелегальной литературой, начиная «Колоколом» Герцена и кончая последними брошюрами Каутского.

Встретились мы снова лишь в 1916 году. Это было в Лондоне, весною. Я приехал туда на короткое время вместе с Алексеем Толстым, Вас. Немировичем-Данченко (в составе делегации писателей). Ужиная с ними в ресторане «Савой», я вдруг увидел, что мимо нашего столика отчетливой военной походкой прошел русский морской офицер в щеголеватом мундире.

— Борис!

Я бросился к нему, позабыв обо всем. Но тотчас же увидел, что *он* ничего не забыл: поздоровался со мною очень сдержанно и на все мои вопросы отвечал односложно: либо да, либо нет. Сконфуженный, я вернулся к товарищам и был немало удивлен, когда Житков как ни в чем не бывало пришел ко мне в номер гостиницы — совсем не такой накрахмаленный, каким я видел его в ресторане.

Оказалось, он командирован сюда в качестве специалиста-инженера для приемки каких-то моторов. Но, по его словам, работать здесь трудно, почти невозможно из-за каких-то взяточников военного ведомства (сейчас я забыл каких), и он ведет с ними неравную борьбу, наживая себе немало врагов.

Расстались мы друзьями — и в том же году в декабре я получил от него такую записку:

«Ну, я вернулся [из Англии] и очень бы хотел с тобой побеседовать. Напиши, как нам устроить свидание... Итог впечатлений картофельный. Туземцы [то есть англичане]. Да вот о них-то и хочется поговорить. Тебе их лучше знать. Я их не понимаю... Я пожил 8 месяцев и уехал, оставив подозрительное недоумение и снисходительное неудовольствие в сердцах лондонских пинкертонов».

Вскоре после этого он прислал мне открытку (от 15 февраля 1917 года):

«Хочется очень повидаться. Пребываю в тоске и томлении духа. Ей-богу. Пожалуйста, откликнись».

В эту пору мы часто встречались, но вдруг он внезапно исчез,— кажется, уехал в Одессу, и лет пять из-за гражданской войны и блокады я ничего не слыхал о нем. И был очень обрадован, когда поздней осенью в 1923 году, то есть через двадцать шесть лет после нашей размолвки, он столь же внезапно появился у меня на пороге. Но какой был у него изможденный, измызганный вид! Желтые, впалые щеки, обвисшая, истрепанная худая одежда, и в глазах безмерная усталость. Теперь, через столько лет, я уже не в силах отчетливо вспомнить, что произошло с ним в то время. Кажется, его обокрали и в числе прочих вещей похитили те документы, какие были необходимы ему для поступления на службу. Целыми днями он мыкался у различных «парадных подъездов», ища хотя бы самого скромного места. Кроме того, он издавна был изнурительно болен и, кажется, пролежал чуть не месяц в больнице. Во всяком случае, нужда у него была крайняя: по его словам, даже трамвайный билет стал для него почти недоступною роскошью.

Он пробыл у меня целый день. К вечеру его мрачность мало-помалу рассеялась, он разговорился с моими детьми и, усевшись среди них на диване, стал рассказывать им о разных морских приключениях. Они слушали его, очарованные, и, когда он заканчивал один свой рассказ, дружно кричали: «Еще!»

Я слушал его рассказы урывками: приходили какие-то люди, постоянно звонил телефон. Но я видел, как увлечены его рассказами дети, и, когда он собрался уходить, я сказал:

— Слушай, Борис, а почему бы не сделаться тебе литератором? Попробуй опиши приключения, о которых ты сейчас говорил, и, право, выйдет неплохая книжка!

Он отозвался как-то вяло, словно стараясь замять разговор, но я продолжал настаивать и при этом сказал:

— Ты напиши, что напишется, а я прочту и поправлю.

Через несколько дней, гораздо раньше, чем я ожидал, он принес мне школьную тетрадку, куда убористым почерком была вписана морская новелла — одна из тех, какие он рассказывал детям. Называлась новелла «Шквал».

Каждая страница была сложена вдвое, текст занимал лишь одну половину, другая оставалась свободной, именно для того, чтобы я, как «профессиональный писатель», имел наибольший простор для внесения нужных поправок в рукопись литературного «новичка», «дилетанта».

Я присел к столу, взял карандаш и приготовился редактировать лежавшую передо мною тетрадку, но вскоре с удивлением убедился, что редакторскому карандашу здесь решительно нечего делать, что тот, кого я считал дилетантом, есть опытный литератор, законченный мастер, с изощренной манерой письма, с безошибочным чувством стиля, с огромными языковыми ресурсами. Не было никакого сомнения, что он, этот «начинающий» автор, не напечатавший еще ни единой строки, прошел долгую и очень серьезную литературную школу. Радость моя была безгранична: молодая советская литература для детей и подростков, за процветание которой мы в то время так страстно боролись, приобрела в лице этого сорокалетнего морехода, кораблестроителя, математика, физика свежую, надежную силу [1].

Я отнес рукопись Житкова в издательство «Время», во главе которого стоял талантливый писатель Георгий Петрович Блок, проницательный и чуткий редактор (двоюродный брат Александра Блока). Ознакомившись с рукописью, он одобрил ее и тотчас же сдал в печать. Книжка печаталась медленно. Называлась она «Злое море», и в нее входили рассказы «Под водой», «Коржик Дмитрий», «Мария» и «Мэри» и др.

Покуда книга была в производстве, Житков принялся писать новую повесть — тоже для детей — и, еще не закончив ее, прислал мне (12 декабря 1932 года). При рукописи было такое письмо.

«Вот тебе кусок, начало. Сам прочти, другим никому не на-

---

[1] В письме к Игорю Арнольду, своему племяннику, Житков писал через несколько месяцев: «Опытные люди говорят, что я уж больно скоро в ход пошел! Но этому способствовал К. Чуковский, мой детский приятель, к которому у меня сохранилось чувство, несмотря на многие годы и непогоды...» — *Ред.*

до. Подумай, нельзя ли короче. Потом: что лучше — жена или сестра? от первого лица или от третьего? То, что от первого лица — подсказывает исход, но зато естественней, как рассказ. Это все быль, конечно. На полях сделай пометки, места хватит. Вот если найдешь мальчишку лет 10,— ему прочти, посмотри, как он, заинтересуется ли...»

Сейчас не помню, что это была за рукопись, помню только, что она произвела на меня сильное впечатление.

Конечно, своей радостью я не мог не поделиться с С. Я. Маршаком, который встретил Житкова как долгожданного друга.

В то время Маршак возглавлял созданный им детский журнал «Воробей» (впоследствии «Новый Робинзон»). Житков с необычайным увлечением стал работать в маршаковском журнале и напечатал на его страницах те рассказы, которые вошли в «Злое море». Именно такого бывалого человека, «умельца», влюбленного в путешествия, в механику, в технику и сочетавшего эту любовь с талантом большого художника, не хватало детской литературе тогда.

Не прошло и года — имя Житкова стало привычным для всей детской читательской массы, и уже нельзя было сомневаться, что именно литературное творчество есть его кровная, природная, основная профессия.

В эту профессию он ушел с головой, и стало ясно, что все его прежние профессии были, так сказать, ступеньками к этой, единственной. С жадностью многолетнего голода набросился он на перо и чернила, к которым влюбленно и робко тянулся всю жизнь. С этого времени все его письма к друзьям переполнились литературными планами, отчетами о его литературных делах, отзывами о разных литературных явлениях. Вот одно из его чрезвычайно типических писем ко мне от 27 июня 1926 года:

«Друг Корнелий. Дела вот какие: третьего дни отдал 2 книги... Осталось сделать 4 книги. Сегодня одну кончил. Другая написана, но не сделано к ней рисунков: я сам к ней рисунки делаю. Значит, осталось целиком две и к одной рисунки.

Подумай: за последние два месяца, я туда в [Госиздат] — дал 7 книг, да раньше 4, итого 11».

И тут же план большой феерической пьесы. Эта пьеса была задумана мною. Свой замысел я как-то рассказал В. Э. Мейерхольду. Мейерхольд очень одобрил его, но я, горько чувствуя свою неумелость, пригласил в соавторы Житкова. Житков принял в этом деле живое участие.

«Мое мнение,— писал он мне в том же письме,— что надо сделать демонстрацию — настоящий спектакль у Мейерхольда. Кстати, что о нем слышно? Я постараюсь ко 2—3-му [июля] *раз-*

вязаться со всеми книгами — обонсел до того, что не играю на скрипке».

Но поработать нам над пьесой не пришлось. В следующем письме (от 21 июля 1926 года) Житков писал:

«Видишь, какое дело: я уж билеты заказал и деньги дал на субботу — еду с женой в Феодосию. Через месяц вернусь. У нее отпуск кончается, а у меня деньги. Приеду, тогда и двинем [пьесу]. А сейчас я обалдел даже малость от последней спешки... на меня не сетуй, я всегда тебе друг».

Когда он воротился из Крыма, я был занят какими-то другими сюжетами, и пьеса осталась ненаписанной.

Но все это относится к тому периоду биографии Житкова, который памятен не мне одному. Об этом периоде гораздо подробнее скажут другие. Я же считал своим долгом рассказать главным образом про детские годы писателя, годы, которые мало кто помнит, так как из нас, его сверстников, почти все уже вымерли, а между тем, не зная его детства, невозможно понять, почему его книги сохраняют свое обаяние для каждого нового поколения советских детей. Основная причина, повторяю, заключается в том, что по всему своему душевному складу Житков уже тогда, в то далекое время, больше полувека назад, явил собою, так сказать, прообраз типичного советского мальчика. Теперь таких ребят миллионы, а тогда он был редкостью, невиданным чудом. С десятилетнего возраста он испытывал, например, непреодолимое влечение к механике, технике, в то время как тогдашние дети были в огромном своем большинстве страшно далеки от нее. Да и какой же техникой могли бы мы соблазниться тогда? Еще не было ни автомобилей, ни трамваев, ни самолетов, ни мотоциклов, ни радио, не говоря уже о телевизорах или кино. Выйдешь на пыльную, пустынную булыжную улицу и видишь медлительных, усталых волов, которые, еле перебирая ногами, тащат за собой биндюги. Это был наш главный транспорт — неповоротливые телеги да еще конка, запряженная клячами. А Житков именно в такое время и в такой обстановке сделал технику центром своих интересов, и уже этим одним его детство перекликается с детством современных ребят.

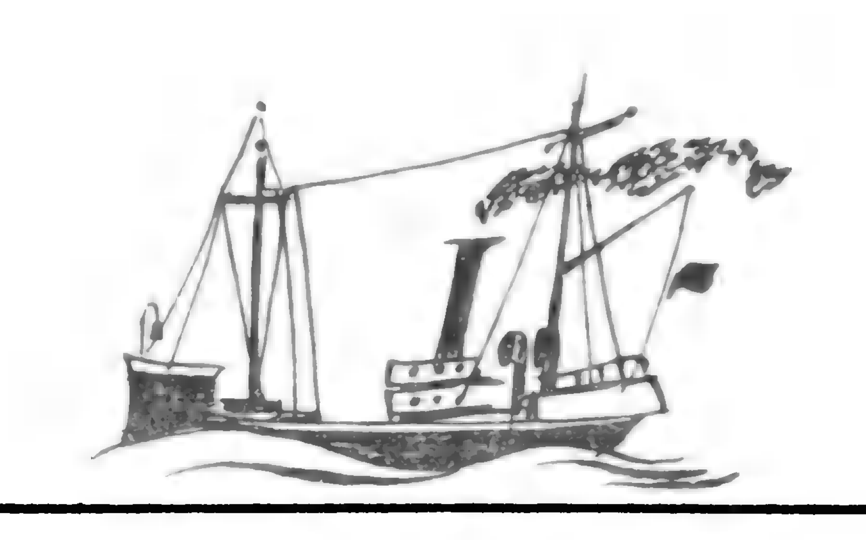
Физкультуры, без которой нынче прямо-таки немыслимо детство, тоже не было тогда и в зародыше. Даже слова такого не знали. Пристраститься в то время к спорту, к гребле, к плаванию, к дальним походам — значило опередить свою эпоху. И любовь Бориса Житкова к самодисциплине, к «закалке воли», к героической мужественности тоже сделала его далеким предтечей советских людей. Потому-то он, пожилой человек, оказался в такой гармонии с новой эпохой строительства, технических дерзаний и опытов.

К. И. ЧУКОВСКИЙ

МОРСКИЕ ИСТОРИИ







НА ВОДЕ

(Шквал)

— Провались он совсем и со своей черепицей вместе! — ругался матрос Ковалев.— Этакую тяжесть на палубу валит!

— Ладно, сейчас кончаем, еще только тысяча осталась,— прохрипел старик боцман, размазывая красную черепичную пыль по потному лицу.

Жара стояла несносная: был самый разгар южного лета.

Отправитель черепицы с хозяином судна спорили в каюте, и было слышно на палубе, как грек-хозяин кричал:

— Понимаешь ты, я рискую: судно перевес будет иметь, самая тяжесть сверху, а ты не хочешь прибавить гривенник за тысячу!

— Ведь близко, капитан, два шага, погода хорошая,— пищал отправитель со слезой в голосе,— ведь через два часа на месте будете! Прибавлю пятак, уж куда ни шло.

— Продаешь нас за пятак! — бубнил на палубе матрос Ковалев, укладывая рядами черепицу.— Рванет хороший ветерок — и амба: ляжем парусами на воду.

— Да что вы, что вы! — испуганно сказала стоявшая рядом женщина.

Она держала за руку девочку лет восьми. Девочка вертелась и, запрокинув голову, разглядывала высокие мачты и реи судна.

— А очень просто,— серьезно сказал Ковалев и, остановясь на минуту, сердито взглянул на женщину.—

Он не то что нас, он и внучку не жалеет.— И Ковалев кивнул головой на девочку.— Вот подите скажите ему.

— Да разве ему скажешь?..— прошептала женщина и еще ближе прижала к себе девочку.

А матросы валили и валили черепицу, укладывали рядами и досками укрепляли ряды.

Боцман глядел на их работу и покачивал головой, что-то про себя соображая. Потом взглянул на небо, прищурился и перевел взгляд на горизонт. Море, гладкое, без морщинки, как масло, лоснилось на солнце и тоже, казалось, еле дышало от нестерпимого зноя.

— Мертвый штиль,— сказал боцман.— Ух, как бы не сорвалась ночью погода.

— Ничего, ничего,— затараторил хозяин, выходя из каюты,— бриз, бриз будет, хорошо пойдем. Веселей шевелись! — крикнул он матросам и побежал по палубе зачем-то нагонять отправителя.

Наконец кончили погрузку. Судно «Два друга» оттянулось на середину порта. Ждали ветра. Солнце зашло, а жара не спадала. Все пятеро матросов стояли у борта, курили и сплевывали в воду. В порту зажглись огоньки, и красным глазом вспыхнул на рейде маяк. Красной змеей извивалось его отражение в воде.

— А это что у тебя в ящике, Настя, куклы? — спросил Ковалев девочку.

Большой ящик стоял на палубе у борта, и девочка поминутно в него заглядывала через дверцу вверху.

— Нет, зайчик живой,— ответила Настя с гордостью.

— Да ну? — сказал Ковалев и запустил в ящик руку.

Он вытащил за уши большого зайца. Девочка закричала и потянулась руками. Но она сейчас же успокоилась: матрос ловко посадил зайца на руки и стал бережно гладить своей огромной ладонью.

— Вот и жаркое,— сказал подошедший сзади матрос Дмитрий.

Настя испуганно поглядела на Дмитрия и перевела глаза на Ковалева.

— Не дадим, не бойся! — сказал матрос.— Это он шутит.

— А если буря будет,— спросила девочка,— страшная-престрашная, заиньку захлестнет волной?

— Мы его тогда в каюту к деду занесем,— утешал ее Ковалев.

— Ковалев! — раздался голос хозяина.— Дмитрий! Шлюпку на палубу.

Ковалев быстро сунул зайца обратно в ящик и пошел исполнять приказание. Настя теперь не отходила от Ковалева. Ей казалось, что Ковалев главный: такой громадный и за зайчика заступился.

Шлюпку вытащили и вверх дном уложили на палубе поверх черепицы.

Вот жарким дыханием пахну́л с берега бриз. Судно ожило. Все зашевелились. Матросы взялись за коромысло ручного брашпиля и, поругиваясь и отдуваясь, выкатили якорь. Поставили паруса, и «Два друга» медленно прокатилось в ворота порта. Бриз усилился и ходко гнал судно вдоль берега. Вот уже далеко за кормой остался красный глаз маяка. Усталые люди спешили в койки.

Ковалев стоял на руле.

— Смотри, Гришка, за ветром! Ненадежная погода,— говорил ему боцман.

Старик поглядывал за борт, стараясь на глаз определить ход судна.

— Чуть что, буди меня, Коваль,— сказал он, оглядывая небо и паруса.— Дойдем до мыса, непременно разбуди. Я пойду сосну.

И боцман зашагал усталыми ногами к кубрику [1].

Ковалев остался один. В отворенный люк хозяйской каюты он видел, как грек что-то писал в засаленной счетной книге.

Обе пассажирки спали тут же на узкой койке. Настя улыбалась во сне. «Это зайца своего видит,— подумал Ковалев,— а дед все пятаки считает».

В это время ветер вдруг прервал свое дыханье, судно выпрямилось, перевалилось на другой борт и стало качаться тяжелыми и широкими размахами. Но снова подул с берега бриз, и судно, прилегши на правый борт, побежало по-прежнему.

Ковалев беспокойно оглянул горизонт. Справа всходила полная луна. Ее диск двумя узкими полосами перерезывали облака. Небо посветлело, и на нем темным силуэтом вырисовывались паруса судна. Но Кова-

---

[1] Кубрик — помещение для команды.

лев не отрывал глаз от той части горизонта, откуда выплывала луна. Он стал следить за облаками и ясно увидал теперь, что они идут навстречу ветру, подымаясь из-за горизонта вместе с луной.

Бриз усилился, и судно побежало быстрей. Ковалеву казалось, что оно спешит скорее в порт, как конь тянется к дому, чуя опасность. Теперь рулевой весь напрягся и чутко прислушивался. Вдруг его ухо уловило какой-то шум, как будто отдаленный гул толпы. Шум приближался, усиливался и скоро обратился в яростный рев.

— Хозяин,— закричал Ковалев,— шквал идет с подветра! — Грек оглянулся.

— Тридцать девять и сорок пять, тридцать девять и... ах, черт! — сказал он и опять повернулся к столу.

Ковалев опрометью бросился к кубрику.

Шум рос. Теперь уже казалось, что бешеная толпа с ревом несется на судно.

— Хлопцы, хлопцы! — заорал Ковалев в люк.— Шквал идет!

Сонное лицо боцмана показалось из люка.

— Чего орешь? — бормотал он спросонья.

— Шквал! — крикнул Ковалев, нагнувшись к самому уху старика.— Все наверх!

Но он не успел кончить, как резкий порыв ветра налетел на судно, выстрелом рванул по парусам, и «Два друга» стремительно повалилось на левый борт. Ковалев не удержался на ногах и полетел в люк, увлекая за собой по трапу боцмана. На палубе загрохотала, зазвенела черепица, гулко стукнула в борт покатившаяся шлюпка; что-то трещало, лопалось и стонало; казалось, все судно рассядется надвое; волной хлынула вода в люк кубрика.

Шквал сделал свое дело и понесся дальше.

Все это совершилось мгновенно, никто не успел опомниться и что-нибудь сообразить. Сонные люди попáдали с коек. Послышались испуганная ругань, проклятья. В темной тесноте, по колено в воде, обезумевшие люди барахтались, наступали друг на друга, выли, ругались и молились. Ушибались об упавшие сундуки, путались в мокрых одеялах, давили друг друга, в ужасе, в смертельном страхе ища дорогу к выходу. А выхода не было.

— Стой! — вдруг покрыл все голоса окрик Ковалева.

Обезумевшие люди на мгновенье замолчали, и стало слышно, как спокойно плещет вода в борт опрокинутого судна.

— Нас перекинуло,— сказал Ковалев, воспользовавшись минутой молчанья,— мы не пошли под заныр[1]: вон как зыбь в борт бьется.

— Давай топор,— крикнул матрос Христо,— руби дно!

Все бросились искать топор. Но это было нелегко в этом мокром хаосе. Руки судорожно хватались в темноте за всякую палку, принимая ее за ручку топора. Мешали двигаться висевший сверху привинченный к палубе стол, тряпье, мокрые подушки, путавшаяся в ногах веревка.

— Есть, есть! — закричал Дмитрий, ухватив наконец топор.

— Повыше, повыше рубайте! — молил боцман.— Вот тут!

Но в темноте никто не видал, куда он показывал. Вмиг сломали ящик-койку, которая преграждала путь к борту.

Ковалев взял ощупью из рук Дмитрия топор.

— Рубай, рубай скорее, Гришка! — кричали люди.

Все знали силу Ковалева. Топор застучал, щепки летели и били в лицо, но все старались протиснуться ближе.

— Давай мне! — крикнул Христо, заметив, что Ковалев устал.

И так, передавая топор из рук в руки, люди по очереди что было силы колотили топором, попадая в нарубленное место.

А опрокинутое судно плавало: находившийся внутри воздух не успел выйти, так внезапно его перевернуло. И этот-то воздух и держал судно на поверхности.

В кубрике становилось заметно душно. Запыхавшиеся люди часто дышали и спешили прорубить выход на волю, к свежему воздуху. Они боялись задохнуться и каждую минуту думали, что вот-вот судно начнет погружаться под воду.

Ковалев рубил в свою очередь. Он бил топором из последних сил и слышал по звуку, что немного уже

---

[1] Под заныр — на дно, под воду.

оставалось. Сейчас будет дыра. Вот она. Лунный свет пробивался звездочкой сквозь маленькое отверстие.

Ковалев перевел дух и хотел крикнуть товарищам, что уж виден свет. Он слышал тонкий свист прорвавшегося через дырку воздуха. Ковалев приставил к дыре мокрый палец: нет, из дыры не дуло. Куда же идет воздух? Ковалев понял, что воздух не входит в каюту. А ведь слышно, как он идет! Значит, вон из каюты выходит воздух?..

И вдруг все сообразил. Их каюта — как опрокинутый вверх дном пустой стакан: если его пихать в воду, то воздух в стакане не даст войти воде; но если в дне такого стакана сделать дырку, то воздух уйдет через нее и весь стакан заполнит вода.

— Дай топор! — кричал Дмитрий. Он шарил в темноте руки Ковалева.

— Да давай же скорей! — кричали кругом.

Но Ковалев быстро схватил плававшую под ногами щепку и забил ею отверстие.

— Стой, хлопцы! — кричал Ковалев.— Не руби!

Дмитрий вырвал из его рук топор. Ковалев знал, что Дмитрий сейчас ударит, и поймал его за руку.

— Стой! Ударишь — пропали все!

— Рубай! — кричал боцман.

— Нет! Воздух уйдет! — выкрикивал Ковалев, удерживая руку Дмитрия.— Вода снизу через люк напирает... ее воздух сюда не пускает... Дыра будет... потонем, как мыши... сюда вода зайдет.

Все замолчали.

— Вот! — Ковалев выдернул на время щепку из отверстия и, поймав в темноте чью-то руку, поднес ее к дырке.

— Верно! — сказал голос боцмана.

— Все одно рубай! — кричал Христо.

— Хлопцы,— сказал Ковалев, и все почувствовали, что он что-то важное скажет, и замолкли,—сейчас на воле будем. Вот он, люк, я ногой нащупал. Давай веревку, я поднырну, а вы по веревке за мной.

Христо торопливо стал совать ему в руку конец веревки. Ковалев сорвал с себя мокрую одежду, быстро сделал на конце веревки петлю, надел ее через плечо и исчез под водой. Бьет проклятая веревка по ногам, мешает плыть, обо что-то острое ткнулся Григорий головой, помутилось на минуту в мозгу, но он все гребет

руками. Вот он, борт,— Ковалев стукнулся в него теменем. Не хватает воздуху — хоть водой дохни. А там, внизу, чуть светлей: это пробивается лунный свет через воду. Сбросить бы петлю — вмиг на воле. Но Ковалев изо всей силы дернул веревку к себе и нырнул под борт. Вот уж на той стороне. Оттолкнулся из последних сил ногами от борта — грудь рвется, горло сжимает, вот-вот дохнет водой.

— Ну, на воле! Вот дохнул-то! — огляделся Ковалев.

Уже поднявшаяся луна ярко освещала спокойное море. Легкий ветер тянул к берегу. Как брюхо огромного чудовища, чернело дно опрокинутого корабля. Обломки мачт и реи с парусами плавали тут же на оборванных снастях.

Ковалев подплыл к рее и закрепил на ней свою петлю. Держался за рею и только дышал. Он сейчас ни о чем не думал, а глотал воздух, цену которому узнал только теперь.

Странно было думать, глядя на огромный опрокинутый корпус судна, что там внутри копошатся и рвутся на волю живые люди.

Через несколько секунд показалась на поверхности воды голова Христо, а за ним вынырнули остальные.

Шлюпка, полная воды, но целая, плавала неподалеку, запутавшись в снастях.

Матросы подплыли к ней.

Ковалев направился на обломке реи к корме, откуда раздавались глухие удары.

— Рубят, ей-богу, рубят! — крикнул Ковалев.

Матросы как попало отливали воду из шлюпки и не слушали.

Ковалев достал конец веревки из воды, сделал опять петлю, надел по-прежнему через плечо и нырнул под судно. Нащупал под водой люк в хозяйскую каюту.

А там и в самом деле рубили. Хозяин-грек отчаянно работал топором, силясь прорубить выход через дно.

Все вздрогнули в капитанской каюте, когда услыхали голос Ковалева.

— Брось рубить! Пропадешь! — кричал он греку и хотел впотьмах схватить его руку.

— Оставь! — заорал грек.— Убью!

Ковалев наскоро закрутил свою петлю за стол.

В темноте он нащупал женщину. На руках у нее — Настя.

— Давай девочку, а сама за нами по веревке ныряй под судно.

— Ой, ой! — закричала женщина.

Но Ковалев вырвал из ее рук девочку, сгреб под мышку. Одной рукой зажал ей рот и нос, а другой взялся за веревку.

Перебирая веревку одной рукой, он вынырнул с Настей около реи.

Матросы подплывали на шлюпке, пробираясь между обломками снастей. Вслед за Ковалевым вынырнула и женщина.

Все уселись в шлюпку.

Удары изнутри корабля все яснее и яснее слышались, прерывались на минуту — видно, старик переводил дух — и снова гукали в дно.

— Могилу себе рубает,— сказал Ковалев.— Дорубится и поймет.

Шлюпка стояла у борта, откуда слышались удары.

Все молчали и ждали. Вот уж совсем близко бьет топор.

— Заткни дырку, могилу себе рубаешь! — кричал Ковалев.

Христо что-то часто кричал по-гречески.

— Ныряй, хозяин, под палубу! — кричал Дмитрий.

Но старик или не понимал, или не слышал: рубил и рубил.

И вдруг послышался свистящий вздох. Это из невидимой дырки выходил воздух.

Удары топора бешено забарабанили по борту. Мелкие щепки летели наружу.

— Ай, ай, дедушка, дедушка! — крикнула Настя.

Вдруг стук сразу оборвался. С минуту все в шлюпке молчали.

— Ну, аминь,— сказал Ковалев,— пропал старик.

Женщина вдруг вскочила, вырвала из рук Дмитрия черпак и в отчаянии застучала по дну судна. Ответа не было.

— Отваливай! — скомандовал Ковалев.

Шлюпка отошла. Легкий ветер гнал ее к берегу и помогал гребцам.

— Чего ты, Настя? — спросил Ковалев.

Девочка плакала.

— А заинька? Где заинька?

— Не плачь,— утешал матрос,— мама другого купит.



Шлюпка медленно двигалась, гребли чем попало: весла пропали, их не нашли.

— Вон, вон что-то! — вдруг крикнула Настя.

Все поглядели, куда указывала девочка. Черное пятно маячило на воде справа.

Подошли.

Ящик плавал, слегка погрузившись в воду, Ковалев засунул руку и достал мокрого, но живого зайца.

— Заинька, вот он, заинька! — крикнула Настя и стала заворачивать зайца в мокрый подол.

— Вот ведь: скотина бессмысленная спаслась, а человек пропал,— сказал Дмитрий и оглянулся на блестевшее на луне осклизлое брюхо корабля.

Гребцы налегли: всем хотелось поскорее уйти от погибшего судна. Каждому чудилось, что грек еще стучит топором по дну.

Через час шлюпка с пассажирами пристала к берегу.

Все невольно оглянулись на море. Но там уже не видно было опрокинутого судна.

НАД ВОДОЙ

— Я так мечтала полететь к облакам, а теперь боюсь, боюсь! — говорила дама, которую подсаживал в каюту аэроплана толстый мужчина в дорожном пальто.

— Теперь — как по железной дороге,— утешал ее толстяк,— даже лучше: никаких стрелочников, столкновений, снежных заносов.

За ними неторопливо протискивался военный с пакетами, с толстым портфелем и с револьвером поверх шинели.

Долговязый мрачный пассажир с сердитым, подозрительным видом осматривал аппарат со всех сторон, ничего не понимал, но думал, что все же надежнее, если самому посмотреть.

Он подошел к пилоту, который возился у рулей, и спросил сухим голосом:

— А скажите, в воздухе бывают бури? И эти ямы воздушные? Ведь ночью их не видать?

Пилот улыбнулся:

— Да и днем их не видно.

— А если провалимся, то?..

— Ну, пролетим вниз немного, не беда — мы высоко полетим.

— Ах, очень высоко?— вмешался молодой человек в синей кепке, тоже пассажир.— Это очень приятно! — сказал он храбро. Хотел улыбнуться, но вышло кисло.

Долговязый злобно взглянул на него и ушел в каюту, где и уселся рядом с толстяком.

— Э-эй, обормоты! Не разливай бензин! — крикнул пилот мальчишкам, которые наполняли из жестянок бензинные баки.

— Ладно, черт! — сказал один из них и ловко вынул из отверстия бака сетчатый стакан, через который лился и фильтровался от сора бензин.

— Теперя ходче пойдет. Чего зря-то мерзнуть! А засорится мотор — так тебе, дьяволу, и надо, лайся больше! Сам обормотина! — вполголоса ворчал мальчишка.

Наконец все было готово, все десять пассажиров сидели по местам. Пора лететь. Механик еще раз посмотрел, все ли исправно.

— А что ж, меня-то возьмешь? — спросил механика ученик Федорчук.

— Нет, ты тут подлетывай. В большой рейс тебя не рука брать. Лучше набрать чего-нибудь, повезти продать пуда четыре.

— Так ведь тут какое ученье! Взяли бы — пригодился б, может быть.

— Какая от тебя польза? Одно слово — балласт,— отрезал механик.

Но пилоту стало жаль Федорчука:

— Я все равно никакой спекуляции везти не дам, чего там! Пусть учится. Одевайся — полетишь!

Федорчук бегом пустился в ангар одеваться.

Снялись.

Аппарат набирал высоты, выше и выше, шел к снежным облакам, которые до горизонта обволокли небо плотным куполом. Там, выше этих облаков,— яркое-яркое солнце, а внизу ослепительно белая пустыня — те же облака сверху.

Два мотора вертели два винта. За их треском трудно было слушать друг друга пассажирам, которые сидели в каюте аппарата. Они переписывались на клочках бумаги. Некоторые не отрываясь глядели в окна, другие,

наоборот, старались смотреть в пол, чтобы как-нибудь не увидать, на какой они высоте, и не испугаться, но они чувствовали, что́ под ними, и от этого не могли ни о чем больше думать. Дама достала книжку и не отрываясь в нее смотрела, но ничего не понимала.

«А мы все поднимаемся»,— написал на бумажке веселый толстый пассажир, смотревший в окно, своему обалдевшему соседу.

Тот прочел, махнул раздраженно рукой, натянул еще глубже свою шляпу и ниже наклонился к полу. Толстый пассажир достал из саквояжа бутерброды и принялся спокойно есть.

А впереди, у управления, сидели пилот, механик и ученик. Все были тепло одеты, в кожаных шлемах. Механик знаками показывал ученику на приборы: на альтиметр, который показывал высоту, на манометры, показывавшие давление масла и бензина. Ученик следил за его жестами и писал у себя в книжечке вопросы корявыми буквами — руки были в огромных теплых перчатках. Альтиметр показывал 800 метров и шел вверх. Уже близко облака.

«А как в облаках?» — писал Федорчук.

«Чепуха, увидишь»,— ответил механик.

Ученик не спешил бояться, хоть никогда в облаках не был. Грешным делом, он все-таки подумывал, что непременно должно выйти что-нибудь вроде столкновения. Впереди было совсем туманно, но через минуту аппарат попал в полосу снега, который, казалось, летел не сверху, а прямо навстречу.

Снег залепил окно впереди пилота — внизу ничего не было видно. Пилот правил по компасу, но все так же забирал выше и выше. Стало темнее.

Механик написал Федорчуку:

«Мы в облаках».

Вокруг них был густой туман, и стало темно, как в сумерки. Да и поздно было— оставалось полчаса до заката.

Но вот стало светлее, еще и еще, и яркое солнце совсем на горизонте весело засверкало на залепленных снегом стеклах. Даже пассажиры, что смотрели в пол, приободрились и ожили. Сильный ветер от хода аппарата сдул налипший на стекла снег, и стало видно яркую пелену внизу, до самого горизонта, как будто над бесконечной снежной равниной несся аппарат.

Пилот смотрел по часам и высчитывал в уме, где они сейчас должны были быть. Солнце зашло. Механик включил свет, и оттого в каюте у пассажиров стало уютней. Все привыкли к равномерному реву моторов и свисту ветра. В каюте было тепло, и можно было забыть, что под аппаратом полторы версты пустого пространства, что если упасть, то ворон костей не соберет, что жизнь всех — в искусстве пилота и исправной работе моторов. Многие совсем развеселились, а толстый пассажир посылал всем смешные записки.

Вдруг в рев моторов ворвались какие-то перебои. Пассажиры беспокойно переглянулись. Долговязый побледнел и в первый раз взглянул в окно: оттуда на него глянула пустая темнота, только отражение лампочки тряслось в стекле.

Но перебои прекратились, и опять по-прежнему ровным воем ревели моторы.

«Не пугайтесь,— писал толстяк,— если и станут моторы, мы спланируем».

«В море»,— приписал долговязый и передал записку обратно.

Действительно, аппарат летел теперь над морем. Механик напряженно слушал рев моторов, как доктор слушает сердце больного. Он понял, что был пропуск, что, вероятно, засорился карбюратор — через него попадает бензин в мотор, а что теперь пронесло; но уже знал, что бензин не чист, и боялся, что засорится карбюратор — и станет мотор.

Федорчук спросил, в чем дело. Но механик отмахнулся и, не отвечая, продолжал напряженно прислушиваться. Ученик старался сам догадаться, отчего это поперхнулся мотор. Тысяча причин: магнето, свечи, клапаны — и какой мотор, правый или левый? В каждом моторе опять же два карбюратора. Федорчуку тоже приходило в голову, не засорилось ли.

«Ну,— подумал Федорчук,— будем планировать и чиниться в воздухе».

Но ему было удивительно, почему так перепугался этот знающий механик. Такой он трус или в самом деле что-нибудь серьезное, чего в полете не исправить, а он, новичок, не понимает?

Но тут рев мотора стал вдвое слабее. Пилот повернул руль и выключил левый мотор. Федорчук понял, что правый стал сам.

Механик побледнел и стал качать ручной помпой воздух в бензинный бак. Федорчук сообразил, что он хочет напором бензина прочистить засорившийся карбюратор, но знал уже, что это ни к чему. Пилот кричал на ухо механику, чтобы тот шел на крыло наладить остановившийся мотор.

Альтиметр показывал 1200 метров.

А в каюте встревоженные пассажиры глядели друг другу в испуганные лица, и даже толстяк писал не совсем четко: рука его тряслась немного.

«Мы планируем, сейчас исправят мотор, и мы полетим».

Но мысленно все прибавляли: «вниз головой в море».

Пассажиры не знали, на какой они высоте.

Все боялись моря внизу, и в то же время их пугала высота.

Долговязый пассажир вдруг сорвался с места и бросился к дверям каюты; он дергал ручку, как будто хотел вырваться из горящего дома. Но дверь была заперта снаружи. Дама выпустила из рук книжку, дико, пронзительно закричала. Все вздрогнули, вскочили с мест и стали бесцельно метаться.

Толстяк повторял, не понимая своих слов:

— Я скажу, чтобы летели, сейчас скажу!..

Дама повернулась к окну и вдруг мелко и слабо забарабанила кулачками по стеклу, но сейчас же упала без чувств поперек каюты.

Военный, бледный как полотно, стоял и глядел в черное окно остановившимися глазами. Колени его тряслись, он еле стоял на ногах, но не мог отвести глаз. Молодой человек в синей кепке закрыл лицо руками, как будто у него болели зубы. В переднем углу пожилой пассажир мотал болезненно головой и вскрикивал: «Га-га-га». В такт этому крику все сильнее дергалась ручка двери и больше раскачивался молодой человек. «Га-га-га» перешло в исступленный рев, и вдруг все пассажиры завыли, застонали раздирающим хором.

А механик все возился, все подкачивал помпу, стукал пальцем по стеклу манометра. Пилот толкнул его локтем и строго кивнул головой в сторону выхода на крыло. Механик сунулся, но сейчас же вернулся — он стал рыться в ящике с инструментами, а они лежали в своих гнездах, в строгом порядке. Хватал один ключ, бросал, мотал головой, что-то шептал и снова рылся.

Федорчук теперь ясно видел, что механик струсил и ни за что уж не выйдет на крыло. Пилот раздраженно толкнул механика кулаком в шлем и ткнул пальцем на альтиметр: он показывал 150. Сто пятьдесят метров до моря.

Механик утвердительно закивал головой и еще быстрее стал перебирать инструменты. Пилот крикнул:

— Возьми руль!

Хотел встать и сам пойти к мотору, но механик испуганно замахал руками и откинулся на спинку сиденья.

Федорчук вскочил.

— Давай ключ!— крикнул он механику.

Тот дрожащей рукой сунул ему в руки маленький гаечный ключик. Федорчук вышел на крыло.

Резкий, пронизывающий ветер нес холодный туман; он скользкой корой намерзал на крыльях, на стойках, на проволочных тягах.

— К мотору!

Рискуя каждую секунду слететь вниз, добрался Федорчук до мотора. Теплый еще.

Федорчук слышал вой из пассажирской каюты и нащупывал на карбюраторе нужную гайку.

Вот она!

Скользко стоять, ветер ревет и толкает с крыла. Вот гайка подалась.

Идет дело!

Спешит Федорчук, и уж слышно, как ревет внизу море. Еще минута, другая — и аппарат со всеми людьми потонет в мерзлой воде.

— Готово!

Теперь гайку на место! Замерзли пальцы, не попадает на резьбу проклятая гайка. Сейчас, сейчас на месте, теперь немного еще притянуть.

— Есть! — заорал Федорчук во всю силу своих легких.

Включили электрический пуск, и заревели моторы. В каюте все сразу стихли и опустились где кто был: на пол, на диван, друг на друга. Толстяк первый пришел в себя и стал подымать бесчувственную даму.

А Федорчук смело лез по крылу назад к управлению. У него весело было на сердце. Порывы штормового ветра бросали аппарат. Федорчук взялся за ручку

дверцы, но соскользнула нога с обледенелого крыла, ручка выскользнула из рук, и Федорчук сорвался в темную пустоту.

Через минуту пилот злобно взглянул на механика. Тот, бледный, все еще перебирал инструменты в ящике. Оба понимали, почему нет Федорчука.

ПОД ВОДОЙ

Был ясный, солнечный день. Эскадра, состоявшая из двух дивизионных миноносцев и дивизиона подводных лодок, вышла на маневры в море. Легкий ветер и веселая зыбь. Совсем по-праздничному. С головного миноносца давали сигналы, и суда перестраивались. Сигнальщики, на обязанности которых разбирать и передавать сигналы, во все глаза в бинокли наблюдали за мачтой головного судна, чтобы не пропустить сигнала. А там то и дело подымались и опускались сигнальные флажки. Подводные лодки шли, выставив свою серую спину из воды, как морские чудовища. Как сердце, глухо стукал внутри каждый дизель-мотор. Сегодня всем было весело, даже кочегары на миноносцах, наглухо закупоренные в котельном отделении, как в коробке, чувствовали веселое напряжение и, хоть не видали, что наверху делалось, знали, что что-то удалое затевается и уже никак нельзя подгадить, и все бойко шевелились в жаркой атмосфере кочегарки, поминутно поглядывали на манометр: не упал бы хоть на йоту пар. На подводных лодках все было в еще большем напряжении: каждую минуту ждали приказания погрузиться в воду, и каждому командиру хотелось это сделать на виду у всей эскадры первому. Люди стояли по местам. Вот-вот прикажут под воду — дизель-мотор надо остановить и пустить в ход электрический мотор, ток для которого запасен в аккумуляторах; задраить наглухо входной люк и выставить из воды перископ — длинную трубку, этот глаз подводной лодки: через нее из-под воды можно видеть все, что делается на поверхности. Вдали на горизонте едва обозначался силуэт крейсера: там адмирал, он наблюдает за всеми движениями эскадры, следит, правильно ли суда выполняют то, что им приказано сделать.

Все чувствовали, что дело идет пока превосходно: суда перестраиваются быстро и точно, совсем как солдаты на ученье, держат правильные расстояния, все идут одной скоростью, все одинаковые, как игрушки новые, и, кажется, дымят даже одинаково.

Подводной лодкой № 17 командовал лейтенант Я. Он хорошо знал свое судно и надеялся, что теперь он, пожалуй, погрузится вторым; № 11 погружался всегда так, как будто его какая-нибудь рука сразу топила, жутко смотреть — за ним не угнаться. Ну, а другим лейтенант Я. спуску не даст. Команда как один. Всем хотелось не дать промашки. По сигналу надо погрузиться и атаковать адмиральский крейсер, затем, не всплывая на поверхность, вернуться в порт. А завтра будет отчет о маневрах, и целый день можно гулять, ходить к знакомым в городе и рассказывать про эту веселую прогулку. Мичман, не доверяя сигнальщику, сам тоже смотрел в большой бинокль на мачту главного миноносца, ожидая условленного сигнала. Механик со своими машинистами напряженно ждал команды сверху. Все было так натянуто, что, кажется, чихни теперь кто-нибудь громко, и все дружно стали бы переводить лодку в подводное состояние.

— Ну что? Есть? — спрашивал лейтенант каждый раз, когда новые флаги появлялись на главном миноносце.

— Не нам,— вздохнув, отвечал мичман.

— Есть! — вдруг закричал мичман, отрывая от глаз бинокль.

Капитан стал командовать к спуску, но он еще не договорил команды, как дизель уже стал, и вместо него запел, зажужжал электромотор, уже стали наполняться цистерны балластной водой; все делалось само собой: спустился курок напряженного ожидания и руки, которые томились наготове, быстро делали свое дело.

Вот уже под водой и на столике под перископом шатается на качке мелкая веселая картинка моря, бегущих миноносцев, а вон, как точка вдали,— адмиральский крейсер.

Нет, хорошо идут нынче маневры — всем было весело и радостно.

Вот уже близко крейсер. Теперь надо убрать перископ и идти по компасу в том же направлении. Перископ виден; он торчит все же из воды, и от него, как

усы, в обе стороны расходятся от ходу тонкие волны. Уже подойдя ближе, надо только на минуту его выставить, чтобы проверить свое движение, потом подойти как можно ближе и выпустить мину... конечно, учебную, холостую.

Кажется, все удалось. № 17 взял по компасу обратный курс и пошел к порту. Теперь опять поставили перископ, и ясный день снова заиграл на белом столике.

— Ну, молодой человек, поздравляю,— сказал пожилой минный офицер мичману.— Первые маневры, не так ли? Чего на часы смотрите? Уж ждет вас кто-нибудь на берегу?— И он лукаво погрозил пальцем.

Мичман покраснел и улыбнулся.

— Нет, на что это в порт под водой? — продолжал минер.— Шутки шутками, а курить до смерти хочется. Далеко еще?

— Я считаю, что уже не больше часу,— сказал мичман и посмотрел на свои часы-браслет.

Справа виден был невдалеке перископ другой подводной лодки. Она понемногу обгоняла. Мичман завидовал и каждую минуту смотрел на часы.

— Ну, скажите,— приставал минер,— сейчас на берег, белый китель — и на бульвар! Не терпится?

Мичман отвернулся, но видно было, что улыбался.

Лейтенант сохранял спокойный деловой вид. Его тоже разбирало веселье удачи и радовал веселый вид под перископом, но он сдерживался, чтобы казаться солиднее.

Его интересовало, каким он опустился: вторым или опоздал. Он уже думал, что ничего, если и третьим.

Но вот он, порт. Прошли в ворота. Впереди на якоре торчит всем корпусом из воды порожний коммерческий пароход. «Тут пятьдесят футов, пароход сидит не больше двадцати. Есть где пройти под ним,— подумал лейтенант.— Эх, убрать перископ и поднырнуть под пароход!» Веселость вырвалась наружу. Перископ убран, рулями дали уклон лодке вниз и потом стали подыматься.

Но в это время сразу ход лодки замедлился. Все пошатнулись вперед. Лейтенант вздрогнул. Минер вопросительно на него взглянул.

— Сели на мель? Так ведь? — спросил он лейтенанта.

Рули были поставлены на подъем, винт работал, а приборы показывали, что лодка на той же глубине.

Лейтенант вспомнил, что тут в порту глинистое, липкое дно; понял, что лодка своим брюхом влипла в эту вязкую жижу. И как ногу трудно оторвать от размокшей глинистой дороги, так лодке теперь почти невозможно оторваться от дна. Лейтенант все это соображал, и как он теперь раскаивался, что решился, поддавшись веселости, на этот мальчишеский поступок! Он приказал выкачать воду изо всех цистерн. Мичман хотел показать, что он ничего не боится, и весело ходил смотреть, исполнено ли приказание лейтенанта. Но вся команда понимала, что дело плохо, и сосредоточенно исполняла приказания. Лейтенант смотрел на приборы.

Ну хоть бы что двинулось! Приборы показывали ту же глубину.

«Надо попробовать раскачать лодку,— думал лейтенант.— Пусть вся команда перебегает из носа в корму и обратно. Может быть, только чуть-чуть в одном месте держит ее эта липкая донная грязь».

Команда стала перебегать из носа в корму и обратно, насколько это позволяло внутреннее устройство лодки, загороженное приборами, аппаратами. Лодка медленно раскачивалась, и лейтенанту представилось, как липкая глина держит в своем цепком гнезде круглое брюхо лодки и лодку не оторвать от глины, как не разнять две мокрые пластинки стекла.

Стали раскачиваться с борта на борт. Лодка немного переваливалась. Старались угадать такт, чтобы вовремя поддавать, как раскачивают качели. Но и это не помогло. Лейтенант смотрел на приборы, и все по его лицу читали, что дело не подвинулось ни на волос.

— Мы еще, быть может, больше закапываемся,— мрачно проворчал механик.

Лейтенант ничего не ответил. Он, нахмурясь, смотрел вниз, что-то усиленно соображая. Все ждали и смотрели на него. Он чувствовал эти взгляды и напряженное ожидание, и это мешало ему спокойно соображать. Он как будто видел сквозь железную обшивку лодки эту липкую полужидкую глину, которая присосала дно судна; хотелось выскочить наружу и выручить судно хоть ценой своей жизни. Он повернулся и ушел в свою каюту, приказав остановить мотор.

Механик посмотрел сам на приборы.

— Над нами всего двадцать пять футов воды,— сказал он.

Все молчали. Слышно было, как шлепает вверху колесами пароход. Казалось, он толокся на месте.

— Буксир идет,— шепотом сказал один матрос.

— Покричи им,— пошутил кто-то.

Все ждали капитана. А он сидел у себя, в своей крошечной каютке, и не мог сосредоточить своих мыслей. Он все думал о том, что из-за его шалости все эти люди погибли, что нельзя даже крикнуть «спасайся, кто может», потому что никто не может спасаться — все они плотно припаяны ко дну этим глинистым грунтом и не могут вырваться из железной коробки. Эта мысль жгла его и туманила разум.

Ему было бы легче, если бы весь экипаж возмутился, если бы на него набросились, стали бы упрекать, проклинать, а лучше всего, если б убили.

А весь экипаж собрался около рулевого управления, изредка шептались, коротко и серьезно. Мичман все посматривал на часы, но теперь не понимал уж, который час.

— Сколько времени? — спросил минер.

Мичман снова взглянул на браслет.

— Четыре часа,— сказал он, но так напряженно спокойно, что все поняли, как он боится.

— Ну, еще на час..— начал было механик.

Он хотел сказать «на час хватит воздуху», но спохватился, боясь волновать команду. Но все поняли, что если не спасут их, если не найдут и не вытащат, то вот всего этот час и остается им жить. Тяжелый вздох пронесся над кучкой людей.

— Что ж капитан? — с нетерпеливой тоской сказал механик. Он раздражался и терял присутствие духа.

— Ну что капитан? — сказал задумчиво минер.— Что капитан. Что он может сделать, капитан?

Мичман стоял красный, опершись о переборку, и все смотрел на свой браслет, как будто ждал срока, когда придет спасенье.

— Ведь мы через час задохнемся. Эй, вы,— раздраженно сказал механик по-английски и дернул мичмана за руку,— пойдите скажите капитану, что остается час. Идите сейчас же.

Но в это время сам капитан показался в проходе. Он был бледен как бумага, и лицо при свете электрической лампы казалось совсем мертвым. Его не сразу узнали и испугались, откуда мог взяться этот человек.

Только черные глаза жили, и в них билась боль и решимость.

Все смотрели на него, но никто не ждал приказаний,— все забыли об опасности, глядя на это лицо.

— Я пришел вам сказать,— начал капитан,— что я, я виноват во всем. И не по оплошности, а по шалости, вы сами это знаете, поднырнул — не надо было. Убейте меня.

Он держал за ствол браунинг и протягивал его рукояткой вперед.

— Что вы, что вы! — раздались голоса из команды.— Еще, может, спасут! А не то уж вместе как-нибудь.

Капитан с минуту глядел на команду твердыми, горящими глазами. Затем круто повернулся и пошел назад. Мичман побежал вслед за ним.

— Капитан, не беспокойтесь...— начал было он.

Но в лице капитана не было беспокойства.

— Вот, возьмите,— сказал он, передавая мичману судовой журнал,— и пишите дальше.

— Приказаний никаких?

— Я советую людям лечь и не двигаться, тогда подольше хватит воздуху. Может быть, дождутся помощи, нас хватятся. Берегите воздух. Пишите, пока будет можно. Ступайте.

Мичман вышел и передал распоряжение капитана. Все молча разошлись и легли.

Мичман сел за стол, раскрыл журнал.

«...20 июня 1912 года в 2 часа 40 мин. пополудни,— прочел он написанное рукой капитана,— я, лейтенант Я., командир подводной лодки № 17, из мальчишеской шалости, вместо того чтобы обойти стоящий в порту пароход, нырнул под него и, не успев подняться, сел на липкий грунт, чем и погубил 13 человек экипажа. Для спасения пытался...» Затем шло описание попыток раскачать лодку и замечание, что команда вела себя геройски, не упрекнув его ни словом и не выйдя из повиновения.

«4 ч. 17 мин.,— написал мичман,— принял журнал от лейтенанта Я. Команда лежит по койкам».

«4 ч. 29 мин. над нами быстро прошел винтовой пароход».

«4 ч. 40 мин. застрелился лейтенант Я. в своей каюте. Прилагаю его записку:

«Я не имею права дышать этим воздухом».

«5 ч. 10 мин. задохся машинист Семенов. Не могу писать и передаю журнал минному...»

«5 ч. 12 мин.,— писал минер,— что-то скребнуло по корпусу судна. Команда задыхается. Не могу встать. Что-то...»

Но тут запись прервалась неровным росчерком внизу; очевидно, перо вывалилось из рук писавшего.

А наверху два миноносца тащили по дну проволочный канат, концы которого были привязаны к их кормам. Железная петля тянулась по дну и шарила подводную лодку. С торгового парохода сказали, что видели перископ справа, потом он исчез и снова не показался. Сказали, когда уж по всему порту разнеслась весть, что № 17 с маневров не вернулся.

Миноносцы быстро шарили по всему порту, другая партия искала в море по пути эскадры, пока не дали знать с торгового парохода. Миноносцы бросились в указанное место; все знали, что каждая минута может стоить жизни людей.

На миноносце закричали, когда увидали, как натянулся проволочный канат, задев за лодку. На берегу толпа с напряжением следила за работой миноносцев и радостно загудела, услышав крик. Канат вывернул лодку из ее липкого гнезда, и она всплыла на поверхность. Спешно заработали мастеровые, раскупоривая этот железный склеп. Врачи бросились спасать: все уже было приготовлено. Не привели в себя только троих, среди них и мичмана.

Странно было слышать, как часы все тикали на мертвой руке.

КАК Я ЛОВИЛ ЧЕЛОВЕЧКОВ

Когда я был маленький, меня отвезли жить к бабушке. У бабушки над столом была полка. А на полке пароходик. Я такого никогда не видал. Он был совсем настоящий, только маленький. У него была труба: желтая и на ней два черных пояса. И две мачты. А от мачт шли к бортам веревочные лесенки. На корме стояла будочка, как домик. Полированная, с окошечками и дверкой. А уж совсем на корме — медное рулевое

колесо. Снизу под кормой — руль. И блестел перед рулем винт, как медная розочка. На носу два якоря. Ах, какие замечательные! Если б хоть один у меня такой был!

Я сразу запросил у бабушки, чтоб поиграть пароходиком. Бабушка мне все позволяла. А тут вдруг нахмурилась:

— Вот это уж не проси. Не то играть — трогать не смей. Никогда! Это для меня дорогая память.

Я видел, что, если и заплакать, не поможет.

А пароходик важно стоял на полке на лакированных подставках. Я глаз от него не мог оторвать.

А бабушка:

— Дай честное слово, что не прикоснешься. А то лучше спрячу-ка от греха.

И пошла к полке.

Я чуть не заплакал и крикнул всем голосом:

— Честное-расчестное, бабушка! — И схватил бабушку за юбку.

Бабушка не убрала пароходика.

Я все смотрел на пароходик. Влезал на стул, чтоб лучше видеть. И все больше и больше он мне казался настоящим. И непременно должна дверца в будочке отворяться. И, наверно, в нем живут человечки. Маленькие, как раз по росту пароходика. Выходило, что они должны быть чуть ниже спички. Я стал ждать, не поглядит ли кто из них в окошечко. Наверно, поглядывают. А когда дома никого нет, выходят на палубу. Лазят, наверно, по лестничкам на мачты.

А чуть шум — как мыши: юрк в каюту. Вниз — и притаятся. Я долго глядел, когда был в комнате один. Никто не выглянул. Я прятался за дверь и глядел в щелку. А они хитрые, человечки, знают, что я поглядываю. Ага! Они ночью работают, когда никто их спугнуть не может. Хитрые.

Я стал быстро-быстро глотать чай. И запросился спать.

Бабушка говорит:

— Что это? То тебя силком в кровать не загонишь, а тут этакую рань и спать просишься.

И вот, когда улеглись, бабушка погасила свет. И не видно пароходика. Я ворочался нарочно, так что кровать скрипела.

Бабушка:

— Чего ты все ворочаешься?

— А я без света спать боюсь. Дома всегда ночник зажигают.

Это я наврал: дома ночью темно.

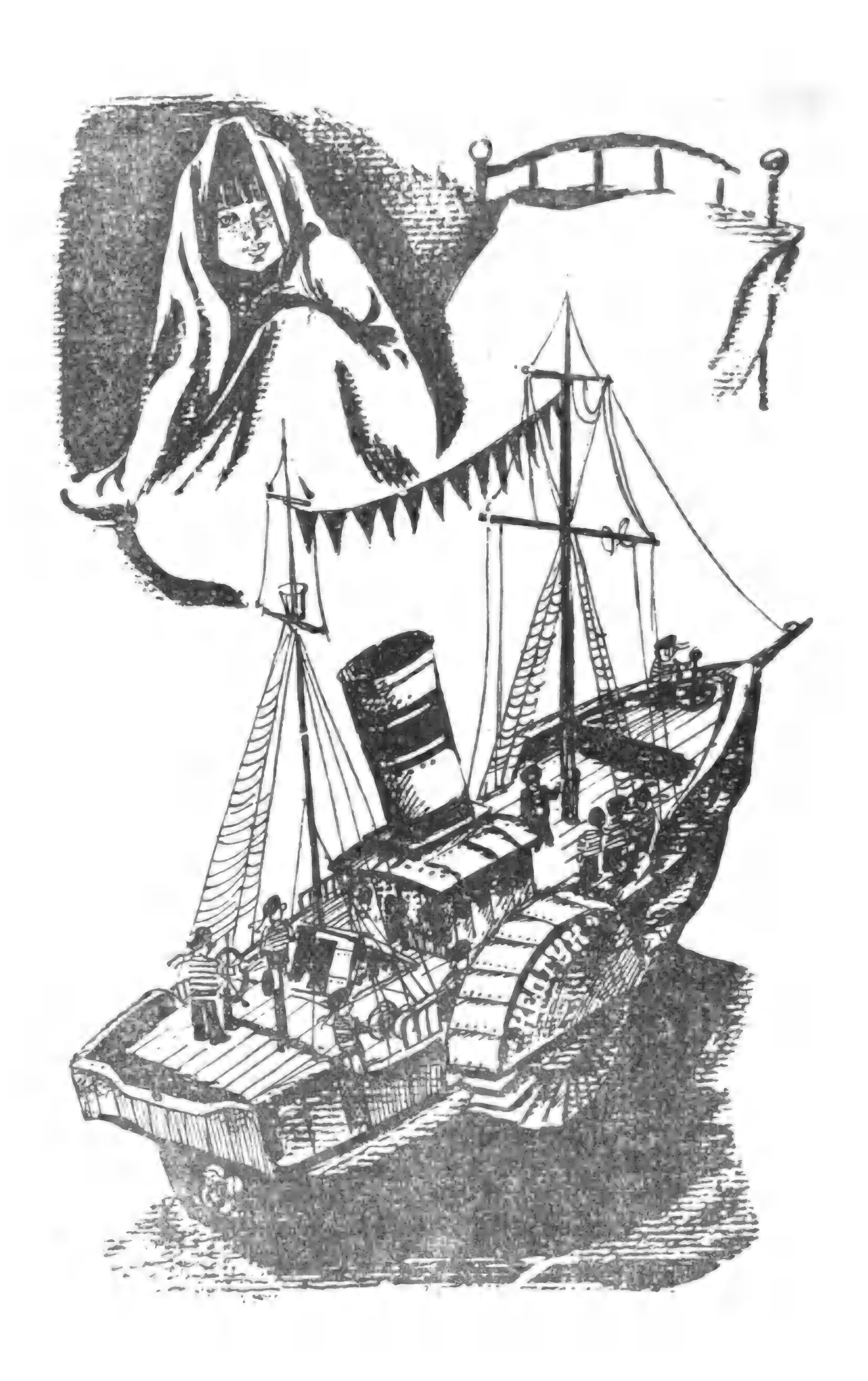
Бабушка ругалась, однако встала. Долго ковырялась и устроила ночник. Он плохо горел. Но все же было видно, как блестел пароходик на полке.

Я закрылся одеялом с головой, сделал себе домик и маленькую дырочку. И из дырочки глядел не шевелясь. Скоро я так присмотрелся, что на пароходике мне все стало отлично видно. Я долго глядел. В комнате было совсем тихо. Только часы тикали. Вдруг что-то тихонько зашуршало. Я насторожился — шорох этот на пароходике. И вот будто дверка приоткрылась. У меня дыхание сперло. Я чуть двинулся вперед. Проклятая кровать скрипнула. Я спугнул человечка!

Теперь уж нечего было ждать, и я заснул. Я с горя заснул.

На другой день я вот что придумал. Человечки, наверно же, едят что-нибудь. Если дать им конфету, так это для них целый воз. Надо отломить от леденца кусок и положить на пароходик, около будочки. Около самых дверей. Но такой кусок, чтоб сразу в ихние дверцы не пролез. Вот они ночью двери откроют, выглянут в щелочку. Ух ты! Конфетища! Для них это — как ящик целый. Сейчас выскочат, скорей конфетину к себе тащить. Они ее в двери, а она не лезет! Сейчас сбегают, принесут топорики — маленькие-маленькие, но совсем всамделишные — и начнут этими топориками тюкать: тюк-тюк! тюк-тюк! тюк-тюк! И скорей пропирать конфетину в дверь. Они хитрые, им лишь бы все вёртко. Чтоб не поймали. Вот они завозятся с конфетиной. Тут, если я и скрипну, все равно им не поспеть: конфетина в дверях застрянет — ни туда ни сюда. Пусть убегут, а все равно видно будет, как они конфетину тащили. А может быть, кто-нибудь с перепугу топорик упустит. Где уж им будет подбирать! И я найду на пароходе на палубе малюсенький настоящий топорик, остренький-преостренький.

И вот я тайком от бабушки отрубил от леденца кусок, как раз какой хотел. Выждал минуту, когда бабушка в кухне возилась, раз-два — на стол ногами и положил леденец у самой дверки на пароходике.



Ихних полшага от двери до леденца. Слез со стола, рукавом затер, что ногами наследил. Бабушка ничего не заметила.

Днем я тайком взглядывал на пароходик. Повела бабушка меня гулять. Я боялся, что за это время человечки утянут леденец и я их не поймаю. Я доро́гой нюнил нарочно, что мне холодно, и вернулись мы скоро. Я глянул первы́м делом на пароходик. Леденец, как был,— на месте. Ну да! Дураки они днем браться за такое дело!

Ночью, когда бабушка заснула, я устроился в домике из одеяла и стал глядеть. На этот раз ночник горел замечательно, и леденец блестел, как льдинка на солнце, острым огоньком. Я глядел, глядел на этот огонек и заснул, как назло! Человечки меня перехитрили. Я утром глянул — леденца не было, а встал я раньше всех, в одной рубашке бегал глядеть. Потом со стула глядел— топорика, конечно, не было. Да чего же им было бросать: работали не спеша, без помехи, и даже крошечки ни одной нигде не валялось — все подобрали.

Другой раз я положил хлеб. Я ночью даже слышал какую-то возню. Проклятый ночник еле коптел, я ничего не мог рассмотреть. Но наутро хлеба не было. Чуть только крошек осталось. Ну, понятно, им хлеба-то не особенно жалко, не конфеты: там каждая крошка для них леденец.

Я решил, что у них на пароходике с обеих сторон идут лавки. Во всю длину. И они днем там сидят рядком и тихонечко шепчутся. Про свои дела. А ночью, когда все-все заснут, тут у них работа.

Я все время думал о человечках. Я хотел взять тряпочку, вроде маленького коврика, и положить около дверей. Намочить тряпочку чернилами. Они выбегут, не заметят сразу, ножки запачкают и наследят по всему пароходику. Я хоть увижу, какие у них ножки. Может быть, некоторые босиком, чтобы тише ступать. Да нет, они страшно хитрые и только смеяться будут над всеми моими штуками.

Я не мог больше терпеть.

И вот — я решил непременно взять пароходик и посмотреть и поймать человечков. Хоть одного. Надо только устроить так, чтобы остаться одному дома. Бабушка всюду меня с собой в гости таскала. Все к каким-то

старухам. Сиди — и ничего нельзя трогать. Можно только кошку гладить. И шушукает бабушка с ними полдня.

Вот я вижу — бабушка собирается: стала собирать печенье в коробочку для этих старух — чай там пить. Я побежал в сени, достал мои варежки вязаные и натер себе лоб и щеки — все лицо, одним словом. Не жалея. И тихонько прилег на кровать.

Бабушка вдруг хватилась:

— Боря, Борюшка, где ж ты?

Я молчу и глаза закрыл. Бабушка ко мне:

— Что это ты лег?

— Голова болит.

Она тронула лоб.

— Погляди-ка на меня! Сиди дома. Назад пойду, малины возьму в аптеке. Скоро вернусь. Долго сидеть не буду. А ты раздевайся-ка и ложись. Ложись, ложись без разговору!

Стала помогать мне, уложила, увернула одеялом и все приговаривала: «Я сейчас вернусь, живым духом».

Бабушка заперла меня на ключ. Я выждал пять минут: а вдруг вернется? Вдруг забыла там что-нибудь?

А потом я вскочил с постели как был в рубахе. Я вскочил на стол, взял с полки пароходик. Сразу, руками понял, что он железный, совсем настоящий. Я прижал его к уху и стал слушать: не шевелятся ли? Но они, конечно, примолкли. Поняли, что я схватил их пароход. Ага! Сидите там на лавочке и примолкли, как мыши. Я слез со стола и стал трясти пароходик. Они стряхнутся, не усидят на лавках, и я услышу, как они там болтаются. Но внутри было тихо.

Я понял: они сидят на лавках, ноги поджали и руками что есть сил уцепились в сиденья. Сидят как приклеенные.

Ага! Так погодите же. Я подковырну и приподниму палубу. И вас всех там накрою. Я стал доставать из буфета столовый нож, но глаз не спускал с пароходика, чтоб не выскочили человечки. Я стал подковыривать палубу. Ух, как плотно все заделано!

Наконец удалось немножко подсунуть нож. Но мачты поднимались вместе с палубой. А мачтам не давали подниматься эти веревочные лесенки, что шли от мачт к бортам. Их надо было отрезать — иначе никак. Я на миг остановился. Всего только на миг. Но сейчас же торопливой рукой стал резать эти лесенки. Пилил их

тупым ножом. Готово, все они повисли, мачты свободны. Я стал ножом приподнимать палубу. Я боялся сразу делать большую щель. Они бросятся все сразу и разбегутся. Я оставил щелку, чтобы пролезть одному. Он полезет, а я его — хлоп! — и захлопну, как жука в ладони.

Я ждал и держал руку наготове — схватить.

Не лезет ни один! Я тогда решил сразу отвернуть палубу, туда в середку рукой — прихлопнуть. Хоть один, да попадется. Только надо сразу: они уж там небось приготовились — откроешь, а человечки прыск все в стороны. Я быстро откинул палубу и прихлопнул внутри рукой. Ничего. Совсем, совсем ничего! Даже скамеек этих не было. Голые борта. Как в кастрюльке. Я поднял руку. Под рукой, конечно, ничего.

У меня руки дрожали, когда я прилаживал назад палубу. Все криво становилось. И лесенки никак не приделать. Они болтались как попало. Я кой-как приткнул палубу на место и поставил пароходик на полку. Теперь все пропало!

Я скорей бросился в кровать, завернулся с головой.

Слышу ключ в дверях.

— Бабушка! — под одеялом шептал я.— Бабушка, миленькая, родненькая, чего я наделал-то!

А бабушка стояла уж надо мной и по головке гладила:

— Да чего ты ревешь, да плачешь-то чего? Родной ты мой, Борюшка! Видишь, как я скоро?

Она еще не видала пароходика.

ВАТА

Это наконец нас стало заедать. Приходишь, бывало, в порт. Вот он, таможенный досмотр, ходит и поглядывает, во все уголки нос засовывает:

— Что у вас тут? А под койкой что? А в вентиляторе что?

И ничего не находит.

А тут, смотрите, один нашелся такой скорпион, то есть досмотрщик, что ничего ему не надо искать, прямо:

— Вот эту доску мне оторвите!

— Как так рвать? А назад кто ее пришивать будет?

— Если ничего там нет, то все в прежний вид приведу я. А как обнаружено будет к провозу недозволенное, то сами должны понимать...— И пальчиком стукает: — Вот в этом самом месте.

Чиновник, что с ним ходит, брови поднимает, ему в глаза засматривает: так ли, мол? Как бы сраму не было!

А этот скорпион долбит пальчиком:

— Небеспременно здесь.

Рвут доску — и как чудо: в том самом месте штука шелка.

Потом идет тихонечко в кочегарку, сразу в угольную яму:

— Вот тут копайте.

А в этих угольных ямах угля наворочено гора, и раскидывать его некуда, да и темнота, только лампочка электрическая коптит.

А он, как конь, ногой топчет этот уголь:

— Здесь копайте.

Роют:

— Ну,— говорят,— ничего там не сыщешь, тебя туда самого закопаем живого.

В этот уголь чиновник поневоле лезет. Назло ребята пыль поднимают, уголь швыряют лопатами, как от собак отбиваются. Гром стоит — ведь железо кругом. Коробка это железная — угольная-то яма. Называется только так. Чиновник чихает, платочком рот прикрывает. А скорпион все ниже лезет и лампочку на шнурке тянет.

— Зачем лёвей берешь? Нет, ты вот здесь, здесь копай. Ага! Это что?

И лапами, что когтями,— цап! Пакет. Наверх, на палубу. Тут распутывать, разворачивать — бумажки. Какие такие бумажки? Хлоп — и жандарм тут.

— Эге-с! — говорит жандарм.— Понятно-с. Механика сюда! Капитана!

Акт писать: найдены зарытыми бумажки, а бумажки насчет того, чтобы царя долой, фабрикантам по затылку, и вообще неприятные бумажки. А пришли из-за границы.

Потом слух проходит, что дознались: бумажки за границей печатались, даже журнальчик среди бумаже-

чек нашли. Даже кипку изрядную. Журнальчик-то на тоненькой бумажке отпечатан.

Тут всю машинную команду перетрясли. Водили, допрашивали. Двоих так назад и не привели.

А скорпион этот уже гоголем ходит. То есть как это сказать? Он до сих пор змеей смотрел, а уж теперь прямо аспидом. Идешь мимо, а он дежурным на переезде стоит и провожает тебя глазами, как из двустволки целит. И, видать, трусит, как бы кто его не угораздил булыжником. Оружие им не полагалось по форме, но этому, слышно было, выдали револьвер, чтобы держал в кармане на случай чего. И все это знали.

Чиновник при всех ему говорил:

— С тобой бы, Петренко, клады в лесах искать. С тобой и рентгена никакого не надо. Как это ты? А?

— Это, ваше высокородие, нюх и практика.

Однако взяли двух. Но мы-то с Сенькой остались на пароходе. На берегу мы с ним имели совет меж собой. Ясно, что глаза скорпионовы с нами плавают, кто-то смотрит, слушает и заваливает публику. И мудреного тут нет ничего. У кочегаров и матросов на носу общие помещения — кубрики: кочегарский и матросский. По борту — койки в два этажа, и по переборке такие же. Посреди стол. В углу икона, а над койками карточки, картинки разные. Все вместе едят, вместе спят. Тут чуть что пошептал, сейчас всем видать и все слыхать. Протрепались ребята или без оглядки языком били, только это уже факт, что есть засыпайлы какие-нибудь меж своих же. А вот кто? Стали план развивать: кто бы это был и как его узнать? А на пароходе совсем паршиво: все друг на друга волком. Всякий думает: «Это ты засыпал». Да и верно. У одного два несчастных фунта цейлонского чая и то нащупал этот скорпион. Его ребята угощать пробовали. Откупорят заграничную бутылку, ему стакан. Выпьет, губы оботрет: «Доброе вино! А в сундучке у вас как?»

Но нам с Сенькой было задание — держать связь с заграницей, доставлять журналы. А тут на! Провалили, и двое людей засыпалось. Это с какими глазами мы туда выставимся! Хоть списывайся на берег да на другой пароход. И тут наши товарищи, здешние, стали срамить. Нас с Сенькой такая досада взяла, что тех двух арестованных, кочегаров этих, даже и не жалели. Ругали прямо.

А в комитете нам сказали:

— Товарищи дорогие, мы уж и не знаем, как вам и доверять. То есть ребята вы, может, и верные, но нам сейчас швыряться сотнями номеров нельзя: время горячее. Это не шутки. Не коньяк в пазухе проносить. Мы другой путь будем искать.

И все на нас глядят, и каждый думает, что мы с Сенькой шляпы и свистунки́.

— Вы,— говорят,— товарищи, обдумайте.

Тогда я говорю:

— Этот рейс мы не беремся: действительно, надо все проверить. И мы скажем, а когда скажем, то уж... одним словом, скажем.

Чего тут было говорить? Пошли мы как оплеванные. Но про доносчика этого решили, что выловим, и тогда уж его, гада, просто в воду за борт. Мало ли что, упал человек за борт. Ночью. Бывает же такое.

Всех мы перебрали с Сенькой. Всех обсудили. Да нет, все будто одинаковые. На всякого можно подумать. И вот что выдумали. Выдумали мы уже в море, когда снялись, а совсем уговорились в персидском порту, в Бассоре.

Принимали мы там хлопок. Это как бы побольше кубического метра тюк. Он зашит в джут и затянут двумя железными полосами, как ремнями. Вата, а в таком тюке четырнадцать пудов ее. Это ее прессом так прессуют, что она там, в этом пакете, как камень. Даже не мягкая ничуть.

И вот наш план.

Будем говорить в кубрике за столом вдвоем по секрету. И смотреть, чтобы только один человек мог нас слушать. И начисто никто больше. И говорить будем, как вроде секрет меж собой. Так к примеру: «Так ты не забыл, значит, как это место (тюк, значит) пометил?» А другой должен говорить: «Нет, на каждой стороне красная точка в пятак».—«А сколько там номеров?» — «А две сотни газет положено, так сказывали».

А при другом говорить, что не точка, а кресты по углам черные. И для каждого разные марки. И, чтобы не спутать, Сенька все себе запишет где-нибудь.

Нас на погрузке ставили трюмными; это значит стоять в трюме и глядеть, чтобы грузчики правильно раскладывали груз. Грузчики — персы; значит, что я ни делаю, рассказать они не могут. А потом я над ними

вроде распорядитель всех делов. Сенька у себя во втором — тоже. Каждый взял по ведерку с краской и кисточкой. Это мы наперед приготовили. И жара там, в Бассоре, немыслимая. Краска стынет, как плевок на морозе. Вот я делаю вроде тревогу, персы на меня смотрят. Я сейчас с ведерком и мечу красным тюк. Они думают, что это надо по правилу. Я приказываю: осторожно, не размажь и кати его туда. Они слушают. Уж к обеду мы все марки наши поставили — двадцать семь марок, по числу людей. Теперь осталось двадцать семь разговоров устроить. И чтобы виду не показать, что мы это «на пушку» только.

Первый раз чуть все не пропало. Сенька — смешливый. Я при Осипе так серьезно начинаю:

— А ты,— говорю,— помнишь, какую ты марку ставил?

И вижу — Сенька со смеху не прожует. Меня в смех вводит. Не могу на него глядеть.

— Ты выйди на палубу,— говорю,— погляди, француз нас догоняет, «Мессажери».

Он еле до порога добежал. Ну что ты с таким станешь делать? Я уж думал, пропало наше дело.

Потом ему говорю:

— Если ты мне на разговор смешки начнешь и комики разные строить, то, чтобы мне сгореть, я тебя тут же вот этой медной кружкой по лбу. Разобрал?

Опять, что ли, с Осипом наново начинать? Оставили его напоследок. Взяли Зуева. Он всё папиросы набивал. Сядет с гильзами и штрикает, как машина. Загонял потом их тут же промеж своих, кто прокурится. Он себе штрикает, а мы вроде не замечаем. Начали разговор.

Сенька со всей, видать, силой собрал губы в трубку и не своим голосом, как удавленник:

— Красным крестом метил.

Ходу нам до дому месяц, а за месяц мы всех двадцать семь человек разметили на все наши двадцать семь марок, и всех записали.

Потом я Сеньку спрашиваю:

— На кого думаешь?

— На Осипа,— говорит.— Он аккурат присунулся ближе, как ты сказал, что двести номеров. А ты на кого?

А я сказал, что Кондратов. И потому Кондратов, что он сейчас же встал и отошел. Только услышал, что

кружком мечено, и сейчас же запел веселое, вроде нигде ничего, и вон вышел.

Простак гляди какой!

— На Осипа,— говорю,— думать нечего. Он человек семейный, ему подработать без хлопот, да вот сахару не ест, домой копит.

А уж к порту подходили, я уж совсем смешался, на кого думать. Семейный, а может быть, он самый и есть предатель, этим и подрабатывает. Другой вот — Зуев; чего он веселый, надо — не надо? Чего он ломоты эти строит? Так его и крутит, будто штопор в него завинтили. Из кочегаров двое тоже были у нас на мушке. Потом нам стало казаться, что на нас все по-волчьи глядят. Может, меж собой рассказывали про наш разговор? Уж не знали, как до порта дойдем.

Однако ничего. Опять чиновник к нам, опять этот самый скорпион, жандарм, все как полагается. Но только началась выгрузка, видим, бессменно скорпион стоит и каждый подъем глазом так и облизывает. Мы тоже поглядываем. Грузчики на берегу берутся по четыре человека, таскают эти тюки и городят из них штабель. Вдруг этот скорпион:

— Эй, эй, неси прямо в проходную таможню! Неси, неси, не рассказывай.

Хорошо, я заметил, а то сами бы мы проморгали,— с красным крестом на углу.

Я в заметку — Зуев.

Но уже по всему пароходу шум: понесли тюк хлопка в таможню. Сейчас уж чиновник пришел на пароход, приглашает немедленно нашего старшего помощника — капитан в городе был, на берегу. Еще двоих понятых из команды. Боцман говорит мне: «Ты пойдешь». И еще кочегар один. Приходим.

Комнатка небольшая, всего одна скамейка по стене. Два окошка. В окошки люди глядят. Посреди этот тюк. Чиновник стоит, губки облизывает. А скорпион весь на взводе. Шепчет чиновнику грозно что-то в ухо. Чиновник уж перед ним так и ахает.

— А, скажите, пожалуйста! Да уж знаю, знаю, насквозь видишь, рентген!

Ждали жандарма. Вот и жандарм. Послали кочегара за кусачками. Живо принес. Наш старший помощник говорит:

— Пишите акт, что вот кипа хлопка в четырнадцать пудов, что по вашему требованию, что вы отвечаете.

Чиновник со смешком:

— Па-ажалуйста, сделайте ваше любезнейшее одолжение.

Тут же на скамейке папку расстелил и пишет.

— Откупоривай,— говорит помощник кочегару.

— Есть! — И кочегар — хлоп-хлоп! — перекусил обручи.

Кипа, как живая, поддала спиной и распухла.

— Режь!

Полоснул кочегар по джуту, раскрыл: белая вата плотно лежит, будто снег, лопатой прибитый.

— Начинай,— шепотком говорит чиновник.

И начал скорпион сдирать слой за слоем эту вату. Чиновник тут же крутится. В окна столько народу нажало, что в комнате темно стало. Жандарм два раза ходил отпугивать. А ваты все больше да больше. Копнет ее скорпион, ломоток один, а начнет трепать — глядишь, облако выросло. Чиновник уж весь в пуху, пятится. Дорогие мои! Скорпион еще и четверти кипы этой не отодрал —полкомнаты ваты, и уж окно загородило. Он уж в ней по пояс стоит, как в пене, и уж со злости огрызается, рвет ее клочьями, ямку посередке копает.

Кочегар говорит:

— Пилу, может, принести?

Чиновник как гаркнет:

— Вон отсюда, мерзавец!

А наш старший:

— Это как же? Занесите в акт: оскорбили понятого.

Мы уже к двери пятимся, вата на нас наступает. Чиновник видит — костюм уж не уберечь, там же роется.

Их уж там не видно стало, как во сне потонули вовсе. А старший наш кричит:

— Ничего не видать, может, обман, может, еще сами подложите чего?

Уж и взбеленился чиновник, выбегает оттуда: домовой не домовой — чучело белое, вата на нем шерстью. Эх, тут как заорут ребята:

— Дед-мороз!

Он —назад. Они там с досмотрщиком вату топчут, примять хотят, да где! Она пухнет, всю комнату завалила, а полкипы еще нет.

Выскочил таможенный чиновник.

— Мерзавец! — кричит.— Запереть его там.

И побежал домой. Мальчишек за ним табун целый. Я на пароход. К Сеньке: «Где Зуев?» —«Сейчас был». Мы туда-сюда, нет Зуева. Так больше и не видал его никто. Сундучок его сдали в контору. И за сундучком никто не пришел.

ДЖАРЫЛГАЧ

Новые штаны

Это хуже всего—новые штаны. Не ходишь, а штаны носишь: все время смотри, чтоб не капнуло или еще там что-нибудь. Из дому выходишь—мать выбежит и кричит вслед на всю лестницу: «Порвешь — лучше домой не возвращайся!» Стыдно прямо. Да не надо мне этих штанов ваших! Из-за них вот все и вышло.

Старая фуражка

Фуражка была прошлогодняя. Немного мала, правда. Я пошел в порт, последний уж раз: завтра ученье начиналось. Все время аккуратно, между подвод прямо змеей, чтоб не запачкаться, не садился нигде,— все это из-за штанов проклятых. Пришел, где парусники стоят, дубки. Хорошо: солнце, смолой пахнет, водой, ветер с берега веселый такой. Я смотрел, как на судне двое возились, спешили, и держался за фуражку. Потом както зазевался, и с меня фуражку сдуло в море.

На дубке

Тут один старик сидел на пристани и ловил скумбрию. Я стал кричать: «Фуражка, фуражка!» Он увидал, подцепил удилищем, стал подымать, а она вот-вот свалится, и он и стряхнул ее на дубок. За фуражкой можно ведь пойти на дубок?

Я и рад был пойти на судно. Никогда не ходил, боялся, что заругают.

С берега на корму узенькая сходня, и страшновато идти, а я так, поскорей. Я стал нарочно фуражку искать, чтоб походить по дубку: очень приятно на судне. Пришлось все-таки найти, и я стал фуражку выжимать, а она чуть намокла. А эти, что работали, и внимания не обратили. И без фуражки можно было войти. Я стал смотреть, как бородатый мазал дегтем на носу машину, которой якорь подымают.

С этого и началось

Вдруг бородатый перешел с кисточкой на другую сторону мазать. Увидел меня да как крикнет: «Подай ведерко! Что, у меня десять рук, что ли? Стоит, тетеря!» Я увидал ведерко со смолой и поставил около него. А он опять: «Что, у тебя руки отсохнут — подержать минуту не можешь!» Я стал держать. И очень рад был, что не выгнали. А он очень спешил и мазал наотмашь, как зря, так что кругом деготь брызгал, черный такой, густой. Что ж мне, бросать, что ли, ведерко было? Смотрю, он мне на брюки капнул раз, а потом капнул сразу много. Все пропало: брюки серые были.

Что же теперь делать?

Я стал думать: может быть, как-нибудь отчистить можно? А в это время как раз бородатый крикнул: «А ну, Гришка, сюда, живо!» Матрос подбежал помогать, а меня оттолкнул; я так и сел на палубу, карманом за что-то зацепился и порвал. И из ведерка тоже попало. Теперь совсем конец. Посмотрел: старик спокойно рыбу ловит,— стоял бы я там, ничего б и не было.

Уж все равно

А они на судне очень торопились, работали, ругались и на меня не глядели. Я и думать боялся, как теперь домой идти, и стал им помогать изо всех сил: «Буду их

держаться» — и уж ничего не жалел. Скоро весь перемазался.

Пришел третий

Этот, с бородой, был хозяин; Опанас его зовут. Я все Опанасу помогал: то держал, то приносил, и все делал со всех ног, кубарем. Скоро пришел третий, совсем молодой, с мешком, принес харчи. Стали паруса готовить, а у меня сердце екнуло: выбросят на берег, и мне теперь некуда идти. И я стал как сумасшедший.

Стали сниматься

А они уж все приготовили, и я жду, сейчас скажут: «А ну, ступай!» И боюсь глядеть на них. Вдруг Опанас говорит: «Ну, мы снимаемся, иди на берег». У меня ноги сразу заслабли. Что ж теперь будет? Пропал я. Сам не знаю, как это снял фуражку, подбежал к нему. «Дядя Опанас,— говорю,— дядя Опанас, я с вами пойду, мне некуда идти, я все буду делать». А он: «Потом отвечай за тебя». А я скорей стал говорить: «Ни отца у меня, ни матери, куда мне идти?» Божусь, что никого у меня,— все вру: папа у меня — почтальон. А Опанас стоит, какую-то снасть держит и глядит не на меня, а что Григорий делает. Сердито так.

Так и остался я

Как гаркнет: «Отдавай кормовые!» Я слыхал, как сходню убирают, а сам все лопочу: «Я все буду делать, в воду полезу, куда хотите посылайте!» А Опанас как будто не слышит. Потом все стали якорь подымать машиной: как будто воду качают на носу этой самой машиной — брашпилем [1]

Я старался изо всех сил и ни о чем не думал, только чтоб скорей отойти, только чтоб не выкинули.

---

[1] Брашпиль — специальная лебедка для подъема якоря.

Сказали — борщ варить

Потом ставить стали паруса, я все вертелся и на берег не глядел, а когда глянул — мы уже идем, плавно, незаметно, и до берега далеко — не доплыть, особенно если в одежде.

У меня мутно внутри стало, даже затошнило, как вспомнил, что̀ я сделал. А Григорий подходит и так похорошему говорит: «А ты теперь поди в камбуз, борщ вари; там и дрова». И дал мне спички.

Какой такой камбуз?

Мне стыдно было спросить, что это — камбуз. Я вижу: у борта стоит будочка, а из нее труба вроде самоварной. Я вошел, там плитка маленькая. Нашел дрова и стал разводить огонь. Раздуваю, а сам думаю: что же это я делаю? А уж знаю, что все кончено. И стало страшно.

Ничего уж не поделаешь...

Ничего, думаю, надо пока что борщ варить. Григорий заходил от плиты закуривать и говорил, когда что не так. И все приговаривает: «Да ты не бойся, чего ты трусишь? Борщ хороший выйдет». А я совсем не от борща. Стало качать. Я выглянул из камбуза — уж одно море кругом. Дубок наш прилег на один борт и так пишет вперед. Я увидал, что теперь ничего не поделаешь. Мне стало совсем все равно, и вдруг я успокоился.

Поужинали — и спать!

Ужинали в каюте, в носу, в кубрике. Мне хорошо было, совсем как матрос: сверху не потолок, а палуба, и балки толстые — бимсы, от лампочки закопчены. И сижу с матросами.

А как вспомню про дом, и мамка и отец такими маленькими кажутся. Все равно: и я теперь ничего не могу сделать, и мне ничего не могут.

Григорий говорит: «Ты, хлопчик, наморился, спать лягай» — и показал койку.

Как в ящике

В кубрике тесно; койка — как ящик, только что без крышки. Я лег в тряпье какое-то. А как прилег, слышу: у самого борта вода плещет чуть не в самое ухо. Кажется, сейчас зальет. Все боялся сначала — вот-вот брызнет, особенно когда с шумом, с раскатом даст в борт. А потом привык, даже уютней стало: ты там плещи не плещи, а мне тепло и сухо. Не заметил, как заснул.

Вот когда началось-то!

Проснулся — темно, как в бочке. Сразу не понял, где это я. Наверху по палубе топочут каблучищами, орут, а зыбью так и бьет; слышу, как уже поверху вода ходит. А внутри все судно трещит, кряхтит на все голоса. А вдруг тонем? И показалось, что изо всех щелей сейчас вода хлынет, сейчас, сию минуту. Я вскочил, не знаю, куда бежать, обо все стукаюсь, в потемках нащупал лесенку и выскочил наверх.

Пять саженей

Совсем ночь, моря не видно, а только из-под самого борта зыбь бросается, как оскаленная, на палубу, а палуба из-под ног уходит, и погода ревет, воет со злостью, будто зуб у ней болит. Я схватился за брашпиль, чтоб устоять, а тут всего окатило. Слышу, Григорий кричит: «Пять саженей, давай поворот! Клади руля! На косу идем!» Дубок толчет, подбивает, шлепает со всех сторон, как оплеухами, а он не знает, как и повернуться,— и мне кажется, что мы на месте стоим и еще немного, и нас забьет эта зыбь.

Поворот

Пусть куда-нибудь поворот, все равно, только здесь нельзя. И я стал орать: «Поворот, поворот! Пожалуйста,

дяденьки, миленькие, поворот!» Моего голоса за погодой и не слыхать. А Опанас охрип, орет с кормы: «Куда, к чертям, поворот, еще этим ветром пройдем!» Еле через ветер его слышно. Григорий побежал к нему. А я стою, держусь, весь мокрый, ничего уже не понимаю и только шепчу: «Поворот, поворот, ой, поворот!»

Сели

Думаю: «Григорий, Гришенька, скажи ему, чтоб поворот!» И так я Григория сразу залюбил. Как он борщ-то мне помогал! Слышу обрывками, как они на корме у руля ругаются. Я хотел тоже побежать, просить, чтоб поворот. Не дошел — так зыбью ударило, что хватился за какой-то канат, вцепился и боюсь двинуться. Не знаю уже, где паруса, а где море и где дубок кончается. Слышу, Григорий кричит, ревет прямо: «Не видишь, толчея какая, на мель идет!» И вдруг как тряханет все судно, что-то затрещало,— я с ног слетел. На корме закричали. Григорий затопал по палубе. Тут еще раз ударило о дно, и дубок наклонился. Я подумал: теперь пропали.

Стало светать

Григорий кричит: «Было б до свету в море продержаться! Вперлись в Джарылгач в самый. Еще растолчет нас тут до утра!» А тут опять дубок наш приподняло, стукнуло о дно; он так весь и затрепетал, как птица. А зыбь все ходит и через палубу. Я все ждал, когда тонуть начнем. А тут Григорий на меня споткнулся, поднял на ноги и говорит: «Иди в кубрик; не бойся: мы под самым берегом». Я сразу перестал бояться. И тут заметил, что стало светать.

Второй Джарылгацкий знак

Я залез в кубрик. Пощупал — сухо. Судно не качало, а оно только вздрагивало, когда даст сильно зыбью в борт. Я вспомнил про дом: бог с ними, с брюками, головы бы не сняли, а теперь вот что. А наверху, слы-

шу кричат: «Я ж тебе говорил — под второй Джарылгацкий и выйдем». Я забился в койку и решил, что буду так сидеть, пусть будет что будет. Что-нибудь же будет!

Берег

А наверху погода ревет и каблуки топают. Слышу, по трапу спускаются и Григорий кричит: «Эй, хлопчик, как тебя? Воды нема в кубрике?» Я думал — ему пить, и стал руками шарить. А он где-то впереди открыл пол и, слышу, щупает. Я опять испугался: значит, течь может быть. Григорий говорит: «Сухо». Я выглянул из койки в люк; мутный свет видно, и как будто все сразу спокойней стало: это от свету.

Я выскочил за Григорием на палубу. Море желтое и все в белой пене.

Небо наглухо серое.

А за кормой еле виден берег — тонкой полоской, и там торчит высокий столб.

Вывернуться!

Ветром обдувало, я весь мокрый, и у меня зуб на зуб не попадал. Опанас тычет Григорию: «Если бы за знак закрепить да взять конец на тягу, вывернулись бы и пошли!» А Григорий ему: «Шлюпку перекинет, вон какие зыба под берегом лопаются, плыть надо». Опанас злой стоит, и ему ветром бороду треплет, страшный такой. Посмотрел на меня зверем: «Вот оно, кричал тогда: «В воду, я хоть в воду»,— вот все через тебя. Лезь вот теперь за борт!» Мне так захотелось на берег и так страшно Опанаса стало, что я сказал: «Я и поплыву, я ничего». Он не слыхал за ветром и заорал на меня: «Ты что еще там?» У меня зубы стучат, а я все-таки крикнул: «Я на берег!»

С борта

Опанас кричит: «Плыви, плыви! Возьмешь не знай кого, через тебя все и вышло. Полезай!» Григорий говорит: «Не надо, чтоб мальчик. Я поплыву». А Опанас:

«Пусть он, он!» — и прямо зверем: «Пропадем с тобой, все равно за борт выкину!» Григорий ругался с ним, а я кричу: «Поплыву, сейчас поплыву!» Григорий достал доску, привязал меня за грудь к доске. И говорит мне в ухо: «Тебя зыбью аккурат на Джарылгач вынесет, ты спокойно, не теряй силы». Потом набрал целый моток тонкой веревки. «Вот,— говорит,— на этой веревке пускать тебя буду. Будет плохо — назад вытяну. Ты не трусь! А доплывешь — тяни за эту веревку, мы на ней канат поддадим, закрепи за столб, за знак этот, а вывернемся, сойдем с мели, ты канат отвяжи скорей, отдай, сам хватайся за него, мы тебя на нем к себе на судно и вытянем». Мне так хотелось на берег,— казалось, совсем близко, я на воду и не глядел, только на песок, где знак этот торчал. Я полез на борт. А Гришка спрашивает: «Как звать?» А я и не знаю, как сказать, и, как в училище, говорю: «Хряпов», а потом уже сказал, что Митькой. «Ну,— говорит Григорий,— вались, Хряп! Счастливо».

На доске

Я бросился с борта и поплыл. Зыбь сзади накатом, в затылок мне, и вперед так и гонит; я только на берег и смотрю. А берег низкий, один песок. Как зыбью подымет, так под сердце подкатывает, а я все глаз с берега не свожу. Как стал подплывать, вижу: ревет прибой под берегом, рычит, копает песок, всё в пене. Закрутит, думаю, и убьет прямо о песок головой. И вот всё ближе, ближе...

Зыбь лопается

Вдруг, чувствую, понесло-понесло меня на гребешке, высоко, как на руках, подняло, и сердце упало: сейчас зыбь лопнет, как трахнет об песок! Не буду живой! А тут веревка моя вдруг натянулась, и зыбь вперед пошла и без меня лопнула. И так пошло каждый раз — я догадался, что это Григорий с судна веревкой правит. Я уж песок под ногами стал чувствовать, хотел бежать, но сзади как заревет зыбь, нагнала, повалила, завертела, я песку наглотался, но на доске снова выплыл.



За знак

Наконец я выкарабкался. Глянул на судно: стоит и парусами на зыби колышет, как птица подстреленная. А я так рад был, что на земле, и мне все казалось, что еще качает, что земля подо мной ходит. Я отвязался от доски и стал тянуть веревку. Знак как раз тут же был: громадный столб с укосинами, и наверху что-то наворочено вроде бочки. Я взял веревку на плечи и пошел. Ноги в песке вязнут, и во рту песок, и в глаза набило, и низом метет песком. Еле веревку вытащил... Смотрю, уж кончилась тонкая веревка и канат пошел толстый. Я его запутал, как умел, за знак, под самый корень, и лег на песок — весь дух из меня вон, пока я тянул.

Вывернулись

Знак дрогнул. Вижу — натянулся канат; я привстал. Судно повернулось, оттуда стали мне махать. Я встал и начал отпутывать канат,— здорово затянуло. Судно пошло, канат ушел в воду, потянулась и веревка; как живая змейка, так и убегает в море.

Берег или море?

Я видел, как Григорий с борта махал мне рукой: хватайся, вытащим на веревке,— я не знал, тут остаться или к Опанасу — и в море. Оглянулся — сзади пустой песок, а все-таки земля. Я думал, а веревка змейкой убегала и убегала. Вот доска дернулась и поползла. Сейчас уйдет! Я надумал остаться и все-таки бросился за доской в воду. Но тут зыбь ударила, я назад, а доска ушла.

Один

Я видел, как доска скакала по зыби к судну, а судно уходило в море. Вот тут я схватился, что я один, и я побежал прямо прочь от берега по песку. А вдруг тут совсем никого нет и ни до кого не дойти? Я опять

оглянулся — судно было совсем далеко, только паруса видно. Лежал бы теперь в койке и приехал бы куда-нибудь!

Стадо

А вдали я увидел будто стадо. Пошел туда — ну вот, люди, пастухи там должны быть. Боялся только, что собаки выскочат. Я перестал бежать, но шел со всех сил. Волочу ноги по песку. Когда стал подходить, вижу — это верблюды. Я совсем близко подошел — ни одной собаки нет. И людей тоже.

Верблюды

Верблюды стояли как вкопанные, как ненастоящие. Я боялся идти в середину стада и пошел вокруг. А они как каменные. Мне стало казаться, что они неживые и что этот Джарылгач, куда я попал, заколдованный, и стало страшно. Я так их стал бояться, что думал: вот-вот какой-нибудь обернется, ухмыльнется и скажет: «А я...» Ух!.. Я отошел и сел на песок. Какие-то торчки растут там вроде камыша, и несет ветер песок, и песок звенит о камыш — звонко и тоненько.

А я один. И наметает, наметает мне на ноги песку. Мои брюки не узнать стало.

И показалось мне, что меня заметает на этом Джарылгаче, и такое полезло в голову, что я вскочил — и опять к верблюдам.

Избушка

Я подошел, встал против одного верблюда. Он стоял как каменный. Я стал кричать; что попало кричал во всю глотку. Вдруг он как шагнет ко мне! Мне так страшно стало, что я повернулся — и бежать. Бежать со всех ног! Смейтесь, вам хорошо, а вот когда один... все может быть. Я не оглядывался на верблюдов, а все бежал и бежал, пока сил хватило. И показалось мне, что нет выхода из этих песков, а верблюды здесь для страху. И тут я увидел вдали избушку.

Весь страх пропал, и я пустился туда, к избе. Иду, спотыкаюсь, вязну в песке, но сразу весело стало.

Мертвое царство

В избушке ставни были закрыты, а за плетнем во дворе навес. И опять нет собаки, и тихо-тихо. Только слышно, как песок о плетень шуршит. Я тихонько постучал в ставни. Никого. Обошел избушку — никого. Да что это? Кажется мне или в самом деле? И опять в меня страх вошел. Я боялся сильно стучать,— а вдруг кто-нибудь выскочит, неизвестный какой-нибудь? Пока я стучал да ходил, я не заметил, что со всех сторон идут верблюды к избушке, не спеша, шаг за шагом, как заводные, и опять мне показалось, что ненастоящие.

В яслях

Я стал скорей перелезать через плетень во двор, ноги от страху ослабли, трясутся; перебежал двор, под навес. Смотрю — ясли, и в них сено. Настоящее сено. Я залез в ясли и закопался в сено, чтоб ничего не видеть. Так лежал и не дышал. Долго лежал, пока не заснул.

Ведро

Просыпаюсь — ночь, темно, а на дворе полосой свет. Я прямо затрясся. Вижу, дверь в избушку открыта, а из нее свет. Вдруг слышу, кто-то идет по двору и на ведро споткнулся, и бабий, настоящий бабий голос кричит: «Угораздило тебя сослепу ведро по дороге кинуть, я-то его ищу!»

Домовой

Она подняла ведро и пошла. Потом слышу, как из колодца воду достает. Как пошла мимо меня, я и пискнул: «Тетенька!» Она и ведро упустила. Бегом к двери. Потом вижу, старый выходит на порог. «Что ты,— говорит,— пустое болтаешь! Какой может быть домовой! Давно вся нечисть на свете перевелась». А баба кричит: «Запирай двери, я не хочу!» Я испугался, что они уйдут, и крикнул: «Дедушка, это я, я!» Старик метнулся к двери, принес через минуту фонарь. Вижу, фонарь так в руках и ходит.

Что оно такое — Джарылгач?

Он долго подходить боялся и не верил, что я не домовой. И говорит: «Коли ты не нечистая сила, скажи, как твое имя крещеное».— «Митька,— кричу,— Митька я, Хряпов, я с судна!» Тут он только поверил и помог мне вылезть, а баба фонарь держала. Тут стали они меня жалеть, чай поставили, печку камышом затопили. Я им рассказал про себя. А они мне сказали, что это остров Джарылгач, что здесь никто не живет, а верблюдов помещицких сюда пастись приводят, и только койкогда старик их поить приезжает. Они могут подолгу без воды быть. Берег тут — рукой подать. А пошли верблюды за мной к избе потому, что подумали, что я их пить зову, они свой срок знают. Старик сказал, что деревня недалеко и почта там: завтра домой можно депешу послать.

Мамка

Через день я уж в деревне был и ждал, что будет из дому. Приехала мамка и не ругала, а только все ревела: поглядит — и в слезы. «Я,— говорит,— тебя уж похоронила...» Ну, с отцом дома другой разговор был.

«МАРИЯ» И «МЭРИ»

Это было в Черном море в ноябре месяце. Русская парусная шхуна «Мария» под командой хозяина Афанасия Нечепуренки шла в Болгарию с грузом жмыхов в трюме. Была ночь, и дул свежий ветер с востока, холодный и с дождем. Ветер был почти попутный. Тяжелые, намокшие паруса едва маячили на темном небе черными пятнами. По мачтам и снастям холодными струями сбегала вода. На мокрой палубе было темно и скользко. Впрочем, сейчас и ходить было некому. Один рулевой стоял у штурвала [1] и ежился, когда холодная струя попадала с шапки за ворот. В матросском

---

[1] Штурвал — рулевое колесо.

кубрике, в носу судна, в сырой духоте спало по койкам пять человек матросов. Кисло пахло махоркой и грязным человечьим жильем. Мальчишку Федьку кусали блохи, и ему не спалось. Было душно. Он встал, нащупал трап и вышел на палубу. Он натянул на голову рваный бушлат[1] и зашлепал босиком по мокрым доскам. Слышно было, как хлестко поддавала зыбь в корму. Федька хорошо узнал палубу за два года и в темноте не спотыкался. Море казалось черным, как чернила, и только кое-где скалились белые гребешки.

Федька заглянул в люк хозяйской каюты. Там вспыхивал огонек папиросы.

— Эге! — крикнул Нечепуренко.— Кто це? Хведька? А ну, ходы!

Федька спустился в каюту.

— Хлопцы огонь задули? Ну-ну! Жгуть дурно керосин, не в думках, что в деревне люди с каганцами живуть.

Огня не было не только в кубрике, но не были выставлены и отличительные огни по бортам: справа зеленый и слева красный.

По этим огням суда ночью узнают друг друга и избегают столкновений.

— Як не спишь,— продолжал хозяин,— то уж не спи: тут могут пароходы встретиться. Поглядывай в море.

Федька подошел к рулевому.

— Что трясешься? — спросил рулевой.— Ямы боишься?

— Та смерз,— сказал Федька.— А кака та яма?

— Не знаешь?

Федька много слыхал россказней про яму, не верил им, но все-таки любил послушать. А ночью так и побаивался: а вдруг в самом деле есть?

— Нема никакой ямы,— сказал Федька.— Ты ее видал?

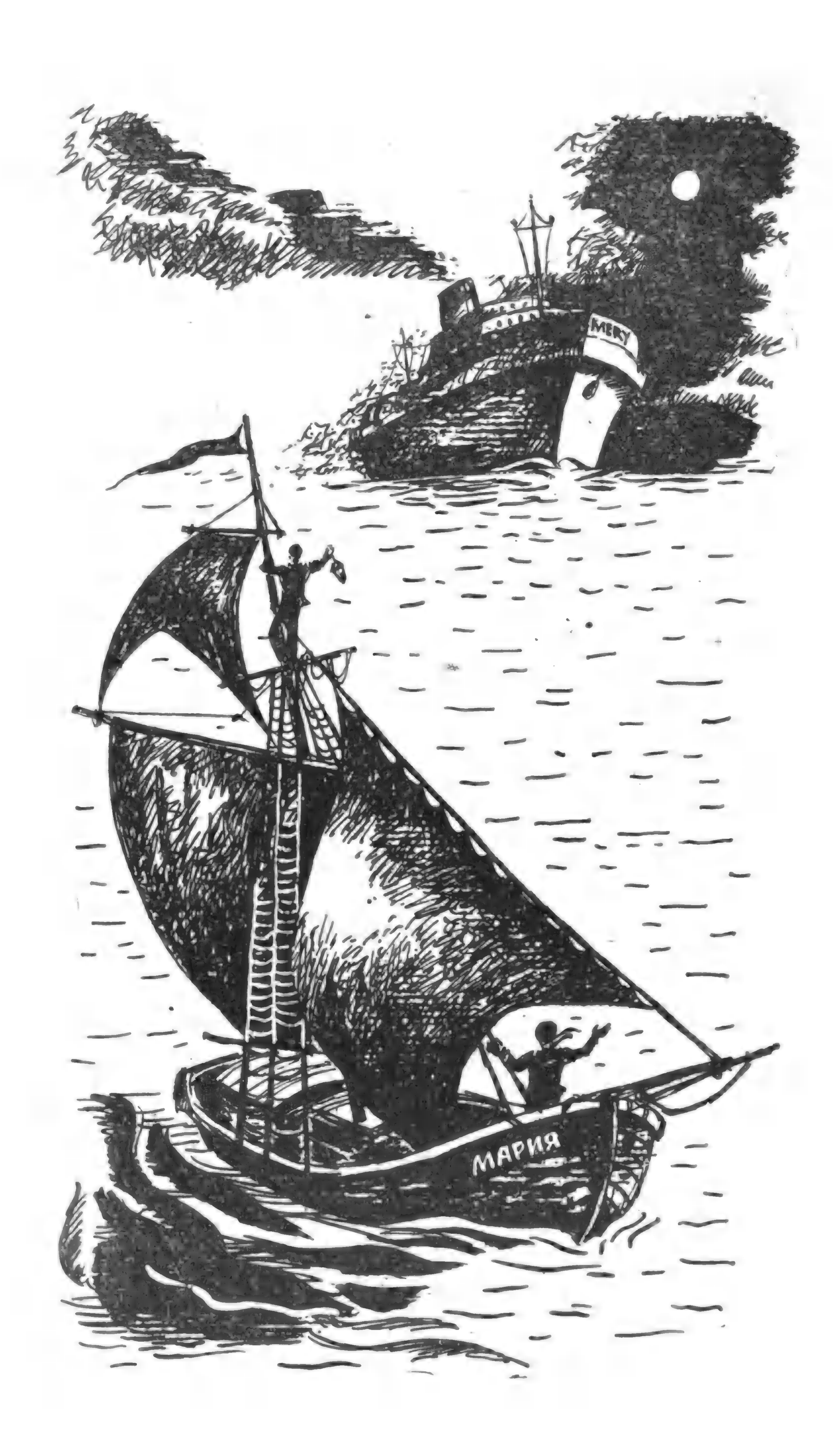
— А вот и видал: там повсегда зыбь. Ревет! — аж воет. Я раз с греками плавал, видал, как судно туда утянуло. Хоп — и амба!

— Брешешь! — испугался Федька.

— Вот чтоб я пропал! Пароходы затягивает.

---

[1] Бушлат — матросское полупальто.


MERY
МАРИЯ

— А где ж она?

— Аккурат посередь моря. Греки знают.

— Да врешь ты! — отмахивался Федька.

— Верное слово. Вот чего Афанасий не спит? — добавил рулевой вполголоса.— Накажи меня бог, ямы боится.

— Федька! — крикнул из каюты хозяин.— Смотри огни! Уши развесил!

Федька стал вглядываться в темноту, и действительно, далеко впереди, справа, ему показался белый огонек. А сам прислушался, не гудит ли впереди яма.

...Английский грузовой пароход «Мэри» с полным грузом русского хлеба шел, направляясь вдоль западного берега Черного моря, в Босфор, чтоб оттуда идти дальше, в Ливерпуль.

Зеленый и красный огни ярко светились по бортам, там горели сильные электрические лампы. Еще один, белый, огонь горел на мачте. Этот огонь на мачте носят пароходы в отличие от парусных судов, которым пароходы всегда должны уступать в море дорогу.

Пароход был недавно построен, все было новенькое, и исправная машина работала как часы. На носу судна стоял вахтенный «баковый» и зорко смотрел вперед. Тут же висел большой сигнальный колокол, которым баковый давал знать вахтенному штурману, когда появится на горизонте огонь: ударит раз — значит, огонь справа, два — слева, три раза — прямо по пути парохода.

Молодой помощник капитана, штурман Юз, был на вахте и ходил взад и вперед по капитанскому мостику.

Вдруг он услышал три спешных удара в колокол с бака. Он глянул вперед: почти перед самым носом парохода слабо мигал зеленый огонек.

— Лево на борт! — крикнул Юз рулевому, и пароход резко покатился влево.

Реи парусника едва не задели пароход.

— Четвертый раз! — ворчал про себя Юз.— На курс! — скомандовал он рулевому.

Рулевой повернул штурвал, закляцала рулевая машина, и пароход пошел по прежнему направлению.

Капитан Паркер сидел на кожаном диванчике в своей каюте, которая помещалась тут же, у капитанского мостика. Две электрические лампочки горели над полированным столиком, на котором стояла бутылка

виски[1] и сифон содовой воды. Капитан курил из трубки душистый английский табак и записывал в свой кожаный альбом русские впечатления. Он боялся, что за длинную дорогу забудет и не сумеет толком рассказать своим ливерпульским друзьям про Россию.

«На улицах громко говорят, кричат,— писал он,— на тротуарах толкаются и не извиняются...»

Бах, бах, бах! — опять раздались три удара с бака.

Капитан Паркер надел фуражку и выскочил из каюты.

— В чем дело, Юз? Опять? — спросил он помощника.

— Право, право, еще право! — командовал Юз.

Красный огонек совсем близко проскользнул мимо левого борта.

— Что они, издеваются? — сказал Паркер.

— Мы ведь должны уступать паруснику по закону,— ответил Юз.

— Но ведь закон, мистер Юз, запрещает ходить в море без огней, как пираты. Или вы считаете правильным, когда огни внезапно появляются за три сажени? — назидательно сказал капитан.

— Что же, бить? — спросил Юз.

— Надо быть твердым, когда ты прав.

— Конечно, следовало бы проучить,— слабо заметил Юз.

— Ну, а раз так, то не меняйте в таких случаях курса, Юз,— ответил Паркер.

Капитан круто повернулся и ушел к себе в каюту.

Артур Паркер представил себе, как его пароход, гладко выкрашенный в красивый серый цвет, горит яркими электрическими огнями, чистый, сильный, гордо идет среди этих замухрышек-парусников. Джентльмен в толпе дикарей.

Он вспомнил, как в русском порту его два раза толкнули на улице. Он не успел опомниться, как уже обидчик куда-то исчез.

Артур Паркер представлял, как он будет рассказывать про это в Ливерпуле и как все будут ждать, что он сейчас скажет, как он сумел показать этим дикарям, с кем они имеют дело. А сказать было нечего. Паркер сильно досадовал на себя.

---

[1] Виски — английская водка.

«Вот и с этим парусником упущен случай. Этот разиня Юз! Надо было просто — трах! Довольно миндальничать, носите огни в море... Какой был удобный случай проучить эту публику!» — досадовал капитан.

Паркер снова вышел на мостик. Он надеялся все-таки, что вдруг представится еще такой же случай, и не рассчитывал на Юза.

— Они, кажется, вас выдрессировали, Юз,— едко сказал он помощнику.— Вы ловко обходите этих господ, юлите, как лакей в ресторане.

Юз молчал и смотрел вперед.

— Дядьку,— крикнул Федька хозяину,— вже блище огонь, пароход аккурат на нас идет!

Нечепуренко высунулся из каюты.

— А таки здоровый пароход,— сказал он, помолчав,— должно, с Одессы, с хлебом. А ты где, Федька, закинул той старый фалень? С него ще добры постромки выйдуть.

— Дядьку! Ой, финар давайте! — кричал Федька.

Он не спускал глаз с парохода, и ему ясно было, что если пароход через минуту не свернет, то столкновение неизбежно.

Рулевой не выдержал и стал забирать лево.

— Що злякавсь? [1]— крикнул Нечепуренко.— Держи, бисова душа, як було! Нá серники,— обратился он к Федьке.

Федька вырвал из рук хозяина коробок спичек и бросился в каюту, нащупал на стене фонарь, чиркнул спичку — красный. Надо правый, зеленый. Впопыхах, дрожащими руками Федька чиркал спичку за спичкой; они ломались, тухли, он не мог зажечь нагоревшей светильни.

Горит! Федька с маху захлопнул дверцу — фонарь мигнул и потух.

— Не сдавайсь под ветер! — слышал он, как кричал наверху хозяин рулевому.

Федька снова чиркал спички, чувствовал, что теперь уж каждая секунда стоит жизни. Наконец он выбежал с зеленым огнем на палубу и направил фонарь к пароходу.

---

[1] Чего испугался?

Пароход был совсем близко, и Федьке казалось, что прямо в упор глядят красный и зеленый глаза парохода. Он услышал, что там спешно пробили три удара в колокол.

— Так держать! — крикнул Нечепуренко злым голосом.

— Так держать! — раздалась жесткая команда по-английски на пароходе.

Не меняя курса, «Мэри» шла прямо на парусник.

— Лева, лева! — завопил Нечепуренко.

Но было уже поздно. Федька видел, как с неудержимой силой на них из темноты летел высокий нос парохода, не замечая их, направляясь в самую середину судна. Ему стало страшно, что пароход прямо раздавит его, Федьку. Он выпустил на палубу фонарь, опрометью бросился к вантам и, как обезьяна, полез на мачту.

— Гей, гей! — в один голос крикнули хозяин и рулевой, но в тот же почти момент оба слетели с ног от удара: пароход с полного хода врезался в судно.

Раздался страшный хрустящий удар. Федьку тряхнуло, и он едва удержался на вантах. В двух аршинах от себя он ясно увидал серый корпус судна; закрыл глаза, сжался в комок и изо всей силы уцепился за ванты. Что-то грохнуло, ударило, мачту покачнуло, и когда Федька открыл глаза, он увидел удаляющиеся огни парохода, а внизу — он ничего не мог понять — вода была в двух аршинах под ним. Он вскарабкался выше и с ужасом видел, что вода поднимается за ним. Он стал на салинг и обхватил стеньгу, не спуская глаз с воды. Черная, слепая зыбь ходила там внизу, но теперь она не шла выше, как будто бы мачта перестала погружаться. Но Федька не верил и не отводил глаз от воды.

Капитан Паркер молчал и глядел вперед, как будто ожидая еще чего-то. Ему казалось, что это еще не все. А «Мэри» все удалялась от места крушения. Команда выскочила на палубу, все тревожно спрашивали бакового, что случилось.

«Все правильно, да, да, все правильно...» — думал Паркер. Он сам не ожидал, что так все это будет, и теперь испуганная совесть искала оправданий.

— Капитан, там ведь люди остались! — взволнованным голосом сказал Юз.

— Да, да...— ответил Паркер, не понимая слов помощника.

— Право на борт! — крикнул Юз рулевому.— Обратный румб!

— Есть обратный румб! — торопливо ответил рулевой.

— Да, да, обратный румб,— сказал Паркер, как будто приходя в себя.

Команда без приказаний готовила шлюпку к спуску.

«Мэри» малым ходом пошла назад, к месту крушения. Матросы толпились на баке и, перебрасываясь тревожными словами, напряженно вглядывались в темноту ночи.

— Здесь, должно быть,— сказал Юз.

— Стоп машина! — скомандовал Паркер.

«Мэри» медленно шла с разгона. Но никто ничего не видел. Паркер скомандовал, пароход делал круги; наконец всем стало ясно, что места крушения не найти, не увидать даже плавающих обломков в темноте осенней дождливой ночи.

— Найти, непременно найти,— шептал Паркер,— всех найти, они тут плавают. Они хорошо умеют плавать... Мы всех спасем,— говорил он вслух.— Не так ли, Юз?

Юз молчал.

— Да, да,— отвечал сам себе капитан.

И он крутил, то увеличивая ход, то вдруг останавливая машину. Так длилось около часа.

— На курс,— вполголоса сказал Юз, подойдя к рулевому, и дал полный ход машине.

«Мэри» пошла опять своей дорогой на юг.

— Ведь за три сажени показались огни, Юз, не правда ли? — сказал Паркер.

— Не знаю, капитан...— ответил помощник, не повернув головы.

Паркер ушел в каюту.

Теперь он думал: «Там остались в море люди... их спасут. Ну, может быть, одного... он расскажет... а если все утонули, парусника не так скоро хватятся».

Он старался себя успокоить, вспоминая рассказы товарищей моряков, какие он слышал. Как-то все выходили с победой, и было даже весело и смешно. Он попробовал весело подумать, но случайно увидал свое лицо в зеркале, и ему стало страшно. Ему показалось, что

теперь не он ведет пароход, а Юз везет его, Паркера, туда, в Константинополь. Ему казалось, что самое главное — вырваться из этого проклятого Черного моря. Прошмыгнуть через Босфор, чтобы не узнали. Проклятый серый цвет — все пароходы черные. Если б черный!.. Ему хотелось сейчас же вскочить и замазать этот предательский серый цвет.

Вдруг Паркер встал, вышел и быстро прошел в штурманскую рубку, где лежали морские карты. Через пять минут он подошел к Юзу и сказал:

— Ложитесь на курс норд-вест, восемьдесят семь градусов.

«Мэри» круто повернула вправо.

Когда Паркер ушел, Юз глянул в карту: они шли к устью Дуная.

Русский пассажирский пароход возвращался из александрийского рейса. Не прекращавшийся всю ночь сильный восточный ветер развел большую зыбь. Низкие тучи неслись над морем. Насилу рассвело. Продрогший вахтенный штурман кутался в пальто и время от времени посматривал в бинокль, отыскивая Федонисский маяк[1], и ждал смены.

— Маяка еще не видать,— сказал он пришедшему товарищу,— а вот там веха какая-то.

— Никакой тут не должно быть.

— Посмотрите.— И он передал бинокль.

— Да, да,— сказал тот, посмотрев.— Да, стойте, на ней что-то... это мачта, право, мачта.

Доложили капитану, и вот пароход, уклонившись от пути, пошел к этой торчавшей из воды мачте. Скоро вся команда узнала, что идут к какой-то мачте, и все высыпали на палубу.

— Побей меня господь, на ней человек, чтоб я пропал! — кричал какой-то матрос.

Но с мостика в бинокль давно уже различили человека и теперь приказали спустить шлюпку. Это трудно было сделать при таком волнении, и шлюпку чуть не разбило о борт парохода. Но всем наперерыв хотелось поскорее подать помощь и узнать, в чем дело. Даже бледные от морской болезни пассажиры вылезли на па-

---

[1] Маяк на острове Федониси, против устья Дуная.

лубу и ожили. Пароход стоял совсем близко, и всем уже ясно было видно, что на салинге торчавшей из воды мачты сидел мальчик.

Все напряженно следили за нырявшей в зыби шлюпкой. Подойти к мачте так, чтоб кому-нибудь перелезть на нее, нельзя было, а мальчик вниз не спускался: видно было, как кричали со шлюпки и махали руками.

— Умер, умер! — говорили пассажиры.— Застыл, бедняга.

Но мальчик вдруг зашевелился. Он, видимо, с трудом двигал руками, распутывая веревку вокруг своего тела. Потом он зашатался и плюхнулся в воду около самой шлюпки, едва не ударившись о борт. Его подхватили.

Федька был почти без чувств; с трудом удалось вырвать у него несколько слов: «Ночью... серый... нашу «Марию»... с ходу в бок...» Он скоро впал в беспамятство и бессвязно бредил. Но моряки уже поняли, что случилось, и в тот же день из порта полетели телеграммы: нетрудно было установить, какой серый пароход мог оказаться в этом месте в ту ночь.

Дней через пять после крушения «Марии» черный английский пароход пришел в Константинополь и стал на якоре в проливе. Штурман отправился на шлюпке предъявить свои бумаги портовым властям. Через час к пароходу пришла с берега шлюпка с английским флагом.

— Я британский консул,— сказал вахтенному матросу высадившийся джентльмен,— проводите меня к капитану.

Капитан встал, когда в дверях каюты появился гость.

— Я здешний консул. Могу с вами переговорить? Вы капитан Артур Паркер, не так ли?

— Да, сэр...

Капитан покраснел и нахмурился. Он волновался и забыл пригласить гостя сесть.

— Откуда вы идете? — спросил консул.

— Мои бумаги на берегу.

— Мне их не надо, я верю слову англичанина.

— Из... Галаца, сэр.

— Но вы шли из России? — спросил консул.— У вас был груз для Галаца?

— Ремонт,— сказал Паркер. Он с трудом переводил дух, и консулу жалко было смотреть, как волновался этот человек.— Маленький... ремонт, сэр... в доке.

— И там красились? — спросил консул.

Паркер молчал.

Консул достал из бумажника телеграмму и молча подал ее Паркеру. Паркер развернул бумажку. Глаза его бегали по буквам, он не мог ничего прочесть, но видел, что это то, то самое, чего он так боялся. Он уронил руку с телеграммой на стол, смотрел на консула и молчал.

— Может быть, вы отправитесь со мной в консульство, капитан? Вы успокоитесь и объяснитесь,— сказал наконец консул.

Паркер надел фуражку и стал совать в карманы тужурки вещи со стола, не понимая, что делает.

— Не беспокойтесь, за вещами можно будет послать с берега,— сказал консул.

На палубе их встретил Юз. Он уже знал, в чем дело.

— Простите,— обратился он к консулу,— они все...

— Спасся один только мальчик, он дома и здоров,— ответил консул.— Их было восемь...

Паркер вздрогнул и, обогнав консула, не глядя по сторонам, быстрыми шагами направился к шлюпке. Теперь он хотел, чтобы его скорее арестовали.

На другой день черная «Мэри» вышла в Ливерпуль под командой штурмана Эдуарда Юза.

НИКОЛАЙ ИСАИЧ ПУШКИН

Стоят на пристани пассажиры, ждут парохода.

— Вон, вон, кажется, «Пушкин» идет.

Отвечают портовые люди:

— Правильно, это Стратонов.

Пассажиры:

— «Пушкин» ведь?

— Ну да: Николай Исаич.

Пассажиры переглядываются — вот неучи какие моряки: не знают, что Пушкин — Александр Сергеич. Николай Исаич Пушкин!

А Николай Исаич стоит на мостике «Пушкина», глядит в бинокль и рявкает из бороды:

— Права... еще права... так, так держать!

И знает Николай Исаич, что весь «Пушкин», от верхушки мачты до днища,— все это он, Николай Исаич. И что, когда посадит он «Пушкина» на мель, никто не скажет: «Пушкин» напоролся, а прямо будут говорить:

— Николай Исаич на мель сел. Стратонову скулу помял... Пять футов воды в трюме.

Сам все эти пять футов воды ртом бы выпил Николай Исаич — лишь бы не было такого греха.

И так вот всякий капитан. Потому и говорят: «Ерохин снялся, Федор с моря идет».

А в «Федоре» этом — десять тысяч тонн, и на носу накрашено: «Меркурий».

Я сам это понял только тогда, когда первый раз посадил парусник. Дело было просто. Шел я в свежую погоду у Тендры, ночью. Помощник мой вахту стоял. Вот по времени должна уж быть Тендра. А это, надо сказать, песчаная коса, ее и днем-то за двести саженей можно не увидеть. Я вышел и слышу: не та зыбь, метет прибой, россыпи слышно. Я говорю помощнику:

— Сейчас в Тендру вопремся, уваливайтесь под ветер.

А он говорит:

— Приведите к ветру, лот [1] брошу.

То есть чтобы я поставил судно против ветра, а он смерит, сколько глубины.

А привести к ветру — это, выходит, с ходу еще сажен двадцать пролететь к берегу.

— Приведите! — кричит помощник.

— На вашу голову?

— Ладно.— И побежал он с лотом на бак.

Я привел, и еще ходу не потеряли, как ткнуло в грунт и дрогнуло все судно. Подняло зыбью и ударило дном. У меня душа оборвалась.

Потом на берегу спрашивали:

— Ты под Тендрой сидел?

— Да, понимаешь, помощник...

Все усмехаются, отворачиваются. И верно. А помощнику что? Сидел-то ведь не он, а я. И с тех пор я уже накрепко понял: не судно ходит, а капитан. Не судно гибнет, а...

Вот тут-то я вам и расскажу недавний случай с моим другом-приятелем.

[1] Лот — веревка со свинцовой гирей на конце; лотом измеряют глубину.

Дело было так.

Ледокол промышлял во льдах в Белом море. Промышлял, то есть у него на борту было душ полтораста промышленников, и ледокол лазил меж льдов по свободной воде, шел туда, где залег зверь.

Капитан был молодой, лет тридцати пяти мужчина. Промышленники его любили за то, что с ним пойдешь — всегда удача. Зверя было «балго», и набили на льдине тюленей — беда сколько. Били и отстать не могли, в раж вошли люди от крови и от удачи. Такая жара пошла, что капитан сам не выдержал, сбежал на лед и садил багром тюленьи головы.

— Эх, здорово капитан завел! — красные, в поту и в крови, хвалили капитана промышленники.

А с запада потянул ветерок. Капитан уж на месте и торопит ребят:

— Ну, кончай! Кончай!

Да как бросишь? В десять лет раз, старики говорят, такая удача! Не бросать же, коли само счастье в руки лезет. Отвернись от него, так и оно отворотится. А вест свежает. Свежает вест, давит на лед, и вот двинулась льдина, и дрейфует (дрейфовать идти без машины, силой ветра) ледокол у кромки со льдом вместе. Помалу дрейфует к востоку.

Темнеть стало. Ай и капитан, ну и капитан — прямо счастью в карман вперся! Еще полчасика!

— Все на борт, снимаюсь!

Двинул капитан вдоль кромки: узкой полосой шла, как река в ледяных берегах, свободная вода.

— Умаялись, ребята, вари чего там на ужин!

А капитан дал полный ход: надо уйти из этой щели, а еще неизвестно, как там лед впереди. Часом бы раньше...

— А ну, сбегай в машину, скажи там, чтоб шевелили, сколько духу...

И стал капитан серьезным. Ходил по мостику и слышал, как внизу гомонят ребята, какого-то Митьку дразнят: вгорячах себе в валенок багром засадил. До Митьки тут! Ходу, ходу еще. Вон лед прямо по носу. Нет, это не поворот в канале, а затор. А может, слабый лед? И капитан заметил, как помощник косым взглядом глянул на него. Капитан подошел к телеграфу и два раза повернул ручку на весь размах и поставил на «полный» — значит, дай самый полный. Слышно было на мо-

стике, как прозвонил крутым раскатом телеграф в машине. Пароход летел прямо в затор, сейчас, сейчас вонзится. Пароход ударил лед пологим форштевнем (выступающее ребро на носу), выскочил, задрался нос, и сразу смолкли голоса под мостиком. Ледокол влез носом на лед и стал, тужился машиной. И капитан, и помощник, сами того не замечая, напирали на планшир[1] мостика, тужились вместе с ледоколом. Нет! Стоп!

— Назад!

Машина стала, и снова заурчало в брюхе парохода. Ледокол слез, скатился форштевнем; соскочил со льда и присел на минуту нос. Лед не поддался. Два раза еще ударил в лед капитан и запыхался, помогая пароходу. Он знал, что назад выхода нет и развернуться в узком канале нельзя. А внизу опять гудят, как на ярмарке:

— Митька-то в валенок!.. Ах, чтоб тебе!

И кто-то кричит:

— Значит, дрейфуем! Вались спать, ребята!..

Капитан сам знал, что придется дрейфовать к осту вместе со льдом в этом узком канале, в ледяной коробке. И знал капитан, знал по счислению, что там, справа к осту,— «кошки Литке».

Пошел в штурманскую, глянул на карту, глянул во всю силу. Да, вот ровно на ост — «кошки Литке». И сейчас отлив, малая вода.

А вест свежал и свежал. Стало темно; промышленники уж глухо гудели под палубой, и только две папироски остро горели у правого борта.

Если б можно было ходить пешком по дну, хотя бы в водолазной одежде, то чего бы человек не увидел! Как леса, стоят на камнях водоросли, и в них, как птицы, реют рыбы. Вот, как пустыня, лежит песчаная отмель, и камни, как ежи, сидят, поросли ракушей. А дальше горы. Горы стоят, как пики, уходят ввысь, и, если взобраться на них, уж рукой подать до неба — до водяной крыши, что дышит приливом и отливом каждые шесть часов.

И такие горы стоят на дне Белого моря. Их нащупал Литке, нанес на карту, и с тех пор называются они «кошки Литке».

---

[1] Планшир — верхняя часть борта.

В полную, приливную воду может над ними пройти пароход, но в отлив напорется и раскроит себе брюхо.

Эти самые «кошки» и были по правому борту ледокола, и был отлив, то есть была «кроткая вода»; когда кончится отлив, должен начаться прилив.

Капитан знал это. Знал, что в узком канале он будет дрейфовать до самых «кошек»; что если он брюхом упрется в «кошки», то через минуту лед слева подойдет к борту вплотную, напрет, напрет неодолимо, как если бы берег, сам материк надвинулся на него,— напрет в борт и положит ледокол мачтами на воду, и тогда — аминь. Звать по радио на помощь? Кто же пробьется к нему, когда он, ледокол, не может выбиться? Только раззвонить по свету... чтоб люди смеялись и враги радовались. И он знал, что вот скоро-скоро царапнет дном.

Приказал держать полный пар и ушел в каюту. Посидел на койке, все смотрел на свои большие руки.

«Положит набок пароход... положит...»

Где «кошки»? И спиной чувствовал, что там, сзади него, под водой, подо льдом, стоят эти «кошки» и ждут. Сколько до них? Нельзя знать, тут дело не в саженях. Поглядел в альманах (астрономический справочник). И без карандаша в уме считалось само до секунды — сейчас идет прилив, только начался. И капитан натуживался, помогал подниматься воде, каждый дюйм воды будто сам, своей натугой, подымал. На пароходе было тихо, и только слышно было под низом, как гудит динамо, качает свет. Свежий вест драил по мостику. А ухо было все внизу, там, у дна, где должны царапнуть камни. Капитан перестал глядеть на часы и считать дюймы, а слушал.

Вот! Чиркнуло. На пароходе спокойно, никто не слышал. Капитан вытянул ящик и вынул кольт.

Камни теперь пойдут выше и выше... Но бежит вода на помощь оттуда, из океана, через горло Белого моря. Поспеет ли?

Ух, заскребло как, заскрежетал кто-то зубами. И пошатнуло ледокол. И вон голоса на палубе. Помощник прошагал мимо двери, но не стукнул в дверь... Опять! Покренился чуть... Пронесло... Кричит кто-то на палубе:

— На лед, да и пойдем, еще как пойдем-то, куда с добром! Телеграмму даст. Всех снимут. Да к маяку зашагаем, что по земле. Погоди скакать, трап спустим.

Гудят, топают. Теперь даже весело кричат. Все на палубе... Механик около дверей говорит:

— Так вы спросите: тушить, что ли, котлы? А то я на лед — и марш.

И голос помощника:

— Спрашивайте сами... А я спрашивать не стану. Вона сколько уж народу на льду-то!

И оба отошли через минуту.

Опять! Опять! И в ответ загудело на палубе, но капитан слышал только, как силится, скребется ледокол дном по каменьям. Капитан взял в руку кольт. Нет, поддувает, поддувает вода... а в упор к борту стоит лед.

Нету! Нету! Уже пять минут, может быть, нету... Капитан взглянул на часы. Если еще пять минут не будет...

И не было. Капитан глянул на себя в зеркало. Он был красен весь, лицом и шеей, в один ровный багровый цвет. Не узнавал красного человека и от глаз не мог оторваться: сам на себя смотрел.

Потом, не брякнув, сунул кольт в ящик и аккуратно притворил. Вышел на мостик. Всходила красная луна.

— Определиться? — спросил помощник.

— Всех я вас уж определил, кто чего стоит,— сказал капитан и сам взял секстант (астрономический прибор) из штурманской.

А утром стал бриться и увидал, что виски седые.

ДЯДЕНЬКА

Дело было давно — лет тридцать назад. Подрос я, и пришло время меня на работу посылать.

Если в пекарню меня отдать, так мамка боялась, что там простуда: жара да сквозняки. В кузницу — четырнадцати лет — еще молодой, говорят. А в типографию и слышать не хотела: все наборщики, говорит, пьяницы. И каждый день одни эти разговоры: куда да куда. Хоть обедать не садись. Как будто я в чем виноват!

Вот раз пришел жилец наш Онисим Андреевич и говорит, что довольно канитель эту тянуть. С самой весны, говорит, языком бьете, а толку никакого. А я его вот раз-два — и на место поставлю. «Хочешь,— говорит,— пароходы строить?»

Еще бы, кто не хочет! Пароходы-то!

Мамка опять: в воду там свалится, утонет, и еще что-то будет. А Онисим Андреевич был немного выпивши и заругался. Говорит, чтоб завтра утром к заводу приходил, у него там знакомый есть.

Всю ночь думал: вот пароходы строим; мачты сейчас ставить, трубу. Главное, думал, трубу — в ней вся сила. Вот чудак был!

Утром, чуть свет — к заводу.

Там ходили в контору, туда-сюда; теперь-то я все знаю, а тогда страшно показалось. Двор большой, прямо поле целое, по нему все рельсы, рельсы, и ходят вагончики, а на них краны подъемные. Много их бегает. Подымет цепочкой груз и тащит. Я все на них смотрел и о рельсы спотыкался.

А дальше, у самой реки, чего-то нагорожено высоко-высоко, все железным переплетом, как будто дом какой решетчатый. Это самый эллинг-то и есть, где пароходы строятся.

И оттуда такая трескотня, как будто все время пальба идет из пулеметов, и только слышно: дзяв! дзяв! — бахает чем-то по железу.

Пошли туда, а там леса поставлены, вот как дом в пять этажей строят. Леса эти около судна нагорожены. А судно из ржавых листов, толщенных, и листы эти к железным ребрам рабочие крепят. А по рельсам на досках все мастеровые, на полках, как мухи. Мне сразу показалось, что все с пистолетами, только пистолеты на толстых веревках. Теперь-то я знаю, что это воздушный молоток, и не на веревке, а это трубка к нему идет, и по ней сжатый воздух гонят от насоса. А в стволе воздухом работает самый молоток: мечется взад и вперед, и, если к нему ствол приставить, так бьет шибко, дробно. А тогда мне показалось, что пистолеты.

По лесам сходни, переходы, напихано с яруса на ярус, а мы все выше, выше лезем; кругом так гудит, в уши бьет, прямо как тебе по голове кто барабанит. Перелезли на самое судно, на железную палубу. И все железо, железо кругом. И такой грохот, что я думал — не может быть, чтобы это целый день, это, должно, только сейчас так расшумелись. Нельзя этого стука выдержать. Потом оказалось, что все время так.

Подводят меня к железному столику, вроде тумбочки. Вижу, наверху уголь горит, а между ножками гар-

моникой мехи, и ручка сбоку. Мне этот, что привел меня, показывает на ручку — дергай, значит. Я хотел спросить, что потом делать, и голоса своего не слышу; кричу — и как немой. Такой грохот, аж стонет железо. Смотрю, тут двое мальчиков стоят и чего-то греют. Закопченные такие, черные. Толкают меня, чтоб я за ручку дергал. Я начал дергать, мехи заработали, уголь горит; они там что-то работают, а кругом такой гром — похоже, что не строят, а ломают со всей силы и что вот-вот все завалится, и я сам не знаю, на чем стою и куда в случае чего бежать. А сам качаю, качаю. Вдруг один мальчишка меня щипцами в плечо. Я еще сильнее ручку дергать, а он опять щипцами — это надо было, чтоб я полегче, а то уголь вон с горна улетает,— этот столик горном называется. Потом мальчишки вытащили щипцами из огня заклепки — аж белые — и потащили куда-то. А я все стараюсь.

Какой-то дядя проходил — как толкнет меня в затылок: что-то показывает. Ничего не понять — грохот, звенит, бахает кругом. Я сильней качать. Он сорвал с меня картуз. Я за картузом — и пустил ручку. Он тогда показывает, чтоб потихоньку. Тут мальчишки снова толкают, тычут чем зря, а я ничего не понимаю. Даже слезы. Ну, это я больше от дыма — очень едкий. Прямо хоть брось. Так я до обеда мучился.

Вдруг все сразу замолкло, и тихо-тихо стало. Я даже испугался, не будет ли чего сейчас. А мальчишки мне кричат: «Через тебя пять заклепок перепалили!»

Я тут первый раз услыхал, что у них голос есть. Все пошли вниз, и я за народом.

Мальчишки ко мне, кричат грубым голосом: «Ты заклепки не перепаливай, дяденьке скажем, клепальщику, он тебя научит. У нас раз — и готово». И показывают мне дяденьку. Здоровый, страшный такой мне показался, в бороде.

В столовой все клепальщики отдельно сидят и через стол орут, как с того берега. От этой работы они все на ухо туги, и гам такой стоит, как будто драка идет. А это просто обедают. И раньше чем соседу сказать, в плечо его — раз! Смотрю, мой сидит, все лицо в гари, и ржа в бороде от железа. Глядит волком. Вынул бутылку, хотел пробку выбить, потом сразу трах горлышком об угол, отбил, выпил половину и соседу ткнул: пей!

А я поневоле около мальчишек держусь, один не найду дорогу на работу. Они говорят: «Идем, до гудка надо, чтоб горно развести». Дорогой они кричат: «У нас, знаешь, не в слесарной. У нас разговору нет. Один,— говорят,— тоже коники строил. Работали в самом дне, в клетке. Так клепальщик раз его по башке ручником — и готово. Так его там и бросили. А чего,— говорят,— на дурака смотреть!»

И все мальчишки курят и через каждое слово ругаются.

Когда я с работы домой пришел, мамка мне говорит, а я ничего не слышу, как будто от соседей: еле-еле.

Потом, как стал я дальше в завод ходить, сам стал заклепки греть. Это гвоздь такой, только толстый и тупой, как обрубленный, и шляпка толстая. Нагрею заклепку, несу в щипцах, дяденьке, кину — она по железной палубе покатится, он ее подхватит щипцами и в дырку, что сквозь листы. Шляпку припрет колом железным, здоровым, а с другой стороны клепальщик сейчас ее, пока горячая, воздушным молотком, этим пистолетом,— трах, трах, тах, тах! — и сплющит; головку с той стороны сделает, и готово. Давай другую, и пошел. Так листы скрепляют. Я и курить и ругаться выучился и тоже стал все срыву: трах, бах и долой. Дома мамка раз плакала. Я пришел с работы, она мне скорей умыться, а вода здорово горяча была; я — хлоп! — таз перевернул. Сел за стол, как был: даешь борща!.. Дала. Ничего. И не гудела. А если что говорить станет, сейчас шапку — и за ворота, а то завалюсь спать. Раз стал форточку отпирать — нейдет, разбухла, что ли? Я взял полено — раз! — и выставил. Онисим Андреевич заходил, посмотрел. «Клепальщик,— говорит,—натуральный». А я и рад.

Нет, верно, у нас разговор такой: ткнул, пихнул, ударил.

Не помню, с чего это пошло. Стал на меня вдруг дяденька гудеть. Все ему не так. На работе — там разговору никакого не может быть, разве только пинком или тычком, а на дворе он орет: «Я тебе, такой-растакой, морду набью — и за ворота! Ковыряешься,— говорит,— как жук в навозе. Пойду мастеру скажу, тебя враз с работы долой!» Каждый день у нас так. А дальше все хуже; уж и видеть меня не может. Прямо зверем. Жена

у него умерла. Я ее, что ли, убил? Чего ты меня-то ешь? И что я больше стараюсь, то хуже. То ему рано заклепку даешь — гонит, кулаком машет, то опоздал. Заел прямо.

А работали мы тогда в самом низу, в самом что ни на есть дне. Туда добраться, как под землю: все с палубы на палубу, все железо, все острое, угольники ребром торчат. Лезешь — темно, как в ящике. Вот с верхней палубы спускаешься по лесенке, а на второй палубе уже темно. И тут же сейчас люк один был такой, что если попадешь, так лететь десять саженей — и прямо на ребра железные. Он только одними рейками и был огорожен. Так, на деревянных стоечках, и рейки-то на живинку гвоздиками пришиты. Как спустишься в темноту, идешь и руку впереди держишь; нащупал рейку около самого этого люка проклятого и сейчас бери влево и иди уж по борту, тут не споткнешься. Так меня и дяденька учил ходить.

Так вот, работаем мы с ним в самом низу. Он опять меня шпыняет. Даю ему заклепку, он мне ее назад швыряет —значит, пережжено. Я другую — он опять. Да что это, думаю, зверем каким? Третью несу. Он поймал заклепку да за мной. А там внизу, что в коробке, дым от горна, как в трубе, все судно гудит, как палят в тебя со всех сторон. Я сам беситься от этого стука стал. Я ему опять грею, он к горну пришел, надавал мне по шее и сам стал греть. Ух, обозлился я! Нет, верно, заклепки я правильно грел. Вот, думаю, это потому, что я сдачи ему дать не могу, он и разворачивается. И стал думать, что я ему сделаю, когда выросту. Было б что под рукой, так, кажется, раз...

А в обед он опять мне кулаком грозит. Орет, глухая тетеря, на весь завод: «Сейчас к мастеру пойду, чтобы тут тобой и не воняло! У меня,— кричит,— знаешь: раз — и готово!»

После обеда мне вперед надо было идти, горно разводить. Я спустился в люк, во вторую палубу, руку впереди держу и иду. Нащупал рейку... и ничего как будто и не думаю. Взял ее рукой и держу. Вдруг я ее — раз! — и готово. Ей-богу, она еле держалась. Оторвал рейку я, одним словом, и в сторону ее, прочь со стоек. Пусть теперь он пойдет, не найдет рейки — раз! — и готово. Да я так-то и не думал, а злился только. Стал

в темноте, в сторонке, и жду. Вот уж гудок, пошла работа, все судно загудело.

Вижу, дяденька в просвете люка, что вверху, показался. Потом полез по лесенке, и больше не видно. Темно там, и не слышно ничего — так грохочет кругом. А я стою и жду, дух зашибло во мне. Сейчас... сейчас... И вдруг захотел крикнуть со всей силы: «Дяденька, дяденька, стой!» Да ведь не слышно, а подскочить не успею все равно, и ноги как примерзли. Я к лесенке наверх и побежал вон с судна. А потом думаю: а вдруг он и прошел, как-нибудь да и прошел? И побежал опять туда, где мы работали. Иду и говорю: «Дай бог, чтоб был, ну, дай бог, чтоб был!» И боюсь идти, а ноги сами так и тащат.

Наши там, а дяденьки нет. И вот клепальщик показывает рукой: борода — значит, дяденька-то — где? Идет, что ли? Я головой помотал и прочь, и бежать, бежать! Думаю, лежит он теперь там в трюме, разбитый,— не может быть, чтобы живой. А сам думаю: «Ведь могла же рейка сама упасть, еле ведь держалась. И без меня могла упасть». Бегу, а сам вою. И бегу, где б народу меньше. И кому сказать? Полдвора перебежал и вижу — по рельсам кран ползет и листы несет, а на кране машинист. Я кричу ему. Не помню уж, что кричал. А он не слушает, смотрит, куда листы положить и чтоб не переехать кого. А я рядом бегу, падаю и опять бегу, и кричу, и вою.

Он остановился, опустил листы и потом ко мне. «Чего там?» — говорит. Я вою — он ничего понять не может. Слез с крана. Я кричу: «Упал дяденька,— говорю,— с палубы в трюм, там лежит!»

Тогда он в машине что-то сделал. «Сейчас»,— говорит. Тут уж я заревел и хотел бежать. А он кричит: «Стой! Как же найдем без тебя?» Побежал я за ним. Он там к мастеру; все смотрят. Мастер кого-то позвал, чтобы воздух застопорить.

Сразу все остановилось — тихо. Вот страшно стало! «Коли стонет или кричит, услышим». Свечку принесли. Я смотрю: как я рейку оторвал, так она там и лежит. «Тут»,— говорю.

Все собрались кругом. Меня спрашивают: «Ты видел?»

А я весь трясусь, и зубы трясутся.

Тут веревку принесли и говорят: «Спуститься надо, сначала посмотреть, есть ли там он».

А я кричу, как лаю точно: «Я, я, меня спустите!» Привязали меня, дали свечку. Я в этот пролет, как в гроб, спускаюсь. Думаю: если он живой, буду его целовать, дяденьку милого моего, лишь бы хоть чуточку живой только. И смотрю все вниз, а что на веревке я, это я и забыл, и что высоко. Свечка мало светит. Я до самого дна дошел, и нет его, нет там дяденьки. Я стал кричать: «Дяденька, а дяденька!» Гудит в железе мой голос. Я на веревке походил туда, сюда — нет, и не видно, чтоб был.

Глянул вверх — чуть светлый круг видно, люк это проклятый. Стали меня подымать. А там уж свет электрический протянули, и полна палуба народу, и все на меня смотрят, а я ничего сказать не могу, как закаменел.

И вдруг смотрю: стоит среди людей мой дяденька, живой, совсем живой, и все на меня смотрит. Я как брошусь к нему и тут заорал со всего голоса; кричу: «Дяденька, миленький, родненький!» И заревел.

А он нагнулся, гладит меня и совсем добрый-добрый, гладит меня и орет хрипло: «Чего ты, шут с тобой? Да милый ты мой!» — и даже на руки поднял.

А это он тогда минул люк стороной и прошел за инструментом, там и завозился — оттого его тогда внизу с нашими и не было. Стали работать, хватились, а меня тоже нет. Потом, когда воздух стал, наши подождали, подождали да и вылезли поглядеть, что случилось, чего это весь завод стоит. А тут я. Ну, вот и всё.

КОМПАС

Было это давно, лет, пожалуй, тридцать тому назад. Порт был пароходами набит — стать негде.

Придет пароход — вся команда высыпает на берег, и остается на пароходе один капитан с помощником, механики. Это моряки забастовали: требовали устройства союза и чтоб жалованья прибавили.

А пароходчики не сдавались — посидите голодом, так небось назад запроситесь!

Вот уже тридцать дней бастовали моряки. Комитет выбрали. Комитет бегал, доставал поддержку: деньги собирал.

Впроголодь сидели моряки, а не сдавались.

Мы были молодые ребята, лет по двадцать каждому, и нам черт был не брат.

Вот сидели мы как-то, чай пили без сахара и спорили: чья возьмет.

Алешка Тищенко говорит:

— Нет, не сдадутся пароходчики, ничто их не возьмет. У них денег мешки наворочены. Мы вот чай пустой пьем, а они...

Подумал и говорит:

— А они — лимонад.

А Сережка-Горилла рычит:

— Кабы их с этого лимонаду не вспучило. Тридцать дней хлопцы держатся, пять тысяч народу на бульваре всю траву штанами вытерли.

А Тищенко свое:

— А им что? Коров на твоем бульваре пасти? Напугал чем!

И ковыряет со злости стол ножиком.

Тут влетает парнишка. Вспотелый, всклокоченный. Плюнул в пол, хлопнул туда фуражкой, кричит:

— Они здесь чай пьют!..

— Лимонад нам пить, что ли? — говорит Тищенко и волком на него глянул.

А тот кричит бабьим голосом:

— Они чай пьют, а с «Юпитера» дым идет!

Тищенко:

— Нехай он сгорит, «Юпитер», тебе жалко?

— С трубы,— кричит,— с трубы дым пошел!

Тут мы все встали, и Сережка-Горилла говорит:

— Это не дым идет, а провокация.

Парнишка плачет:

— Черный! Там дворники под котлами шевелят. Пошли!

Выскочили мы, пошли к «Юпитеру».

Верно, из пароходной трубы шел черный дым, а кругом — и на сходне, и на пристани, и на палубе — кавалеры в черных тужурках. Рукава русским флагом обшиты, и на поясе револьверы.

Не подойти!

— Союзники русского народа,— объясняет парнишка.

Будто мы не знаем, что такое «Союз русского народа» — полицейская порода.

Когда мы на бульвар пришли, только и разговору, что про «Юпитер». Стоит народ, и все на дым смотрят.

Взялся капитан с дворниками в рейс пойти, сорвать матросскую забастовку. Капитан — из «русского народу», и охрану ему дали: двадцать пять человек. Дворники — не дворники, а уголь шевелят здорово. На руль помощников капитан поставит, в машину — механиков...

— Очень просто, что снимутся,— говорит Тищенко,— а в Варне заграничную команду возьмут — и дошел.

Сережка вдруг оскалился, говорит:

— Не пустим!

— Ты ему соли на корму насыпь,— смеется Тищенко.

— Знаем, как насолить,— говорит Сережка.— Пойдем...— И толкает меня под бок.

Вышли мы из толпы.

Сережка мне говорит:

— Ты не трус?

— Трус,— говорю.

Он помолчал и говорит:

— Так вот, приходи ты сегодня в одиннадцать часов на Угольную, я около трапа тебя ждать буду. И никому ничего.

Пальцем помахал и пошел прочь.

Чудак!

Прихожу в одиннадцать на Угольную пристань. Фонари электрические горят, и от пристани на воду густая тень ложится — ничего не видать под стенкой. Дошел до трапа, на ступеньках сидит Сережка-Горилла. Сел я рядом.

— Что,— спрашиваю,— ты надумал?

— Полезай,— говорит,— в тузик вон у плота, дорóгой обмозгуем.

Рассмотрелся, вижу плот и тузик.

Пошел я по плоту,— не видать, где плот кончается. Ступил на воду, как на доску, и полетел в воду. Самому смешно: шинель вокруг меня венчиком плавает, и я — как в розетке.

А вода весенняя, холодная.

Я — в туз. Пока вылез, хорошо намок.

Разделся я до белья — и холодно и смешно. Стал грести, согрелся.

— Ну,— говорит Серега,— начало хорошее. А сделаем мы вот что: я на «Юпитере» путевой компа́с из нактоуза [1] выверну и тебе в мешке спущу.

— А как подойдем? Трап ты спросишь у охранников?

— Нет,— говорит,— там угольная баржа о борт с ним стоит, какого-нибудь дурака сваляем.

— Сваляем,— говорю.

И весело мне стало. Гребу я и все думаю, какого там дурака будем валять. Как-то забыл, что «союзники» там с револьверами.

А Сережка мешок скручивает и веревку приготавливает.

Обогнули мол. Вот он, «Юпитер», вот и баржонка деревянная прикорнула с ним рядом. Угольщица.

Гребу смело к пароходу. Вдруг оттуда голос:

— Кто едет?

Ну, думаю, это береговой — флотский крикнул бы: «Кто гребет?»

И отвечаю грубым голосом:

— Та не до вас, до деда.

— Какого деда там? — уж другой голос спрашивает.

А на такой барже никакого жилья не бывает, никаких дедов, и всякий га́ванский человек это знает.

А я гребу и кричу ворчливо:

— Какого деда? До Опанаса, на баржу,— и протискиваю туз между баржой и пароходом.

Сережка окликает:

— Опанас! Опанас!

С парохода помогают:

— Дедушка, к вам приехали!

Залез я на баржу, с борта прыгнул на уголь и пошел в нос. А нос палубой прикрыт.

И говорю громко:

— Дедушка, дедушка, это мы. Какой вы сторож! Вас палкой не поднять,— и шевелю уголь ногой.

Смотрю — и Сережка лезет ко мне.

Чиркнул спичку. А я стариковским голосом шамкаю:

— Та не жгите огня, пожару наделаете, шут с вами.

Сережка, дурак, смеется.

---

[1] Нактоуз — медный предохранительный колпак с фонарями на компасе.

— Да, да, не зажигайте спичек, мы вам фонарь сей час дадим.

И затопали по палубе.

Сережка говорит мне:

— А чудак ты, дедушка, ей-богу, чудак!

Я выглянул из-под палубы. Смотрю, уже фонарь волокут.

Я скорей к ним.

К мокрому белью уголь пристал — самый подходящий вид у меня сделался, это я уже при фонаре заметил.

Сидим мы с фонарем под палубой и вполголоса беседуем.

Я все шамкаю.

— Лезь,— шепчет Серега,— в туз, а как уйдут с борта — стукни чуть веслом в борт.

Я полез в туз.

Вдруг Серега громко говорит:

— Так вода, говоришь, у тебя в носу оставлена, дедушка?

А я знаю, что он один там, и отвечаю из туза:

— В носу, в носу вода!

— Так заткни, чтоб не вытекла! Не тебя спрашивают,— говорит Серега.

На борту засмеялись. А Серега зашагал по углю в корму. Потом вернулся. Опять прошел на корму, и все смолкло.

Смотрю — один только человек остался у борта.

— Эй,— говорит,— фонарь-то потом верните.

И отошел. Стало тихо.

Я подождал минут пять и стукнул веслом в баржу. Бережно, но четко: тук!

И тут заколотилось у меня сердце. Я прислушивался во все уши, но, кроме сердца своего, ничего не слыхал.

Глянул вверх — через щели в барже светит фонарь.

Прошел человек по палубе. Перегнулся через борт и спрашивает как начальник:

— Это что за лодка?

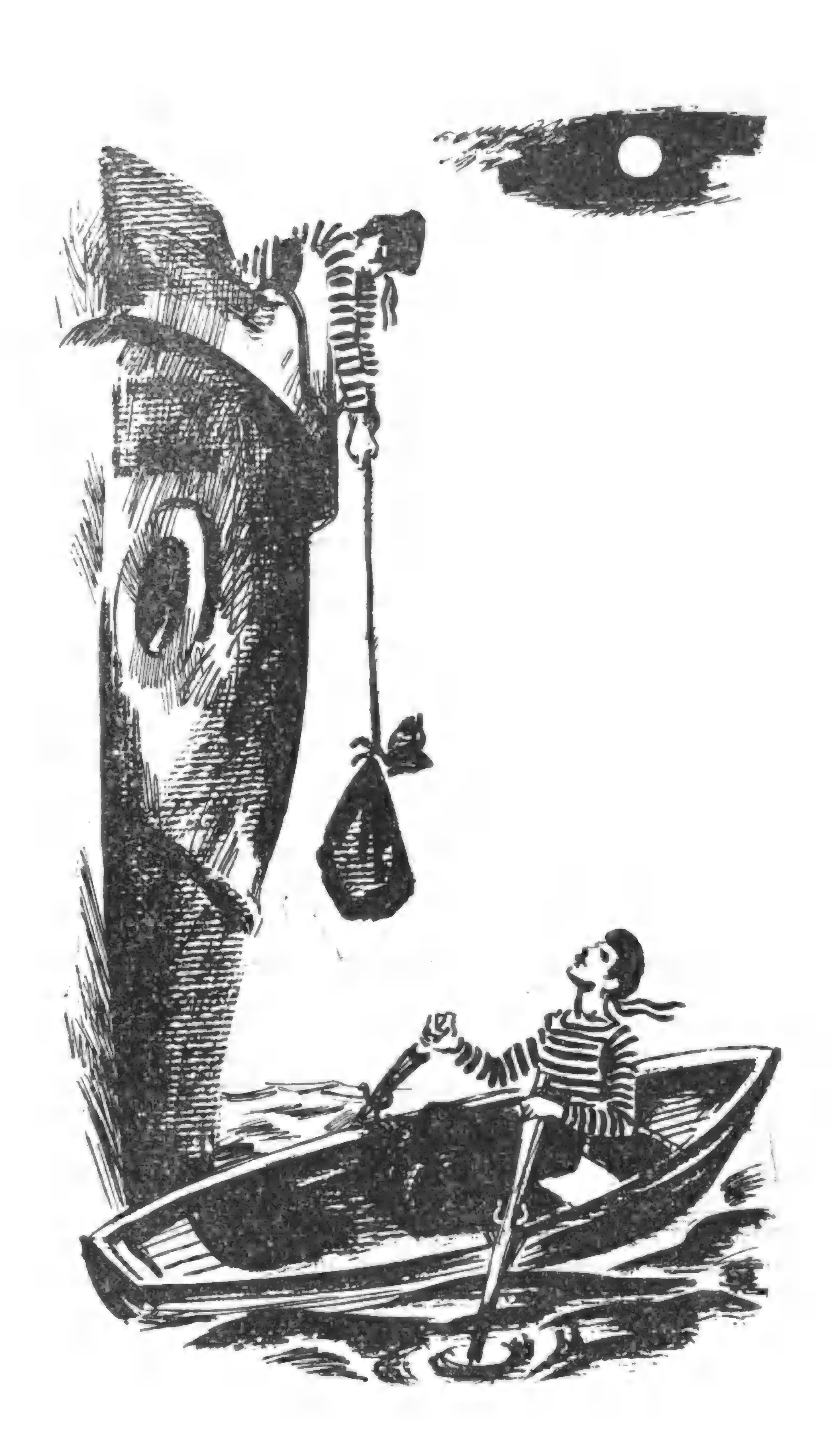
А я чувствую, что скажу слово — голос сорвется. Молчу.

Он опять. Крикнул уже:

— Что это за лодка? Эй, ты!

Тут ему кто-то из ихних ответил:

— Это сюда, на баржу, к старику, свои приехали.



— Ага,— говорит и отошел.

Опять стало тихо. Я уж вверх не гляжу, смотрю по борту парохода.

Вдруг что-то вниз ползет серое по черному борту. Я замер. Дошло до воды — стало.

Мешок.

Вся сила ко мне вернулась.

Не брякнул я, не стукнул. Протянулся тузом по борту вперед, ухватил мешок — здорово тяжелый! — и осторожно опустил в туз.

В это время туз качнуло: глянул — Сережка уже стоит на корме.

Он по той же веревке слез, на которой и мешок опустил.

Я взялся за весла и стал потихоньку прогребаться вперед.

В это время с парохода кто-то крикнул:

— Эй, дед, фонарь давай! Заснул?

И мы слыхали, как кто-то спрыгнул на баржу.

Я чуть приналег посильнее.

Фонарь стал метаться по барже.

На пароходе закричали, заголосили.

Бах, бах! — щелкнули два выстрела.

— Эй, навались!

Мы уже огибали мол. Сережка оглянулся и сказал:

— Шлюпки за нами — навались!

Я рванул раз, два — и правое весло треснуло, я повалился с банки [1].

Вскочил, смотрю — Сережка гребет по-индейски обломком весла; как он успел на таком ходу ухватить обезьяньей хваткой обломок весла, до сих пор не пойму.

Мы завернули за мол в темную полосу под стенкой и забились между большим пароходом и пристанью, как таракан в щель.

Мы видели, как из-за мола вылетела белая шлюпка. Гребли четверо. Гребли вразброд, бестолково. Орали и стреляли.

Через полчаса мы прокрались под стенкой к своей пристани.

...Наутро пришли мы с Серегой на бульвар.

Еще пуще раздымился «Юпитер».

---

[1] Банка — скамья на шлюпке.

— Снимается, снимается анафема,— говорит Тищенко.

— Капитан там аккуратист — все уже в порядке. А тут сбоку подбавляют:

— Лиха беда начать — все пароходы вылезут. Наберут арапов, охрану поставят — и айда. Завязывай!

Тут какой-то вскочил на скамейку и начал:

— Товарищи! Не надо паники. Сотня арапов весны не делает,— и пошел и пошел...

А мы с Сережкой переглядываемся.

Снялся «Юпитер». Вышел из порта.

Ну, думаю, через полчаса пойдет капитан курс давать, глянет в путевой компас...

Погудел народ и приуныл. Сели на землю и трут затылки шапками. Всем досада.

Мы с Сережкой ушли, так никому и слова не сказали.

Зашли в трактир, чаем пополоскались.

Дружина прошла строем, что на охране парохода была.

Серьезно идут, волками по сторонам смотрят.

Часа три прошло.

Вдруг вой с бульвара, да какой! Ну, думаем, полиция орудует на бульваре.

Бросились бегом.

Смотрим — все стоят, в море смотрят и орут.

А это «Юпитер» идет назад в порт. Увидал его народ, вой поднял.

А Серега мне говорит:

— Смотри же, ни бум-бум, чтоб никто ничего!

Я так до сего времени и молчал.

Ну, теперь уж и сказать можно...

«ПОГИБЕЛЬ»

Так все в порту и звали этот пароход; на него я нанялся поденщиком. Так и сказали мне кричать: «На «Погибели»! Давай шлюпку!» Пароход стоял у стенки волнолома. Наконец шлюпка отвалила. Один человек

юлил веслом за кормой. Человек оказался рыжий. Весь в ржавчине и в веснушках. Я сказал, что хозяин прислал меня поденщиком.

Рыжий сказал:

— Ну, вались! Юли сам назад.

Он пихнул весло ко мне, а сам сел на банку. Я погнал шлюпку. На полдороге рыжий спросил:

— Ты знаешь, куда поступил?

— Чего мне знать? На поденщину. Ржу обивать.

— На «Погибель» ты поступил. Если там ржу обить, так останется от нас всего, что только нас — четыре поденщика. Ты приставать будешь, так легче — борт пробьешь.

— Заливай! — сказал я.

— Нам, брат, не заливать, а отливать только поспевай. Смеешься? Мы на палубе ночуем, а то как пойдет под заныр — выскочить не успеешь.

Мы подошли к борту. Борт был страшный: рябые ржавые листы местами были закрашены суриком, вмятины обрисовывали ребра, как у голодной клячи. Пока я влезал по штурм-трапу, я уже измазался ржавчиной. Я вошел в кубрик, поздоровался и поставил на стол две бутылки водки. В кубрике было полутемно, и, когда зажгли лампу, я поразился обстановкой: все, все — и деревянные койки, и стол, и скамейка,— все было черно и все было изъедено морским червем. Лампа была зеленого цвета, иллюминаторные рамы, медные крючки и замки на дверях — вся медь была густо-зеленого цвета. На потолке приросла засохшая ракушка.

— Что смотришь? — сказал рыжий.— «Погибель» пять лет на боку под берегом лежала. Здесь утопленники в карты дулись. Вот на этом самом столе.

— А до того на ней без ремонту пятьдесят годов кряду мертвых спать возили.

Это сказал другой, маленького роста, седоватый.

Третий все молчал и сидел в углу.

Стали пить водку. Закусывали луком, грызли его, как яблоки. Больше ничего у поденщиков не нашлось. Я узнал, что рыжего зовут Яшкой, а старика — Афанасием Ивановичем.

— Маша, Маша! — закричал рыжий. Я оглянулся.— Маша, ты сядь к нам, выпей.

Третий, что сидел в углу, поднялся и подошел. Это был человек высокого роста, с большими черными глазами. «Грек — не грек»,— подумал я.

— Да ты не удивляйся: у него бабье имя — Мария. У него с пяток имен, и вот Мария тоже. Так мы его — Маша. Он не русский — испанец. Испаньо́ло! — Тут Яшка ткнул испанца в плечо и показал на жестяную кружку.— Вали!

Испанец немного отпил. Яшка со стариком собирались на берег за третьей бутылкой. Я отдал последние медяки. Мы остались с испанцем вдвоем. Он плохо говорил по-русски. Но я кое-как понимал. Он прихлебывал водку, будто вино, из стакана. Сначала конфузился, потом сел картинно, а потом вскакивал на ноги, когда говорил.

Он рассказал мне, что был тореадором. Я первый раз в жизни видел живого тореадора. Он был в синей куртке, в парусиновых портках, весь измазан ржавчиной, но так бойко вскакивал на ноги и в такие позиции становился, что я забыл, в чем он одет. Казалось, все блестит на нем. Я только боялся, чтобы не вернулись Яшка с Афанасием и не сбили бы с ходу тореадора. Он говорил, что уже входил в славу. Был на лучшей дороге. Жил в гостинице. Каждый день с утра — цветы. Полно́, полно́ цветов! Руками показывал, сколько,— некуда поставить. Прислуга крала, торговала этими цветами. Даже в комнате было душно от цветов. У него был выпад — удар шпагой — такой, как ни у кого,— молния!

— Я не становился в позицию, я стоял как будто рассеянно, как будто я сейчас буду ногти чистить. И я следил глазами за быком, я точно знал, что это — последний миг. Нет! пол, четверть мига! — Он звонко щелкнул ногтями.— И вот замерли, всем кажется, что вот поздно уже,— и в это мгновенье — молния! — Испанец ткнул в воздух рукой. Я, сидя, отшатнулся.— Вот! И секунду весь цирк молчит, и я слышу шум вздоха. Вы знаете, когда весь цирк враз вздохнет... Что́ аплодисменты! — Он небрежно постукал в ладонь.— Или крик. Это что! Но надо знать быка. Надо смотреть на его скок, на его прыть, когда его дразнят, когда бросают бандери́льи [1], когда он бодает лошадь,— это все надо

[1] Бандери́льи — стрелы, которые бросают в быка, чтобы раздразнить его.

подметить, тогда можно угадать это мгновенье: вот он стоит перед тобой, и вот... и тут молния. Ах! И это всё.

Он сел.

И вот раз случилось — на полмгновения раньше ринулся бык. Тореадор стоял небрежно, как всегда. Он не мог отскочить и ткнул шпагой, просто защищаясь, ткнул не по правилам и не туда, за рогами,— ткнул, чтобы попасть в сердце. Он убил быка, спасая свою жизнь. Цирк взревел. Он слышал, что крикнули: «Мясник!» Шпага осталась в быке, а он бежал, как был в тореадоровском наряде,— он знал, что его разорвет толпа. Бежал даже больше от стыда, как сфальшививший на поединке трус. Дело было в портовом городе, и он не помнит, как оказался на иностранном пароходе и там забился в какой-то угол. Он не выходил на свет до самого отхода. А потом ему дали переодеться и сунули в руки лопату.

— Теперь я угольщик — карбонéро. Но я сказал себе, что это я испугался первый, но и последний раз. Я теперь всю жизнь ничего не смею пугаться.

Афанасий с Яшкой уже стояли в дверях. Они выпили по дороге половину.

— Ничего не должен бояться! — закричал Яшка с порога.— А ну! Ну! Ты плавать, говоришь, не можешь? Нет? Ну, прыгай с борта в воду. Трусишь! Машка, должен ты сейчас прыгать, или ты...

Но испанец уже шел к дверям. Я побежал за ним, но он оттолкнул Яшку и вышел на палубу. Было темно, только далеко на пристани горели фонари. Внизу с высокого борта вода чернела, как мокрый асфальт. Я не успел задержать испанца, он козлом перемахнул через борт и сильно плюхнул внизу. Яшка с Афонькой притопали к борту.

— Круг, круг давай! — кричал я им; но они, свесившись, глядели за борт.

— Греха-то, греха! — завыл Афанасий.

— А ну, вынырнет где? Или раков кормит? — пьяной губой шлепал Яшка.

Я бросился по штурмтрапу к шлюпке.

Я слышал, как сверху закричали:

— Ай, Машка, выплыл!

Я не успел отвязать шлюпку; испанец неподалеку бил по воде руками. Я подсунул ему весло. Он ухватился.

В кубрике я совал мокрому испанцу свою куртку, Афанасий — кружку с водкой. Испанец отмахивался.

— Ну, скажи, какая утопленница фокусная,— хрипел Яшка.

Они с Афанасием допили.

— Да и черт с тобой! — бубнил Яшка.— Утопленница! Думаешь, испугался? Да тут поискать — может, в каком углу и живой утопленник-то есть,— я говорю, дохлый,— найдется на «Погибели» на нашей, где-нибудь в трюмах. Или под котлами? А? Афонька, правду я говорю?

Но никто не отвечал. Яшка погрыз луковицу. Поглядел на нас и вдруг озлился.

— В воду летом сигать — подумаешь, фокус какой, а вот я сейчас пойду в машину, и я вот этой кувалдой как тарарахну по борту, так вся она, «Погибель» эта, тут на дно и сядет. Что! Тогда сами, как лягушата, с нее попрыгаете. Машка первый. Что? Не пробью? Нет? А вон!

Яшка схватил из-под койки тяжелую скрябку и изо всей силы швырнул ею в борт. На том месте осталась черная дырка — скрябка пролетела наружу.

— Ага! ага! — закричал Яшка.

Он схватил из угла кувалду, вскинул на плечи и, мотаясь на ходу, побежал к двери.

— Вот сейчас вы у меня увидите!

Афанасий слабо махнул вслед рукой:

— Не дойти ему... темно... трап крутой...

Мы слышали, как Яшка обронил кувалду на железную палубу и как поволочил ее.

Афанасий пьяно мотал головой и махал на дверь рукой:

— Там и заснет... и свалится в болото.

Испанец подрагивал в одном белье. Лампа потрескивала. Афанасий заснул сидя.

Вдруг мы услышали глухие стуки; они по железу корпуса ясно доносились к нам в кубрик. Афанасий встрепенулся.

— Крушит, ей-богу, крушит! Очень просто, что проломает. Не... не переночуем.

Он встал. Вскочил и испанец. Он бросился к своему сундучку, огарок свечи уж у него в руках; он схватил со стола спички и был уже на палубе, пока я вылез из-за стола.

— Го! го! — кричал испанец откуда-то снизу.

Я не знал этого огромного парохода. Шел спотыкаясь, наобум, пока не увидел, что свет маячит где-то справа. Я бросился туда. Свет был из входного люка. Оттуда глухо я слышал «го! го!». Я спустился по трапу. Нащупал ход. Вот коридор. Вдали белая фигура со свечкой — испанец. Я догнал его бегом. Сзади где-то дрябло топали сапоги Афоньки. При свечке видны были вымоченные посинелые двери кают, кожа на диванах, треснувшая, как картон, позеленелые медные часы и желтый намет песку в углу кают-компании. Местами сухие водоросли свешивались с потолка и щекотали лицо. А снизу бухал и бухал молот. То замирая, то остервеняясь, ухали удары.

Вот трап вниз. Испанец легко босыми ногами перебирал ступеньки. Я боялся потерять его свечку. Сзади я слышал, как падал и ругался старик. Мы теперь были ниже уровня воды.

Вдруг удары молота смолкли, и вдали коридора из дверей высунулась рожа:

— Ага! Перетрусили! А я и не пущу!

И дверь захлопнулась. Когда мы добежали, дверь уже не поддавалась. Яшка, видно, припер ее чем-нибудь изнутри. Молот бил теперь отчаянно.

Я кричал, но не слышал своего голоса за гулом. Удары скоро оборвались.

— Что? — услышали мы запыхавшийся Яшкин голос.— Теперь на коленках... просите... Машка, проси меня по-испански...

Испанец стукнул ногой в дверь. Стукнул голой пяткой, и дверь затрещала. Вот они, легкие ноги!

— Открой, дурак! — крикнул я.

— Стой, ребята! — Афанасий просунулся между нами.— Он это по цементу садит. Там этого цемента пол-аршина,— шептал старик. И вдруг гнусавым голосом, как дьячок с клироса, Афанасий запел: — Тебя мы здесь запре-е-ем! И ты сыщешь себе гнусную могилу на этой «Погибели». А мы пошли! На шлюпку! И на берег! И будь ты четырежды анафема. Примешь смерть, как мышь в ведре. Аминь!

Афанасий икнул. Минуту было молчание. Потом два раза стукнул молот. Но уже слабо.

— Пошли! — скомандовал Афанасий громко.

Мы двинулись. И вдруг сзади услыхали бой и треск: это Яшка крушил кувалдой дверь.

Афанасий дунул на свечку, толкнул меня и шепнул:

— Ховайся!

Мы с испанцем ощупью юркнули в какую-то дверь и замерли. Мимо нас прошлепал сумасшедшей рысью Яшка. На бегу он кричал:

— Пошла, пошла! Ходом пошла вода!

Я слышал, как за Яшкой затопал старик. Он успел крикнуть:

— Тикайте!

Но испанец снова зажег свечу и спросил меня, что случилось. Я сказал:

— Он пробил насквозь, пошла вода, как водопад.

Испанец весь напружился.

— Они туда,— он указал вдоль коридора,— а я должен сюда.

И он зашагал к разбитой двери.

Я понимал, что Яшка не мог сделать пробоину, от который наша «Погибель» пошла бы ко дну сразу, как дырявая плошка, но, если вся подводная часть держалась на цементе, мог провалиться в тартарары сразу большой кусок обшивки. Она — как слоеный пирог из трухлявых листков хрупкой ржавчины.

Но испанец шел уже со свечкой, он отгреб обломки двери. Он выпрямился, напружился, будто шел на арену.

Мы вошли в небольшое помещение. Среди разбитых досок, черных, источенных червями, разбросан был цемент, разбитый в щербинку. Кувалда валялась тут же. Воды не сочилось ни капли.

Испанец нахмурился, коряво обругался по-русски, и мы молча поплелись обратно.

В кубрике мы не нашли ни Яшки, ни Афанасия. Под бортом я не увидел шлюпки. Уже занималась заря, когда мы легли спать в кубрике. На «Погибели» нас осталось двое в эту ночь.

— Как это по-русски? — вдруг спросил испанец, когда я уже начал дремать.— Я не можно...

Я догадался.

— Я не должен ничего бояться. Спите, дон Мария, ну его — на сегодня хватит.

Я забыл, что уже наступило «завтра».

А назавтра не оказалось ни шлюпки, ни Яшки с Афанасием, ни кое-что из сундучка испанца.

Испанец мне объяснил, что наша работа заключается в осторожном отбивании ржавчины и подмазывании оставшегося суриком. К полудню он меня спросил:

— Как это: мне не можно?..

Но я был голоден и сказал:

— Не можно голодать вторые сутки, вот что.

Я бросил скрябку и рашкет и полез просить харчей на соседнюю баржу: она стояла у стенки, неподалеку от нас. Я добыл хлеба, кукурузной муки, и мы на горне варили кашу без грамма жиру. Машка называл наш корабль «Погибелья». Я объяснил ему, что́ это по-русски значит.

Под вечер приехал хозяин, привез полтора десятка поденщиков, и пошел ремонт.

У нас с испанцем удержалась дружба. Мы работали вместе на подвеске за бортом, и он пел в такт молотка испанские песни. Каждый день хозяин давал расчет, и мы получали свои «рупь двадцать». И каждое утро испанец спрашивал: «Как это: мне не можно?..» — и я учил его говорить. «Я не должен всю жизнь ничего бояться».

Это так. А ремонт я понял. Хозяин готовил судно, как барышник лошадь: лишь бы не тонуло и могло двигаться. «Ремонт» приходил к концу. Все поденщики понимали, в чем дело.

— На таком судне только пьяный дурак в море пойдет, одно слово — «Погибель»,— говорили поденщики.

Я это понимал не хуже их.

Судно назвали «Петр Карпов». Сам Петр Карпов как-то под вечер явился на судно и объявил, что все могут идти на берег. Ремонт закончен. На другой день члены комиссии с осмотром прошли по судну, после завтрака, шатаясь и с очень громкими голосами: главный инженер попал ногой между шлюпкой и трапом. Но его быстро вынули из воды, так что даже не успел намокнуть.

— Что, боитесь остаться? — спросил нас хозяин, когда увезли комиссию.— Кто не боится?

И хозяин лихо вздернул подбородок ввысь.

— Не должен бояться...

Гляжу, мой испанец вышагнул вперед:

— Я!

Не знаю почему, но и я сделал за ним шаг. Хозяин прищурился на нас и спросил фамилии.

На другой день нас поставили к пристани под погрузку. Песку уже достаточно взято было для балласта. Ну, пусть песок, это экономия. Но ящики с апельсинами, что подавали с берега в трюм, были что-то легковаты. Я хотел взять один хотя бы апельсин, подорвал в трюме ящик, он оказался порожним. Я подорвал еще десятка с три; только в четырех были апельсины. Я сказал об этом испанцу. Он, по-моему, только обрадовался. Будто я не понял, что дело становится все темней и темней. Помощники капитана распоряжались погрузкой. Капитана мы все еще не видели.

Наконец был назначен день отхода. За сутки пригнали кочегаров. Испанец пришел, махая руками:

— Это разбойники и пьяницы. Я один за всех.

Однако пар подняли. Котлы текли, и пар шел от котлов, как от самовара. Два юрких механика поспевали всюду: они сами хватались за лопаты и кидали уголь, потом мазали машину. К нашему удивлению, в четыре часа вечера машина дала пробные обороты.

Наконец пригнали матросов. Их было семеро. Шестеро из них были пьяны, и пятеро сейчас же сознались, что они природные дворники. То есть... Что «то есть»? То есть после военной службы они ничем другим не занимались. Сюда пошли, соблазнившись деньгами. Какими? Они хныкали, пока не заснули.

Последним, за час до отхода, явился капитан. Это был толстенький человек, ядовитый, грязненький. Глазки навыкате. Он ими вовсе не глядел в лицо, а если вдруг упирался глазами в глаза, то глядел, как очумелый баран. И человек не знал: бросится ли он на него или навек замрет, застекленеет в своем взгляде и потом не разбудишь?

Мы о нем ничего не успели услышать. Но только одно: когда он во время отхода вышел на капитанский мостик, то с берега грянуло такое «га», что мы долго не могли расслышать никакой команды. Мне все время хотелось выпрыгнуть на берег, но мне уже нельзя было бросить испанца.

Мы снялись под вечер. Испанец был в вахте внизу, в кочегарке. Мне заступать вахту на руль через час. Я глядел с борта на огни в городе, курил и сплевывал в воду. Было жутковато идти в море на такой посудине и с такой командой, но, признаться, меня забавляло:

что же будет дальше? Я думал: зачем этот фальшивый груз?

И вдруг надо мной на мостике я услышал ругань. Сначала вполголоса, потом крик:

— Ну и гони его! В шею!

И по трапу скатился человек. Это был матрос. Следом за ним сбежал вниз старший помощник капитана. Было уже совсем темно. Он подскочил ко мне вплотную, сгреб за плечо и зло тряс:

— А ты-то, ты можешь стоять на руле?

Это шипел он мне в лицо. Я крепче потянул папироску, огонек раздулся, и я увидел лицо, оскаленное от злости. Не лицо, а кулак..

— А конечно,— сказал я.

— Ну так марш, марш! — Он тянул меня, вцепившись в плечо.— Вахта? Какие вам еще вахты? По сто целковых на брата дают, а еще вахты!

— Ничего мне не известно,— говорил я.

Но мы были уже на мостике. Свет из нактоуза освещал лицо капитана — это он сейчас стоял на руле.

— Так вот и держи: зюйд-ост шестьдесят три,— сказал капитан, когда я взялся за штурвал.

«Странный курс»,— подумал я. Я знал, что груз адресован на Ялту, что курс наш должен быть приблизительно градусов на двадцать южнее. Неужели такая поправка компаса?

Помощник стоял у меня за спиной и глядел через плечо, держу ли я пароход на курсе. Через пять минут он сунул мне папиросу в рот:

— На, кури!

И сам поднес спичку. Он стал ходить по мостику.

— Я заметил, что он задерживается иногда подолгу в правом углу.

Наконец я увидел, что он запрокидывает голову, а вот швырнул за борт бутылку.

«Что за плавучий кабак,— думал я,— рулевой с папироской, а вахтенный штурман пьет на мостике прямо из горлышка!»

Я на минуту огляделся по сторонам: капитана уже не было.

Помощник подошел ко мне и над самым ухом сказал:

— Как же тебе не говорилось про сто рублей? — От него сильно разило вином.—Все равно получишь все.

Но в это время на мостик поднялся капитан. Я слышал, как помощник его спросил:

— Так вы говорите — еще упал? А вот штиль какой стоит! Могут и сутки-другие пройти.

Я понял, что они говорят про барометр. Мне слепил глаза свет из компаса, и я не видел впереди ничего, кроме ночи, но знал, что должен уж открыться Тендровский маяк. Он горит на конце низкой песчаной косы. Она тянется почти прямо на юг, сотни на полторы километров. Кроме кордонов пограничной стражи, ничего нет на этом песке. Редкий рыбак забредет сюда в это время года.

— Дайте-ка мне бинокль,— услыхал я голос капитана.— Верно, верно — это Тендровский.

И я услышал, как зазвонил телеграф в машине. Машина сбавила ход и теперь еле слышно ворчала внизу.

— Право! — скомандовал капитан. Он подошел к компасу.— Еще право! Так! Так и держи.

Мы шли теперь малым ходом на юг, то есть вдоль Тендровской косы.

— Огни гасите,— сказал капитан.

Они с помощником ушли в штурманскую рубку. И до меня через открытую дверь долетели слова:

— Именно, именно этим часом на вашей вахте, так и запишите... Нет, вашей рукой должно быть записано в журнале: загорелся подшипник, коренной подшипник.— Это говорил капитан.— Теперь старшего механика ко мне с машинным журналом.

Через две минуты механик был здесь.

— Принесли машинный журнал? — слышал я капитана из штурманской.— Пишите: загорелся подшипник. Что-о? Струсил? Пиши, а то полетишь у меня за борт... Нет, не я должен, твоей рукой должно быть написано. Писать! Ага, то-то! Покажи! Ты что же это написал? Ах ты...

Механик быстро сбежал с трапа, как скатился. Я слышал, как капитан треснул журналом о стол, точно выстрелил.

— А, черт! Помарок же делать нельзя!

Я уже давно отстоял свои два часа,— часа три я уже стоял у штурвала.

— Ты отдохни,— сказал помощник.— Я постою. А ко мне пришли второго.

Я пошел вызывать второго штурмана на мостик. Он был грек, черный, как жук, маленький, на кривых ножках. Он вскочил с койки и затараторил куда-то мне через плечо, как будто кто еще за мной стоял. Я даже не мог понять: по-русски это или по-гречески?

— Ой, голубчик, она ж лопнет сейчас, маты панайя [1], лопнет наша барка. Я уже не могу терпеть больше! — Он закрыл глаза и замотал головой. Я думал, она у него отлетит.— А, дьяволос! Когда же берег? Не знаешь? Я тоже не знаю, никто не знает. Хорошее дело. Ай, нет! Дело очень хорошее, очень-очень-очень может выйти хорошее дело. Ай, только надо берег, скорее берег! Ма, давай берег скорей! — Он топтался на месте.— Давай, давай!

Но тут резкий свисток с мостика и крик:

— Спирка!

Спирка замахал руками и, как был, в брюках и сетке на голое тело, покатился по палубе. Таких шулеров я видел в севастопольских бильярдных.

В кубрике все спали. Только двое под лампой дулись в затрепанные карты. В жестяном чайнике нашелся холодный чай. Я потянул из носика и пошел на палубу посидеть.

Тендровский маяк слабо мерцал направо за кормой. С мостика было слышно, как галдел грек и как покрикивал старший помощник:

— Ты правь, Спирка, а не махай руками. Держись хоть за штурвал, обезьяна!

Из кочегарского кубрика протопали четверо — смена. И через минуту испанец сидел со мной рядом.

— Я бил их, механик тоже их бил. Они не могут кидать уголь, они не могут держать пар. Это не кочегары, это...

Я перебил его:

— Ты знаешь, куда мы идем?

— Нет.— Испанец стал глядеть по сторонам, как будто можно было увидеть.

— И я не знаю.— И я ударил его кулаком по колену.— Понимаешь ты: это кабак плывет по морю. Кабак — ну, таверна, или как по-вашему?

И в тот же миг я вдруг отчетливо вспомнил треугольник из красных огней на молу на мачте, когда мы

[1] Греческая божба.

выходили,— штормовое предупреждение. Закрыл глаза на минуту и вспомнил, что вверх острием висели огни,— шторм с юго-запада.

— Ты дурак, и я дурак,— говорил я.— Ведь это корыто развалится, это ж песок, склеенный слюнями. Как он от хода не рассыплется в порошок!

— Я не можно никогда...— Испанец встал.

Встал и я. И тут заметил, что пароход чуть покачивает на зыби.

Зыбь шла с правого борта, шла к юго-западу. Но ветра еще не было. Зыбь шла с моря, оттуда, где работала уже погода.

— Хозе,— сказал я испанцу на ухо.— Ты смотри за шлюпками с правого борта, вон за теми, а я здесь. Они могут удрать и нас бросить,— я говорю про начальство. Капитан, механики, помощники...

Нет, Хозе ничего не понял.

— Хозе! Сядь здесь и смотри, чтобы не подходили к шлюпкам. И сейчас же скажи мне. Я буду здесь.

Но Хозе хотелось пить. Я сказал, что принесу ему целый чайник воды.

Когда я вышел с чайником на палубу, уже махал в воде порывистый, бойкий ветерок. Он наскакивал, отступал, пробегал дальше. И вдруг задуло. С мостика помощник свистел и кричал, чтобы я шел на руль. Там были уже капитан и оба помощника. Машина все так же работала малым ходом. Я оглянулся с мостика вдаль, назад,— Тендровского маяка уже не было видно.

Я взялся за штурвал,— курс был тот же: на юг.

— Лево! — крикнул капитан.

Я сильно положил руль. Пароход покатился влево, и теперь мы шли прямо на восток, то есть прямехонько в берег, в эту песчаную косу, которую и днем-то за полкилометра иной раз не увидишь.

— Спирка! — крикнул капитан греку.— Пошел на лот! Пошел, не болтать мне!

Кто-то поднялся на мостик; я услышал, как он крикнул через ветер:

— Надо ходу больше, мы воду не успеваем качать!

— Вон отсюда! — крикнул капитан.

Зыбь теперь поддавала в корму справа. Я боялся, что каждую минуту может лопнуть пополам наша жестянка, вода хлынет в машину, под нами взорвутся кот-

лы и кашлянет нами «Погибель», как вареным горохом. Скорей бы к берегу!

— Стоп машина! — скомандовал капитан.

Зазвонил телеграф. Но машина наддала ходу.

— Дайте им по зубам! — заорал капитан.

И помощник скатился с трапа.

Через минуту машина стала.

— Спирка! Набрось! — закричал в рупор капитан.— Сколько? Не слышу!

Спирка взбежал с мокрым линем [1] в руках.

— Двенадцать саженей! — крикнул Спирка.— Ну, ей-богу, двенадцать! Сейчас берег, честное слово, как я Спиро Тлевитис.

— Готовь якорь,— сказал капитан.

Но Спирка вернулся через минуту.

— Они все закачалися, капитан, они все как барашки, они рыгают, они не могут ничего, совсем...

— Молчать! — оборвал его капитан.— Зови из машины.

Ветер крепчал. Он уж рвал белые гребни валов. Наносило острый дождь; он бил в лицо, как свинцовой дробью.

— Бросай руль! — сказал мне капитан.— Найди людей, бей их аншпугом. Вывалить все четыре шлюпки за борт, приготовить к спуску!

Я бросился к испанцу. Хозе тянул из чайника воду и что-то жевал.

— Хозе, к шлюпкам! Бей их, скажи, что тонем.

Я вошел в кубрик, и меня едва не стошнило от вони.

— Вставай! Гибнем!

Многие сели на койках и глядели на меня, выпуча глаза. Но тошнить их перестало.

— Все на палубу! Марш!

Они спрыгивали с коек; я толкал, бил их в шею. Они падали на мокрой шатающейся палубе, вставали на четвереньки.

На баке [2], я слышал, громыхала цепь, видно, Спирка наладил дело, якорь готовит.

Кое-как добрались до шлюпок. Они лезли в них тут же, не вывалив их за борт. Я нашарил в шлюпке румпель [3] и бил этих людей по чему приходилось. Это при-

---

[1] Линь — веревка лота.

[2] Бак — носовая часть палубы.

[3] Румпель — рычаг, который надевается на руль для поворота.

вело их в чувство. Они теперь слушались и кое-как исполняли, что я велел.

На другом борту орудовал испанец с кочегарами. Мы возились уже с последней шлюпкой. Сколько всякого припасу было наложено в этих шлюпках! Тут грохнула цепь — это отдали якорь. Теперь ничего не было слышно. Над нашими головами ревел пар, его выпускали из котлов,— видно, боялись взрыва.

Теперь дело пошло легче: оба помощника и капитан помогали делу. Я бросил их на минуту, чтоб захватить из кубрика кое-что из моих вещей. По дороге я видел, как два механика освобождали запоры трюмов. В кубрике я застал Хозе. Он возился над своим сундучком, что-то выбирал оттуда. Лампа еще горела, и он подносил каждую вещь к лампе.

— Скорей! — крикнул я.— Они могут нас тут бросить.

— Я не можно...— Хозе улыбнулся.

— Пойдем! — Я дернул его за рукав.

Но он не спеша завязывал в узелок свои вещи. Ох, наконец он их завязал, надел узелок на локоть. Мы вышли. Команда уже сидела в шлюпках. Я боялся, что трудно будет спустить их с высокого борта. Но вода была теперь совсем близко. «Погибель» быстро набирала воду. Пароход грузно переваливался на волне. Казалось, что меньше стало качать. Он стоял теперь носом к зыби.

Одну шлюпку уже спустили. Никто не греб, только один человек стоял на корме с веслом. Шлюпка быстро исчезла в темноте, в дожде. Мы с Хозе спустили последнюю; в ней, кроме нас, был Спирка и еще двое кочегаров. Мы отвалили по всем правилам. Спирка что-то городил, быстро, как молитву. Но я крикнул ему: «Молчать!» Он затих. Я успел глянуть на «Погибель»: до борта оставалось не больше трех метров.

Нас несло штормовым ветром к берегу, это мы знали. Я правил сзади веслом. Уговорились: при первом толчке о песок — всем в воду и подтащить, сколько можно, шлюпку вручную.

Мы уже слыхали, как рассыпа́лся прибой в прибрежном песке. Зыбь становилась мельче и круче. Вдруг я достал веслом дно.

— Готовсь! — заорал я.

Шлюпку ударило носом в песок, подбросило валом корму и вмиг повернуло. Мы едва успели выскочить, как

следующий вал ударил ее в борт и опрокинул. Воды было по грудь.

— Бежим! — крикнул я и дернул за шиворот Хозе.

Я помнил, что он не умел плавать. Нас поддало волной, повалило. Но мы уже стояли на четвереньках, и здесь было на локоть воды. Испанец хохотал и что-то кричал. Куда разбросало остальных, я не видел. Через три минуты мы были уже на суше, то есть на мокром песке. Но это был берег. Я стал гукать, свистеть. «Го! го! го!» — кричал Хозе. Нам было холодно в мокрой одежде на ветру. Дождя уже не было, но ветер остервенело рвал и облеплял нас мокрым, холодным платьем. Никто не подходил, не отзывался на наш крик.

— Черт с ними! — сказал я.— Утром увидим.

Мы отошли от воды. Зуб не попадал на зуб. Вдруг мы стали на колени рядом и, не сговариваясь, оба стали рыть песок. Мы накидали руками вал и легли за ним, прижавшись спинами друг к другу. Вал прикрывал нас от ветра.

Мы проснулись, когда совсем рассвело. Еле развели скрюченные ноги и оба сейчас же поглядели на море. Желтый прибой все так же буравил берег, низкие тучи гнало от самого горизонта. Из воды, саженях в ста от берега, торчали черные мачты «Погибели». Они, как две пики, направлены были на берег. Из валов временами показывалось жерло трубы, как открытый рот. Я глянул вдоль берега — неподалеку из воды торчало белое дно нашей шлюпки: прибой занес ее песком, как метель снегом. Разбросанные ящики — наш груз — волны таскали взад и вперед, кувыркали и били о песок. Испанец тыкал пальцем куда-то вдаль и гоготал. Я присмотрелся: шалаш из брезента. Дым из него гнало ветром низко по земле. Испанец дергал меня, чтоб идти. Но он глядел уже налево, и было на что: шагах в ста от нас у воды на корточках сидел человек. Он чем-то ковырял в воде.

— Апельсины! Ловит апельсины. Бежим!

Испанец закоченелыми ногами заковылял что было силы по песку. Но скоро мы узнали капитана в этом человеке. У него что-то серое в руках. Теперь видно: это книга. Ну ясно, это машинный журнал в парусиновом переплете, в масляных пятнах. Я дернул испанца, чтобы говорил тише. Но за ревом прибоя капитан все равно нас не услышит. Я подошел совсем близко и присел на корточки. Капитан что-то подмывал морской водой на



странице журнала. Наконец он крякнул, закрыл страницу и до половины окунул журнал в подоспевшую зыбину.

— Теперь ол-райт! — сказал капитан. Он повернулся и увидел меня.

Хозе в десяти шагах стаскивал с себя мокрые ботинки. Капитан с минуту глядел на меня, выкатив глаза.

— Это откуда? Наши?

Он не знал в лицо своей команды.

А я молчал, ухмыляясь, и глядел на него снизу.

— Да кто ты есть? — крикнул капитан и шагнул ко мне.

Я молчал. Он сделал еще два шага. Но тут босиком подбежал Хозе.

Капитан глядел на него. Я помотал головой. Хозе понял и тоже молчал.

— Что вы за люди? Говорите, бестии! Говорите же!

Мы молчали. Хозе улыбнулся во весь рот. Игра ему понравилась.

— Тьфу! — плюнул капитан.

Он с журналом под мышкой зашагал прочь. Но вдруг круто поворотил назад.

— Что ты видел? — крикнул он мне.— А ты? А ты?

Капитан двигался на Хозе.

Хозе стал боком, скосив глаза на капитана. Тот насутулился и глядел остекленелым взглядом: неподвижным, пристальным. Он приоткрыл рот и сдвигал все ближе брови, весь подавшись вперед. Я глядел, что́ будет. Вдруг что-то мелькнуло, и капитан опрокинулся навзничь. Чем и когда попал ему Хозе в переносицу? Я и сейчас сказать не могу. «Вот она, молния»,— вспомнил я. Капитан не сразу очнулся. Наконец он сел на песок. Мы оба сидели против него.

— Слушайте,— сказал он хрипло.— Не будем много говорить. Вы, наверно, двое из команды... кого недосчитались. Значит, никто не погиб. Всё в порядке.— Он говорил просительно, как больной.— Вы, значит, и есть испанец.— Он указал на Хозе.— А вы — рулевой. Ведь верно? Я вами очень доволен. Теперь никакой заботы, всего только — молчать. Вы, я вижу, на это мастера. Вот ему,— он указал на Хозе,— я даю триста рублей.— Капитан выставил три пальца.

Хозе их поймал в кулак и завернул дудочкой: капитан вскрикнул.

— Мало? Поезжайте в Испанию — на триста рублей можно год пьянствовать. Там вино дешевое. И вам триста. И вы уезжайте себе подальше. Понимаете? Чего вы молчите? Не поедете?

И глаза его снова остекленели.

Он встал и пошел к палатке, оглянулся и крикнул коротко, кажется, «ладно»,— отнесло ветром.

Хозе хохотал. Он прыгал. Должно быть, чтобы согреться.

Мы выловили дюжины две апельсинов — их вынесло прибоем — и съели. Признаться, я трусил теперь идти к палатке. Нас очень просто могли сделать утопленниками, погибшими при кораблекрушении. Я не говорил об этом Хозе, а то непременно полезет в драку.

Должно быть, было уже около полудня, когда слева показались подвода и трое верховых. Это были пограничники.

Среди солдат на подводе сидел Спирка.

— Хлеб тоже везем! — кричал он нам с подводы.— Борщ немножко, и сейчас едем все на маяк.

Мы пошли за подводой. У Хозе за пазухой были апельсины. Солдаты сейчас же отрезали нам хлеба. По берегу против «Погибели» поставили часовых: «Имущество потерпевших в море под непосредственным ее величества государыни императрицы покровительством».

В палатке дворники кипятили чай на досках от ящиков. Солдаты провожали нас до маяка. Офицер слез с коня и шел рядом с капитаном. У капитана на лбу был багровый кровоподтек. Офицер глядел и расспрашивал его про катастрофу. Дворники на расспросы солдат только хмыкали и жевали хлеб. Поздно ночью мы добрались до Тендровского маяка, и о катастрофе полетела на берег телеграмма. Наутро, если позволит погода, за нами придет катер.

У смотрителя на квартире офицер записывал показания капитана. В окно мне видно было, как они переворачивали слипшиеся листы судового журнала.

Тут меня застал Спирка. Он тоже не ложился спать. Он взял меня под руку и повел в сторону.

— Ну, слушай: ну какую же пользу ты имеешь? Ты что же хочешь? Пятьсот? Я! Я! — бил себя в грудь Спирка.— Я, вот побей меня бог, не получаю пятисот. А ты тысячу хочешь? Ну, а что? Такой пароход — это хорошо, что погиб, ему так и надо. А? Нет, скажешь?

Человек один пропал? Не пропал! Груз? Какой же был груз? Сам знаешь. Значит, хорошее все это дело. И зачем ты хочешь, один ты, миллионы? Мириадес! А страховка — страховку хозяин получает, а не капитан. Капитан не хозяин. Люди получают сто рублей и говорят «спасибо».

И Спирка остановился и снял шапку.

— А ведь вы двое всем делать хотите зло! Люди же тоже могут обижаться. Знаешь, если люди обижаются...

Он тараторил без умолку, и я понял, что надо быть начеку. Я не знал, куда делся Хозе.

— Ладно, мы подумаем,— сказал я и вырвался от него.

— Чего думать? — крикнул мне вдогонку грек.— Это можно сейчас. А то может нехорошо выйти.

Я пошел искать Хозе. Дворники уже спали в сарае на полу. Среди них Хозе не было. Я вышел на двор и вдруг ясно услышал голос испанца:

— О! Я не можно ничего...

Я поспешил на голос. Кто-то прошел мимо меня. Я оглянулся и в свете окна узнал фигуру капитана. Хозе стоял посреди двора и потягивался.

— Он мне говорил: «Возьми триста, а то тебе плохо будет». А я сказал...

Я слышал, что он сказал: на весь двор сказал.

Мы спали вдвоем на кухне смотрителя. Я лег под самой дверью на полу, припер дверь собой.

К полудню шторм стал стихать. За нами приполз катерок только к вечеру. На длинном буксире притащил шлюпку с харчами для маячных. Нас по пяти человек подвозили на шлюпке. Катер снялся. На море не улеглось еще волнение, и катерок здорово качало на зыби. Порожняя шлюпка волоклась сзади и мешала ходу. Я хватился Хозе. Мне помнилось, он сел на лавку в каюте. Я всех спрашивал. Дворники проклятые опять все жевали что-то и только мычали. Их скоро укачало. Капитан стоял рядом со шкипером и не хотел со мной говорить. Когда высаживались, я протиснулся к сходне, перебрал всех. Не было только Хозе. Я тогда же ночью пошел в портовую полицию и заявил.

Там сказали:

— Ну, значит, остался на маяке. Капитан список подал на всех людей, ничего не заявлял. Приходи утром.

Тогда я стал ругаться, требовать, чтобы сейчас же записали мои показания, но в это время вошел портовый надзиратель.

— Это еще кто? А ну, документ? Нету? С парохода, говоришь, с погибшего? А ну, дайте-ка мне ихний список! Как, говоришь, твоя фамилия? Такого, братец, нет. Вон ты что за гусь! Гляди-ка, чего выдумал! Ай же и мастер! С погибшего? Отвести! — крикнул он стражникам.

Мне вывернули карманы, сняли поясок и пропихнули в «холодную». На полу храпел какой-то пьяный.

Это капитану обошлось, конечно, дешевле трехсот рублей. Я сел в угол на цементный пол и, признаться, заплакал с досады. Надо было мне взять и за испанца и за себя по триста рублей, тишком-ладком, а потом на суде грохнуть всё.

Наутро я растолкал пьяного. Оказался — ломовой извозчик. Я ему толковал, чтобы всем говорил: «Одного человека, мол, утопили, а другого в полицию взяли». Всю ему историю раза четыре пересказал. А он с похмелья только глазами хлопал, как сова.

Его вытолкали на улицу, а меня повели в тюрьму. Я был уверен, что испанца кинули в море, пока мы на катере добирались. Плавать он не умеет, его за три сажени от берега утопить можно.

В тюрьме я ребятам рассказал, в чем дело. Мало кто верил, только стали меня звать «погибшим». А потом меня вызвал жандарм и спрашивал: не я ли слесарь Храмцов Иван с Брянского завода, которого полиция ищет,— он прокламации разбрасывал и «бунтовал рабочих»? Я говорил, что нет. А он говорит: «Погоди, дорогой, доберемся!»

Я уже второй месяц годил. Народу в камере сколько переменилось! Вдруг как-то привели новенького. У него сменка белья в газету завернута. Я попросил газетку. К окну, к решеткам. Вдруг, вижу, картинка, и нарисован пароход: лежит на боку, торчат труба и мачты из воды.

Потом читаю:

«ТРАГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА

Пароход «Петр Карпов», следуя по пути в Ялту, был застигнут свирепым юго-западным штормом и прижат к Тендровской косе. Машина не выгребала против ура-

гана. От усиленной работы загорелся подшипник коренного вала. Были отданы оба якоря. Но силой шторма пароход все гнало на берег, и якоря стали сдавать. Распорядительность и хладнокровие капитана, старого, опытного моряка, находчивость и удачные маневры среди разбушевавшейся стихии — все это не дало возникнуть обычной в этих случаях панике. Команда благополучно достигла на шлюпках берега.

Авария произошла по стихийной причине. Судовой журнал — этот главный документ корабля, беспристрастный свидетель его героической борьбы со стихией,— час за часом говорит нам, как боролось судно за свою жизнь и честь. Машинный журнал говорит об этом размывами чернил по страницам, просоленным морской водой. Многие записи нельзя разобрать. Но они подписаны самим морем.

Пароход шел первым рейсом после капитального ремонта, с грузом апельсинов. Прибывашая на место гибели комиссия нашла пароход занесенным песком. Напором воздуха изнутри, при погружении парохода в воду, вырвало грузовые люки, и груз частью оказался выброшенным на берег в виде обломков ящиков и разбросанных апельсинов, частью же погребен песком. Груз был застрахован в сумме 350 тысяч рублей».

Внизу был помещен портрет нашего капитана. Выражение на портрете было благородное и скорбное. Я даже не узнал его сначала.

Вот те и на! Не боятся даже в газетах печатать: «из капитального ремонта», когда весь порт называл пароход «Погибелью». Но коли хозяин получает 350 тысяч, то можно тысчонок пять бросить на подмазку. Комиссии за фальшивый осмотр он дал, агенту страхового общества дал, газетчикам дал...

Черт возьми! Не дал ли он еще кому надо, чтобы меня гноили по тюрьмам, пока я не сознаюсь, что я не матрос Николай Чумаченко, а слесарь с Брянского завода Иван Храмцов?

А не объявить ли, что я и есть Храмцов? Будет суд, на суде все рассказать. На суде уж не затрешь. Я посоветовался с одним рабочим, что сидел в нашей камере, и он сказал:

— Чудак ты! Ты думаешь, они глупей тебя? Никакого тебе суда не дадут, а просто административным порядком сошлют тебя, знаешь, где в бане льдом моются, снегом пару поддают: там у тебя глаза от холоду лопнут. Суда еще захотел! Гляди ты какой!

Я задавил в себе досаду. Но было — хоть об стенку головой!

Тут случился в тюрьме тиф: попал я в больницу. Говорили, я бредил этой «Погибелью». А потом слышно стало: кругом забастовки, тюрьму набили народом доверху. Стало уж не до меня. Из больницы меня, полуживого, вытолкали за ворота. Одна была бумажка, что из-под следствия освобожден.

Нищим оборванцем добрался я до своего порта. Здесь товарищи мне помогли. Сказали, что суд был, капитана оправдали. Дело у них сошло с рук. Испанца никто не знал, и такого не видели.

— А капитан?

— А он плавает на портовом буксире «Силач».

У меня, видно, рожу перекосило, потому что все стали говорить:

— Брось, мало насиделся?

Но я ничего не говорил.

Вечером я пошел в порт и стал ждать «Силача». Вот он подошел и стал кормой к пристани. Я узнал голос; он крикнул:

— Сходню ставь веселей!

Я прислонился к штабелю угля. В руке у меня был кусок фунтов в десять. Капитану дорога мимо меня, и народу сейчас мало. «Сейчас тебе, дракону, конец»,— говорил я про себя. Вот он идет мимо фонаря, вот зашел в тень, и я в тени. Тьфу! За ним бегут двое.

— Господин капитан, Леонтий Андреич! Разрешите полтинничек. Ей-богу, мы ж за вас! В счет получки, вот истинный Христос! — и уж совсем почти рядом со мной: — Мы ж зато молчим.

Знакомые голоса. Фу ты! Да это Афанасий с Яшкой. Они шли за ним и клянчили. Я пошел следом. Тут уж вышли на людное место, я бросил свой уголь. Капитан полез в карман, и я слышал, как он сказал:

— Последний раз, а то я вас уберу. Знаете?

Афанасий с Яшкой дошли до пивной и ввалились туда. Они сидели за столиком, когда я вошел. Они меня не узнали — так переменили меня тюрьма и болезнь. Я спросил кружку пива за гривенник и сел рядом. Из их разговора я понял, что их взял служить капитан на «Силач», чтобы они помалкивали, и что теперь как бы в самом деле не был это последний полтинник, что они выудили у капитана. Потом они подвыпили, и Афанасий пьяным голосом кричал:

— Ей-богу, он хороший человек! Вот мы с тобой выпили, честное слово: сам живет и другим жить дает. А это он так. Пугает только. Надо же попугать. А он, ей-богу...

И вдруг он уставился на меня. Обернулся и Яшка и тоже выпучил глаза. Он еле сказал:

— Ты живой?

Я скорее встал, кинул официанту гривенник и вышел. Может, они еще не поверили своим пьяным глазам. Нет, нет, все равно дурака я свалял! Они скажут капитану и уж за десятку, а не за полтинник продадут ему меня.

Я ночевал теперь по ночлежкам, работал на сноске. Я решил переждать с неделю и снова пойти стать под углем.

И вот раз в ночлежке, когда все в полутьме уже засыпали и только в углу шел гулкий разговор, вдруг слышу:

— Мне не можно...

Я так и подскочил: не может быть! Я крикнул на всю ночлежку:

— Машка!

Действительно, это был испанец. Он подбежал ко мне. Я не мог ничего говорить. Я его ощупывал и ругал. Ласкательно ругал, но последними словами. Я не мог его разглядеть, было полутемно. Старики уже бранились, что мы шумим.

Хозе начал вполголоса:

— Они спихнули меня с катера. Я не видел, кто сзади. Но я бил руками и ногами. Я не боялся. Браво! Сзади это шлюпка на буксире! О! Я поймал шлюпку. Они не видели, что я влез туда. Я там лег. Они шлюпку оставили на якоре до утра, далеко от берега. Я видел ночной пароход. Они на нем уехали. Утром я попал на берег. Искал тебя до ночи. Значит, и ты уехал с ними.

Так я думал. Я не видал капитана, как он уехал. Я б ему голову разбил, как горшок камнем.

Хозе уже говорил громко, но всем было забавно, как он говорил; многие поднялись и подошли.

— У меня не было денег, не было документов, я в этом городе никого не знаю. Я пошел носить мешки на погрузку. Потом меня взяли на пароход угольщиком. Я думал, ты уехал с ними. Я здесь третий день. Я без места. Нет паспорта. Консул говорит: «Ты эмигрант, пошел вон!» Я его хотел бить, такая каналья!

Я не хотел говорить сейчас Хозе, что капитан здесь. Он бы начал ругаться, грозить, а тут кругом народ и непременно есть «лягаши», как во всякой ночлежке. Завтра мы сидели бы за решеткой.

Я рассказал о себе. И мы заснули на одной койке.

Наутро я сказал Хозе, что капитан здесь, на буксире «Силач».

В ту же ночь мы стояли у штабеля угля. Мы слыхали, как стал «Силач» на свое место. Было пусто. Где-то по набережной шаркали пантуфлями грузчики-турки, возвращаясь с работы. Я выглядывал из-за штабеля. Сердце мое колотилось. Вот он, капитан. Он в белом кителе. Да, и двое по бокам. У одного в руке дубинка. Ого! С конвоем. Ну да: Яшка и Афанасий по бокам. Я шепнул Хозе:

— Их трое.

— Мне не можно...— И он прижал меня ближе к углю.— Идут!

И вдруг Хозе сказал что-то по-испански, вышел на середину и стал перед капитаном.

Они все трое остановились как вкопанные.

— Тебе... тебе чего? — сказал Яшка и завел назад дубинку.

Я подбежал с куском антрацита. Яшка попятился.

— А я живой! А! Капитан! — Испанец ударил себя кулаком в грудь.— Я, Хозе-Мария Дамец.

Яшка замахнулся дубинкой. Я бросил изо всей силы в него углем, но уголь пролетел мимо — Яшка уже лежал. Я видел, как капитан сунул руку в карман. Револьвер! Застрелит! Но «молния» — и капитан сел, расставив руки. Револьвер звякнул о мостовую. Афанасий бежал назад и выл на бегу длинной коровьей нотой. Я успел наступить ногой на револьвер.

Капитан вскочил — он хотел повернуться. Но Хозе поймал его за грудь.

Да... А потом мы бросили его, как тушу, на штабель. Яшка лежал молча. Мы пошли. Я слышал, что сзади топают несколько ног. Мы вошли в людное место и смешались с народом.

— Идем вон отсюда, из этого города, сейчас же! — говорил я испанцу.

— Ого! Мне не можно ничего...

— Тебе не можно, а мне нужно, и я боюсь один. Ты что же, меня не проводишь?

К утру мы были уже за тридцать пять верст, на берегу, у рыбаков. Там всегда всякого народу много толчется.

А что скажете: в полицию идти жаловаться? Или в суд подавать, может быть?

МЕХАНИК САЛЕРНО

I

Итальянский пароход шел в Америку. Семь дней он плыл среди океана, семь дней оставалось ходу. Он был в самой середине океана. В этом месте тихо и жарко.

И вот что случилось в полночь на восьмые сутки.

Кочегар шел с вахты спать. Он шел по палубе и заметил, какая горячая палуба. А шел он босиком. И вот голую подошву жжет. Будто идешь по горячей плите. «Что такое? — подумал кочегар.— Дай проверю рукой.— Он нагнулся, пощупал.— Так и есть, очень нагрета. Не может быть, чтобы с вечера не остыла. Неладно что-то». И кочегар пошел сказать механику. Механик спал в каюте. Раскинулся от жары. Кочегар подумал: «А вдруг это я зря, только кажется? Заругает меня механик: чего будишь, только уснул».

Кочегар забоялся и пошел к себе. По дороге еще раз тронул палубу. И опять показалось — вроде горячая.

II

Кочегар лег на койку и все не мог уснуть. Все думал: сказать, не сказать? А вдруг засмеют? Думал, думал, и стало казаться всякое, жарко показалось в каю-

те, как в духовке. И все жарче, жарче казалось. Глянул кругом — все товарищи спят, а двое в карты играют. Никто ничего не чует. Он спросил игроков:

— Ничего, ребята, не чуете?

— А что? — говорят.

— А вроде жарко.

Они засмеялись:

— Что ты, первый раз? В этих местах всегда так. А еще старый моряк!

Кочегар крякнул и повернулся на бок. И вдруг в голову ударило: «А что, как беда идет? И наутро уже поздно будет? Все пропадем. Океан кругом на тысячи верст. Потонем как мыши в ведре».

Кочегар вскочил, натянул штаны и выскочил наверх. Побежал по палубе. Она ему еще горячей показалась. С разбегу стукнул механику в двери. Механик только мычал да пыхтел. Кочегар вошел и потолкал в плечо. Механик нахмурился, глянул сердито, а как увидел лицо кочегара, крикнул:

— Что случилось? — и вскочил на ноги.— Опять там подрались?

А кочегар схватил его за руку и потянул вон. Кочегар шепчет:

— Попробуйте палубу, синьор Салерно.

Механик головой спросонья крутит — все спокойно кругом. Пароход идет ровным ходом. Машина мурлычет мирно внизу.

— Рукой палубу троньте,— шепчет кочегар; схватил механика за руку и прижал к палубе.

Вдруг механик отдернул руку.

— Ух, черт, верно! — сказал механик шепотом.— Стой здесь, я сейчас.

Механик еще два раза пощупал палубу и быстро ушел наверх.

III

Верхняя палуба шла навесом над нижней. Там была каюта капитана.

Капитан не спал. Он прогуливался по верхней палубе. Поглядывал за дежурным помощником, за рулевым, за огнями.

Механик запыхался от скорого бега.

— Капитан, капитан! — говорит механик.

— Что случилось? — И капитан придвинулся вплотную, глянул в лицо механику и сказал: — Ну, ну, пойдемте в каюту.

Капитан плотно запер дверь. Закрыл окно и сказал механику:

— Говорите тихо, Салерно. Что случилось?

Механик перевел дух и стал шептать:

— Палуба очень горячая. Горячей всего над трюмом, над средним. Там кипы с пряжей и эти бочки.

— Тсс! — сказал капитан и поднял палец.— Что в бочках, знаем вы да я. Там, вы говорили, хлористая соль? Не горючая? — Салерно кивнул головой.— Вы сами, Салерно, заметили или вам сказали? — спросил капитан.

— Мне сказал кочегар. Я сам пробовал рукой.— Механик тронул рукой пол.— Вот так. Здорово.

Капитан перебил:

— Команда знает?

Механик пожал плечами.

— Нельзя, чтобы знали пассажиры. Их двести пять человек. Начнется паника. Тогда мы все погибнем раньше, чем пароход. Надо сейчас проверить.

Капитан вышел. Он покосился на пассажирский зал. Там ярко горело электричество. Нарядные люди гуляли мимо окон по палубе. Они мелькали на свету, как бабочки у фонаря. Слышен был веселый говор. Какая-то дама громко хохотала.

IV

— Идти спокойно,— сказал капитан механику.— На палубе — ни звука о трюме. Где кочегар?

Кочегар стоял, где приказал механик.

— Давайте градусник и веревку, Салерно,— сказал капитан и закурил.

Он спокойно осматривался кругом. Какой-то пассажир стоял у борта.

Капитан зашагал к трюму. Он уронил папироску. Стал поднимать и тут пощупал палубу. Палуба была нагрета. Смола в пазах липла к руке. Капитан весело обругал окурок, кинул за борт.

Механик Салерно подошел с градусником на веревке.

— Пусть кочегар смерит,— приказал капитан шепотом.

Пассажир перестал глядеть за борт. Он подошел и спросил больным голосом:

— Ах, что это делают! Зачем, простите, эта веревка? Веревка, кажется? — И он стал щупать веревку в руках кочегара.

— Ну да, веревка,— сказал капитан и засмеялся.— Вы думали, змея? Это, видите ли...— Капитан взял пассажира за пуговку.— Иди,— сказал капитан кочегару.— Это, видите ли,— сказал капитан,— мы всегда в пути мерим. С палубы идет труба до самого дна.

— До дна океана? Как интересно! — сказал пассажир.

«Он дурак,— подумал капитан.— Это самые опасные люди».

А вслух рассмеялся:

— Да нет! Труба до дна парохода. По ней мы узнаем, много воды в трюме или нет.

Капитан говорил сущую правду. Такие трубы были у каждого трюма.

Но пассажир не унимался.

— Значит, пароход течет, он дал течь? — вскрикнул пассажир.

Капитан расхохотался как мог громче:

— Какой вы чудак! Ведь это вода для машины. Ее нарочно запасают.

— Ай, значит, мало осталось! — И пассажир заломил руки.

— Целый океан! — И капитан показал за борт.

Он повернулся и пошел прочь. Впотьмах он заметил пассажира.

Роговые очки, длинный нос. Белые в полоску брюки. Сам длинный, тощий.

Салерно чиркал у трюма.

V

— Ну, сколько? — спросил капитан.

Салерно молчал. Он выпучил глаза на капитана.

— Да говорите, черт вас дери! — крикнул капитан.

— Шестьдесят три,— еле выговорил Салерно.

И вдруг сзади голос:

— Святая Мария, шестьдесят три!

Капитан оглянулся. Это пассажир, тот самый. Тот самый, в роговых очках.

— Мадонна путана! — выругался капитан и сейчас же сделал веселое лицо.— Как вы меня напугали! Почему вы бродите один? Там наверху веселее. Вы поссорились там?

— Я нелюдим, я всегда здесь один,— сказал длинный пассажир.

Капитан взял его под руку. Они пошли, а пассажир все спрашивал:

— Неужели шестьдесят? Боже мой! Шестьдесят? Это ведь правда?

— Чего шестьдесят? Вы еще не знаете чего, а расстраиваетесь. Шестьдесят три сантиметра. Этого вполне хватит на всех.

— Нет, нет! — мотал головой пассажир.— Вы не обманете! Я чувствую.

— Выпейте коньяку и ложитесь спать,— сказал капитан и пошел наверх.— Такие всегда губят,— бормотал он на ходу.— Начнет болтать, поднимет тревогу. Пойдет паника.

Много случаев знал капитан. Страх — это огонь в соломе. Он охватит всех. Все в один миг потеряют ум. Тогда люди ревут по-звериному. Толпой мечутся по палубе. Бросаются сотнями к шлюпкам. Топорами рубят руки. С воем кидаются в воду. Мужчины с ножами бросаются на женщин. Пробивают себе дорогу. Матросы не слушают капитана. Давят, рвут пассажиров. Окровавленная толпа бьется, ревет. Это бунт в сумасшедшем доме.

«Этот длинный — спичка в соломе»,— подумал капитан и пошел к себе в каюту. Салерно ждал его там.

VI

— Вы тоже! — сказал сквозь зубы капитан.— Выпучили глаза — утопленник. А этого болвана не увидели? Он суется, носится за мной. Нос свой тычет, тычет,— капитан тыкал пальцем в воздух.— Он всюду, всюду! А нет его тут? — И капитан открыл двери каюты.

Белые брюки шагнули в темноте. Стали у борта. Капитан запер дверь. Он показал пальцем на спину и сказал зло:

— Тут, тут, вот он. Говорите шепотом, Салерно. Я буду напевать.

— Шестьдесят три градуса,— шептал Салерно.— Вы понимаете? Значит...

— Градусник какой? — шепнул капитан и снова замурлыкал песню.

— С пеньковой кистью. Он не мог нагреться в трубе. Кисть была мокрая. Я быстро подымал и тотчас глянул. Пустить, что ли, воду в трюм?

Капитан вскинул руку:

— Ни за что! Соберется пар, взорвет люки.

Кто-то тронул ручку двери.

— Кто там? — крикнул капитан.

— Можно? Минуту! Один вопрос! — Из-за двери всхлипывал длинный пассажир.

Капитан узнал голос.

— Завтра, дружок, завтра, я сплю! — крикнул капитан.

Он плотно держал дверь за ручку. Потушил свет. Прошла минута. Капитан шепотом приказал Салерно:

— Первое: дайте кораблю самый полный ход. Не жалейте ни котлов, ни машины. Пусть ее хватит на три дня. Надо делать плоты. Вы будете распоряжаться работой. Идемте к матросам.

Они вышли. Капитан осмотрелся. Пассажира не было. Они спустились вниз. На нижней палубе беспокойно ходил пассажир в белых брюках.

— Салерно,— сказал капитан на ухо механику,— занимайте этого идиота чем угодно! Что хотите! Играйте с ним в чехарду! Анекдоты! Врите! Но чтобы он не шел за мной. Не спускайте с глаз!

Капитан зашагал на бак. Спустился в кубрик к матросам. Двое быстро смахнули карты на палубу.

— Буди всех! Всех сюда! — приказал капитан.— Только тихо.

Вскоре в кубрик собралось восемнадцать кочегаров и матросов. С тревогой глядели на капитана. Молчали, не шептались.

— Все? — спросил капитан.

— Остальные на вахте,— сказал боцман.

VII

— Военное положение! — крепким голосом сказал капитан.

Люди глядели и не двигались.

— Дисциплина — вот.— И капитан стукнул револьвером по столу. Обвел всех глазами.— На пароходе пожар.

Капитан видел: бледнеют лица.

— Горит в трюме номер два. Тушить поздно. До опасности осталось три дня. За три дня сделать плоты. Шлюпок мало. Работу покажет механик Салерно. Его слушаться. Пассажирам говорить так: капитан наказал за игру и драки. Сболтни кто о пожаре — пуля на месте. Между собой — об этом ни слова. Поняли?

Люди только кивали головами.

— Кочегары!—продолжал капитан.—Спасенье в скорости. Не жалеть сил!

Капитан поднялся на палубу. Глухо загудели внизу матросы. А впереди капитан увидал: Салерно стоял перед пассажиром. Старик механик выпятил живот и покачивался:

— Уверяю вас, дорогой мой, слушайте,— пыхтел механик,— уверяю, это в Алжире... ей-богу... и арапки... танец живота... Вот так!

Пассажир мотал носом и вскрикивал:

— Не верю, ведь еще семь суток плыть!

— Клянусь мощами Николая-чудотворца! — Механик задыхался и вертел животом.

— Поймал, поймал! — весело крикнул капитан.

Механик оглянулся.

Пассажир бросился к капитану.

— Все там играли в карты. И все передрались. Это от безделья. Теперь до самого порта работать. Выдумайте им работу, Салерно. И потяжелее. Бездельники все они! Все! Пусть делают что угодно. Стругают. Пилят. Куют. Идите, Салерно. По горячему следу. Застегните китель!

VIII

— Идемте, синьор. Вы мне нравитесь...— Капитан обхватил пассажира за талию.

— Нет, я не верю,— говорил пассажир упрямо, со слезами.— У нас есть пассажир. Он — бывший моряк. Я его спрошу. Что-то случилось. Вы меня обманываете.

Пассажир рвался вперед.

— Вы не хотите сказать. Тайна! Тайна!

— Я скажу. Вы правы — случилось,— сказал тихо капитан.— Станемте здесь. Тут шумит машина. Нас не услышат.

Капитан облокотился на борт. Пассажир стал рядом.

— Я вам объясню подробно,— начал капитан.— Видите вы вон там,— капитан перегнулся за борт,— вон вода бьет струей? Это из машины за борт.

— Да, да,— сказал пассажир,— теперь вижу.

Он тоже глядел вниз. Придерживал очки.

— Ничего не замечаете? — сказал капитан.

Пассажир смотрел все внимательнее. Вдруг капитан присел. Он мигом схватил пассажира за ноги. Рывком запрокинул вверх и толкнул за борт. Пассажир перевернулся через голову. Исчез за бортом. Капитан повернулся и пошел прочь. Он достал сигару, отгрыз кончик. Отплюнул на сажень. Ломал спички, пока закуривал.

IX

Капитан пошел наверх и дал распоряжение: повернуть на север. Он сказал старшему штурману:

— Надо спешить на север. Туда, на большую дорогу. Тем путем ходит много кораблей. Там можно скорее встретить помощь.

Машина будто встрепенулась. Она торопливо вертела винт. Пароход заметно вздрагивал. Он мелко трясся корпусом — так сильно вертела машина. Через час Салерно доложил капитану:

— Плоты готовят. Я велел ломать деревянные переборки. Сейчас машина дает восемьдесят два оборота. Предохранительные клапаны на котлах заклепаны. Если котлы выдержат...— И Салерно развел руками.

— Тогда постарайтесь дать восемьдесят пять оборотов. Только осторожно, осторожно, Салерно. Машина сдаст, и мы пропали. Люди спокойны?

— Они молчат и работают. Пока что... Их нельзя оставлять. Там второй механик. Третий — в машине. Фу!

Салерно отдувался. Он снял шапку. Сел на лавку. Замотал головой. И вдруг вскочил:

— Я смерю, сколько градусов.

— Не сметь! — оборвал капитан.

— Ах да,— зашептал Салерно,— этот идиот! Где он? — И Салерно огляделся.

Капитан не сразу ответил.

— Спит.— Капитан коротко свистнул в свисток и приказал вахтенному: — Третьего штурмана ко мне!..

— Слушайте! Гропани, вам двадцать пять лет...

— Двадцать три,— поправил штурман.

— Отлично,— сказал капитан.— Вы можете прыгать на одной ножке? Ходить колесом? Сколько есть силы, забавляйте пассажиров! Играйте во все дурацкие игры! Чтобы сюда был слышен ваш смех! Ухаживайте за дамами. Вываливайте все ваши глупости. Кричите петухом. Лайте собакой. Мне наплевать. Третий механик вам в помощь, на весь день. Я вас научу, что́ врать.

— А вахта? — И Гропани хихикнул.

— Это и есть ваша вахта. Всю вашу дурость сыпьте. Как из мешка. А теперь спать!

— Есть! — сказал Гропани и пошел к пассажирам.

— Куда? — крикнул капитан.— Спать!

X

Капитан не спал всю ночь. Под утро приказал спустить градусник. Градусник показал 67. «Восемьдесят пять оборотов»,— доложили из машины. Пароход трясся, как в лихорадке. Волны крутым бугром расходились от носа.

Солнце взошло справа. Ранний пассажир вышел на палубу. Посмотрел из-под руки на солнце. Вышел толстенький аббат в желтой рясе. Они говорили. Показывали на солнце. Оба пошли к мостику.

— Капитан, капитан! Ведь солнце взошло справа, оно всходило сзади, за кормой. Вы изменили курс. Правда? — говорили в два голоса и пассажир и священник.

Гропани быстро взбежал наверх.

— О, конечно, конечно! — говорил Гропани.— Впереди Саргассово море. Не знаете? Это морской огород. Там водоросли, как змеи. Они опутают винт. Это прямо похлебка с капустой. Вы не знали? Мы всегда обходим. Там завязло несколько пароходов. Уж много лет.

Пожилая дама в утреннем платье вышла на голоса.

— Да, да,— говорил Гропани,— там дамы хозяйничают, как у себя дома.

— А есть-то что? — спросила дама.

— Рыбу! Они рыбу ловят! — спешил Гропани.— И чаек. Они чаек наловили. Они у них несутся. Цыплят выводят. Как куры. И петухи кричат: «Ку-ка-ре-ку!».

— Вздор! Вздор! — смеялась дама.

А Гропани бил себя в грудь и кричал:

— Клянусь вам всеми спиртными напитками!

Пассажиры выходили на палубу. Вертлявый испанец суетился перед публикой.

— Господа, пока не жарко, партию в гольд! — кричал он по-французски и вертел черными глазами.

— Будьте мужчиной,— говорил испанец и тряс за руку Гропани,— приглашайте дам!

— Одну партию до кофе! Умоляйте! — Испанец стал на колени и смешно шевелил острыми усами.

— Вот так и будете играть,— крикнул Гропани,— на коленях!

— Да! Да! На коленях! — закричали дамы.

Все хохотали. Испанец делал рожи, смешил всех и кричал: «Приглашайте дам!»

Гропани поклонился аббату и сделал руку кренделем:

— Прошу.

Аббат замахал рукой.

— Ах, простите, я близорук.

Всем стало весело. Кто-то притащил клюшки и большие шашки. Началась игра; на палубе начертили крестики. Клюшками толкали шашки.

XI

— Сегодня особенно трясет,— вдруг сказал испанец.— Я чувствую коленками. Не правда ли?

Все минуту слушали.

— Да вы посмотрите, как мы идем! — крикнул Гропани.

Публика хлынула к борту.

— Это секрет, секрет,— говорил Гропани; он поднял палец и прищурил глаз.

— Матео! — крикнул Гропани вниз.— Скорей, скорей, бегом!

Третий механик быстро появился снизу. Он был маленький, черный. Совсем обезьянка. Он бежал легко, семенил ножками.

— Гой! — крикнул Гропани, и механик с разбегу прыгнул через испанца.

Все захлопали в ладоши.

— Слушай, секрет можно сказать? — спросил Гропани.— Нам не влетит?

— Беру на себя,— сказал маленький механик и улыбнулся белыми зубами на темном лице.

Все обступили моряков.

Испанец вскочил с колен.

— Наш капитан,— начал тихим голосом механик,— через два дня именинник. Он всегда останавливает пароход. Все выходят на палубу и должны поздравлять старика. Часа три стоим все, поздравляем, все равно, даже в шторм. Вот он и велит гнать. А то опоздает в порт. Чудачина-старичина! И катанье какое-то затевает, морской пикник,— совсем тихо прибавил механик.— Только, чур, молчок! — И он волосатой рукой прикрыл рот.

— Ох, интересно! — говорили дамы.

Буфетчик звонил к кофе.

Механик и Гропани отошли к борту.

— У нас в кочегарке,— быстрым шепотом сказал механик,— переборка нагрелась — рука не терпит. Как утюг. Понимаешь?

— А трюм нельзя открыть,— сказал Гропани.— Войдет воздух, и сразу все вспыхнет.

— Как думаешь, продержимся два дня? Как думаешь? — Механик глянул в самые глаза Гропани.

— Пожар, можем задохнуться в своем дыму,— сказал Гропани,— а впрочем, черт его знает.

Они пошли на мостик. Капитан их встретил.

— Идите сюда,— сказал капитан.

Он потащил механика за руку. В каюте он показал ему маленькую рулетку, новенькую, блестящую.

— Вот шарик.— Капитан поднес шарик к носу механика.— Пусть крутят, бросают шарик, пусть играют на деньги. Говорите — это по секрету от капитана. Тогда они будут сидеть внизу. Мужчины хотя бы... Дамы ничего не заметят. Возьмите, не потеряйте шарик! — И капитан ткнул рулетку механику.

Третий механик вышел на палубу. Официанты играли на скрипках. Две пары уже танцевали.

XII

Команда работала и разбирала эмигрантские нары. Под палубой было жарко и душно. Люди разделись, мокрые от пота.

— Ни минуты, ни секунды не терять! — говорил старик Салерно; он помогал срывать толстые брусья.— Потом покурите, потом! — пыхтел старик.

— Ну, чего стал? — крикнул Салерно молодому матросу.

— Вот оттого и стал! — во всю глотку крикнул молодой матрос.

Все на миг бросили работу. Все глядели на Салерно и матроса. Стало тихо. И стало слышно веселую музыку.

— Ты это что же? — сказал Салерно; он с ключом в руке пошел на матроса.

— Там танцуют, а мы тут кишки рвем! — Матрос подался вперед с топором в руке.— Давай их сюда! — кричал матрос.

— Верно, правильно говорит! — загудели матросы.

— Кому плоты? Нам шлюпок хватит.

— А плоты пусть сами себе делают.

Все присунулись к Салерно, кто с чем: с молотком, с топором, с долотом. Все кричали:

— К черту! Довольно! Баста! Остановить пароход! К шлюпкам!

Один уже бросился к трапу.

— Стойте! — крикнул Салерно и поднял руку.

На миг затихли. Остановились.

— Братья матросы! — сказал с одышкой старик.— Ведь там пассажиры. Мы взялись их свезти... А мы их... выйдет... выйдет... погубим... Они ведь ехать сели, а не тонуть...

— А мы тоже не гореть нанялись! — крикнул молодой матрос в лицо механику.

И молодой матрос, растолкав всех, бросился к трапу.

XIII

Капитан слышал крик. Он спустился на нижнюю палубу. Шел к мостику и прислушивался.

«Бунт,— подумал капитан.— Они бьют Салерно. Пропало все. Уйму́, а нет — взорву к черту пароход, пропадай всё пропадом!»

И капитан быстро зашагал к люку.

Вдруг навстречу матрос с топором. Он с разбегу ткнулся в капитана. Капитан рванул его за ворот. Матрос не успел опомниться, капитан столкнул его в люк. По трапу на матроса напирал народ. Все стали и смотрели на капитана.

— Назад! — рявкнул капитан.

Люди попятились. Капитан спустился вниз.

— Чего смотреть?! — крикнул кто-то.

Народ встрепенулся.

— Молчать! — сказал капитан.— Слушай, что я скажу.

Капитан стоял на трапе выше людей. Все на него глядели. Жарко дышали. Ждали.

— Не будет плотов — погибли пассажиры. Я за них держу ответ перед миром и совестью. Они нам доверились. Двести пять живых душ. Нас сорок восемь человек...

— А мы их свяжем, как овец! — крикнул матрос с топором.— Клянусь вам!

— Этого не будет! — крепко сказал капитан.— Ни один мерзавец не тронет их пальцем. Я взорву пароход!

Люди загудели.

— Убейте меня сейчас! — Капитан сунулся грудью вперед.— И суньтесь только на палубу — пароход взлетит на воздух! Все готово, без меня есть кому это сделать. Вы хотите погубить двести душ — и женщин и малых детей. Даю слово: погибнете вместе. Все до одного.

Люди молчали. Кто опустил вниз злые глаза, а кто глядел на капитана и кивал головой.

Капитан с минуту глядел на людей.

Молодой матрос вскинул голову, но капитан заговорил:

— Плоты почти готовы. Их осталось собрать и сделать мачты. На шесть часов работы. У нас ведь есть сутки. Двадцать четыре часа. Пассажиры в воде — это дети. Они узнают о несчастье — они погубят себя. Нам вручили их жизнь. Товарищи моряки! — громко крикнул капитан.— Лучше погибнуть честным человеком, чем жить прохвостом! Скажите только: «Мы их погубим»,— капитан обвел всех глазами,— и я сейчас пущу себе пулю в лоб. Тут, на трапе.— И капитан сунул руку в карман.

Все загудели глухо, будто застонали.


bertollet's salt
ollet's sal
s salt

— Ну так вот, вы — честные люди,— сказал капитан.— Я знал это. Вы устали. Выпейте по бутылке красного вина. Я прикажу выдать. Кончайте скорее — и спать. А наши дети,— капитан кивнул наверх,— пусть играют, вы их спасете, и будет навеки вам слава, морякам Италии.— И капитан улыбнулся. Улыбнулся весело, и вмиг помолодело лицо.

— Браво! — крикнул молодой матрос.

Он глядел на капитана. Капитан быстрыми шагами взбегал по трапу.

— Гропани! — крикнул капитан на палубе. Штурман бежал навстречу.— Идите вниз,— говорил капитан,— работайте с ними во всю мочь! И по бутылке вина всем. Сейчас. Там танцуют? Ладно. Я пришлю за вами, в случае станут скучать. Ну, живо!

— Есть! — крикнул Гропани и бегом бросился к люку.

XIV

Капитан прошел в свою каюту. Он сел на койку, сжал кулаки со всей силой и подпер бока. «Держаться, держаться,— говорил капитан,— что есть сил держаться! Сутки одни, одни только бы сутки!» И нисколько не легче становилось капитану. Он знал: не за сутки, а за один час, за минуту все может погибнуть. Крикнет этот матрос с топором: «Пожар!» — и готово. «Дали им вина?» — подумал капитан и вскочил на ноги. Но тут влетел в каюту Салерно. Старик осунулся в эти два дня. Он схватил капитана за плечи, стал трясти. Тряс и все глядел в глаза, и лицо у старика кривилось и вдруг совсем сморщилось, и он заплакал, заревел в голос. Он с размаху сел на койку и уткнул лицо в подушку.

— Что ты? — Капитан первый раз заговорил с ним на «ты».— Что ты? Салерно...

Капитан повернулся, взялся за ручку двери. Старик встрепенулся.

— Минуту! — говорил старик.

Он задыхался, схватил графин и пил из горлышка. Обливался. Другой рукой он держал капитана.

— Ведь я умру подлецом,— говорил старик сквозь слезы.— Пожар не потухнет. В этих бочках, ты не знаешь,— в них бертолетова соль!

— Как? — спросил капитан.— Ведь ты сказал — хлорноватая какая-то соль...

— Да, да! Это и есть бертолетова. Я не соврал. Но я знал, что ты не поймешь.

— Я спрашивал ведь тебя: не опасно? А ведь это — взрыв!..

— Нет, нет,— плакал старик,— не взрыв! Ее нагревает, она выпускает кислород, а от него горит. Сильней, сильней все горит.— Старик умоляюще глядел на капитана.— Ну, прости, прости хоть ты, господи! — Старик ломал руки.— Никто, никто не простит...— И Салерно искал глазами по каюте.— Мне дали триста лир, чтобы я устроил... дьявол дал... эти двадцать бочек. Что же теперь? Что же? — Салерно глотал воздух ртом.— Иисусе святой, милый, дорогой...

— Идите к аббату, приложитесь к его рясе. Нет? Тогда вот револьвер — стреляйтесь! — сказал капитан и брякнул на стол браунинг.

Старик водил выпученными глазами.

— Тоже не хотите? Тогда умрите на работе. Марш к команде.

— Капитан,— хрипло сказал Салерно,— на градуснике... вчера было не семьдесят восемь, а восемьдесят семь...

Капитан вскинул брови, вздрогнул.

— Я не мог сказать...— Старик рухнул с койки, стал на колени.

Капитан с размаху ударил старика по лицу, вышел и пристукнул за собой дверь.

XV

Капитан взял веревку с градусником. Он сам смерил температуру — было 88 градусов.

Маленький механик подошел и сказал (он был в одной сетке, мокрый от пота):

— На переборке краска закудрявилась, барашком пошла, но мы поливаем... Полно пару... Люди задыхаются... Работаем мы со вторым механиком...

Капитан подошел к кочегарке. Глянул сверху, но сквозь пар не мог увидеть. Слышал только — лязгают лопаты, стукают скребки. Маленький механик шагнул за трап и пропал в пару.

Солнце садилось. Красным отсветом горели буруны по бокам парохода. Черный дым густой змеей валил из трубы. Пароход летел что есть силы вперед. В трюме парохода горел смертельный огонь. Пассажиры приятно пели испанскую песню. Испанец махал рукой. Все на него смотрели, а он стоял на табурете выше всех.

— Споемте молитву,— говорил испанец.—Его преподобию будет приятно.

Испанец дал тон.

Капитан быстро пошел вниз, к матросам.

— Сейчас готово! — крикнул навстречу Гропани.

Он, голый до пояса, долбил долотом. Старик Салерно, лохматый, мокрый, тесал. Он без памяти тесал, зло садил топором.

— Баста! Довольно уж! — кричал ему судовой плотник.

Салерно, красный, мокрый, озирался вокруг.

— Еще по бутылке вина,— сказал капитан.— Выпить здесь — и по койкам. Двое — в кочегарку, помогите товарищам. Они в аду. Вахта по часу.

Все бросили инструменты. Один Салерно все стоял с топором. Он еще два раза тяпнул по бревну. Все на него оглянулись.

Капитан вышел на палубу. На трюме в пазах стена пошла пузырями. Они надувались и лопались. Смола прилипала к ногам. Черные следы шли по палубе.

Солнце зашло.

Яркими огнями вспыхнул салон; оттуда мирно мурлыкал пассажирский голос.

Гропани догнал капитана.

— Я доложу,— весело говорил Гропани,— очень здорово, то есть замечательные плоты, говорю я... а Салерно...

— Видел всё,— сказал капитан.— Готовьте провизию, воду, фляги, ракеты! Фальшфейера не забудьте. Сейчас же...

— А Салерно чудак, ей-богу! — крикнул Гропани и побежал хлопотать.

XVI

Ночью капитан пошел мерить температуру. Он мерил каждый час. Температура медленно подходила к 89 градусам. Капитан осторожно прислушивался, не гудит

ли в трюме. Он приложил ухо к трюмному люку. Было горячо, но капитан терпел. Было не до того. Слушал: нет, ничего — это урчит машина. Ее слышно по всему пароходу. Капитану начинало казаться: вот сейчас, через минуту, пароход не выдержит. Взорвется люк, полыхнет пламя — и конец: крики, вой, кровавая каша. Почем знать, дотерпит ли пароход до утра? И капитан снова щупал палубу. Попадал в жидкую горячую смолу в пазах. Снова мерил градусником уже каждые полчаса.

Капитан нетерпеливыми шагами ходил по палубе. Глядел на часы. До рассвета было еще далеко. Внизу Гропани купорил в бочки сухари, консервы. Салерно возился тут же. Он слушал Гропани и со всех ног исполнял его приказы. Как мальчик, старик глядел на капитана, будто хотел сказать: «Ну, прикажите скорее, и я в воду брошусь!»

Около полуночи капитану доложили — двоих вынесли из кочегарки в обмороке. Но машина все вертелась, и пароход летел напрямик к торной дороге.

Капитан не мог присесть ни на миг. Он ходил по всему пароходу. Он спустился в кочегарку. Там в горячем пару звякали дверцы топок. Пламя выло под коглами. Распаренные люди изо всех сил швыряли уголь. Не попадали и снова с ожесточением кидали. Ругались, как плакали.

Капитан схватил лопату и стал кидать. Он задыхался в пару.

— Валяй, валяй, сейчас конец,— говорил капитан.

Гайки закрыли. Капитан вылез наверх. Ему показалось холодно на палубе. А это что? Какие-то фигуры в темноте возятся у шлюпки.

Капитан опустил руку в карман, нащупал браунинг. Подошел. Три матроса и кочегар вываливали шлюпку за борт.

— Я не приказывал готовить шлюпок,— тихим голосом сказал капитан.

Они молчали и продолжали дело.

— На таком ходу шлюпки не спустить,— сказал капитан чуть громче.— Погибнете сами и загубите шлюпку.

Капитан сдерживал сердце: нельзя подымать тревогу.

Матросы вывалили шлюпку за борт. Оставалось спустить,

Двое сели в шлюпку. Двое других готовились спускать.

— А, дьявол! — вскрикнул один в шлюпке.— Нет весел. Они запрятали весла и паруса. Всё. Давай весла! — крикнул он в лицо капитану.— Давай!

— Не ори,— сказал тихо капитан,— выйдут люди, они убьют вас!

И капитан отошел в сторону. Он видел, как люди вылезли из шлюпки. До рассвета оставалось три часа. Капитан увидел еще фигуру: пригляделся — Салерно. Старик, полуголый, шел шатаясь.

Он шел прямо на капитана. Капитан стал.

— Салерно!

Старик подошел вплотную.

— Что мне теперь делать? Прикажите.

Салерно глядел сумасшедшими глазами.

— Оденьтесь, — сказал капитан, — причешитесь, умойтесь. Вы будете передавать детей на плоты.

Салерно с сердцем махнул кулаками в воздухе. Капитан зашагал на бак. По дороге он снова смерил: было почти 90 градусов.

Капитану хотелось подогнать солнце. Вывернуть его рычагом вверх. Еще 2 часа 45 минут до света. Он прошел в кубрик. Боцман не спал. Он сидел за столом и пил из кружки воду. Люди спали головой на столе, немногие в койках. Свесили руки, ноги, как покойники. Кто-то в углу копался в своем сундучке. Капитан поманил пальцем боцмана. Боцман вскочил. Тревожно глядел на капитана.

— Вот порядок на утро,— тихо сказал капитан. И он стал шептать над ухом боцмана.

— Есть... есть...— приговаривал боцман.

Капитан быстро взбежал по трапу. Ему не терпелось еще смерить. Градусник с веревкой был у него в руке. Капитан спустил его вниз и тотчас вытянул. Глядел, не мог найти ртути. Что за черт! Он взял рукой за низ и отдернул руку. Пеньковая кисть обварила пальцы. Капитан почти бегом поднялся в каюту. При электричестве увидал: ртуть уперлась в самый верх. Градусник лопнул. У капитана захватило дух. Дрогнули колени первый раз за все это время. И вдруг нос почувствовал запах гари. От волнения капитан не расчуял. Откуда? Озирался вокруг. Вдруг он увидел дымок. Легкий дымок шел из рук. И тут капитан увидел: тлеет местами ве-

ревка. И сразу понял: труба раскалилась докрасна в трюме. Пожар дошел до нее.

Капитан приказал боцману поливать палубу. Пустить воду. Пусть все время идет из шланга. Тут под трюмом пар шел от палубы. Капитан зашел в каюту Салерно. Старик переодевал рубаху. Вынырнул из вóрота, увидал капитана. Замер.

— Дайте химию,— сказал капитан сквозь зубы.— У вас есть химия.

Салерно схватил с полки книгу — одну, другую...

— Химии... химии...— бормотал старик.

Капитан взял книгу и вышел вон.

«Может ли взорвать?» — беспокойно думал капитан. У себя в каюте он листал книгу.

«Взрывается при ударе,— прочел капитан про бертолетову соль,— и при внезапном нагревании».

— А вдруг там попадет так... что внезапно... А, черт!

Капитан заерзал на стуле. Глянул на часы: до рассвета оставалось двадцать семь минут.

XVII

Остановить пароход в темноте — все пассажиры проснутся, и в темноте будет каша и бой. А в какую минуту взорвется? В какую из двадцати семи? Или соль выпускает кислород? Просто кислород, как в школе на уроке химии?

Капитан дернулся смерить, вспомнил и топнул с сердцем в палубу.

Теперь капитан как закаменел: шел твердо, крепким шагом. Как живая статуя. Он прошел в кубрик.

— Буди! — сказал капитан боцману.— Двоих на лебедки! Плоты на палубу! Собирать!

Люди просыпались, серые и бледные. Всеми глазами глядели на капитана. Капитан вышел. С бака на него глядели бортовые огни: красный и зеленый. Яркие, напряженные. Капитан уже слышал сзади возню, грохоанье брусьев. Тарахтела лебедка. Вспыхнула грузовая люстра.

— Гропани, к пассажирам! — сказал капитан на ходу. Он слышал голос Салерно.— Салерно, ко мне! — крикнул капитан.— Вы распоряжайтесь спуском плотов. И ни одной ошибки!

Второй штурман с матросами вываливал шлюпки за борт. Одиннадцать шлюпок. Капитан глянул на часы. Оставалось семнадцать минут. Но восток глухо чернел справа.

— Всех наверх! — сказал капитан маленькому механику.— Одного человека оставить в машине.

Пароход несся, казалось, еще быстрей: напоследки — очертя голову.

Капитан вышел на мостик.

— Определитесь по звездам,— сказал он старшему штурману,— надо точно знать наше место в океане.

Легкий ветер дул с востока. По океану ходила широкая плавная волна. Капитан стоял на мостике и смотрел на сборку плотов. Салерно точно, без окриков руководил, и руки людей работали дружно, в лад. Капитан шагнул вправо. Ветром дунул свет из-за моря.

— Стоп машина! — приказал капитан.

И сейчас же умер звук внутри. Пароход будто ослаб. Он с разгону еще несся вперед. Люди на миг бросили работу. Все глянули наверх, на капитана. Капитан серьезно кивнул головой, и люди вцепились в работу.

XVIII

Аббат проснулся.

— Мы, кажется, стоим,— сказал он испанцу и зажег электричество.

Испанец быстро стал одеваться. Поднимались и в других каютах.

— Ах да! Именины! — кричал испанец.

Он высунулся в коридор и крикнул веселым голосом:

— Дамы и кавалеры! Пожалуйста! Прошу! Все в белом! Непременно!

Все собрались в салоне. Гропани был уже там.

— Но почему же так рано? — говорили нарядные пассажиры.

— Надо приготовить пикник,— громко говорил Гропани, а потом, шепотом,— возьмите с собой ценности. Знаете, все выйдут, прислуга ненадежна.

Пассажиры пошли рыться в чемоданах.

— Я боюсь,— говорила молодая дама,— в лодках по волнам...

— Со мной, сударыня, уверяю, не страшно и в аду,— сказал испанец. Он приложил руку к сердцу.— Идемте. Кажется, готово!

Гропани отпер двери.

Пароход стоял. Пять плотов гибко качались на волнах. Они были с мачтами. На мачтах флаги перетянуты узлом. Команда стояла в два ряда. Между людьми — проход к трапу.

Пассажиры спустились на нижнюю палубу.

Капитан строго глядел на пассажиров.

Испанец вышел вперед под руку с дамой. Он улыбался, кланялся капитану.

— От лица пассажиров...— начал испанец и шикарно поклонился.

— Я объявляю,— перебил капитан крепким голосом,— мы должны покинуть пароход. Первыми сойдут женщины и дети. Мужчины, не трогаться с места! Под страхом смерти.

Как будто стон дохнул над людьми. Все стояли оцепенелые.

— Женщины, вперед! — скомандовал капитан.— Кто с детьми?

Даму с девочкой подталкивал вперед Гропани. Вдруг испанец оттолкнул свою даму. Он растолкал народ, вскочил на борт. Он приготовился прыгнуть на плот. Хлопнул выстрел. Испанец рухнул за борт. Капитан оставил револьвер в руке. Бледные люди проходили между матросами. Салерно размещал пассажиров по плотам и шлюпкам.

— Все? — спросил капитан.

— Да. Двести три человека! — крикнул снизу Салерно.

Команда молча, по одному, сходила вниз.

Плоты отвалили от парохода, легкий ветер относил их в сторону. Женщины жались к мачте, крепко прижимали к себе детей. Десять шлюпок держались рядом. Одна под парусами и веслами пошла вперед. Капитан сказал Гропани:

— Дайте знать встречному пароходу. Ночью пускайте ракеты!

Все смотрели на пароход. Он стоял один среди моря. Из трубы шел легкий дым.

Прошло два часа. Солнце уже высоко поднялось. Уже скрылась из глаз шлюпка Гропани. А пароход стоял один. Он уже не дышал. Мертвый, брошенный, он покачивался на зыби.

«Что же это?» — думал капитан.

— Зачем же мы уехали? — крикнул ребенок и заплакал.

Капитан со шлюпки оглядывался то на ребенка, то на пароход.

— Бедный, бедный...— шептал капитан. И сам не знал — про ребенка или про пароход.

И вдруг над пароходом взлетело белое облако, и вслед за ним рвануло вверх пламя.

Гомон, гул пошел над людьми. Многие встали в рост, глядели затаив дыхание...

Капитан отвернулся, закрыл глаза рукой. Ему было больно: горит живой пароход. Но он снова взглянул сквозь слезы. Он крепко сжал кулаки и глядел, не отрывался.

Вечером виден был красный остов. Он рдел вдали. Потом потухло. Капитан долго еще глядел, но ничего уже не было видно.

Три дня болтались на плотах пассажиры.

На третьи сутки к вечеру пришел пароход. Гропани встретил на борту капитана.

Люди перешли на пароход. Недосчитались старика Салерно. Когда он пропал,— кто его знает.

ЧЕРНАЯ МАХАЛКА

Целую неделю подговаривал меня Васька Косой пойти ночью в море из Фенькиных сеток рыбу красть.

— Вот,— говорит,— как будет поздний месяц, и сорвемся ночью. Моментом дело. Раз и два! По воде следу нету. Я все мычал да гмыкал.

И вот раз приходит он ночью. Я на дворе спал. Толкнул меня в плечо:

— Гайда, пошли! — Тряхнул за плечо и на ноги поставил. Чего ему: здоровый черт, саженный!

И вот пошли мы берегом, низом. Я, значит, и Косой.

Меня, мальчишку, он вперед пустил, а сам — за мной.

Ночь — ни черта не видать.

Песок холодный, ракушка битая в ногу впивается.

А он еще сзади шипит гадюкой: «Тише!.. Чтоб как по воздуху!»

Чтоб тебя, дьявола, самого на воздух подняло!

Эх, знал бы я, какое дело из этого выйдет, не пошел бы я с Косым ни в жисть!

Ногу тут я об камень ссадил, аж на землю сел. Качаюсь и шепотом вою. А Косой надо мной стоит, пяткой в самое рыло тычет: вставай!

Пятка закорузлая, корявая.

А когда шаланду стали спихивать, у меня опять сердце упало: что же это мы такое делаем?

Штиль на море, будто и вода притаилась и только шепотком в берег хлюпает. Месяц поздний торчит из моря, как красный штык. Мне страшно стало; я берусь за шаланду и не дергаю. Не хочу, не поеду я из Фенькиных мережей камбалу трясти!

Косой будто знал, что я думаю, и бубнит малым голосом:

— Фенька прорва, раскоряка анафемская! Она мужа-то своего, Ивана, отравила... Черт бы с ним, с Иваном, туда ему, гаду, и дорога, да он у меня сорок пять сеток в море снял. Покарай меня господь!.. А ну, берись!

Дернули. Чуть вдвинулась шаланда в море. А Косой опять:

— Пудами, рванина недомытая, камбалу на базар возит, а кинула хоть раз тебе, мальчонке голодному, хоть кусок? А ну, разом.

Дернули, аж на полсажени сразу шлюпку посунули.

Ждем — и наверх, на обрыв, смотрим: чтоб с Особого отдела патруль не засыпал. Тогда был приказ, чтоб ночью не выходить в море никак. А с патрулем собака; уж это хуже нет!

Посмотрели — никого.

И так это Косой мне Феньку обложил, что я хоть вторые сутки не ел, а шаланду дернул, как большой.

Выкопал Косой из песку весла — это он с вечера приготовил. Сели, гребем, как по воздуху: не стукнем, не плеснем.

Прошли каменья и подались прямо торцом в море.

— Поднавались!

Напер я на весла, а тут снова меня мутить стало. Куда ж это мы едем, на какое дело? «Ну ничего,— думаю,— не найдем мы ночью Фенькиных сеток — и красть не придется». И подналег даже.

А потом думаю: «Ма́халки[1] все ж у ней высокие, побольше сажени. А Косой — черт приметливый — непременно увидит». И опять страх войдет.

И я гребу слабей. А Косой:

— Навалися, пролетария!

«Нет,— думаю,— флажки у ней на махалках черные, не найти ночью и Косому. Никому не найти!» И гребу смелей, все стараюсь в уме Феньку обкладывать.

— Отравила? — говорю.

— Ладно, греби, греби, мильтон какой сыскался!

«Теперь я мильтон выхожу!»

Я стал со зла крепче грести.

А месяц вышел и красным глазом на все это дело смотрит.

С час, должно, так гребли.

И вдруг я чуть весла не бросил — прямо тут надо мной кивает черным флагом саженная махалка. Молчит и шатается.

— Хватайся! — кричит Косой.

А мне за нее и взяться страшно. Как живая, как оскаленная.

— Эй, ты! Дуроплюй!

Косой притабанил[2] и выхватил махалку из воды.

И вот, когда он махалку схватил, тут у меня как что внутри как будто стало и закрепло. «Шабаш,— думаю.— Теперь шевелись!» И я встал на ноги и уж вертел шаланду веслами, как живой, пока мы по сеткам шли.

А Косой стоит на корме в рост, перебирает мережи и шлепает камбалу на дно. Плюхает здоровые рыбины, а я сам, для чего — не знаю, все считаю:

— Раз, два... три... восемь...

Все шепчу, как в жару весь.

Пуда три, как не больше, с одной ставки сняли. Кончили.

Тут с меня все соскочило. Сел на банку и как гребану к берегу! А Косой:

— Куда тебя, черта! Вон она, вторая ставка! Вон махалка маячит!

---

[1] Ма́халкой на Черном море рыбаки называют палку; ее втыкают в пробочный поплавок (буек), и она плавает стоя. Наверху прибивают флажок. Ее привязывают к рыбачьим снастям, чтобы найти их в море.

[2] Табанить — грести назад.



У меня уже руки ходуном пошли и всего трясти стало, а он — гляжу — взялся за весло, гребанул, как юлу, шаланду вывернул и нагребается к сеткам.

— Садись,— кричит,— на весло!

— Чтоб нас к черту не снесло! — Это я для храбрости сказал.

Косой заругался.

— Греби, холера! — орет на меня.

Я тянусь, аж душа вон.

На второй ставке Косой опять сети перебирает. Смело взялся, как за свои. А я подгребаю. Тут я заметил, что пошел ветер. И вдруг мне показалось, что сейчас светать начнет, сейчас Фенькины хлопцы придут на желтой шаланде, на ихней, на здоровой, на три пары весел, и нас на месте нахлопнут.

Я тычу шаланду кормой уж как попало, лишь бы скорей. Добрались до второй махалки: черным шестом она из темноты на нас выходит.

Как живая, смотрит, замахивается. Флажком по ветру треплется, змеится. Я и глядеть на нее боялся. Будто стережет!

А Косой ругается, что рыба мелкая пошла.

Я ему ласково говорю:

— Бросьте, Василий Семеныч, не стоит... Если, говорите, мелочь пошла, так господь с ней.

А он мне и брякнул:

— И трети ты своей не получишь, коли дело мне гадишь!

Бросил сетки — и за весла.

У нас дома голод, позагоняли на толчок что было. «Хоть бы дома накормить бы всех один только раз, коли уж на такое дело пошел!» Гребу и скорей от этой махалки, от проклятой. Черт с ней, с рыбой, с третью моей,— только бы, думаю, теперь на берег и домой. Буду, думаю, людям перемёты[1] живлять и день и ночь за хлеба кусок, только бы это добром кончилось! Гребу и зарекаюсь, чтоб за такие дела не браться.

Косой вдруг говорит:

— Ты что? Богу молишься?

Я и не знал, что это я громко... Думал, про себя зарекаюсь.

— Не будешь? А не навязывайся!

---

[1] Перемёт — рыбачья снасть в несколько сот крючков.

А я разве навязывался? Сам же он неделю целую мне в уши тарахтел: «Мамка твоя голодная, ты голодный, вот так,— говорит,— пролетарий и пролетает. В трубу, значит... Тряхнем Феньку что надо! И черт святой знать не будет, где концы».

А теперь — «не навязывайся»! И так обидно мне стало! «Скорей бы только,— думаю,— на берег, и я — ходу, и чтоб не видеть никогда его».

А он вдруг поднял весла, нагнулся ко мне, рожа зверская.

— Ты,— говорит,— только дохни кому! Ты забудь, как меня и звать-то! Да ты знаешь, кто я?!

Как присунется ко мне мордой самой. Глаз косой.

— Да ты знаешь... Я ведь не я, а я вот кто!

Такой он мне сразу страшный показался. И вправду не он, а другой. «Вот он,— думаю,— какой он настоящий-то! Ночью-то в море, да один на один!..»

Я и весла бросил. Он как гаркнет:

— Греби!

Я без памяти греб и не знаю, где у нас берег был, и откуда ветер, и сколько времени прошло.

Вдруг он стал легче грести, я тоже. Разворачивает шаланду.

Смотрю, под бортом у нас садок плавает здоровый... Пудов на девять рыбы. Подошли аккуратно. Я шаланду на веслах придерживаю. Он стал рыбу в садок пересыпать. Тихонько, без шуму. И я держусь, чтобы о садок не стукнуть. Пересыпал он рыбу — и чисто у нас в шаланде, ничего как и не было. Тут я огляделся, вижу: мы под берегом. Берег не наш, чужой.

Спустились мы в берег, дернули шаланду раз и два. У меня с голоду, с работы и со страху ноги подкашиваются. Рву руки — шаланда чуть подается. Косой ругается во всех святых и угодников...

Вдруг смотрим: и справа и слева по человеку стоит. С винтовками. И откуда и как они подошли? Я как увидал — все у меня внутри стало, как пустой мешок я сделался. Я и сел на борт — ноги не держат.

Они стоят, и мы не шевелимся.

Косой вдруг говорит так это ласково:

— Закурить у вас, землячки, нельзя?

Они молчат, как неживые. Я уж подумал: есть они или нет?

Потом Косой говорит мне громко, чтобы слышали:

— Ну, отдохни трошки, хлопчик! Сморился, бедный? А ну, дернем еще!

Я встал, хватаюсь за что попало, не дергаю а, прямо сказать, держусь за шаланду, чтоб только на песок не сесть. Болтаюсь, как рыба на крючке. Шаланда — ни с места.

— Подсобите, товарищи, шаланду вытаскать,— говорит Косой.

Смотрю, те двинулись с двух сторон. Ничего не сказали, взялись, дернули.

— А вот спасибочки вам,— говорит Косой да и хотел повернуть.

А те ему:

— Стой!

И стали они шаланду осматривать, все пересмотрели. А у нас ничего: весла одни. Ни снастей, ни крючков, ничего как есть.

Один, что повыше, говорит:

— Откуда?

Косой запел:

— С моря. С вечера перемёт поставили, вот пошла погода — так мы проверить...

— Кто ж это летнее время перемёт с ночи ставит?

— Брось, товарищ, наливать! Приказ знаете?

— Да что же приказ, приказ? — кричит Косой.— Мы ведь самая пролетария, горькими нашими мозолями...

— А у садка чего вы ковырялись?

— Проверить же, на месте ли, а ведь знаете же...— гудит Косой.

А те говорят:

— Пойдем вот на кордон, там проверим. А ну, айда!

Пошли.

Один впереди, другой сзади, а в середине мы с Косым. И ни ног у меня, ни духу. И только махалку я эту черную вспоминаю, как она кивала на нас.

Вышли на обрыв и пошли по тропинке над кручей. Я только заметил, что чуть светать стало.

Ничего я уже не понимал, что́ Косой мелет. Только те не отвечали, а все покрикивали: «Айда! Айдате!»

Вдруг Косой дернулся и прыг под кручу.

Тот, что был сзади, вскинул винтовку и бах! бах! вдогонку, вниз, и стал спускаться с обрыва.

А другой схватил за ворот меня. А я — не то бежать, а идти не знал чем. И сел я на землю. Пришли еще красноармейцы с кордона, стали облаву делать, а меня повели на пост, где их казарма, и все.

Живо по коридору протолкали к начальнику.

Сидит за столом, важный, в кожаном. На столе наган.

Сбоку телефон в ящике. Посмотрел на меня — глаза, как гвоздики, и спрашивает:

— Это вот что с ним был?

И прямо уперся в меня:

— Как звать?

Я думаю: «Врать или нет? Сейчас,— думаю,— узнают и к мамке с обыском. Знаю ведь! Чуть что — сейчас обыск и пойдут тягать. Пусть,— думаю,— сгноят меня, а не скажу правду!»

— Ты не верти пуговицу. Говори, как звать!

Я вдруг заорал.

— Васькой, Васенькой,— кричу,— Василием, Ва-си-ли-ем! — на разные голоса, чтоб поверили.

А меня Петькой Малышевым зовут.

Начальник выскочил из-за стола, как тряхнет меня за шиворот.

— Не врать мне!!

Я вижу, самое остается только реветь, все равно давно хотелось, я ударился в слезы.

И таким я горьким воем завыл — голоса своего не узнал. Бить меня всего начало, сам не рад, что реветь пустился. Как сорвался.

...Ночевал у них в казарме. Утром проснулся, не шевелюсь. Но знаю, что сейчас спрашивать опять будут... И про Косого... Вспомнил, как он в море-то себя показывал,— ну как я про него скажу?

Пусть бы мне кто тогда сказал, что мне надо делать!

Лежу и слышу — идет разговор промеж красноармейцев:

— В Чеку его, в Особый отдел, там, брат, узнают в лучшем виде.

А другой:

— Ну да, очень просто, что с монитором шпионаж возили! Это что к садку подъезжали — так это для понту, глаза отвести!

И вижу я, что все так выходит, что и не придумаешь, что им врать. И правду скажи — тоже веры не дадут.

А тогда эти мониторы офицерские — верно, что в наши берега ходили. Очень даже близко. Что же мне делать? Так бы вот лежал и не шевелился... До самой до смерти моей!

Слышу — затопали, выходить стали, и тишина настала. Полежал, полежал, а в голове все кубарем, кувырком все кружит, и махалка эта черная, проклятая, так и кивает, кланяется.

И вдруг как будто что взвинтило меня.

Вскочил я, сел на койке. Осмотрелся: лежит на койке красноармеец одевши, ногу свесил и на меня глядит, улыбается. Смешной я, значит, был. Хороший, к черту, смех!

— Васька! — говорит.

А я зыркаю: кого это он кличет?

Он засмеялся, встал.

— Ну, все равно,— говорит,— как там тебя. Чай пить будешь? Я тебе подлопать дам.

Дает мне чашку каши:

— Наворачивай!

А сам сел рядом на койку.

Я думал, что мне не до каши будет, а ковырнул раз и не приметил, как кончил. Красноармеец принял чашку.

— Боишься,— говорит,— за батьку?

— Помер,— говорю.

— Нет,— говорит,— он утек, не нашли его.

Я даже не понял, что это он про Косого.

— Не батька,— говорю,— он мне и не дядька, никто он мне!

— Значит, он тебе вроде хозяина выходит?

И стал он закуривать и мне кисет сует, как большому. Я уж курил раза два. Взял я, а скрутить не умею.

— Эх ты, курец! — говорит и слепил мне цигарку.

Курим, а он говорит:

— Сказывать не будешь? Уговор, значит, держишь? Молодчина!

Мне вдруг обидно стало на Косого, я и говорю:

— А он свой-то уговор... треть мою... черта, говорит, ты получишь.

— Это уж евоное дело.

А я:

— Пудов,— говорю,— пять, не меньше, рыбы было, камбала — во,— говорю,— колесо — не рыба.

— На кухне,— говорит,— она у ас, в обед поешь, как в отдел не сведут.

И так слово по слову я ему все рассказал, как было. А он говорит, что уговор держи, дело святое.

— Хитрый,— говорит,— знал, кого с собой взять. Кто ж,— говорит,— он такой?

— Не знаю я, кто он, не знаю, ненастоящий. Черт он, вот кто!

А его смех взял.

— Какой,— говорит,— с чертом уговор может быть! Однако,— говорит,— дело твое. Думай, братишка, как тебе лучше.

И встал.

А что мне думать? Ничего я не знаю.

Налил он чаю холодного, а я и смотреть на чай не хочу. Не до чаю мне!

Думаю — и ничего в голове, одна эта махалка черная кивает, и ничего больше.

И вдруг я как сорвался.

— Что же делать-то мне, дядя,— говорю,— дорогой ты мой? — И вот-вот опять зареву.

— А ты прямо скажи: такой, мол, я и такой-то, а дела наши вот какие были. Мамка голодная дома пухнет, а он мне треть сулит. Я и пошел на дело. Застращал он меня в море, а кто он — я правильно сказать не умею. И квита. На этом и стой. Что с тебя взять, с мальчишки!

И отошло все сразу — и махалка и Косой черт.

Вскочил я.

— Веди к начальнику,— говорю.

Встал я перед столом и срыву так и кричу:

— Петька я Малышев! Живу на Слободке, в Пятой улице! А дела наши вот какие!

И все, как было, вывалил.

А начальник смеется:

— Чего же ты вчера Ваньку-то валял? Сразу бы и говорил.— Взялся за телефон.

— Иди,— говорит,— обожди в казарме.

К вечеру отпустили. Потом раза два тягали, спрашивали. Я все на своем стоял:

— Петька я Малышев, а дела наши вот...

Так оно потом и присохло.

Только как приснится мне черная махалка, потом на целый день балдею.

А с красноармейцем я и сейчас друг.

ВОЛЫ

Все это было очень давно, когда я был мальчишкой (сейчас у меня усы седые). Так что не удивляйтесь, если не похоже на сегодняшнее. На сегодняшнее похожим осталось море. И на этом море случилось вот что.

Я плавал учеником на грузовом пароходе. Дело было осенью, и стояло бабье лето: тихая, ласковая погода, и море — будто не море, а прудок в саду. Глянцевое, масленое. Мы уже закрыли люки и ждали только капитана, чтобы сняться в рейс. Прислушивались, не катит ли он на извозчике. Вдруг прибегает наш капитан, а за ним какой-то грек, черный, потный, шапка в руке, и этой шапкой все время красное лицо обтирает, и лопочет, лопочет, и кулаком в грудь бьет. А наш толстенький спокойненько кругленькими ножками вышагивает по сходне на борт. Кочегары спустились в свою кочегарку, зашевелились матросы — сейчас сниматься в море. Нет! Наш Лобачев, капитан, тихим голосом говорит мне: «Позови Ивана Васильича». И ушел с греком в каюту. Я позвал старшего помощника. Он через минуту выскочил от капитана красный, стукнул кулаком по планширу:

— А, дьявол! Копейки он свои выгоняет! Хлев тут устраивать! Люди мыли, скребли. Тьфу, тьфу! — И он со злостью три раза плюнул не за борт, а прямо на нашу белоснежную палубу. А сам кочегаров с палубы гонял, чтобы пыли не натрясли.

Грек уже рядом:

— Честное мое слово, они два дня не кушали ни одна соломинка, и вот крест! — Он перекрестился шапкой в кулаке.— Мы всё вымоем. Будет как бумага.

Иван Васильич дико засвистел в свисток и тут же крикнул мне:

— Ты чего суешься? Смолинского ко мне!

Я побежал за боцманом. Горячка этот Иван Васильич. Он, говорят, на парусниках плавал, судно потопил хозяйское и теперь вот злится: не нравится ему служить, да еще помощником.

Смолинский шел навстречу. Иван Васильич кричал:

— Грузить стадо целое! Да! Волов! Две сотни! Ну да! Прямо на палубу! В загон! Какие стойла!

Я не глядел на берег. Фу ты! За это время уже вся пристань полна была волов. Какие-то дядьки сгоняли их палками в кучу, лупили по хребтам и сипло кричали:

— Цобе, ледаща худо́ба!

Я сказал бравым голосом:

— А что? Не довезем, что ли?

— Дурак! — крикнул Иван Васильич, а Смолинский крепко глянул на меня.

Я обиделся:

— А что, капитан не знает, что делает? Тоже, значит, дурак?

— Крышу ему красить надо, каменный дом ставить,— сказал спокойно Смолинский, а с волов, знаешь... копейки хорошие.

Я гляжу, не выйдет ли на разговор капитан, но капитан крепко сидел в своей каюте.

Я отошел и сказал на ходу:

— Это не на паруснике.

Ой, хорошо, что Иван Васильич не слышал!

Грек суетился на берегу, толкался среди волов, кричал на погонщиков. И вот по грузовым сходням заскользили копытами волы. Они потерянно мотали головами, а дядьки орали, нещадно дубасили и крутили им хвосты. Я решил, что так оно и надо, и тоже выскочил на берег помогать. Я думал, капитан видит из окна каюты мою работу. Мне жаль было волов, но я решил, что надо тут по-деловому, остервенился, хватил одного в зад камнем. Промазал и зашиб плечо греку. С нашего борта захохотали:

— Так! А ну еще его!

Мне пришлось тоже хихикнуть. Но тут Смолинский вышел на берег, взял меня за плечо и сказал:

— Ты иди, продуй рулевую машину, а это не твоя работа.

Тут я заметил, что к нему подошли женщина и девочка лет пятнадцати. Она глядела на меня и смеялась. Видела, должно быть, как я камнем-то.

С парохода слышались резкие свистки Ивана Васильича. Он кричал на погонщиков:

— Да чем ты мотаешь? Чем вяжешь? Лопнет эта привязь!

Иван Васильич злыми шагами подошел к капитанской двери, стукнул кулаком:

— Чем волов крепить? Чем направить?

Капитан ответил через дверь:

— Вам надо знать самому, как вязать, как направить. Вы, кажется, с парусника?

— Нечем! Нечем, говорят вам. Тьфу! Выйдите, гляньте.

Иван Васильич отошел шагов пять. Он со всей силы стучал ногами о палубу и вдруг вернулся.

— Штормовые сигналы на лоцманской станции,— сказал он вполголоса у дверей и отошел.

Следом за ним пулей выскочил капитан:

— Где, где? Дайте бинокль. Эй, где вы видите?

Но Иван Васильич уж скрылся.

Капитан долго глядел в бинокль.

— Ничего не вижу.— Он сунул бинокль мне.— У тебя глаза помоложе.

Но лоцманская мачта была пуста. Капитан еще раз пять выходил с биноклем к борту. Наконец заперся в каюте на ключ.

Два матроса, Герман и Генрих, немцы, весело прыгали по спинам волов: они укрепили поверх них доску, чтобы ходить. Они привязывали ее к спинам волов, кричали что-то по-немецки и хохотали.

Палубы не стало видно: она вся покрылась волами. С каждого борта их стояло два ряда, хвосты с хвостами. Немцы ныряли между ними, и вот Генрих (что помоложе) пробежал, балансируя, по доске. Он засунул руки в карманы, притопнул было ногой, но Герман вынырнул из-под волов и прикрикнул на товарища. Генрих, как мальчишка, сконфузился и степенно пошел по доске. Я продул паром рулевую машину. Смолинский на баке распоряжался подъемом якоря. Кочегар не мог на ходу включить барабан, боялся сунуть руку, что ли. Было, правда, темно. Лобачев спокойно, вполголоса сказал Ивану Васильичу:

— Что же якорь-то?

Иван Васильич рявкнул:

— Да вира якорь!

Смолинский отодвинул кочегара и сунул руку. Ага! Сразу взяло, и завизжала цепь. Но в сумерках видно было, как Смолинский затряс рукой: так трясут только от страшной боли, от ожога.

Нет, чего Иван Васильич ворчит, в самом деле? Отлично стоят волы, хорошо погрузили. Вон люди шутят про доску, что «мост на быках». И волы покойны, и море — как масло; как по асфальту, выкатывается наш пароход мимо тихого зеленого огонька в воротах порта. Действительно, к чему эта горячка, ругань? Достойное спокойствие — это вот настоящий капитан.

Все отлично. Только вот с этим камнем у меня немножно неловко вышло, и эта девчонка. Чтоб ей!..

Я стоял на руле, осторожно перебирал рукоятки парового штурвала и слушал, как зло топал Иван Васильич над моей головой по мостику.

Мы взяли курс на Севастополь. Через шестнадцать часов мы будем там. Я сменился, лег на койку и сквозь подушку слышал, как мирно урчит машина в брюхе судна. Я сказал: «А чтоб ей!..» (это девчонке) — и стал засыпать. Сквозь сон слышал, как вошел в кубрик Смолинский и старик Зуев сказал:

— Это если б на берегу, то я траву такую знаю, ее надо прикладать, и тогда всякая рана присохнет, как на собаке.

И вдруг я услышал голос Германа. Он круто сказал по-немецки:

— Зер шлехт!

Я привскочил. Мне с верхней моей койки видно было: Герман держал руку Смолинского и разглядывал окровавленный палец у лампы. Все кругом молчали и сипло дышали. Зуев отошел, кинул окурок на палубу, крепко тер его ногой.

— Было б на берегу...— начал снова Зуев.

— Зер, зер шлехт,— сказал еще раз Герман.

Он рвал чистый платок, обматывал палец Смолинскому. Смолинский отвернулся в мою сторону и шипел от боли. Ему брашпиль размозжил палец.

Я проснулся под утро. Было еще темно в иллюминаторе. Что это? Никак, шторм? И я тотчас же услышал напряженный вой ветра там, над палубой. Да, вот и шум зыби в скулу парохода, когда нос зарывается в воду, вот тут, за бортом. Я быстро оделся, вышел на палубу и тотчас схватился за фуражку: ее чуть не унес-

ло. Вслед за тем меня обдало сверху водопадом. Это с полубака, с носовой надстройки: наш пароход, значит, зарывался носом в зыбь. Волы топтались передо мной в темноте серой массой. Я слышал, как чокают их рога друг о друга. Кое-где взвывал то один, то другой. Вот подняло зыбью корму, и на меня из темноты двинулся вол. Он скользил ногами по мокрой палубе, беспомощно топал. Его несло на меня. Он упал на колени и поехал рогами вперед. Я успел увернуться. Вола с разлету ударило в двери кубрика. Я слышал, что кто-то рвал изнутри двери, но их прижало воловьим боком. Но тут нам задрало нос, вода хлынула с полубака. Вола понесло назад. Он сбил с ног еще какого-то. Тут двери распахнулись. Я узнал на свету силуэт Смоличского. Больная рука за пазухой. Другой он держался за ручку двери.

— Кто?

Я откликнулся.

— Волы оторвались? Иди на руль. Скачи как знаешь. Старик лишний час уже стоит.

Это, значит, Зуев.

Я, мокрый, стал в темноте нащупывать доску, «мост на быках». Но быки уже метались по палубе, и там, с левого борта, их грудой носило вперед и назад, стоявших и упавших, всех вместе. В это рогатое месиво мне не хотелось лезть. Но кто это покрикивает весело, скачет над волами?

Тьфу ты! Это немец Генрих верхом с вола на вола перескакивает, и вот он уже вскочил на трюмный люк, я увидал уж хорошо.

— Кавалер-р-рист! — крикнул Генрих и соскочил с люка ко мне.— Алло!

Он мигом открыл дверь и пролетел в кубрик, а водопад ударил с полубака как раз ему вслед. Я высматривал путь по воловьим спинам. Рога то подымались, то ныряли вниз. Наконец я решился: я переваливался брюхом с вола на вола, мне зажимало ноги меж воловьих боков. Вскоре я добрался до трапа. Но волов несло назад, меня вместе с ними. С новой волной нас бросило обратно к трапу. Я успел ухватиться за поручни. Я уже рулевой. Зуев щурится в компас и шепчет: «Боится, боится Лобач наш, что перекинет пароход, боится повертать боком к зыби...»

Он отдал мне руль, не передал даже, какой курс.

Я стал держать на том, какой застал по компасу. Вот с мостика бегает кто-то. Рвет двери в капитанскую каюту, что за рулевой, рядом. Слышу голос Ивана Васильича:

— Волы оторвались! Вы слышите?

Я слышал, как громко и ровно сказал капитан:

— Надо уметь принайтовить палубный груз. Надо знать свое дело... и не терять головы.

— И совести! — крикнул Иван Васильич за дверьми.

Он стукал кулаком в дверь, и, пожалуй, треснула деревянная решетка.

— Выходите! — крикнул Иван Васильич.

— Спокойствие! — ответил капитан.— Мне надо свериться с английскими картами, они у меня здесь.

Ветер дул нам в лоб, чуть слева. Сле́ва же я видел Тарханкутский маяк. Он то вспыхивал, то тонул в зыби: значит, мы сделали больше половины пути. Впереди серел рассвет; небо было в густых тучах, как в войлоке. Прошло два часа — пароход топтался на месте. Мы почти не продвинулись вперед. Смолинский стоял на люке, он что-то кричал немцам и Зуеву. Они старались канатом обхватить стадо и притянуть его к борту. Грек кричал сверху, плакал... Все это как-то сразу и со всех сил. На корме Иван Васильич с другими матросами старался припереть волов к борту досками. Но они падали, стоявшие валились им на рога. Кровь и помет смешались на палубе, и эту грязную жижу перемывала морская вода. Обед нельзя было пронести в кубрик, и команда топталась в коридоре, у кухни. Я хотел пробраться, помочь Смолинскому. Я добрался до темного люка. Тут какой-то кочегар крикнул: «А ну, каменем, каменем их!» — и кивал на волов. Я прыгнул с люка к дверям, в кубрик, на койку. Что же Лобачев? Карту сверяет? А может быть, и в самом деле?..

Я опять стоял на руле. Теперь уже темнело. Тарханкутский маяк остался по корме слева, и впереди, справа, блестел Херсонесский; от него влево, я знал, вход в Севастопольскую бухту. Второй помощник, молодой и тихий, изредка потопывал поверху. Слышу шаги, крепкие, злые — Иван Васильич.

— Брось курс, ложись прямо на Херсонесский,— сказал он мне.

— Лобачев приказал? — спросил было я.

— Я тебе говорю!

Иван Васильич все это кричал. Лобачев не мог не слышать у себя в каюте. Я ждал, что он выйдет.

Дверь его отворилась. Ага! Капитан все же слышал, как я переспросил. Я довольно громко сказал: «Лобачев приказал?» Надо было еще громче. Но подошел старший механик. Я про этого старика знал, что он любит помидоры, и он всегда молчал. А тут вдруг громко стал ворчать.

— Говорил ему,— сказал механик,— не вели прибавлять ходу. Уголь, говорит, есть. А в эту погоду лагом (боком) к зыби нельзя пароход ставить — перевернет нас. Повернуть в Севастополь оно можно бы, да тут смелость нужна. А откуда она у него возьмется? Держаться, значит, будем пока...

— «Пока»! Смолинский сдохнет, у него гангрена!

Иван Васильич топнул о палубу ногой; никогда он этого не делал. Механик молчал.

— Вы обедали? Нет? И завтра не будете. Даю слово. Воловьи кишки будете жрать. Давайте весь ход, подымайте пар до подрыву!

— Ну, я уж не знаю!..

Механик ушел. Но я заметил, что тишком машина все бойче и бойче стала наворачивать там, внизу.

Я правил теперь прямо на Херсонесский маяк. Я слышал, что Лобачев позвал вахтенного матроса и велел вызвать механика. Нет, машина не сбавила ходу. Лобачев, видно, высунулся в дверь, так как я сквозь ветер слыхал, как он сказал механику: «Я вам приказываю...— Потом помолчал.— Сейчас же, немедленно, дать мне точные сведения о количестве запаса... цилиндрового масла. Немедленно!» — крикнул вдогонку.

Воловьи туши скользили по палубе, их поворачивало и носило, канаты лопались,— опадали на палубу, доски трещали, и волов снова разметывало по всей палубе. К ночи стонущая серая куча снова заходила, заметалась, и дикий рев стоял над палубой, и нельзя было разобрать, сидя в кубрике, взревел ли вол или взвизгнул ветер в снастях. Да, а теперь ясно слышно: это уж стон здесь, стонал Смолинский у себя на койке. Зуев снял лампу, подошел. Генрих сказал, что надо палец перетянуть натуго у корня бечевкой, чтоб зараза не пошла дальше. Я подал парусную нитку. Она крепкая, как дратва. Генрих два раза обмотал и со всей

силы затянул палец. Иван Васильич вошел и пощупал осторожно голову Смолинского. Зуев заглянул Ивану Васильичу в лицо.

— Есть жар,— сказал Иван Васильич.

— Хлопцы! — вдруг вскочил на койке Смолинский.— Открывай борта, вали всю скотину за борт, а то пропадем все: не на добро та скотина нам далася! — И снова лег.— Сва́лите? — Он снова поднялся на локте.— Зуй? Генрих? А то все пропадете, а так хай я один сдохну.

— Свалим! — сказал Генрих.

— Лягай, лягай.— И Зуев толкал его в грудь.

Я немного задремал. Проснулся — крик на палубе. Я выскочил. Люди возились среди волов. Кого-то вытащили на люк. Это Герман с Генрихом доставали Зуева: старик провалился, его топтали уже волы. Как Генрих выворачивался в этой кутерьме, в темноте, среди волов, не могу понять. Но он теперь не шутил, не смеялся, он ругался и по-своему и по-нашему. Герман посмотрел больного и сказал, что вернее будет так: он затянул руку у кисти, и что Генрих — мальчишка. Я уже сам стал отчаянно нырять и прыгать среди скотины, когда шел на руль. Мне казалось, конца не будет этому аду. Я слышал голос Ивана Васильича на мостике. Я поднялся на несколько ступенек по трапу. Вот здесь, в двух шагах, разговор.

Ого! Это сам Лобачев. Когда действительно надо, он на мостике оказывается. Севастопольские входные огни были как раз слева. Мы были прямо против них. Сейчас опасный поворот, капитан на посту.

— Я приказываю,—говорил Лобачев,—держаться до утра против зыби и ни в коем случае не поворачивать.

— Боитесь? — крикнул Иван Васильич.

— У меня есть свои соображения.

Тут я не расслышал, только он сказал вроде: потонувшее судно, и над ним веха без огня, и ее видно только днем. А машина пусть работает средним ходом.

А вот это я слыхал ясно:

— Человек умирает, надо врача, надо к берегу — это понятно, черт вас подери?

— Я приказываю! — взвизгнул Лобачев.

Я едва успел спрыгнуть с трапа. Лобачев сбежал вниз и захлопнул дверь в своей каюте.

Тут поднялся с палубы Герман. Он нащупал меня в темноте.

— Что, будет поворот? Почему нет поворота? Вот бухта, город. До утра? Ну да, дисциплина! Судно? Веха?

Я стал рассказывать, что я слышал об опасности напороться на затонувший пароход. Герман промолчал.

Мне было время идти на руль, и я стал у штурвала. Прошло минут пять. На мостике было тихо: никто не топал. Может быть, никого нет? И я один держу курс против зыби, а в кубрике умирает Смолинский.

Вдруг затопали с мостика по трапу, и Иван Васильич вошел в рулевую.

— Лева! — крикнул он мне.

Я глянул на него.

— Лева! — И Иван Васильич рванулся к штурвалу.

Лобачев не выскочил на этот крик.

— Лево на борт клади! — кричал Иван Васильич и сам повернул штурвал до отказа.

Ух, как положило! Положило по самый борт! Теперь правил сам Иван Васильич.

Я видел, как стали открываться двери в кубрик. Люди выскакивали на палубу. Матросы и кочегары. Было трудно стоять на ногах. Я слышал только немецкие выкрики Германа над воем скотины. Я не мог понять, что делается: как будто внизу, там, на палубе, в воде, что хлестала из-за борта, идет возня. Машина работает полным ходом. Нас валяет с борта на борт, но огни городские все ближе. Сейчас мы должны зайти за Херсонесский мыс, и он прикроет нас от зыби. Да! Да! Так оно и выходит, вот уж меньше валяет, да! Всего минут десять было так ужасно. Но Лобачев? Неужели он не заметил, что повернули? Повернули, наплевав на его приказ? То есть повернул Иван Васильич.

Через полчаса мы подали концы на берег. Было светло от электрических фонарей в порту. Палуба была чиста: ни одного вола. Мне сказали, что немцы умудрились раскрыть порты в бортах, те двери, в которые кладут сходни, и туда-то провалился за борт весь скот, пока нас клало с борта на борт. Но Лобачев не выходил из каюты. Никто не хотел к нему постучать. Наконец пришел агент нашего пароходства и прошел к капитану.

Смолинский все повторял:

— Ты гляди, Поля, чтоб только с Ленки чего не сробилось! Добре за ней доглядай!

Потом Генрих оделся в свой немецкий костюм, и котелок на голову, в руках тросточка: они с Иваном Васильичем должны были устраивать Смолинского в больницу. Приехала карета с санитарами. Пошли с носилками в кубрик. Агент вышел от капитана, сказал волнуясь:

— Дайте и сюда носилки!

— Отравился! — шепнул я Генриху.

— Сейчас это узнаем.

К капитанской каюте никто не пошел, все глядели издали. Вынесли Смолинского. Следом несли носилки с Лобачевым. Он был закрыт простыней весь, с головой. Зуев снял шапку, как перед покойником. Иван Васильич стоял у сходни красный, взволнованный.

Генрих ткнул тросточкой, где вздувался живот.

— Ой! — крикнул Лобачев.— Ну вас к лешему!

Иван Васильич жестко плюнул в простыню, повернулся и быстро сбежал на берег: там клали в карету Смолинского.

А куда грек пропал, так никто никогда и не узнал.

КОРЖИК ДМИТРИЙ

Вторую неделю уже странствовал парусный куттер[1] «Савватий» между льдов. Стояло лето, и в Ледовитом океане было круглые сутки светло. Лед ослепительно сиял на солнце днем и рдел кровавым отливом, когда солнце ночью спускалось к горизонту. Между огромными льдинами темнели озера свободной воды. По ним-то и пробирался куттер в поисках морского зверя: моржа, тюленя, белого медведя.

Команды было одиннадцать человек. Шкипер Титов вел судно, смотрел, чтобы его не затерло льдами. На верхушке мачты была устроена бочка, из которой далеко было видно. Там всегда кто-нибудь сидел и в подзорную трубу осматривал льды и воду: нет ли

---

[1] Куттер — небольшое двухмачтовое судно.

где какого-нибудь зверя. Спрятаться некуда в этой ледяной равнине.

Вот уже две недели, и ничего не промыслили. Старый промышленник Федор сердился. Титов последнее время молчал и все чаще и чаще бегал в каюту погреться спиртом. Но коржик[1] Дмитрий не унывал, шутил и возился с молодыми ребятами, которые от нечего делать боролись на палубе.

Местами проходы среди льдов были узкие, и приходилось идти между ледяных берегов, как в речке; местами эта речка расширялась, но надо было зорко следить, чтобы не попасть в тупик. Вот по такой-то речке, между двух ледяных полей, и пробирался сейчас «Савватий». Два дня уже дул этот свежий ветер и слева гнал льды. Но левый и правый ледяные берега шли одинаково, и пространство свободной воды между ними не изменялось, и сейчас куттер свободно бежал между льдами, пробираясь к огромному озеру свободной воды. Но вот правый берег остановился. Видно, лед где-нибудь уперся в далекую землю и стал. Но ледяное поле с левой стороны продолжало идти, и речка становилась у́же. Все на судне знали, что ничто сейчас не остановит движения льда и оба берега сомкнутся, как лезвия гигантских ледяных ножниц. Они пополам разрежут судно, если оно не успеет добежать до свободной воды. Эх, если б ветер дул немного покрепче!

Шкипер Титов стоял сам на руле. Поставили все паруса, сколько было можно. «Савватий» был хороший ходок, но всем казалось, что судно еле ползет, а лед все скорей и скорей двигается, по мере того как уменьшалось расстояние между ледяными берегами. Если не выскочить из этих ножниц, лед зажмет судно и поломает, как спичечную коробку. Теперь никто уж не баловался на палубе, а ребята прислушивались к ветру. То казалось, что он слабее, то вот будто задул сильней.

Титов знал, что если и за полсажени до выхода затрет льдом, то все равно судно погибло. Подводную часть сплющит, а то, что над водой, поломается, и придется всем бродить по льду, пока не подберет их какое-нибудь промысловое судно.

Федор с мачты крикнул:

— Еще с полверсты!

---

[1] Коржик — главный охотник.

Все понимали, что это значит: это до свободной воды осталось с полверсты.

— Ветер плохо держит! — сказал Титов стоявшему рядом коржику Дмитрию и крепко выругался.

— Так тому и быть,— весело сказал Дмитрий и закурил трубку.— Подобрать, что ли, шкот? [1]— спросил он Титова.

— Подбери,— сказал Титов.

Шкипер не знал, будет ли лучше. Он выжал уже из судна всю его скорость и тут уж рассчитывал на легкую руку: знал, что Дмитрий удачлив.

Дмитрий подобрал. Показалось, что судно пошло немного ходче. Еще бы пять минут — и на свободной воде! А лед жмет и жмет, как будто нарочно дает судну еще бежать, чтоб за вершок до выхода зажать и размозжить.

Все смотрели, как все ближе подходило ледяное поле слева.

— Ну, ребята,— сказал кто-то,— выноси пожитки на палубу.

Но люди не оглянулись, не ответили, смотрели на лед, и говоривший не двинулся.

— Хоть дуй в паруса!

Федор слез сверху: боялся, не слетела бы мачта, как затрет льдом.

Оставалось сажени три до выхода, но лед был так близко, что можно было бы на него спрыгнуть.

Титов напряженно и зло смотрел вперед. Ему с кормы не видно было, сколько осталось. Но он знал, что, пока не вышли на свободную воду, нечего радоваться.

Вдруг все оглянулись назад, за корму.

Титов понял, что проскочили. Он оглянулся: не верилось, что только что выскочило судно из этого узкого прохода.

— Возьми руль, Тишка! — крикнул он молодому парню, а сам спустился в каюту.

— Пошел старик выпить,— шепнул Дмитрий Тишке.

Теперь все ожили, заговорили. Федор снова полез на мачту.

Он внимательно осмотрел всю свободную ото льда поверхность воды.

---

[1] Шкот — веревка, которой притягивается парус; «подобрать шкот» — больше натянуть его.

Заметил вдали мачту судна. Рассмотрел в трубу всё: судно норвежское. Норвежцы с машиной пробирались туда, куда не пролезет неуклюжий парусник. И когда по свободной воде «Савватий» приблизился к новому ледяному полю, с другой стороны его торчали две мачты норвежского куттера. А вон по краю льдины черные точки, как мухи на скатерти. Федор хорошо видел, что это тюлени. С другой стороны льдины их было больше, и там со шлюпки работали норвежцы. «Савватий» опять лег в дрейф.

— Бери моржовки, ребята! — командовал Дмитрий.

Люди выносили из каюты коротенькие ружья. Они были новенькие, хорошо смазанные и красиво блестели.

— Эх,— сказал молодой парнишка Тихон,— вот здорово-то! — и приложился: хотелось пострелять.

— Ну, не балуй, в шлюпку лезь! — крикнул Федор.

Тюлени — как овцы: беззащитные и глупые. Они лежали по краю льдины, чтоб в случае опасности плюхнуть в воду. Но они, недоумевая, смотрели на шлюпку с людьми и не двигались.

Дмитрий начал и выстрелом сразу наповал убил крайнего тюленя. Тихон ударил второго. Тюлени оглядывались на выстрелы и с любопытством глядели, как опускал голову сосед. Но ни один не двигался. С другой стороны льдины ясно стукали выстрелы норвежцев: сухо, как гвозди вколачивают.

— Ишь черти! — сказал Дмитрий.— Вон у них ряд-то какой! Лазят в наших берегах.

— Да ведь это какие уж берега, тут сама голомень [1],— ответил Федор.

— Им хорошо,— не унимался Дмитрий,— судно моторное; куда хочешь, анафемы, пролезут; вон, так и чистят.

Ряд кончался.

— Ну, я им сейчас вклею! Стоп, Тишка, не стреляй! Последнего я сам.

— Брось, не надо! — сказал Федор.— Знаю ведь...

Молодые ребята не понимали, что затевает коржик, и с любопытством глядели то на стрелка, то на тюленя. Тюлень важно и тупо смотрел, повернув вбок голову.

---

[1] Голомень — по-поморски: открытое море.



Щелкнул выстрел, и в ту же минуту раздался пронзительный визг тюленя. Он бился с раздробленной ластой.

Дмитрий встал в шлюпке и смотрел на ту сторону льдины.

Тюлени с норвежской стороны, как лягушки с берега, прыгали со льда в море.

— Вон, вон,— хохотал Дмитрий,— штук сорок не добили! Вот игра!

Ребята тоже смеялись. Тишка добил раненого тюленя.

С норвежской стороны щелкнул выстрел, и пуля прожужжала совсем близко. Вслед за ним второй. Дмитрий сел. Ребята нагнулись.

— Видишь, дурак, что теперь,— проворчал Федор.

— Подгреби ко льду! — крикнул Дмитрий.

Злым и веселым стало его лицо. Он быстро зарядил моржовку и, прикрываясь обрывком льда, стал стрелять в норвежцев, как из окопа.

Тишка не отставал.

— Да брось, побойтесь бога! — кричал Федор.— Андели, беда, ведь в живых людей бьете!

Раз!.. раз!..— били поморы [1].

Тук!.. тук!..— отвечали норвежцы.

Пулей задело и раскровавило ухо гребцу.

Он схватил третью моржовку, забил патрон и стал палить.

Федор быстро выпростал руки из рукавов ма́лицы [2] в пазуху, оторвал клок рубахи, наткнул на багор и выскочил на лед.

Он побежал с этим белым флагом, скользя по льду, навстречу норвежским выстрелам.

Норвежцы замолкли. Но Дмитрий поднял моржовку. Ребята схватили его за руку:

— Оставь!

— Да ну вас! Пусти! — вырывался Дмитрий.

Но все уже опомнились и отняли у Дмитрия ружье. Со стороны норвежцев шли навстречу Федору два человека.

Тишка выскочил на лед, побежал догонять Федора.

Скоро один человек только остался в шлюпке. Норвежцы и поморы сошлись на середине льдины.

---

[1] Поморы — приморские жители русского Севера.

[2] Ма́лица — меховая рубаха с широко вшитыми рукавами.

Норвежцы ругались. Они знали, что нарочно, назло поморы испортили им охоту. Все говорили, кричали и спорили. Федор извинялся, предлагал на мировую десяток тюленей. Почти всякий моряк-помор знает по-норвежски. Кое-как уладил. Норвежцы даже выпить звали.

— Экой ты, Митька, кипяток! — выговаривал ему Федор, когда возвращались к шлюпке.— Хорошо еще, никого из них не подбили. Когда-нибудь и сам пропадешь и других, дурак, погубишь.

— Пусть знают, черти! — кричал Дмитрий.

— Да знать-то они лучше нашего знают, а вон что выходит...

— Чего ты-то полез?

— Да ведь зря все!..

— Баба ты в портках, вот я тебе что скажу. Тьфу! Дмитрий зло плюнул в сторону Федора и пошел вперед.

— Эх, не плюй, парень, в колодец,— гляди, пригодится...

— Это кто? Ты-то? —обернулся на ходу Дмитрий.— Тьфу! Видать, что баба: кто за ружье, а он за тряпку.

— Гляди, самовар какой! — усмехнулся Федор.— Уж немилым глазом на меня глядит.

Когда убирали тюленей, Дмитрий все злился и не говорил с Федором. Дмитрий сам смотрел из бочки с верхушки мачты. Вон, далеко на льду, что-то черное. Глянул в трубу и сейчас же бросился вниз, чуть не слетел.

— Шлюпку, шлюпку! — кричал он, горячась, и стал надевать свой тяжелый пояс с патронами.

— Ну чего там? — спросил Федор.

Дмитрий только зло глянул.

— Что? — спросил Титов.

— Морж и два медведя.

Шлюпка изо всех сил шла к льдине. Простым глазом можно было уже увидеть зверей.

Огромный морж, поднявшись на ласты, вертелся, сколько позволяло ему его огромное, тучное тело. Два медведя, один молодой, старались обойти его и напасть сзади. Морж — лев северных морей, он сильный и храбрый зверь. Бывали случаи, что рассвирепеет и бросится на шлюпку с людьми. Доски клыками выламывал. В воде он никого не боится, но на льду ему плохо. Грузно

движется он на своих неуклюжих ластах. А все-таки один на один медведь боится с ним связаться.

Морж старался подвинуться ближе к воде. Оставалось уже недалеко. Медведи боялись, что вот-вот уйдет он от них, но все не решались наброситься.

Дмитрий не спускал с них глаз. Заметят его медведи, убегут еще, а морж тогда живо доберется до воды — и поминай как звали.

Солнце ярко освещало лед, и его сияние ударяло снизу и слепило глаза. Дмитрий вылез на лед, держа в руках заряженную моржовку, побежал к зверям. Он хотел подбежать как можно ближе, пока они его не замечают, чтобы без промаха стрелять. Старый медведь забежал со стороны воды и преграждал путь моржу. Морж резко повернулся в его сторону, и медведь попятился; молодой не решался схватить моржа за хвост.

Дмитрий боялся, чтобы медведи не попортили моржовой шкуры, раньше чем он добежит, и боялся, чтоб не упустили моржа в воду. Со шлюпки с напряжением следили за приближением коржика и за борьбой зверей. Но вдруг Тишка крикнул:

— Майна, майна [1], не видит! Митька!

Все сразу увидели темневшее впереди коржика затянутое тонким льдом пространство.

Кричали, но Дмитрий ничего не слышал и видел только, что еще сажени три — и морж уйдет.

— Давай багор, бежим! — крикнул Федор и пустился вслед за Дмитрием.

Клацнул, звякнул лед, и Дмитрий провалился в воду. Тяжелые патроны тянули вниз; он на секунду вынырнул и опять скрылся. Снова показались руки.

Никто не решался пойти по тонкому льду. Все смотрели на Федора. Он лег на лед и пополз на животе к краю майны.

Тишка не выдержал и тем же порядком пополз следом и схватил его за ноги. Федор подвел багор как раз под руки, которые показывались из воды и беспомощно хватали воздух. Руки схватили багор. Показалась голова Дмитрия. Испуганные, сумасшедшие глаза глядели на Федора.

Вдруг Дмитрий пустил багор. Нарочно ли, или сознание оставило его? Но Федор острым крюком багра

[1] Майна — полынья.

уцепил его за малицу и потянул. Тишку тянули ребята за ноги, а он не отпускал Федора.

Вытащили Дмитрия. Он был без сознания. Откачали, привели в себя, уложили в койку и напоили мертвецки спиртом.

Когда Дмитрий пришел в себя, позвал к себе Федора:

— Прости, брат, что плюнул, твоя правда...

— Ну, ну ладно! Ты вот опохмелись,— гляди, дрожишь весь...

И налил ему спирту.

УТОПЛЕННИК

И утопленник стучится
Под окном и у ворот...
А. С. Пушкин

Усталый, плыл я к нашей купальне в порту. Вдруг слышу, на пристани кричат; поглядел: разряженные дамы махали зонтиками, мужчины показывали в воду котелками, тросточками. А ну их, они пришли пароход встречать! Я хотел повернуться и поплыть на боку, но они взревели еще громче, тревожней. Я огляделся: вон из воды показались руки. Пропали. Вот голова — и опять нырнула в воду. И я разобрал, что кричат: «Тонет, тонет!» Откуда силы взялись! Я мигом подплыл.

Вот высунулось из воды лицо, и на меня глянули сумасшедшие глаза. Я поймал его руку. И в тот же миг он прижался ко мне, обвил ногами, впился ногтями в мою руку. Мы тихо пошли ко дну. И тут я, не помня себя, рванулся. Я не заметил тогда, что в кровь разодрал он мне руку: у меня и сейчас на руке его отметины. Я выскочил, дохнул. Но вот он тут и сейчас опять схватит меня. Я отскочил, подплыл сзади. Я схватил его за волосы и ткнул под воду. Он попытался выплыть, но я ткнул его снова. Он затих и медленно пошел ко дну. Тогда я поймал его за руку, легко поднял, повернул и толкнул его под мышки — он продвинулся вперед, весь обвисший, как мешок! Я толкал его рывками прямо к берегу. Я ждал, вот сейчас дадут шлюпку — и мы

спасены. Но шлюпки не было... Я боялся, что у меня не хватит сил, и глянул на пристань.

Шикарная, праздничная публика стояла плотной стеной у края пристани. Они смотрели, как на цирковой номер. Махали мне и кричали: «Сюда! Скорей!» Теперь мне оставалось саженей десять. Я задыхался.

Фу, вот я у свай! Осклизлые сваи стоят прямой стеной, а подо мной двадцать футов воды. А сверху сыплется песок из-под чьих-то ног, и я слышу: «Слушайте, куда вы меня толкаете, ведь я упаду в воду сейчас! Не вам одному хочется... Ах, какой ужас, он его утопил! Но все-таки, слава богу!..»

Я не мог больше, я хотел бросить утопленника, пусть достают баграми, чем хотят. Я искал за что зацепиться. Я глядел вверх, а там — полные оживления любопытные лица. Ой, вот костыль! Костыль забит в сваю. Фу-ты! Не достать его, четверть аршина не достать! Я набрался последнего духу, толкнул утопленника вниз, сам подскочил вверх и повис на двух пальцах на костыле. В правой руке под водой был утонувший.

Наверху разноцветные зонтики и вскрики:

— Ах, ужас! Он висит! Пусть он лезет! Сюда! Сюда! Он ничего не слышит. Крикните ему.

У меня пальцы как отрезанные, сейчас пущу. И слышу:

— Га! Бак бана!..[1]

Я вскинул голову: сносчик-турок разматывает свой пояс. Я разжал пальцы. А вот уж и пояс, тканый, широкий, как шарф, и на конце приготовлена петля. Я сунул в нее руки утонувшего и затянул петлю. Не помню, как я доплыл до своей купальни. Я еле вылез и упал на пол. Не мог отдышаться. Кровь стучала в висках, в глазах — красные круги. Но я опять стал слышать, как гомонит и подвизгивает народ,— это публика над утопленником. Тьфу, начнут еще на бочке катать или на рогоже подбрасывать — погубят моего утопленника.

Я вскочил на ноги и, как был, голый выскочил из купальни. Толпа стояла плотным кругом. Зонтики качались, как цветные пузыри, над этим гомоном.

Я расталкивал толпу, не глядя, не жалея. Вот он лежит навзничь на мостовой, мой утопленник. Какой здоровый парень, плотный; я не думал, что такой боль-

---

[1] По-турецки: «Ой, посмотри на меня!..»

шой он. И лица я не узнал: спокойное, красивое лицо, русые волосы прилипли ко лбу.

Я стал на колени, повернул его ничком.

— Да подержи голову! — заорал я на какого-то франта.

Он попятился.

Я искал глазами турка. Нет турка. Стой, вот мальчишка, наш, гáванский.

— Держи голову!

Теперь дело пошло. Я давил утопленнику живот. Ого! Здорово много вытекло воды! Нет, больше не идет.

Теперь надо на спину его, вытянуть язык и делать искусственное дыхание. Скользкий язык, не удержать.

— Дайте платок, носовой платок! — крикнул я зрителям.

Они дали бы фокуснику, честное слово, дюжина платков протянулась бы, но тут только спрашивали задних:

— У вас есть платок?

— Ну, какой! Ну, какой! Ну, носовой платок обыкновенный!

Я не вытерпел: вскочил, присунулся к какому-то котелку и замахнулся:

— Давай платок!

И как он живо полез в карман и какой глаженый платочек вынул!

Теперь мальчишка держал обернутый в платок язык утопленника, а я оттягивал ему руки и пригибал к груди.

Мне показалось, что первый раз в жизни я дохнул — это вот с ним, вместе, с его первым вздохом.

Мальчишка уже тер своей курткой ноги и бока этому парню. Тер уж от всего сердца, раз дело шло на лад. Утопленник-то! Ого! Он уж у меня руки вырывает, глаза открыл. Публика загудела громче.

Утопленник приподнялся на локте, икнул, и его стало рвать. С меня катил пот. Я встал и пошел сквозь толпу к купальне.

Дамы закрывались зонтиками и говорили:

— Я думала, они бледнеют, а глядите, какой красный! Да посмотрите!

Они меня принимали за утопленника.

Одежду мою украсть не успели.

Через полчаса я отлежался, оделся и вышел. Никого уже не было. Пришел пароход, и на нем мыли палубу.

Дома я завязал руку.

А через три дня перестал даже злиться на зонтики. И забыл про утопленника: много всякого дела летело через мою голову.

Да, вот тоже с утопленниками. Уходил пароход с новобранцами. Мы с приятелем Гришкой на шлюпке вертелись тут же. Пароход отвалил, грянула музыка. И вдруг с пристани одна девица крикнула пронзительно:

— Сеня! Не забывай! — и прыг в воду.

— И меня тоже!

Глядим, и другая летит следом. И барахтаются тут же, под сваями. Мы с Гришкой мигом на шлюпке туда. Одну выхватили из воды, а она кричит:

— А шляпку! Шляпку-то!

Но мы скорей к другой, вытащили на борт и другую. Пока шляпку ловили, они уже переругались:

— Тебя зачем туда понесло?

А другая говорит:

— А ты думала, ты одна отчаянно любишь?

Гришка говорит:

— Да он не видал.

Та шляпку вытряхивает, ворчит:

— Люди видали, напишут.

Нет, это не дело, и стали мы сетки налаживать: ждали скумбрию с моря и всё готовились. Возились мы до позднего вечера.

Раз прихожу домой. Мне говорят, что ждет меня человек, часа уж три сидит.

Вошел к себе. Вижу — верно: сидит кто-то. Я чиркнул спичку: парень русый, в пиджаке, в косоворотке. Встал передо мной, как солдат.

— Вы,— говорит,— такой-то?

По имени, отчеству и по фамилии меня называет. Я даже струхнул. «Каково? — думаю.— Начинается!» И все грехи спешно вспоминал: очень уж серьезно приступает к делу.

— Да,— говорю,— это я самый.

И парень мой как будто в церкви: становится на колени и бух лбом об пол. Я тут и опомниться не успел — отец мой со свечкой в дверях:

— Это что за представление?

Парень мой вскочил. Отец присунул свечу к его лицу.

— Что это за балаган, я спрашиваю? — крикнул отец.

Парень смотрел потерянно и лепетал:

— Я Федя. Они меня из воды вынули. Мамаша велела в ножки...

— Что-о? — Отец со свечой ко мне.— Ты что же, Николая-угодника здесь разыгрываешь? А?

Я уже догадался, что это тот самый паренек, которого я с месяц назад выволок из воды. Я не знал, как отцу сразу все объяснить, но тут Федя уже тверже сказал:

— Честное слово, будьте любезны... Это я был утопленник, а они меня спасли. Благодарность обещаю...

— Никаких мне утопленников здесь! — И отец так махнул свечой, что она погасла.— Вон!! — И ногами затопал.

Федя попятился.

— Ну, уж я как-нибудь...— бормотал Федя с порога.

Отец не слушал, кричал в темноте:

— Двугривенные бакшиши собирать! Мерзость какая! Вон!

Но тут и я улизнул из темной комнаты. За шапку— и к Гришке.

Ну, как мне было Федю узнать? Из воды он глядел на меня, как сумасшедший из форточки. А тут нá тебе: молодец молодцом, с прической на пробор, пиджачок, да и в сумерках кто его разберет! И вот оскандалил, хоть домой теперь не иди.

Уже все легли, когда я вернулся. Наутро объяснил матери, как было дело; пусть уговорит отца. А она посмеялась, однако обещала.

Вечером иду домой. И вот, только я в ворота,— тут как из стенки, вышел Федя:

— Мы очень вами благодарны... Мы бы на другой день, тогда же, явились... Ноги, простите, так были растерты... И вот бока, руки только раскоряченными держать можно: до чего разодрал, дай бог ему здоровья, мальчик этот, Пантюшка! Мамаша маслом на ночь мне мажут третью неделю. Такой маленький, скажите, мальчик, а как здоров-то! Ах, спасибо!

Это он скороговоркой спешил сказать, а я уж брался за двери:

— Ну ладно. Заживет. Прощайте!

Но Федя взял меня за руки:

— Нет, я не войду, не бойтесь. Папаша ваш чересчур серьезный. А я благодарность вашей девушке передал.

— Стой! — сказал я и толкнул Федю в дверь.

Я позвал нашу девчонку и в сенях втихомолку велел принести сюда Федину благодарность. Дверь я держал, чтобы Федя не выскочил.

Девчонка приволокла голову сахару, а потом пудовый мешок муки «четыре нуля» и, смотрю, еще тащит — мыла фунтов десять, два бруска.

— Забирай! — шепотом закричал я в ухо Феде.

— Дорогой, милый мой человек! — Федя чуть не плакал, но тоже шепотом (оба мы боялись моего отца).— Золотой ты мой! Мамаша мне наказала, чтобы вручить. Говорит, коли не отблагодаришь, так ты у меня сызнова потонешь. Да это хоть кого спроси. Я же в лабазе работаю, на Сретенской, у Сотова. Ты возьми это, дорогой, и квиты будем. А мамаша каждый день за тебя бога все равно молит. Борисом ведь звать? Возьми, дорогой. Как же я домой пойду? Мамаша...

— А я как? — И я кивнул на дверь.— Папаша!

— Как же мы теперь с тобой будем, друг ты мой милый?

Но тут я услыхал, как под отцовскими шагами скрипят ступеньки нашей лестницы.

— А ну, гони отсюда ходом! — шепнул я Феде и пошел в дом.

Наутро я узнал, что гáванский Пантюшка вчера угощал всех папиросами «Цыганка» первого сорта, а сейчас лежит больной,— определили, что от мороженого.

Я пошел к Пантюшке.

Как только все вышли, я спросил:

— Пантик, откуда папиросы?

— А откуда! Федя дает. Ну да, не знаешь? Федя-утопленник. Я его натер, он теперь аж до той пасхи помнить будет.

Я пообещал Пантюшке оторвать оба уха.

— А что? Я же не прошу, он сам дает.

— Меня тоже не надо просить, я сам дам!—И я погрозил Пантюшке кулаком.



Теперь уж, шел ли я домой или из дому, всегда поглядывал, не караулит ли где Федя.

Девчонка наша сказала мне, что в воскресенье Федя час, если не два, ходил под окнами.

Так прошел месяц. Я уходил за рыбой в море и редко бывал дома. Потом как-то, в праздник, я оделся во все чистое и пошел в город. Я уж поднялся на спуск, как тут заметил, что за мной все время кто-то идет. Оглянулся — Федя-утопленник. Он сейчас же нагнал меня.

— Милость мне сделайте и уважение старой женщине, тут недалеко, зайдите! Живой рукой! Мамаша, не поверите, высохли вовсе.

Он так просил, что я решился: зайду и объясню, чтоб больше не приставали и чтоб никаких мне больше утопленников!

Жили они в комнатушке с кухней. Чистенько, и все бумажками устлано: и плита и полочка. Старуха была крепкая, лет сорока пяти.

Она мне и в пояс поклонилась, хотя я не старше был ее Федьки. А потом глянула на меня очень крепенько.

— Что же это вы,— говорит,— молодой человек, как бы сказать, чванитесь? Вам господь послал человеку жизнь спасти, слов нет — спасибо.— Она снова поклонилась, на этот раз уж не очень.— А что же выходит? Вы благодарность нашу ногой швыряете, а сами должны понимать, вы не мальчик: он у меня один, смерть за ним ходила... слава Христе,— она твердо перекрестилась,— смерть не вышла ему, и должны мы это дело искупить. А если мы это указание оставим без внимания, то, значит, снова нас оно мучить будет, и тогда уже ему...— она огляделась,— тогда ему уж прямо в ведре утонуть может случиться. На это вы его навести хотите, молодой человек? Да? — И уж такими она на меня злыми глазами глядела, так бы вот и прошпилила насквозь.—Молчите? А то, что мать сохнет, что я его каждый день точу: возблагодарил? А то, что я листом осиновым дрожу, думаю: как же это он останется воде неплаченный? А? Это вам нипочем? В баню пойдет, так я как на угольях, пока воротится.

— Так что же вы хотите? — Я уж стал пятиться к двери.

— Что хотим? — закричала мне в лицо эта мамаша.— Да ты-то, что, ирод, хочешь? Бочку золота хочешь? Нет у нас бочек! С огурцами у нас кадушка, с огурцами! Так какого тебе рожна еще подать, чтоб ты взял, креста на тебе нет! Нá, нá самовар! — Она схватила с полки медный самовар и тыкала им мне в живот.— Подушку? Федор, подавай подушки!

Она поставила самовар мне под ноги, бросилась к кровати,— там, как надутые, лежали пузырями две громадные подушки. С этими подушками она пошла на меня.

Я бросился к дверям. Ах ты, дьявол! Когда их успел запереть Федька?

— Мадам, успокойтесь! — сказал я.— Вы просто дайте мне копеечку на счастье, и будем квиты.

— Это за кошку дают! — закричала мамаша.— За кошку выкуп! Так вот как? Тебе что Федя мой, что кошенок — одна цена? А я за тебя три молебна служила!

— Ладно,— говорю,— ладно, пусть завтра Федя приходит, я скажу, мы порядим и будем квиты.

— Ступайте, молодой человек, только вижу я, чтó вы за гусь! Завтра так завтра. Ишь ведь, и цены себе не сложит! Проводи, Федор!

Я уж за дверью слыхал, как она сказала:

— Послал господь!

Мы вышли с Федей.

— Ну и мамаша,— говорю,— у тебя: коловорот!

— Да не покрепче вашего папаши будет. Тот раз думал: порешат они меня подсвечником. Как ноги только унес!

— Слушай, Федор. Ну их, с родителями! Давай сами поладим. Возьми ты у мамаши своей, что она там, голову сахару, что ли, или мыло — «благодарность», одним словом, и занеси ты ее, благодарность эту, куда-нибудь к чертям в болото. Ну, старухам в богадельню какую-нибудь. Или хочешь продай да пропей. Понял? И квиты.

Я зашагал, Федя за мной.

— Никак этого не возможно. Как же я перед мамашей-то солгу? Видали сами: они на три аршина в землю видят, мамаша. Обманите, если умеете, вы своего родителя, скажите: вроде купили.

— Иди ты...— И я выругался.— И чтоб тебя не видал никогда. Сунься ты к нам в гавань,— вот истинный бог, скажу ребятам, они тебе нос утрут в лучшем виде.

Федя все что-то говорил, но я шагал во весь мах и повторял:

— Чтобы и ноги твоей... и духу твоего! Чтоб ни под окном, ни у ворот!..

Я завернул в какой-то двор. Федя отстал. Я выждал минут десять — и домой.

Дома я матери рассказал, что нет никакого сладу с утопленником, что у него мамаша объявилась и чуть меня эта мамаша в самоваре не сварила, что если эта мамаша сохнет, то пусть она в порошок рассыплется — не чихну; туда ей, выжиге, и дорога.

Я долго ругался и махал руками.

Мать сказала мне, что не надо дураком быть, но я не дал ей больше говорить, а стал кричать, что у Пантюшки уже вся стенка в объявлениях: «Чай Высоцкого» и «Лучшая питательная овсянка Геркулес», и что от чернослива его скоро наизнанку вывернет.

Но мать махнула рукой и вышла из комнаты.

...Однако же Федьку-утопленника, видно, проняло: вот уже две недели, а его как ветром сдуло. Пантюшка пробовал узнавать, где утопленник квартирует или в каком лабазе приказчиком. То-то, ага!

Но «ага» вышло вот какое. Собирался как-то отец на службу. Стоит в прихожей, чистится щеткой. Тут звонок. Я выхожу, а отец уже дверь открыл. Смотрю: батюшки! Федора мамаша. Желтая, злая. Так в отца глазами и вцепилась. Черная шерстяная шаль на ней и вся, как в крови, в красных букетах. И под платком что-то оттопыривается: прямо будто с топором пришла и сейчас, кого первого, по голове тяпнет. У меня душа в пятки.

Отец:

— Вам кого?

А эта глазами с отца на меня:

— Да уж кто поправославней, того бы мне.

— А здесь не святейший синод, сударыня,— и вижу: отец шагнул к ней со щеткой.

Тут, слышу, мать быстренько каблучками стукает — и сразу из дверей:

— Это ко мне. Проходите, пожалуйста.

И как-то ловко эту выжигу под локоть, и, пока отец поворачивался, она уже и дверь закрыла.

— Это что за сваха такая? — спросил отец, но взглянул на часы и поспешил вон.

Я хотел было следом за ним: от греха. Но, слышу, за дверью разговор идет тихий. Я немножко переждал и тихонько отворил дверь. Стал на пороге.

Ничего. Вижу: мать ее чаем угощает — еще чай со стола прибрать не успели. Та с блюдечка спокойно тянет и говорит:

— Да-с! А сынок ваш, сударыня, за моего Федю копейку спросил.

— Без запросу,— говорит мать и улыбается.

— То есть как? — И блюдечко на стол поставила.— Вот этот кавалер Федю моего в копейку ценит,— и тычет на меня пальцем.

Мать мне мигнула: молчи, дескать. А сама спрашивает:

— Ну, а ваша цена?

— Как то есть цена? — И вытаращила глаза на мою мать.

— Вот, говорите, копейку — это он малую очень цену поставил, вы недовольны. Так ваша какая будет цена? Рубль? Два с полтиной? Красненькая?

Федина мамаша даже шаль с головы стянула и глазами заморгала:

— Что это? А ты своего во сколько? Вот этого?

— Да он не теленок, я им не торгую.

— А мой-то, гусь, что ли? — И привстала, к матери присунулась. Думал, вцепится.

А мать говорит:

— А коли не гусь, так за чем же дело стало? Нечего ни продавать, ни на сахар менять.

Та так и села. Глазами хлопает, молчит. Минуту добрую молчала, потом руки развела, опять свела:

— Милая, да как же это у нас вышло-то... Что Федя-то — не гусь. Тьфу, что я... не тот... ну, как оно? Ох да и грех! — Рассмеялась.— Ох, милая, да и что ведь Федя надумал уже! «Дайте, говорит, мамаша, я его в воду невзначай спихну, да и сам сейчас прыгну и пока что вытащу. Это — чтоб на квит вышло». А я го-

ворю: «Феденька, бойся ты теперь этой воды, сам, гляди, утонешь, и, не ровен час, он опять тебя же вытащит».

«Нет,— думаю я,— уж теперь не тащил бы: натерпелся я, уж пусть кто-нибудь, только боюсь я теперь утопленников».

Тут она стала мою мать целовать. Шаль накинула — и к дверям.

— Будем знакомы!

А мать:

— Сахар-то, сахар забыли!

Гляжу: верно, голова сахару осталась на полу.

Я подал.

А Федя стал к нам в гавань приходить рыбу ловить. Прозванье так за ним и осталось: Федя-утопленник. Да, это было. Теперь, пожалуй, в наших водах такого не выловишь.

«МИРАЖ»

Прежде я напишу о «Мираже». У меня сейчас воспоминанья о нем как о таинственном чуде. Он пришел в ночь перед гонкой, стал поодаль от других на якоре. Он стоял и не глядел. Все яхты глядели, подмигивали блеском меди, болтали на ветре полуспущенными парусами, другие грозили бушпритом — казалось, высунулся он вперед не в меру. На всех хлопотали около снастей, перекрикивались. «Мираж» стоял, строго вытянувшись, обтянутым обводом борта, с тонкими, как струны, снастями; казалось, будто он подавался вперед, будто, стоя на якоре, шел.

Ничто не блестело. Ни одного человека на палубе. Это никого, как видно, не удивляло; казалось, такой пойдет без людей. Я не мог отвести глаз: он был без парусов, но он стоя шел. Я все смотрел на эти текучие обводы корпуса — плавные и стремительные. Только жаркой, упорной любовью можно было создать такое существо: оно стояло на воде, как в воздухе.

— Видал ли? — Мой хозяин подтолкнул меня локтем и кивнул на «Мираж».

Я должен был вести его яхту. Дело шло не только о чести: полуторатысячный приз. Один только: первый.

— Что думаете? — шепотком спросил хозяин и метко в меня прищурился сбоку. Потом вытащил свой золотой хронометр.— Там поговорим,— и застучал английскими ботинками по каменному трапу к шлюпке. Подстелив под белые брюки платочек, сел в корму.

Даже сажень отойдешь от берега, и вас охватывает вода. Вы чувствуете ласковую мягкость под ногами, там, под дном шлюпки плотный запах морской воды, яркие зайчики на зыби — глянуть и отвернуться. Мне стало весело от воды с солнцем, я уж не думал о призе, о конкурентах, мне просто хотелось выйти поскорей в море, в веселый ветер, в живую зыбь и вот поглядеть бы, как этот «Мираж» будет делать свое дело.

На яхте боцман пришивал к парусу наш гоночный номер: белый квадрат с цифрой 11. Мне не о чем было хлопотать: команда «надраена». Все маневры она производила без запинки ночью. Снасти первейшего качества. Гоночные паруса пойдут в работу нынче всего третий раз. Я смотрел на «Мираж» и случайно увидел, что наша шлюпка подошла к одной яхте. Мой белый хозяин что-то говорил через борт и отвалил дальше. Что за визиты? До гонки оставался час. Ровно в десять — пушка и старт. Старт «хронометрический». Это значило, что каждому отметят время, когда он вышел и когда пришел. Выходить можно в любой момент в течение десяти минут. Затем дается второй выстрел из пушки, и после «старт закрыт». То есть если ты прошел старт после второго выстрела, то не считаешься участником гонки.

На старт уже вышел буксирный пароход. Там судейская комиссия, дамы с зонтиками и оркестр музыки. Этой музыки не любили — она принижала: балаган или карусели?..

Я сказал ставить грот, и парус стал медленно подыматься. Смятую пока парусину бойко принялся трепать ветер. Мне надо было теперь смотреть, чтобы парус стал в меру туг. Я стоял, задрав голову. Мачта чуть забила в небо, и белый, как сливки, парус вырастал и оживал. Я хотел забежать и глянуть с носа на все это дело, как тут за мной прислал хозяин — просят в каюту.

В кают-компании сидели трое: двое наших и один иногородний. Хозяева яхт. Они были тоже в белых костюмах.

Мой хозяин брезгливо и зло насупился на меня.

— Мы останемся с носом.— У него вздернулся ус. Он сделал пальцами нос.— И они тоже.— И он направил нос поочередно на каждого.— Я предлагаю — «коробку». Бросьте, это вполне законно. Первый старт проходит «Мэри».— Он ткнул на иногороднего.— «Миражу» выскочить первому мы не дадим. Затем «Зарница» и «Джен». Теперь пусть они,— хозяин ткнул толстым пальцем в стол, будто поймал блоху,— а тотчас следом мы. Стойте! Стойте! Мы потому,— он стал грозить мне пальцем, он уж весь вспотел от азарта,— потому, что у нас паруса больше всех и на попутном ветре мы ему закроем ветер. Он вправо,— хозяин оскалился от улыбки и мотнул задом вправо,— а там — «Зарница»! Он влево — а это тебе собака? — И он ткнул на гостя.— То есть «Джен», я говорю, собака? И вот выкуси, выку-си! — И хозяин сложил шиш и, вывернув локоть, завил шиш под самую палубу.— И вполне, вполне законно! Раз ты такой ходок, вырывайся своим ходом-то знаменитым.

Он стал обмахиваться фуражкой. Лицо уж серьезное, законное, будто о просроченном векселе речь.

— Что вы хотите сказать?

— Вы-то, такой рулевой, не сумеете закрыть ветер? Бросьте! Именно вы!

— Да с вами,— галдели гости,— мы уж... Да что говорить! — И меня хлопали по спине.

Мне это польстило.

Хозяин выдернул золотой хронометр.

— Ну, я скажу вирать якорь.

Оставалось полчаса.

Я выскочил наверх и глянул: «Мираж» все так же стремительно стоял, не глядел на меня и не поднимал парусов.

Мы снялись и побежали из порта. Я оглядывался на «Мираж». Вдруг я увидел белую птицу; она, чуть наклонив крыло, летела над морем — я не узнал «Миража». Я не видал, когда он поднял паруса. Казалось, не было корпуса: одни паруса, как перья, гнало ветром над водой.

Без шума, без всплеска он проскользил мимо нас и бросил, как стоячих.

— Машина,— сказал боцман и покрутил головой.

Хозяин сплюнул за борт.

Ветер с утра заметно упал. Я все последнее время следил за погодой и ждал, что к полудню будет мертвый штиль. С двух часов пойдет ветер с моря и раздуется часам к пяти до свеженького. К этому времени мы рассчитывали закончить нашу дистанцию.

Прямая между портовым маяком и мачтой судейского парохода — линия старта. Яхты добегали до прямой и отбегали назад, ожидая пушки. «Мираж» курсировал поодаль. «Мэри» стояла перед самым стартом, полоская парусами на ветре: стерегла старт, чтобы вырваться раньше «Миража». «Зарница» и «Джен» вертелись подле. На старте для развлечения публики оркестр играл вальс.

Пушка!

«Мэри» подобрала паруса и сунулась вперед. За ней «Джен» и «Зарница».

Да, так и вышло: первая прямая попутным ветром до вехи — она за шесть миль впереди.

Я не спешил. Я боялся только, чтоб прочая мелюзга, что шла для счету только,— чтоб она не замешкалась по дороге. Я смотрел и не проходил старта. Прошло восемь минут. «Мираж» не проходил. Я двинулся к старту, рисковать было нечего: я всегда мог отойти в сторону, пропустить «Мираж» вперед и потом выйти ему в корму и отнять ветер.

За минуту до второй пушки я прошел старт. Грянул выстрел, но «Мираж» уж вдвинул свой нос в линию старта. Это он сделал с жонглерской ловкостью. Я больше всего боялся, что он ударится прямо в сторону и большой зигзагой придет к вехе раньше, чем мы напрямки. А тогда ищи-свищи! Он так бы и сделал, догадайся он о «коробке». Но «Мираж», раскинув паруса, как бабочка крылья, легко понесся следом за нами. Когда я глядел, как он нас догоняет, мне казалось, что он скользит с ледяной горы, и все скорей и скорей.

Его пронесло мимо нас.

— А ну! — продышал мне в ухо хозяин.

Я чуть положил руля, и наш «Буревестник» всем своим беленым забором — мне уж наши паруса казались досками — закрыл ветер «Миражу». У него ход сразу спал. Опали надутые паруса. Я видел, как он попробовал взять вправо и как «Зарница» открыто подставила борт. «Джен» подошла поближе с левой стороны

«Миража». Уж совсем явно, совсем в открытую показали «контору», захлопнули в «коробку».

Я думал: что делать, если я нагоню «Мираж» вот теперь, когда он без ветра? Уменьшать паруса? Отпустить их слабее при попутном ветре я не могу.

Но все шло по-чудесному: «Мираж» с парусами «без ветра» шел не тише нас, и мы его не нагоняли.

Хозяин мой с носу пялился в цейсовский бинокль и кричал мне на корму:

— И они, канальи! Никто не обернулся ни разу. Скажите, райские птицы!

Он сбегал в каюту и вернулся оттуда жуя с графинчиком и рюмкой.

— Одну? А? Не пьете в море? Ну, ну, святое дело!

Ветер падал. Он из последних сил дохнул раза два и выдулся. Кой-где повеял в стороне — мазанул черными рябинками на море и стал; море поглянцевело.

— Ну вот, пожалуйте,— хозяин мой выгнутую ладошку совал к «Миражу»,— можете чаек пить! Вы говорите, до двух часов? — обернулся он ко мне.— Дайте руль боцману, идемте вниз.

Да, море лоснилось и дышало длинными валами, как после работы.

Впереди, мили за две от нас, болталась черная шлюпка с обвисшим красным флагом. Нас течением относило понемногу влево и назад. До двух часов — где-то мы будем!..

Я пошел на нос и стал глядеть на «Мираж». В бинокль мне виден был рулевой в черном пиджаке и в серой кепке. Он что-то рукой показывал двум молодым людям. Что же это они? Они подтягивают паруса. Ну, ну, валяйте! «Мертвый штиль». Но через минуту мне показалось, что «Мираж» стал дальше. Да, он обходит «Зарницу»; «Мэри», что впереди, недвижна: она не может подставить корму, она не может не выпустить «Мираж». Хозяин мой два раза из каюты присылал матроса за мной. Но чем шел «Мираж»? Изредка, правда, передували сквознячки, но они и папиросной бумажки со стола не сдули. Зажженная спичка спокойно горела, как свеча. Хозяин прибежал за мной, когда «Мираж» уже обогнул веху.

— Да идите же! — И тянул меня за рукав.— Стоп! А где «Мираж»?

Я протянул руку.



— Да черт вас подери! Да что ж вы тут делали? Чего смотрели? Ах ты...

Он вернулся и топал по палубе каблуками. Он стукал кулаком по борту.

— Эх, ей-богу, я-то думал, беру человека... Тьфу, дьявол! — И он побежал в каюту.

А впереди «Миража», далеко, правда, чернела полоса на море: видно, там работал какой-то ветерок. «Мираж» шел туда. Шел в полном штиле, как волшебной силой.

Нас несло течением все так же: влево и назад.

Мы видели, как «Мираж» подхватил ветер, как он прилег набок.

К трем часам ветер дошел до нас. И черт бы его, этот ветер: с ним прилетел и выстрел со старта.

«Мираж» кончил дистанцию, и нам больше нечего было делать: мы повернули и пошли назад.

Мы узнали, что «Мираж» прошел старт, сделал поворот и пошел в море, домой. Никто не съехал на пароход, чтобы выслушать решение судейской комиссии. «Мираж» не ответил на салют со старта, а молча пронесся мимо.

И даже не оглянулся никто — прибавляли.

Мне лет через пять рассказывали про эту гонку, но я не сознался, что «коробку» замыкал я.

УРОК ГЕОГРАФИИ

На острове Цейлоне есть город и порт английский Коло́мбо. Большой город, портовый. Превосходный порт. Огорожен каменной стеной прямо от океана — метров на тридцать. И на солнце, на тропическом, этот блеск как вскрикивает все равно. Зыбь двинет в стенку — бух, а вода взмоет в небо, будто ужаленная. А зыбь ходит, как гора, как зеленая стеклянная гора. Ее солнце сверху отвесно пронизывает, и она идет на тебя, если на пароходе, например, и вся эта прозелень насквозь светится зеленым воздухом.

Люди там живут, на этом острове, черные. Сингалезы. Они курчавы, на наших цыган похожи. И они в эту зыбь лезут на двух бревнах, прямо-таки на двух бревнах, сбитых двумя перемычками,— ну, как сани

морские. Так вот на двух таких бревнах выходят под парусом в океан за рыбой. Они, конечно, не верхом на этих бревнах сидят... Нет, на одном бревне, что побольше, борта нашиты, две доски, а другое — только противовес.

И под парусом такая история устилает в хороший ветерок километров по тридцать в час. А там ветер летом дует из-под Африки.

А зимой дует с берега, из Азии. Муссон этот ветер называется. Юго-западный и северо-восточный муссон. Ровный дует, как доска. До того сильный, что можно вперед наклониться и стоять, как с поддержкой. Вот он и разводит эту сумасшедшую зыбь. А сингалезы не боятся. Дуют в океан и там из глубины вот этаких рыбищ вытаскивают — во! Метровой длины.

А на острове растут пальмы. Леса пальмовые, вот как у нас сосновые. Только ствол пальмовый потоньше. И, конечно, не шишки растут там, а кокосовые орехи. Кокосовые пальмы растут.

И лазят сингалезы, как обезьяны, на этот гладкий пальмовый ствол. Обхватит руками, пальцами, ладошкой, сам сложится пополам и ногами, ступнями, упрется в ствол.

Вот так и лезет сингалез. Сорвал кокос, бросает, товарищ внизу ловит. Ведь кокос весь как в чехле. На нем еще до скорлупы пальца на три обмотки. То есть что я! Ну, будто бы волосом он упакован кругом, а сверху тонкая кожурка. И если ее содрать, то вот тогда доберешься до скорлупы. У конца ореха три глаза, то есть дырочки, они мягким закупорены, и сингалез пальцем ткнул в одну, в другую — и готовы дырки,— сует: пей.

Там сок внутри. Ух, какой освежающий! Это не березу сосать. Это он мне сок потому дал, что обрадовался, что я не англичанин. Он не здорово понял, что я русский. Может, и не знал, что такие есть. А понял только, что не англичанин, и сразу задружился.

«Не англичанин? Пей, пей, пожалуйста». Я весь орех выпил. А если англичанин, он бы к нему волком. Да и понятно. Я бы на их месте бил бы их прямо в лесу этими кокосами с пальмы, с самой маковки.

Да, вот извольте: выезжаю я на шлюпке на берег. Надо лодочнику заплатить. Мелочи нет. Я говорю лодочнику: «Пойди вот к полисмену, разменяй». А поли-

смен ходит — здоровый дядя, плотный, прямо тучный мужчинища. Тросточка бамбуковая под мышкой. Лодочник худощавый. Подходит, на ладошке мою деньгу протягивает.

Полисмен из-за спины оглянулся, вытянул из-под мышки палочку — трах со всей силы по ногам лодочника моего. Он запрыгал. Подбегает ко мне. Значит, поговорил с полисменом. Я к полисмену:

— Что это за безобразие! За что человека бьете? Что, с вами говорить нельзя?

— Вам говорить можно. Пожалуйста,— и даже рукой к своему шлему притронулся.— Вам что? Разменять? Сделайте одолжение.

Взял монету и пошел к ларьку.

— По скольку вам нужно? По десяти?

Повернулся к ларёчнику:

— А ну, давай по десяти!

И ларёчник высыпает мелочь на прилавок — каких угодно-с! А полисмен не спеша выбирает для меня монетки почище. Потом мне вполголоса сказал:

— Нас, господин, белых, мало, а их по сто тысяч на одного англичанина приходится. Надо строго. Надо, чтобы они от одного имени английского тряслись.

Вот в маленьком фаэтончике, кабриолетике, на двух колесах, то есть в оглоблях,— там человек. Сингалез. На нем только трусики одни. А в колясочке — англичанин, туша этакая, и морда как бифштекс. Развалился, как под ним эта колясочка не лопнет! Ножищи выпятил; на них, как копыта, ботинки с подошвой — во! — в два пальца. И каблучищи с кузнечный молот. И он этим каблучищем в худую эту черную спину тычет, подгоняет. А тот бежит, чуть язык за плечи не закинул, весь мокрый. Жарища ведь, баня. Это вот у них извозчики — рикши. Они ко мне приставали, чтобы повезти. Да не могу я на людях ездить. Черт меня побери совсем! Они все от чахотки помирают.

Есть еще колония у них, у англичан: Сингапур. Это для флота база. Вот тут малайцы живут. Желтые они. Как крашеные. Прямо удивляешься, до чего желтые. Будто желтуха у каждого. Только здесь тоже на людях ездят. Кругом рай земной. Бананы, пальмы, море. Такие цветы, как будто сплошные это оранжереи. Дай, думаю, поеду, погляжу на всю эту роскошь. Ведь вот цветы какие, с горсть. А красота вот она какая там.

Сажусь в трамвай.

— За город? — спрашиваю.

— Да,— говорят,— последняя остановка отсюда за две мили.

Трамваи открытые, лавки поперек, ступеньки с обеих сторон во всю длину. Вижу, трое малайцев сидят на лавочке, как раз мне, четвертому, место есть. Сел. Хвать, малайцы снимаются, будто духу моего не выносят, и на заднюю площадку перебираются. Ну, думаю, надо им объяснить, что я не англичанин, авось не будут так ненавидеть. Оборачиваюсь, говорю громко:

— Ай эм рошан, но инглиш. Тэйк юр плес, плиз.

Это значит: «Я русский. Садитесь, пожалуйста».

Улыбаются, стоят. А я один на лавке сижу.

«Не верят»,— думаю. Тут по ступенькам добирается до меня кондуктор: билет получите.

— Да,— говорю,— а почему люди ушли? Вон уж на площадке давка,— говорю.— Жара такая, пусть сядут, а то я уйду, людей спугнул.

Кондуктор объясняет:

— Правило уж такое. Желтый с белым не смеет на одной лавке сидеть.

— А мне,— говорю,— очень будет приятно. Очень прошу вас.

Кондуктор улыбается, плечами пожимает:

— Не имею права допустить нарушения, меня со службы погонят, если кто увидит.

— Мне придется,— говорю,— пешком идти: не хочу людей пугать, не желаю, чтобы из-за меня давка была.

— А вот,— говорит кондуктор,— передняя лавка свободна вовсе.

— Так чего же,— говорю,— они не сядут, а на площадке жмутся?

— Для белых эта лавка. Желтые не имеют права там сидеть. Передняя — это чтобы продувало и от желтых духу бы не несло на господ. Нехорошо, если желтые впереди.

А сам — как лимон. Тоже малаец.

«Вот,— думаю,— тут уж довели до самой точки: не только имени, духу боятся».

Пришлось мне перебраться на переднюю лавку. Сижу, как идиот. То есть как англичанин. И не могу я так. Хоть сходи. И вдруг выдумал: спинка-то у скамейки переворачивается, когда трамвай назад идет,

все спинки переворачиваются, и все сиденья тогда глядят в другую сторону. Я перевернул спинку и сел задом по движению. И колени в колени с малайцами, что сидели на второй лавке. Я давай с ними болтать. Весь трамвай загудел. Но, вижу, улыбаются. Кондуктор не посмел ничего сказать. Видно, в правилах не было предусмотрено такого случая, как бы сказать, ну такого... бузового.

Да-с, так вот еду. Говорю: я русский и вообще черт с ними, с правилами и с англичанами.

— У нас, говорю, этого нет, дорогие друзья. У нас в трамвае все навалом, и будь ты малаец, или эфиоп, или, говорю, китаец — все равно. У нас, говорю, даже англичан пускают.

Они как фыркнут! Однако осторожно. Крепко у них так в головах насчет англичан завинчено.

А тут вскоре сел англичанин. Позвал кондуктора, и пришлось спинку переворачивать. Англичанин даже не взглянул на меня, сел на один край, я — на другой.

...А вот еще одно английское гнездо. Тоже база. Гонконг. Тут уж китайцы. Они там все в отдельном квартале. Улочка узенькая, шагов десять ширины, и, как флаги на веревках, повешены вывески. Из материи. Живут до того скученно, что одни только двери, кажется, и есть. Стен будто совсем нет.

И валит по этой улочке полным ходом трамвай. И китайские мальчишки, как воробьи, прыскают из-под трамвая. Я прямо глаза жмурил — вот-вот задавит. Однако — никого. А улица полна народу. И за трамваем народ сейчас же смыкается, как вода.

— Что это,— спрашиваю соседа,— тесно так живут?

Сосед был голландец, он ответил:

— Места им отведено мало, а их много. Вы посмотрите их на воде.

Я пошел к воде. Правду сказать, не видать было воды. Под берегом все битком забито было китайскими шлюпками. Как мостовая. Я спросил:

— Нельзя ли покататься?

— Ах, пожалуйста! — И сейчас же меня один китаец повел через чужие шлюпки дальше и дальше по этой шлюпочной площади. Шлюпки все палубные, очень аккуратно сделаны, чистенькие.— Вот,— говорит,— это моя.— И стал подымать парус.

Я взялся за руль. Вышли мы из кучи шлюпок, все

китайцы помогали, проталкивали. И надо всеми шлюпками стоит запах китайской пищи: кунжутного масла и чесноку. И у нас из люка шел тот же дух.

Тут ветерок покрепче нажал, я ногой уперся в брезент: впереди брезент пакетом лежал. Вдруг пакет зашевелился, как живой. Я даже струхнул сначала. Смотрю, из пакета — голова, круглая, как на шахматной пешке. Китайчонок. Жмурится на солнце.

— Это,— говорит хозяин,— мой сын.

Я достал две картинки от папирос, даю ему. Он взял и что-то по-китайски крикнул. И вдруг — из люка — китайская девчонка. Мальчик побежал по палубе — года ему три. Я кричу: «Упадет!» Китаец мой только смеется. Мальчишка стал с девчонкой картинки делить. Я нашарил еще одну в кармане и кричу: «Нá еще!» Он увидал. Смотрю, вылезает еще девчонка. Я говорю хозяину:

— Сколько же у тебя их?

Полез я по палубе, заглянул в люк. Там, на дне, на циновке сидела китаянка. На руках ребенок, а перед носом жаровня, на ней она рыбу жарила. А если там на ноги встать, то ровно по пояс придется ей палуба. Жить там можно только ползком.

— А дом у вас на берегу есть?

Китаец замахал руками:

— Нас на берег не очень и пускают.

Я говорю:

— Много вас на воде?

Китаец никак не мог сказать такого числа, он по-английски не знал, как и сказать, объяснил кое-как: выходило, несколько тысяч.

— А если буря?

Китаец серьезным стал.

— Было,— говорит,— раз такое. Мы все говорим полисмену: «Надо лодки вытягивать, будет страшная буря — тайфун, нас всех в черепки переколотит». А англичане: «Нет! Не врите. Сидите, где посажены. И вот отсюда досюда ваше место». А мы бурю эту за несколько дней чувствуем, и чуем, как смерть. И были все в тоске. И мы хотели войти к начальнику. Нет, не пустили...

И вот вы представьте себе, что все китайцы со всеми этими ребятишками сидели на воде и ждали смерти. И налетела эта буря — тайфун. Он обращает море в кипящий котел, он ветром срывает деревни на берегу, крыши пухом летят. Несет, как бумажки, целые ворота,

скотину подымает в воздух. И тут же над головой, как из дыры в небе, льет дождь, что пригибает человека к земле. И вот такой тайфун налетел на эту плавучую деревню. Китаец не мог мне опять назвать числа, сколько пропало китайчат и больших китайцев. Все шлюпки разбило вдребезги, в щепки, растрепало по небу и по морю последние остатки.

А кто выбрался на берег — ого! Тех сейчас же загнали полисмены в загон и заперли: на земле вам места нет, нечего вам тут вой подымать. И как оставшиеся китайцы потом оправились, не мог я понять. Китаец мой только говорил: «Хорошо, ух, как хорошо, что детей этих тогда не было!»

Так и радовался, как будто про счастье рассказывал, а не про бедствие.

— Чего ты радуешься? — говорю.

— А что они есть,— и сына за ухо подергал.

Я ему дал монету, говорю:

— Сдачи не надо. Всё тебе.

Он испугался.

— Напиши,— говорит,— мне расписку по-английски, что это ты сам мне дал, а не я украл. Я боюсь, что нехорошо может быть. Полисмен...

А я говорю ему:

— К черту полисмена!

А он мне деньги назад сует: не надо, мол, никаких тогда денег. Пришлось писать. Я написал:

«Проклятые полисмены английские! Я дал этому китайцу доллар, не отнимайте у человека, чтó он заработал». И подписал, и свой адрес написал.

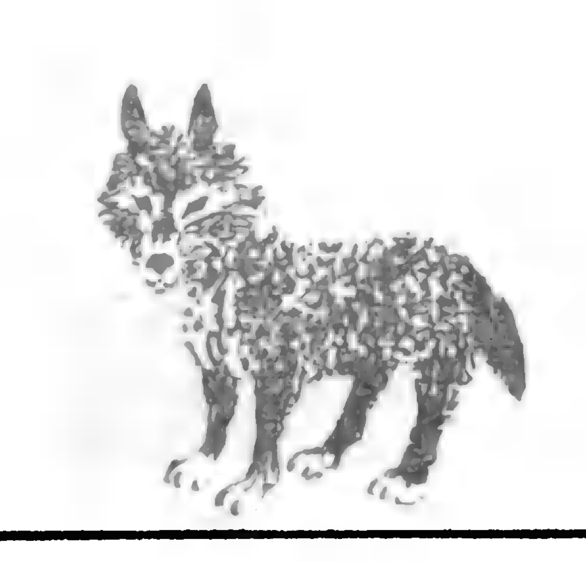
А китаец не столько доллару радовался, сколько боялся, как бы несчастья не было от такого богатства.



РАССКАЗЫ
О
ЖИВОТНЫХ







ГАЛКА

У брата с сестрой была ручная галка. Она ела из рук, давалась гладить, улетала на волю и назад прилетала.

Вот раз сестра стала умываться. Она сняла с руки колечко, положила на умывальник и намылила лицо мылом. А когда она мыло сполоснула,— поглядела: где колечко? А колечка нет.

Она крикнула брату:

— Отдай колечко, не дразни! Зачем взял?

— Ничего я не брал,— ответил брат.

Сестра поссорилась с ним и заплакала.

Бабушка услыхала.

— Что у вас тут? — говорит.— Давайте мне очки, сейчас я это кольцо найду.

Бросились искать очки — нет очков.

— Только что на стол их положила,— плачет бабушка.— Куда им деться? Как я теперь в иголку вдену?

И закричала на мальчика:

— Твои это дела! Зачем бабушку дразнишь?

Обиделся мальчик, выбежал из дому. Глядит,— а над крышей галка летает, и что-то у ней под клювом блестит. Пригляделся — да это очки! Спрятался мальчик за дерево и стал глядеть. А галка села на крышу, огляделась, не видит ли кто, и стала очки на крыше клювом в щель запихивать.

Вышла бабушка на крыльцо, говорит мальчику:

— Говори, где мои очки?

— На крыше! — сказал мальчик.

Удивилась бабушка. А мальчик полез на крышу и вытащил из щели бабушкины очки. Потом вытащил

оттуда и колечко. А потом достал стёклышек, а потом разных денежек много штук.

Обрадовалась бабушка очкам, а сестра колечку, и сказала брату:

— Ты меня прости, я ведь на тебя подумала, а это галка-воровка.

И помирились с братом.

Бабушка сказала:

— Это все они, галки да сороки. Что блестит, все тащат.

ВЕЧЕР

Идет корова Маша искать сына своего, телёнка Алёшку. Не видать его нигде. Куда он запропастился? Домой уж пора.

А телёнок Алёшка набегался, устал, лёг в траву. Трава высокая — Алёшку и не видать.

Испугалась корова Маша, что пропал её сын Алёшка, да как замычит что есть силы:

— Му-у!

Услыхал Алёшка мамин голос, вскочил на ноги и во весь дух домой.

Дома Машу подоили, надоили целое ведро парного молока. Налили Алёшке в плошку:

— На, пей, Алёшка.

Обрадовался Алёшка — давно молока хотел,— всё до дна выпил и плошку языком вылизал.

Напился Алёшка, захотелось ему по двору пробежаться. Только он побежал, вдруг из будки выскочил щенок — и ну лаять на Алёшку. Испугался Алёшка: это, верно, страшный зверь, коли так лает громко. И бросился бежать.

Убежал Алёшка, и щенок больше лаять не стал. Тихо стало кругом. Посмотрел Алёшка — никого нет, все спать пошли. И самому спать захотелось. Лёг и заснул во дворе.

Заснула и корова Маша на мягкой траве.

Заснул и щенок у своей будки — устал, весь день лаял.

Заснул и мальчик Петя в своей кроватке — устал, весь день бегал.

А птичка давно уж заснула.

Заснула на ветке и головку под крыло спрятала, чтоб теплей было спать. Тоже устала. Весь день летала, мошек ловила.

Все заснули, все спят.

Не спит только ветер ночной.

Он в траве шуршит и в кустах шелестит.

ПРО ВОЛКА

Дикий зверь

У меня был приятель-охотник. И вот раз собрался он на охоту и спрашивает меня:

— Чего тебе привезти? Говори — привезу.

Я подумал: «Ишь хвастает! Дай загну похитрей чего-нибудь»,— и сказал:

— Привези мне живого волка. Вот что.

Приятель задумался и сказал, глядя в пол:

— Ладно.

А я подумал: «То-то! Как я тебя срезал! Не хвастай».

Прошло два года. Я и забыл про этот наш разговор. И вот раз прихожу я домой, а мне в прихожей уж говорят:

— Тебе там волка принесли. Какой-то человек приходил, тебя спрашивал. «Он волка, говорит, просил, так вот передайте». А сам к двери.

Я, шапки не снимая, кричу:

— Где, где он? Где волк?

— У тебя в комнате заперт.

Я был молодой, и мне стыдно казалось спрашивать, как он там сидит: связанный или просто на веревке. Подумают, что трушу. А сам думаю: «Может быть, он ходит по комнате, как хочет,— на свободе?»

А трусить я стыдился. Набрал я воздуха в грудь и дернул в свою комнату. Я думал: «Сразу-то он не бросится на меня, а потом... потом уж как-нибудь...» Но сердце сильно билось. Я быстрыми глазами оглянул комнату — никакого волка. Я уж обозлился — надули, значит, подшутили,— как вдруг услышал, что под сту-

лом что-то ворочается. Я осторожно пригнулся, поглядел с опаской и увидел головастого щенка.

Я вот говорю — увидел щенка, но сразу же было видно, что это не собачий щенок. Я понял, что волчонок, и страшно обрадовался: приручу и будет у меня ручной волк.

Не надул охотник, молодец: привез мне живого волка!

Я осторожно подошел,— волчонок стал на все четыре лапы и насторожился. Я его разглядел: какой он был урод! Он почти весь состоял из головы — как будто морда на четырех ножках, и морда эта вся состояла из пасти, а пасть из зубов. Он на меня оскалился, и я увидел, что у него полон рот белых и острых, как гвозди, зубов. Тело было маленькое, с редкой бурой шерстью, как щетина, а сзади крысиный хвостик.

«Ведь волки серые... А потом, щенята всегда бывают хорошенькие, а это дрянь какая-то: одна голова да хвостик. Может быть, и не волчонок вовсе, а просто для смеха что-нибудь. Надул охотник, оттого и удрал сразу».

Я смотрел на щенка, а он пятился под кровать. Но в это время вошла моя мать, присела у кровати и позвала:

— Волченька! Волченька!

Смотрю, волчонок выполз, а мать подхватила его на руки и гладит — чудище этакое! Она его, оказывается, уже два раза поила с блюдца молоком, и он сразу ее залюбил. Пахло от него едким звериным запахом. Он чмокал и совался мордочкой маме под мышку.

Мать говорит:

— Если хочешь держать, так надо его мыть, а то вонь будет от него на весь дом.

И понесла его в кухню. Когда я вышел в столовую, все смеялись, что я таким героем ринулся в комнату, будто там страшный зверь, а там щенок.

В кухне мать мыла волчонка зеленым мылом, теплой водой, а он смирно стоял в корыте и лизал ей руки.

Как я учил волка «тубо»

Я решил, что сызмальства надо начать волчонка учить, а то, как вырастет большой зверь, с ним уж тогда ничего не поделаешь. Вот он еще маленький, а зу-

бищи уж какие во рту. А вырастет — держись тогда. Первое, думал я, надо научить его «тубо». Это значит — «не тронь». Чтоб как крикну «тубо», так чтоб он даже изо рта выпускал, что схватил.

И вот я взял волчонка в свою комнату, принес плошку с молоком и хлебом, поставил на пол. Волчонок потянул носом, учуял молоко и заковылял на лапках к плошке. Только он сунул морду в молоко, я как крикну:

— Тубо!

А он хоть бы что: чавкает и урчит от радости.

Я опять:

— Тубо! — и дернул его назад.

И вот тут он сразу как рявкнет на меня, голову повернул, зубами щелкнул — как молнией ударил. И так по-лесному, по-звериному вышло у него, что меня на один миг жуть взяла. Я от взрослой собаки такого не слышал,— вот оно что значит волк-то...

Ну, думаю, если он с малых лет так, то что же потом-то? Не подойти тогда уж, прямо съест. Нет, думаю, надо его страхом взять, пусть он привыкнет бояться моей руки.

Я снова крикнул «тубо» и стукнул кулаком волчонка по голове. Он ударился челюстью о плошку и взвизгнул совсем по-ребячьи. Но он не мог оторваться от молока, облизнулся и снова в плошку.

Я крикнул не своим голосом:

— Тубо, дрянь этакая! —и опять ударил кулаком.

Волчонок отскочил от плошки и заковылял на тонких лапках вдоль стенки. Бежал и тряс от боли головой. С мордочки текло молоко, и он выл обиженно.

Обежал по стенке всю комнату, и ноги сами понесли его к молоку.

Хоть мне было стыдно, что я ударил так сильно такого маленького, но я все же решил настоять на своем.

Как только волчонок начал есть, я снова крикнул «тубо». Он наспех огрызнулся и залакал скорее. Я стукнул его кулаком.

Он завыл, бросился, и я не успел его схватить, как он уже отворил мордой дверь и стремглав побежал вон. Он побежал к матери, сунул ей в юбку мокрую морду и заскулил громким голосом на всю квартиру.

Все сбежались, стали гладить волка, а меня ругали, что я мучаю такого маленького.

Маме он всю юбку запачкал молоком и заслюнявил.

Потом он целый день бегал за матерью, а меня так все заругали, что я пошел гулять.

Я на всех дома обиделся. Я думал: «Им хорошо говорить: «Волченька, миленький да бедненький», а вот когда вырастет зверище-волчище с громадными зубами, тогда все в доме начнут кричать: «Гляди, что волчище наделал! Твой волк, девай его куда хочешь». Тогда все на меня будут валить. «Завел, скажут, зверя в доме, теперь и расхлебывай». И я решил, что уеду из дому, найму себе маленькую квартирку и буду там жить со своей собакой, с кошкой и с волком.

Я так и сделал: нашел комнату с кухней, нанял и переехал с моими зверями на новую квартиру.

Надо мной смеялись:

— Скажите, Дуров какой у нас завелся! Со зверями будет жить.

А я думал: «Дуров не Дуров, а волк ручной у меня будет».

Собачка у меня была рыженькая, маленькая. Она была потайного и ехидного характера. Звали ее Плишка. Плишка была чуть побольше волчонка. Волчонок, как ее увидал, побежал к ней, хотел поиграть, повозиться. А Плишка ощетинилась, оскалилась, как огрызнется:

— Рраф!

Волчонок испугался, обиделся и побежал искать мою мать, но я уже жил один. Он скулил, бегал по комнате, искал в кухне и прибежал наконец ко мне. Я его приласкал, посадил рядом с собой на кровать и позвал Плишку. Дай, думаю, я вас примирю. Я заставил Плишку лечь рядом с волчонком. Она, дрянь, все время подымала губу, показывала зубы и шепотом ворчала — ей, видно, противно было лежать рядом с волчонком. А он пробовал ее нюхать, даже лизнул. Плишка дрожала от злости, но куснуть волчонка при мне не смела.

«Ну,— думаю,— как же я их одних-то дома оставлю, как пойду на работу? Заест волчонка Плишка, закусает». И я решил взять утром Плишку с собой. Она была очень муштрованная, и утром на службе я повесил на вешалку пальто, а Плишке сказал, чтоб стерег-

ла и не сходила с места. Когда мы с Плишкой вернулись домой, то волчонок так обрадовался Плишке, что бросился к ней со всех своих кривых ножек и с разбегу сбил собаку и навалился на нее. Плишка пружиной вскочила, и я крикнуть не успел — она цап волчонка за ухо. Но тут вышло не то: волчонок как рявкнет и так лязгнул зубами — быстро, как молния,— что Плишка кубарем в угол, прижалась и, рот раскрыв, рычала испуганным хрипом.

Кошка Манефа важно вошла в двери посмотреть, что за скандал. Волчонок тряс больным ухом и бегал по комнате, на все натыкался крепким лбом. Манефа на всякий случай вскочила на табурет. Я боялся, что ей придет в голову сверху царапнуть волчонка. Нет, Манефа уселась поудобней и только следила глазами, как метался волчонок.

Я принес с собой овсянки и костей для волка и отдал дворничихе Аннушке сварить.

Когда она принесла горячий котелок, то сейчас же заметила волчонка:

— Что это собачка какая безобразная? — И присела на корточки.— Это какая же порода будет?

Я не хотел, чтобы в доме знали, что есть волк, и думал, что бы такое соврать, как тут Аннушка пригляделась и говорит:

— Уж не волчонок ли? Да верно ведь, волчонок. Ах, бедный ты мой!

Смотрю, уж гладит его. Я сказал:

— Аннушка, пожалуйста, никому не надо говорить. Я хочу вырастить, пусть ручной будет.

— Да мне зачем же рассказывать,— говорит Аннушка,— а только, знаете, говорится: сколько волка не корми, а он все в лес глядит.

И я договорился с Аннушкой, что она будет у меня прибирать и варить, а волку варить варево из овсянки с костями каждый день.

Я дал всем зверям есть, каждому в своем углу, каждому из своей кормушки.

Волчонок чавкал своей овсянкой, а Плишка свое быстро сожрала, оглянулась на меня. Я в зеркало следил за ней, а она этого не понимала и думала, что я сзади ничего не увижу. И вот я вижу в зеркале, как она по стенке тихонько крадется к волку. Еще раз оглянулась на меня и втихомолку подворачивает на волка,

Оскалилась всем ртом, глазищи злые, и надвигается шаг за шагом.

«Ну,— думаю,— залезь ты ему в кормушку, вытяну я тебя ремнем, будешь знать. Все вижу, голубушка».

Но вышло иначе. Только Плишка сунула морду к кормушке, волк — врык!— и лязгнул зубами, да не мимо, а прямо Плишку за морду. Она отскочила с визгом, и тут с ней сделался прямо-таки припадок: она носилась по комнате, по кухне, кидалась в прихожую и так отчаянно выла, будто на ней вся шерсть огнем горит. Я ее звал, но она делала вид, что не слышит, и только поддавала визгу еще пронзительней. А волчонок чавкал в своей плошке. Я ему подлил туда молока, и он спешил, лакал, только дух успевал переводить. Я выгнал Плишку на двор и во дворе слышал, как она пробовала скандалить.

Все соседи думали, что я нечаянно ошпарил собаку кипятком.

А волка я каждый день учил «тубо». И теперь дело двинулось вперед: только я крикну «тубо», волчонок стремглав бежал прочь от кормушки.

Собаки скандалят

Я каждый вечер ходил со зверями на прогулку. Плишка была приучена бежать рядом с правой ногой, а Манефа сидела у меня на плече. Улицы были около моей квартиры пустынные, и, правду сказать, места воровские — народу попадалось мало, и некому было пальцем показывать, что вот идет взрослый мужчина с кошкой на плече. И вот я решил теперь пойти гулять вчетвером — взять с собой волка. Я купил ему ошейник, цепочку и пошел вечером по улице: волчонок ковылял с левой стороны, но его приходилось подергивать за цепочку, чтоб он шел рядом. Думал, нас никто не заметит. Но вышло не так: нас заметили и подняли скандал. Только не люди, а собаки.

Первая попалась маленькая собачонка. Плишкина знакомая. Она разбежалась было к нам, но вдруг насторожилась, зафыркала и стала красться за волчонком, нюхать след. Потом бросилась в свои ворота и оттуда таким залилась тревожным лаем, что во всех дворах отозвались собаки. Я никогда и не думал, что столько



собак на нашей улице. Собаки стали выскакивать из ворот, встревоженные, ощетинились и со злым испугом издали надвигались на волка. А он жался к моей ноге и вертел своей лобастой мордой. Я уж думал: не взять ли мне волчонка на руки да не повернуть ли домой, пока собаки не бросились на него? Из ворот уж стали высовываться люди, глядеть, что случилось. Плишка снизу заглядывала мне в лицо: что же, дескать, делать? Какой, значит, переполох из-за этого чучела мордатого! Но я уж не боялся: собаки ближе трех шагов не решались подойти к волчонку. Каждая провожала нас лаем до своего дома и пятилась задом в свои ворота.

Успокоился и волк. Он уже не вертел головой, а только не отставал и бежал, плотно держась у моей ноги.

— Что,— сказал я Плишке,— наша взяла?

Мы вышли на людные улицы, где собак не было, а когда возвращались, уже все ворота были на запоре и собак на улице не было. Но Волчик очень радовался, когда пришел домой. Он стал возиться, как щенок, повалил Плишку, валял ее по полу, а она терпела и не смела при мне огрызаться.

Вырастает

А на другой день, когда я возвращался, я увидел на дворе Аннушку: она в лоханке стирала белье, а около нее, свернувшись клубочком, грелся на солнце волчонок.

— Я его на солнышко взяла,— говорит Аннушка.— Уж что, в самом деле, и свету животное не видит.

Я позвал:

— Волчик! Волчик!

Он нехотя встал, расставил ноги, как поломанная кровать, и стал потягиваться, совсем как собака. Потом вильнул своим веревочным хвостиком и побежал ко мне.

Я так обрадовался, что он идет на зов, что сейчас же без всякого «тубо» скормил ему сдобную булку. Я хотел уже взять его в комнату, тут Аннушка говорит:

— Как раз кончила, а вода осталась, давайте-ка я и его. А то дух от него уж очень волчий.

Подхватила его под мышку и поставила в лохань. Она его мыла, как хотела, и он стоял смешной, весь в белой пене. Он даже ни разу не зарычал на дворни-

чиху, когда она его обдавала теплой водой начисто. С тех пор его мыли каждую неделю. Он был чистый, шерсть стала блестеть, и я не заметил, как уж хвост у волчонка из голой веревки стал пушистым, сам он стал сереть и обратился в хорошенькую веселую собачку.

Бой с Манефой

И вот раз кормил я моих зверей, и Манефа, сидя на табурете, доедала рыбешку. Волчонок кончил свое и полез к кошке. Он стал лапками на табурет и потянулся мордой к рыбе. Я не успел крикнуть «тубо», как Манефа зашипела, хвост веником и — раз! раз! — надавала волку по морде. Он завизжал, присел и вдруг бросился настоящим зверем на кошку. Все это было в одну секунду: волк опрокинул табурет, но кошка подпрыгнула на всех четырех лапах и успела рвануть его когтями по носу,— я боялся, чтоб не выцарапала глаза. Я крикнул «тубо» и бросился к волку. Но он уж сам бежал ко мне, а кошка наскакивала сзади и старалась процарапать сквозь шерсть. Я стал гладить и успокаивать волчонка. Глаза были целы,— оказался порядочный шрам на носу. Шла кровь, и волчонок зализывал языком больное место. Плишка во время боя скрылась. Я с трудом вызвал ее из-под кровати. Там была лужа.

Вечером волк лежал на подстилке. Манефа — хвост трубой — королевой разгуливала по комнате. Когда проходила мимо волка, он рычал, но она и головы не поворачивала, а спокойно терлась о мою ногу и мурлыкала на сытое брюхо.

«Особой породы»

В доме уж все считали, что у меня две собаки. И, когда спрашивали про Волчика, я говорил, что это овчарка, мне подарили,— особой породы.

Но вот раз ночью я проснулся от странного звука. Мне спросонья показалось сначала, что пьяный ревет за окном. Но потом разобрал я, в чем дело. Волк. Волк завыл...

Я зажег свечку. Он сидел среди комнаты, подняв к потолку морду. Он не оглянулся на свет, а выводил

ноту, и такую лесную звериную тоску выводил он голосом на весь дом, что делалось жутко.

Вот тебе и «овчарка особой породы». Этак он весь дом перебудит, и уж тут не скроешь, что волк. Пойдут охи, ахи: «Волк во дворе». Все хозяйки заскандалят и выгонят меня завтра же вон из дому с моими кошками и овчарками. Наверху генеральша живет, злая и вздорная. «Помилуйте,— скажет,— живешь как в лесу, всю ночь волки воют. Благодарю покорно». Это я все знал наверное, и надо было сейчас же прекратить этот вой.

Я вскочил, присел к волку, стал гладить, но он глянул на меня и снова запрокинул голову.

Я дернул его за ошейник и повалил на пол. Он как будто опомнился, встал, встряхнулся, зазвонил пряжками. Я побежал в кухню и достал толстую кость из супа. Волк улегся на подстилке и стал грызть. Грыз он своими белыми зубами большие воловьи кости, как сухари. Только хрустело. Я потушил свечу, стал было засыпать,— как дернет мой волк ноту, крепче прежнего. Я быстро оделся и вытащил волка на двор. Я стал с ним играть, бегать по двору. И я заметил тут, ночью, что, не зная, я принял бы его за порядочного дворового пса. И вот никто не замечал: пес мой не лаял. Беда, если узнают, что он по ночам воет!

Теперь мне ночью не стало покоя. Я по часу, бывало, сидел и уговаривал волка, я его занимал, совал ему кости, чтоб как-нибудь он забыл про вой. Я за ним ухаживал, как за больным, у которого бывают припадки. Недели через две он бросил выть. Но за это время мы с ним сдружились. Когда я возвращался домой, он ставил мне на плечи лапы, и я чувствовал, какие они крепкие у него — как железные палки. Я с ним гулял днем, и все смотрели на большую собаку с особенной походкой. Когда он бежал, он так легко пружинил задними ногами; он умел смотреть назад, совсем свернув голову к хвосту, и бежать в то же время прямо вперед.

Узнали

Он был совсем ручной, и знакомые, когда приходили, гладили его и трепали по спине, как простую собаку,

И вот раз сижу я в парке на скамейке. Меж коленями у меня уселся на земле волк и дышит жарким духом, свесив длинный язык через зубы.

Маленькие дети играли в песке, а няньки на скамейке лузгали семечки.

Ребята стали подходить ко мне.

— Какая хорошая собака! Пушистая и язык красный. Не кусается?

— Нет,— говорю.— Она смирная.

— Можно немножко погладить?

Я сказал волку «тубо». Он уж это хорошо знал, и дети, кто посмелее, стали осторожно гладить. Я гладил заодно с ними, чтобы волк знал, что и моя рука тут. Няньки подходили, спрашивали:

— Не укусит?

Вдруг одна нянька подошла, глянет да как заохает:

— Ой, матушки, волк!

Дети взвизгнули, прыгнули, как цыплята. Волк так перепугался, что волчком повернулся на месте, запрятал мне между колен свою морду и прижал уши.

Когда все немного успокоились, я сказал:

— Сами волка напугали. Видите, какой он смирный.

Но уж куда там! Няньки ребят за руку прочь тянут и оглядываться не велят. Только два мальчика, что без нянек были, подошли ко мне, стали на метр и говорят:

— Верно — волк?

— Верно,— говорю.

— Настоящий?

— Настоящий.

— А ну,— говорят,— забожись.

— Ей-богу,— говорю,— настоящий.

— Ага,— говорят,— то-то ты его себе к руке и привязал. Ну, дай еще погладить. Настоящего-то.

Это было действительно так: я цепь от волка привязывал ремнем к левой руке — в случае дернется или бросится, уж от меня он не оторвется. Пусть я даже упаду с ног — все равно не уйдет.

Прозевал

Аннушка так приучила волка, что он за ворота один ни за что. Подойдет к калитке, глядит на улицу, носом воздух тянет, нюхает, рычит на проходящих собак, но

за порог лапой не переступает. Может быть, сам он боялся один выскакивать.

Вот я раз вернулся домой. Аннушка сидела во дворе, шила на солнышке под окном, а волк у ней в ногах клубком лежал — серая большая животина. Я окликнул; волк вскочил ко мне. И тут я вспомнил, что не купил папирос. А разносчик стоял в десяти шагах от ворот с лотком. Я выскочил из ворот, волк — за мной. Беру у разносчика сдачу и слышу — сзади собачий лай, рявканье, склока. Оглянулся — ай, беда! Сидит мой волк, прижался в угол ворот, а две большие собаки набросились, приперли его, наступают. Волк головой крутит, глазищи горят, и зубы лязгают быстро, как выстрелы: хляст! Хляст! Вправо, влево!

Собаки напирают, ищут местечка, где б ухватить, и лай такой стоит, что моего крика не слышно. Я бросился к волку. Собаки, видно, поняли, что вот человек бежит им на помощь, и одна бросилась на волка.

Мигнуть не успел, как волк рванул ее за загривок и швырнул на мостовую. Она покатилась и с визгом пустилась прочь. Другая прыгнула за меня.

Волк ринулся, сбил меня с ног, но я успел ухватить его за ошейник, и он проволок меня шага два по мостовой. Лоточник с лотком скорей в сторону. А волк рвется, я на спине барахтаюсь, ошейник не отпускаю.

Тут выбежала из ворот Аннушка. Она забежала спереди и уткнула волчью морду к себе в колени.

— Пускайте,— кричит,— я уж взяла!

Верно: Аннушка взяла волка за ошейник, и мы вдвоем увели его домой.

Когда я потом вышел за ворота, то увидел кровь. Кровавая дорожка шла через площадь, куда побежала собака. Я вспомнил, что на наш скандал собралось смотреть много народу, а из окон высунулись жильцы. И кто-то кричал: «Бешеная! Бешеная!»

Это кричала генеральша, что жила надо мной.

Беда

Я два дня не выпускал волка во двор, только по вечерам водил его на цепочке гулять. На вторую ночь он завыл, и завыл нестерпимо: громко, как труба, и так

отчаянно, так тоскливо, будто ревет над покойником. Мне в потолок постучали.

Я выскочил с волком во двор. Я видел, как в окнах вспыхнул свет, как замелькала тень. Видно, барыня всполошилась.

Наутро я слышал, как во дворе она кричала на дворника:

— Безобразие! Где это позволяют держать бешеных собак в доме? Воет волком по ночам. Всю ночь не спала. Сейчас же заявлю. Сейчас же!

Аннушка принесла овсянку волку вся заплаканная.

— Что случилось? — спрашиваю.

— Да уж чего хуже — скандалит барыня. В полицию, говорит, заявлю! Так дворника этого, мужа моего, значит, вон из дому, укрывает бешеных собак, ни за чем, говорит, не смотрит. А он мне как родной.

— Кто это? — говорю.

— Да Волчик-то! — И присела к нему, гладит.— Кушай, кушай, родименький. Сиротинка моя!

Когда я шел со службы домой, меня на улице остановил полицейский пристав:

— Простите, это вы волка держите?

Я смотрел на пристава и не знал, что сказать.

— Да ведь я давно знаю,— говорит пристав. Ухмыляется и ус покручивает.— Там, видите, жалоба поступила. Генеральша Чистякова. Но, знаете, вот что вам посоветую: подарите-ка мне вашего зверя, ей-богу.— И пристав просительно улыбнулся.— Ей-богу, подарите. У меня в имении овцы, а стерегут их овчарки. Вот этакие.— И показал почти на метр от земли.— Так вот от вашего волка хорошие детки будут — злые, первый сорт. И он с собаками сдружится, на воле жить будет. А? Право же. А в городе вам одни скандалы с ним будут. Это уж я ручаюсь, что скандалы будут.— И тут пристав нахмурился.— Вот уж одна жалоба есть: имейте в виду. Так как же? По рукам, что ли?

— Нет,— сказал я.— Мне жалко дарить. Я как-нибудь устрою.

— Ну продайте! — крикнул пристав.— Продайте, черт возьми! Сколько хотите?

— Нет, и не продам,— сказал я и пошел скорее прочь.

— Так я украду! — крикнул пристав мне вслед.— Слышите: у-кра-ду!

Я махнул рукой и пошел еще скорей.

Дома я рассказал Аннушке, что говорил пристав.

— Берегите волка,— сказал я.

Аннушка ничего не ответила, только насупилась.

На дворе я столкнулся с генеральшей Чистяковой. Она вдруг загородила мне дорогу. Глядит мне зло в глаза, и нижняя губа трясется. И вдруг как стукнет зонтиком об пол:

— Скоро ли мы избавимся от опасности?

— От какой? — спрашиваю.

— От собаки от бешеной! — кричит генеральша.

— Вас, видно, мадам, покусала, только это не моя.

И я пошел в ворота.

Из плена

Прошло дней пять. Я был на службе. Мне сказали, что меня спрашивает какая-то женщина, и чтоб сейчас, немедленно. Я побежал. На лестнице стояла Аннушка.

— Ой, бегите,— говорит,— скорей бегите: волка нашего пристав в участок взял. Там в полиции сидит.

Я схватил шапку. По дороге Аннушка мне сказала, что пристав приказал дворнику отвести волка в полицию и что дворник не посмел ослушаться: отвел и привязал во дворе в полиции.

Когда я открыл калитку в полицейских воротах, то сразу увидел в конце двора гурьбу народа: городовые и пожарные густой кучей стояли, галдели, вскрикивали. Я быстро пошел через двор и, уж когда подходил, слышал, как кричали:

— Что, серый, попался?

Я протолкался через людей. Волк на цепочке был привязан к кольцу. Он сидел на задних лапах, поджал хвост и огрызался на городовых. Волк первый заметил меня. Он дернулся, вскочил на задние лапы и натянул цепь. Все отпрянули назад. Я снял цепь с кольца и быстро намотал на руку.

Кругом заголосили:

— Куда ты его? Что он, твой?

— А если ты хозяин, так возьми! — крикнул я.

Все расступились. Вдруг кто-то заорал:

— Калитку на запор, скорей!

И один городовой побежал бегом к воротам.

— Стой! Волка спущу! — закричал я на весь двор. Городовой отскочил и стал.

А волк меня так тянул, что я едва вприпрыжку поспевал за ним. Мы добежали до калитки, я откинул дверь, волк прыгнул через порог и бросился вправо, домой. Сзади засвистели. Мы были уж за углом. Сейчас площадь, а через площадь и наш дом. Я слышал, что сзади топали ноги, свистели свистки. Но я не оглядывался и бежал. Вот сейчас площадь. Площадь пустая. А вон Аннушка стоит у ворот. Я бросил цепочку, и волк громадными прыжками стал устилать к дому. Аннушка присела на корточки, и я видел, как она поймала его за шею.

Я перевел дух и оглянулся: двое городовых остановились. Один зло плюнул в землю и махнул рукой.

Совсем конец

Я решил переехать в другой район, где этот пристав не начальник и где уж он ничего не значит. Я стал подыскивать новую квартиру. Я корил дворника за подлость:

— Зачем же было уводить волка у меня? За что же гадость мне такую делать?

— Да вы,— говорит,— в мое положение войдите: вам волк — забава, а ведь если я его не приведу, когда велят, это выходит, что с места вон. Я ведь только метлой и могу орудовать. Выгонят — куда пойду? Вы меня, что ли, кормить будете? Разве к вам в волки наняться?

Я уж не знал, что говорить. Ладно, перееду.

Я видал пристава через улицу. Он сделал хитрое лицо и лукаво погрозил мне пальцем. А я ему тоже.

Я купил волку намордник. Он сначала срывал его лапами, но все-таки привык, и теперь, в ошейнике, с намордником, он был совсем как собака.

Все свободное время я ходил с волком — мы искали квартиру. Я уж совсем нашел, оставалось только переехать.

И вот я раз вернулся домой со службы. В воротах Аннушка в слезах:

— Опять! Опять!

— Что, увели? — И я дернулся, чтоб бежать в полицию.

Но Аннушка ухватила меня за рукав:

— Без дела пойдете. Увез, увез, окаянный, к себе! Сама видела, как на подводу поклали. Связали — и на сено. А коней не удержать.

Я все-таки побежал в участок. Пристава не было: он уехал к себе в имение.

Я узнал: все было, как сказала Аннушка.

ПРО СЛОНА

Мы подходили на пароходе к Индии. Утром должны были прийти. Я сменился с вахты, устал и никак не мог заснуть: все думал, как там будет. Вот как если б мне в детстве целый ящик игрушек принесли и только завтра можно его раскупорить. Все думал: вот утром сразу открою глаза, и индусы, черные, заходят вокруг, забормочут непонятно, не то что на картинке. Бананы прямо на кусте, город новый — все зашевелится, заиграет. И слоны! Главное — слонов мне хотелось посмотреть. Все не верилось, что они там не так, как в зоологическом, а запросто ходят, возят: по улице вдруг такая громада прет!

Заснуть не мог, прямо ноги от нетерпения чесались. Ведь это, знаете, когда сушей едешь, совсем не то: видишь, как все постепенно меняется. А тут две недели океан — вода и вода,— и сразу новая страна. Как занавес в театре подняли.

Наутро затопали на палубе, загудели. Я бросился к иллюминатору, к окну,— готово: город белый на берегу стоит: порт, суда, около борта шлюпки: в них черные в белых чалмах — зубы блестят, кричат что-то; солнце светит со всей силы, жмет, кажется, светом давит. Тут я как с ума сошел, задохнулся прямо: как будто я — не я и все это сказка. Есть ничего с утра не хотел. Товарищи дорогие, я за вас по две вахты в море стоять буду — на берег отпустите скорей.

Выскочили вдвоем на берег. В порту, в городе все бурлит, кипит, народ толчется, а мы — как оголтелые и не знаем, что смотреть, и не идем, а будто нас что несет (да и после моря по берегу всегда странно ходить). Смотрим — трамвай. Сели в трамвай, сами толком не знаем, зачем едем, лишь бы дальше,— очумели прямо. Трамвай нас мчит, мы глазеем по сторонам и не заметили, как выехали на окраину. Дальше не идет. Вылезли. Дорога. Пошли по дороге. Придем куда-нибудь!

Тут мы немного успокоились и заметили, что здорово жарко. Солнце над самой маковкой стоит; тень от тебя не ложится, а вся тень под тобой: идешь и тень свою топчешь.

Порядочно уже прошли, уж людей не стало встречаться, смотрим — навстречу слон. С ним четверо ребят — бегут рядом по дороге. Я прямо глазам не поверил: в городе ни одного не видали, а тут запросто идет по дороге. Мне казалось, что из зоологического вырвался. Слон нас увидел и остановился. Нам жутковато стало: больших при нем никого нет, ребята одни. А кто его знает, что у него на уме. Мотанет раз хоботом — и готово.

А слон, наверно, про нас так думал: идут какие-то необыкновенные, неизвестные,— кто их знает? И стал. Сейчас хобот загнул крючком, мальчишка старший стал на крюк на этот, как на подножку, рукой за хобот придерживается, и слон его осторожно отправил себе на голову. Тот там уселся между ушами, как на столе. Потом слон тем же порядком отправил еще двоих сразу, а третий был маленький, лет четырех, должно быть,— на нем только рубашонка была коротенькая, вроде лифчика. Слон ему подставляет хобот — иди, мол, садись. А он выкрутасы разные делает, хохочет, убегает. Старший кричит ему сверху, а он скачет и дразнит — не возьмешь, мол. Слон не стал ждать, опустил хобот и пошел — сделал вид, что он на его фокусы и смотреть не хочет. Идет, хоботом мерно покачивает, а мальчишка вьется около ног, кривляется. И как раз, когда он ничего не ждал, слон вдруг хоботом цап! Да так ловко! Поймал его за рубашонку сзади и подымает наверх осторожно. Тот руками, ногами, как жучок. Нет уж! Никаких тебе. Поднял слон, осторожно опустил себе

на голову, а там ребята его приняли. Он там, на слоне, все еще воевать пробовал.

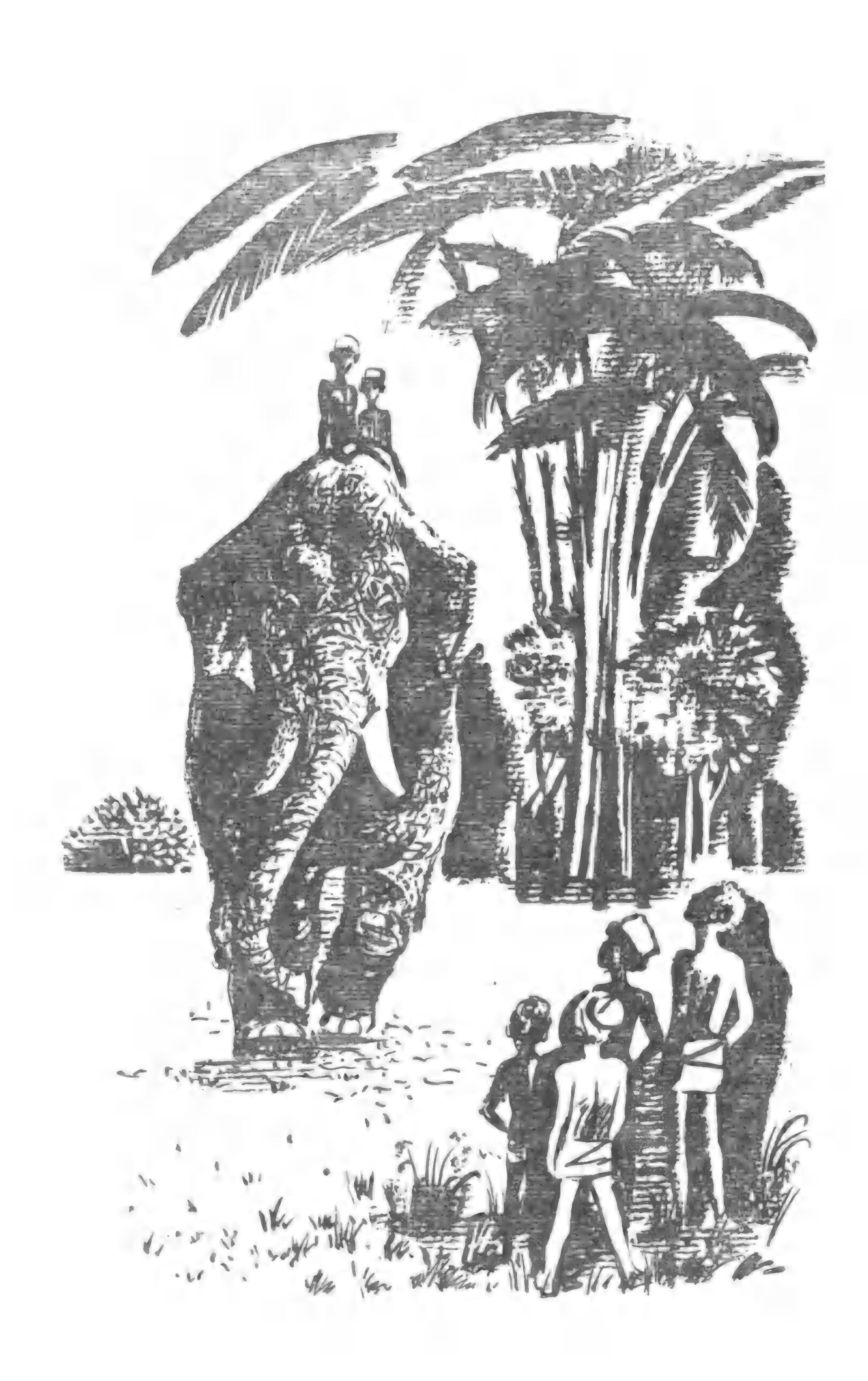
Мы поравнялись, идем стороной дороги, а слон с другого бока и на нас внимательно и осторожно глядит. А ребята тоже на нас пялятся и шепчутся меж собой. Сидят, как на дому, на крыше.

«Вот,— думаю,— здо̀рово: им нечего там бояться. Если б и тигр попался навстречу, слон тигра поймает, схватит хоботищем поперек живота, сдавит, швырнет выше дерева и, если на клыки не подцепит, все равно будет ногами топтать, пока в лепешку не растопчет».

А тут мальчишку взял, как козявку, двумя пальчиками: осторожно и бережно.

Слон прошел мимо нас: смотрим, сворачивает с дороги и попер в кусты. Кусты плотные, колючие, стеной растут. А он через них, как через бурьян,— только ветки похрустывают,— перелез и пошел к лесу. Остановился около дерева, взял хоботом ветку и пригнул ребятам. Те сейчас же повскакали на ноги, схватились за ветку и что-то с нее обирают. А маленький подскакивает, старается тоже себе ухватить, возится, будто он не на слоне, а на земле стоит. Слон пустил ветку и другую пригнул. Опять та же история. Тут уж маленький совсем, видно, в роль вошел: совсем залез на эту ветку, чтоб ему тоже досталось, и работает. Все кончили, слон пустил ветку, а маленький-то, смотрим, так и полетел с веткой. Ну, думаем, пропал — полетел теперь, как пуля, в лес. Бросились мы туда. Да нет, куда там! Не пролезть через кусты: колючие, и густые, и путаные. Смотрим, слон в листьях хоботом шарит. Нащупал этого маленького,— он там, видно, обезьянкой уцепился,— достал его и посадил на место. Потом слон вышел на дорогу впереди нас и пошел обратно. Мы за ним. Он идет и по временам оглядывается, на нас косится: чего, мол, сзади идут какие-то? Так мы за слоном пришли к дому. Вокруг плетень. Слон отворил хоботом калиточку и осторожно просунулся во двор; там ребят спустил на землю. Во дворе индуска на него начала кричать что-то. Нас она сразу не заметила. А мы стоим, через плетень смотрим.

Индуска орет на слона,— слон нехотя повернулся и пошел к колодцу. У колодца врыты два столба, и между ними вьюшка; на ней веревка намотана и ручка сбоку. Смотрим, слон взялся хоботом за ручку



и стал вертеть: вертит как будто пустую, вытащил — целая бадья там на веревке, ведер десять. Слон уперся корнем хобота в ручку, чтобы не вертелась, изогнул хобот, подцепил бадью и, как кружку с водой, поставил на борт колодца. Баба набрала воды, ребят тоже заставила таскать — она как раз стирала. Слон опять бадью спустил и полную выкрутил наверх. Хозяйка опять его начала ругать. Слон пустил бадью в колодец, тряхнул ушами и пошел прочь — не стал воду больше доставать, пошел под навес. А там в углу двора на хлипких столбиках навес был устроен — только-только слону под него подлезть. Сверху камышу накидано и каких-то листьев длинных.

Тут как раз индус, сам хозяин. Увидал нас. Мы говорим — слона пришли смотреть. Хозяин немного знал по-английски, спросил, кто мы; все на мою русскую фуражку показывает. Я говорю — русские. А он и не знал, что такое русские.

— Не англичане?

— Нет,— говорю,— не англичане.

Он обрадовался, засмеялся, сразу другой стал: позвал к себе.

А индусы англичан терпеть не могут: англичане давно их страну завоевали, распоряжаются там и индусов у себя под пяткой держат.

Я спрашиваю:

— Чего это слон не выходит?

— А это он,— говорит,— обиделся, и, значит, не зря. Теперь нипочем работать не станет, пока не отойдет.

Смотрим, слон вышел из-под навеса, в калитку — и прочь со двора. Думаем, теперь совсем уйдет. А индус смеется. Слон пошел к дереву, оперся боком и ну тереться. Дерево здоровое — прямо все ходуном ходит. Это он чешется так вот, как свинья об забор.

Почесался, набрал пыли в хобот и туда, где чесал, пылью, землей как дунет! Раз, и еще, и еще! Это он прочищает, чтобы не заводилось ничего в складках: вся кожа у него твердая, как подошва, а в складках — потоньше, а в южных странах всяких насекомых кусачих масса.

Ведь смотрите какой: об столбики в сарае не чешется, чтобы не развалить, осторожно даже пробирается туда, а чесаться ходит к дереву. Я говорю индусу:

— Какой он у тебя умный!

А он хохочет.

— Ну,— говорит,— если бы я полтораста лет прожил, не тому еще выучился бы. А он,— показывает на слона,— моего деда нянчил.

Я глянул на слона — мне показалось, что не индус тут хозяин, а слон, слон тут самый главный.

Я говорю:

— Старый он у тебя?

— Нет,— говорит,— ему полтораста лет, он в самой поре! Вон у меня слоненок есть, его сын,— двадцать лет ему, совсем ребенок. К сорока годам в силу только входить начинает. Вот погодите, придет слониха, увидите: он маленький.

Пришла слониха, и с ней слоненок — с лошадь величиной, без клыков; он за матерью, как жеребенок, шел.

Ребята индусовы бросились матери помогать, стали прыгать, куда-то собираться. Слон тоже пошел; слониха и слоненок — с ними. Индус объясняет, что на речку. Мы тоже с ребятами.

Они нас не дичились. Всё пробовали говорить — они по-своему, мы по-русски — и хохотали всю дорогу. Маленький больше всех к нам приставал,— все мою фуражку надевал и что-то кричал смешное — может быть, про нас.

Воздух в лесу пахучий, пряный, густой.

Шли лесом. Пришли к реке.

Не река, а поток — быстрый, так и мчит, так берег и гложет. К воде обрывчик в аршин. Слоны вошли в воду, взяли с собой слоненка. Поставили, где ему по грудь вода, и стали его вдвоем мыть. Наберут со дна песку с водой в хобот и, как из кишки, его поливают. Здòрово так — только брызги летят.

А ребята боятся в воду лезть — больно уж быстрое течение, унесет. Скачут на берегу и давай в слона камешками кидать. Ему нипочем, он даже внимания не обращает — все своего слоненка моет. Потом, смотрю, набрал в хобот воды и вдруг как повернет на мальчишек и одному прямо в пузо как дунет струей — тот так и сел. Хохочет, заливается.

Слон опять своего мыть. А ребята еще пуще камешками его донимать. Слон только ушами трясет: не приставайте, мол, видите, некогда баловаться! И как раз,

когда мальчишки не ждали, думали — он водой на слоненка дунет, он сразу хобот повернул да в них.

Те рады, кувыркаются.

Слон вышел на берег; слоненок ему хобот протянул, как руку. Слон заплел свой хобот об его и помог ему на обрывчик вылезти.

Пошли все домой: трое слонов и четверо ребят.

На другой день я уж расспросил, где можно слонов поглядеть на работе.

На опушке леса, у речки, нагорожен целый город тесаных бревен: штабеля стоят, каждый вышиной в избу. Тут же стоял один слон. И сразу видно было, что он уж совсем старик — кожа на нем совсем обвисла и заскорузла, и хобот, как тряпка, болтается. Уши обгрызенные какие-то. Смотрю, из лесу идет другой слон. В хоботе качается бревно — громадный брус обтесанный. Пудов, должно быть, во сто. Носильщик грузно переваливается, подходит к старому слону. Старый подхватывает бревно с одного конца, а носильщик опускает бревно и перебирается хоботом в другой конец. Я смотрю: что же это они будут делать? А слоны вместе, как по команде, подняли бревно на хоботах вверх и аккуратно положили на штабель. Да так ровно и правильно — как плотник на постройке.

И ни одного человека около них.

Я потом узнал, что этот старый слон и есть главный артельщик: он уже состарился на этой работе.

Носильщик ушел не спеша в лес, а старик повесил хобот, повернулся задом к штабелю и стал смотреть на реку, как будто хотел сказать: «Надоело мне это, и не глядел бы».

А из лесу идет уже третий слон с бревном.

Мы — туда, откуда выходили слоны.

Прямо стыдно рассказывать, что мы тут увидели. Слоны с лесных разработок таскали эти бревна к речке. В одном месте у дороги — два дерева по бокам, да так, что слону с бревном не пройти. Слон дойдет до этого места, опустит бревно на землю, подвернет колени, подвернет хобот и самым носом, самым корнем хобота толкает бревно вперед. Земля, каменья летят, трет и пашет бревно землю, а слон ползет и пихает. Видно, как трудно ему на коленях ползти. Потом встанет, отдышится и не сразу за бревно берется. Опять повернет его поперек дороги, опять на коленки. Положит хобот

на землю и коленками накатывает бревно на хобот. Как хобот не раздавит! Гляди, снова уже встал и несет. Качается, как грузный маятник, бревнище на хоботе.

Их было восемь — всех слонов-носильщиков,— и каждому приходилось пихать бревно носом: люди не хотели спилить те два дерева, что стояли на дороге.

Нам неприятно стало смотреть, как тужится старик у штабеля, и жаль было слонов, что ползли на коленках. Мы недолго постояли и ушли.

КАК СЛОН СПАС ХОЗЯИНА ОТ ТИГРА

У индусов есть ручные слоны. Один индус пошел со слоном в лес по дрова.

Лес был глухой и дикий. Слон протаптывал хозяину дорогу и помогал валить деревья, а хозяин грузил их на слона.

Вдруг слон перестал слушаться хозяина, стал оглядываться, трясти ушами, а потом поднял хобот и заревел.

Хозяин тоже оглянулся, но ничего не заметил.

Он стал сердиться на слона и бить его по ушам веткой.

А слон загнул хобот крючком, чтоб поднять хозяина на спину. Хозяин подумал: «Сяду ему на шею — так мне еще удобней будет им править».

Он уселся на слоне и стал веткой хлестать слона по ушам. А слон пятился, топтался и вертел хоботом. Потом замер и насторожился.

Хозяин поднял ветку, чтоб со всей силы ударить слона, но вдруг из кустов выскочил огромный тигр. Он хотел напасть на слона сзади и вскочить на спину.

Но он попал лапами на дрова, дрова посыпались. Тигр хотел прыгнуть другой раз, но слон уже повернулся, схватил хоботом тигра поперек живота, сдавил как толстым канатом. Тигр раскрыл рот, высунул язык и мотал лапами.

А слон уж поднял его вверх, потом шмякнул оземь и стал топтать ногами.

А ноги у слона — как столбы. И слон растоптал тигра в лепешку. Когда хозяин опомнился от страха, он сказал:

— Какой я дурак, что бил слона! А он мне жизнь спас.

Хозяин достал из сумки хлеб, что приготовил для себя, и весь отдал слону.

ПРО ОБЕЗЬЯНКУ

Мне было двенадцать лет, и я учился в школе. Раз на перемене подходит ко мне товарищ мой Юхименко и говорит:

— Хочешь, я тебе обезьянку дам?

Я не поверил — думал, он мне сейчас шутку какую-нибудь устроит так, что искры из глаз посыплются, и скажет: «Вот это и есть «обезьянка». Не таковский я.

— Ладно,— говорю,— знаем.

— Нет,— говорит, в самом деле. Живую обезьянку. Она хорошая. Ее Яшкой зовут. А папа сердится.

— На кого?

— Да на нас с Яшкой. Убирай, говорит, куда знаешь. Я думаю, что к тебе всего лучше.

После уроков пошли мы к нему. Я все еще не верил. Неужели, думал, живая обезьянка у меня будет? И все спрашивал, какая она. А Юхименко говорит:

— Вот увидишь, не бойся, она маленькая.

Действительно, оказалась маленькая. Если на лапки встанет, то не больше полуаршина. Мордочка сморщенная, старушечья, а глазки живые, блестящие. Шерсть на ней рыжая, а лапки черные. Как будто человечьи руки в перчатках черных. На ней был надет синий жилет.

Юхименко закричал:

— Яшка, Яшка, иди! Что я дам!

И засунул руку в карман. Обезьянка закричала: «Ай, ай!» — и в два прыжка вскочила Юхименко на руки. Он сейчас же сунул ее в шинель, за пазуху.

— Идем,— говорит.

Я глазам своим не верил. Идем по улице, несем такое чудо, и никто не знает, что у нас за пазухой.

Дорогой Юхименко мне говорил, чем кормить.

— Всё ест, всё давай. Сладкое любит. Конфеты — беда. Дорвется — непременно обожрется. Чай любит жидкий и чтоб сладкий был. Ты ей внакладку. Два куска. Вприкуску не давай: сахар сожрет, а чай пить не станет.

Я все слушал и думал: я ей и трех кусков не пожалею, миленькая такая, как игрушечный человек. Тут я вспомнил, что и хвоста у ней нет.

— Ты,— говорю,— хвост отрезал ей под самый корень?

— Она макака,— говорит Юхименко,— у них хвостов не растет.

Пришли мы к нам домой. Мама и девочки сидели за обедом. Мы с Юхименкой вошли прямо в шинелях.

Я говорю:

— А кто у нас есть!

Все обернулись. Юхименко распахнул шинель. Никто еще ничего разобрать не успел, а Яшка как прыгнет с Юхименки маме на голову; толкнулся ножками — и на буфет. Всю прическу маме осадил.

Все вскочили, закричали:

— Ой, кто, кто это?

А Яшка уселся на буфет и строит морды, чавкает, зубки скалит.

Юхименко боялся, что сейчас ругать его будут, и скорей к двери. На него и не смотрели — все глядели на обезьянку. И вдруг девочки все в один голос затянули:

— Какая хорошенькая!

А мама все прическу прилаживала.

— Откуда это?

Я оглянулся. Юхименки уже нет. Значит, я остался хозяином. И я захотел показать, что знаю, как с обезьянкой надо. Я засунул руку в карман и крикнул, как давеча Юхименко:

— Яшка, Яшка! Иди, я тебе что дам!

Все ждали. А Яшка и не глянул — стал чесаться меленько и часто черной лапочкой.

До самого вечера Яшка не спускался вниз, а прыгал по верхам с буфета на дверь, с двери на шкаф, оттуда на печку.

Вечером отец сказал:

— Нельзя ее на ночь так оставлять, она квартиру вверх дном переворотит.

И я начал ловить Яшку. Я к буфету — он на печь. Я его оттуда щеткой — он прыг на часы. Качнулись часы и стали. А Яшка уже на занавесках качается. Оттуда на картину, картина покосилась,— я боялся, что Яшка кинется на висячую лампу.

Но тут уже все собрались и стали гоняться за Яшкой. В него кидали мячиком, катушками, спичками и наконец загнали в угол.

Яшка прижался к стене, оскалился и защелкал языком — пугать начал. Но его накрыли шерстяным платком и завернули, запутали.

Яшка барахтался, кричал, но его скоро укрутили так, что осталась торчать одна голова. Он вертел головой, хлопал глазами и, казалось, сейчас заплачет от обиды.

Не пеленать же обезьяну каждый раз на ночь! Отец сказал:

— Привязать. За жилет — и к ножке, к столу.

Я принес веревку, нащупал у Яшки на спине пуговицу, продел веревку в петлю и крепко завязал. Жилет у Яшки на спине застегивался на три пуговки. Потом я поднес Яшку, как он был, закутанного, к столу, привязал веревку к ножке и только тогда размотал платок.

Ух, как он начал скакать! Но где ему было порвать веревку! Он покричал, позлился и сел печально на полу.

Я достал из буфета сахару и дал Яшке. Он схватил черной лапочкой кусок, заткнул за щеку. От этого вся мордочка у него скривилась.

Я попросил у Яшки лапу. Он протянул мне свою ручку.

Тут я рассмотрел, какие на ней хорошенькие черные ноготки. Игрушечная живая ручка. Я стал гладить лапку и думаю: совсем как ребеночек. И пощекотал ему ладошку. А ребеночек-то как дернет лапку — раз, и меня по щеке. Я и мигнуть не успел, и он надавал мне оплеух и прыг под стол. Сел и скалится. Вот и ребеночек!

Но тут меня погнали спать.

Я хотел Яшку привязать к своей кровати, но мне не позволили. Я все прислушивался, что Яшка делает, и думал, что непременно ему надо устроить кроватку, чтобы он спал, как люди, и укрывался одеяльцем. Голову бы клал на подушечку. Думал, думал и заснул.

Утром вскочил и, не одеваясь, к Яшке. Нет Яшки на веревке. Веревка есть, на веревке жилет привязан, а обезьянки нет. Смотрю, все три пуговицы сзади расстегнуты. Это он расстегнул жилет, оставил его на веревке, а сам драла. Я искать по комнате. Шлепаю босыми ногами. Нигде нет. Я перепугался. А ну как убежал? Дня не пробыл, и вот на́ тебе! Я на шкафы заглядывал, в печку — нигде. Убежал, значит, на улицу. А на улице мороз — замерзнет, бедный. И самому стало холодно. Побежал одеваться. Вдруг вижу, в моей же кровати что-то возится. Одеяло шевелится. Я даже вздрогнул. Вот он где! Это ему холодно на полу стало, он удрал и ко мне на кровать. Забился под одеяло. А я спал и не знал. Яшка спросонья не дичился, дался в руки, и я напялил на него снова синий жилет.

Когда сели пить чай, Яшка вскочил на стол, огляделся, сейчас же нашел сахарницу, запустил лапу и прыг на дверь. Он прыгал так легко, что, казалось — летает, не прыгает. На ногах у обезьяны пальцы, как на руках, и Яшка мог хватать ногами. Он так и делал. Сидит, как ребенок, на руках у кого-нибудь и ручки сложил, а сам ногой со стола тянет что-нибудь.

Стащит ножик и ну с ножом скакать. Это чтобы у него отнимали, а он будет удирать. Чай Яшке дали в стакане. Он обнял стакан, как ведро, пил и чмокал. Я уж не пожалел сахару.

Когда я ушел в школу, я привязал Яшку к дверям, к ручке. На этот раз обвязал его вокруг пояса веревкой, чтобы уж не мог сорваться. Когда я пришел домой, то из прихожей увидал, чем Яшка занимается. Он висел на дверной ручке и катался на дверях, как на карусели. Оттолкнется от косяка и едет до стены. Пихнет ножкой в стену и едет назад.

Когда я сел готовить уроки, я посадил Яшку на стол. Ему очень нравилось греться около лампы. Он дремал, как старичок на солнышке, покачивался и, прищурясь, глядел, как я тыкаю пером в чернила. Учитель у нас был строгий, и я чистенько написал страницу. Промокать не хотелось, чтобы не испортить. Оставил сохнуть. Прихожу и вижу: сидит Яков на тетради, макает пальчик в чернильницу, ворчит и выводит чернильные вавилоны по моему писанью. Ах ты, дрянь! Я чуть не заплакал с горя. Бросился на Яшку. Да куда! Он на занавески — все занавески чернилами перепачкал.

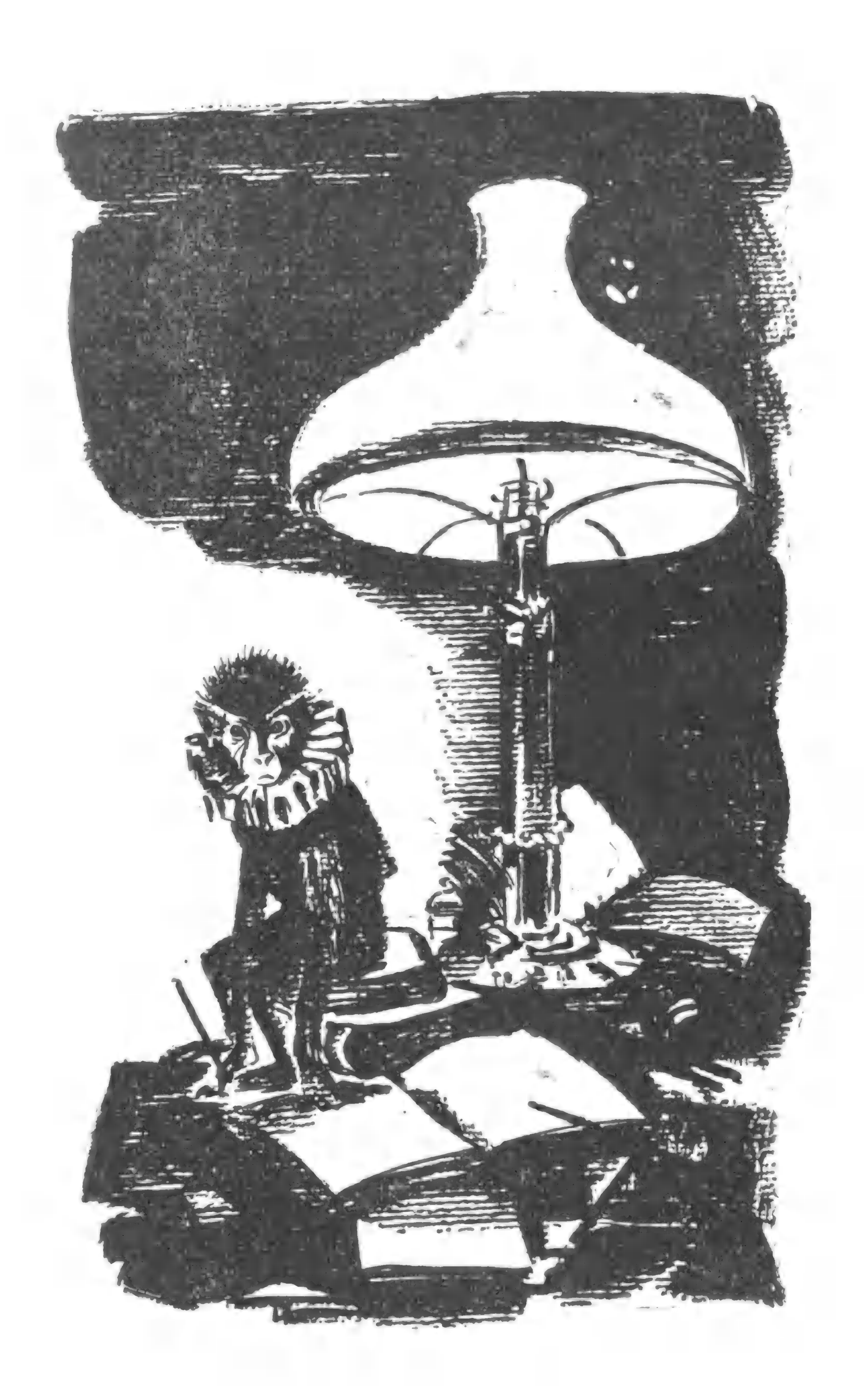
Вот оно почему Юхименкин папа на них с Яшкой сердился...

Но раз и мой папа рассердился на Яшку. Яшка обрывал цветы, что стояли у нас на окнах. Сорвет лист и дразнит. Отец поймал и отдул Яшку. А потом привязал его в наказанье на лестнице, что вела на чердак. Узенькая лесенка. А широкая шла из квартиры вниз. Вот отец идет утром на службу. Почистился, надел шляпу, спускается по лестнице. Хлоп! Штукатурка падает. Отец остановился, стряхнул со шляпы. Глянул вверх — никого. Только пошел — хлоп, опять кусок известки прямо на голову. Что такое?

А мне сбоку было видно, как орудовал Яшка. Он наломал от стенки известки, разложил по краям ступенек, а сам прилег, притаился на лестнице, как раз у отца над головой. Только отец пошел, а Яшка тихонечко толк ножкой штукатурку со ступеньки и так ловко примерил, что прямо отцу на шляпу,— это он ему мстил за то, что отец вздул его накануне.

Но, когда началась настоящая зима, завыл ветер в трубах, завалило окна снегом, Яшка стал грустным. Я его все грел, прижимал к себе. Мордочка у Яшки стала печальная, обвисшая, он подвизгивал и жался ко мне. Я попробовал сунуть его за пазуху, под куртку. Яшка сейчас же там устроился: он схватился всеми четырьмя лапками за рубаху и так повис, как приклеился. Он так и спал там, не разжимая лап. Забудешь другой раз, что у тебя живой набрюшник под курткой, и обопрешься о стол. Яшка сейчас лапкой заскребет мне бок: дает мне знать, чтоб осторожней.

Вот раз в воскресенье пришли в гости девочки. Сели завтракать. Яшка смирно сидел у меня за пазухой, и его совсем не было заметно. Под конец роздали конфеты. Только я стал первую разворачивать, вдруг из-за пазухи, прямо из моего живота, вытянулась мохнатая ручка, ухватила конфету и назад. Девочки взвизгнули от страха. А это Яшка услышал, что бумагой шелестят, и догадался, что едят конфеты. А я девочкам говорю: «Это у меня третья рука; я этой рукой прямо в живот конфеты сую, чтоб долго не возиться». Но уж все догадались, что это обезьянка, и из-под куртки слышно было, как хрустит конфета: это Яшка грыз и чавкал, как будто я животом жую.



Яшка долго злился на отца. Примирился Яшка с ним из-за конфет. Отец мой как раз бросил курить и вместо папирос носил в портсигаре маленькие конфетки. И каждый раз после обеда отец открывал тугую крышку портсигара большим пальцем, ногтем, и доставал конфетки. Яшка тут как тут: сидит на коленях и ждет — ерзает, тянется. Вот отец раз и отдал весь портсигар Яшке. Яшка взял его в руку, а другой рукой, совершенно как мой отец, стал подковыривать большим пальцем крышку. Пальчик у него маленький, а крышка тугая и плотная, и ничего не выходит у Яшеньки. Он завыл с досады. А конфеты брякают. Тогда Яшка схватил отца за большой палец и его ногтем, как стамеской, стал отковыривать крышку. Отца это рассмешило, он открыл крышку и поднес Яшке. Яшка сразу запустил лапу, награбастал полную горсть, скорей в рот и бегом прочь. Не каждый же день такое счастье!

Был у нас знакомый доктор. Болтать любил — беда. Особенно за обедом. Все уж кончили, у него на тарелке все простыло, тогда он только хватится — поковыряет, наспех глотнет два куска.

— Благодарю вас, я сыт.

Вот раз обедает он у нас, ткнул вилку в картошку и вилкой этой размахивает — говорит. Разошелся — не унять. А Яшка, вижу, по спинке стула поднимается, тихонечко подкрался и сел у доктора за плечом. Доктор говорит:

— И понимаете, тут как раз...— И остановил вилку с картошкой возле уха — на один момент всего.

Яшенька лапочкой тихонько за картошку и снял ее с вилки — осторожно, как вор. А доктор дальше:

— И представьте себе...— И тык пустой вилкой себе в рот. Сконфузился — думал, стряхнул картошку, когда руками махал, оглядывается.

А Яшки уж нет — сидит в углу и прожевать картошку не может, всю глотку забил.

Доктор сам смеялся, а все-таки обиделся на Яшку.

Яшке устроили в корзинке постель: с простыней, одеяльцем, подушкой. Но Яшка не хотел спать по-человечьи: все наматывал на себя клубком и таким чучелом сидел всю ночь. Ему сшили платьице, зелененькое, с пелеринкой, и стал он похож на стриженую девочку из приюта.

Вот раз я слышу звон в соседней комнате. Что такое? Пробираюсь тихонько и вижу: стоит на подоконнике Яшка в зеленом платьице, в одной руке у него ламповое стекло, а в другой ежик, и он ежиком с остервенением чистит стекло. В такую ярость пришел, что не слыхал, как я вошел. Это он видел, как стекла чистили, и давай сам пробовать.

А то оставишь его вечером с лампой, он отвернет огонь полным пламенем — лампа коптит, сажа летает по комнате, а он сидит и рычит на лампу.

Беда стало с Яшкой, хоть в клетку сажай. Я его и ругал и бил. Но долго не мог на него сердиться. Когда Яшка хотел понравиться, он становился очень ласковым, залезал на плечо и начинал в голове искать. Это значит — он вас уж очень любит.

Надо ему выпросить что-нибудь — конфет там или яблоко,— сейчас залезет на плечо и заботливо начинает лапками перебирать в волосах: ищет и ноготком поскребывает. Ничего не находит, а делает вид, что поймал зверя: выкусывает с пальчиков чего-то.

Вот раз пришла к нам в гости дама. Она считала, что она раскрасавица. Разряженная. Вся так шелком и шуршит. На голове не прическа, а прямо целая беседка из волос накручена в завитках, в локончиках. А на шее на длинной цепочке зеркальце в серебряной оправе.

Яшка осторожно к ней по полу подскочил.

— Ах, какая обезьянка миловидная! — говорит дама. И давай зеркальцем с Яшкой играть.

Яшка поймал зеркальце, повертел — прыг на колени к даме и стал зеркальцем на зуб пробовать.

Дама отняла зеркальце, зажала в руке. А Яшке хочется зеркало получить. Дама погладила небрежно Яшку перчаткой и потихоньку спихивает с колен. Вот Яшка и решил понравиться, подольститься к даме. Прыг ей на плечо. Крепко ухватился за кружева задними лапками и взялся за прическу. Раскопал завитки и стал искать. Дама покраснела.

— Пошел, пошел! — говорит.

Не тут-то было! Яшка еще больше старается: скребет ноготками, зубками щелкает.

Дама эта всегда против зеркала садилась, чтоб на себя полюбоваться, и видит в зеркало, что взлохматил ее Яшка,— чуть не плачет. Я двинулся на выручку.

Куда там! Яшка вцепился что было силы в волосы и на меня глядит дико. Дама дернула его за шиворот, и своротил ей Яшка прическу. Глянула на себя в зеркало — чучело чучелом. Я замахнулся, спугнул Яшку, а гостья наша схватилась за голову и в дверь.

— Безобразие,— говорит,— безобразие! — И не попрощалась ни с кем.

«Ну,— думаю,— держу до весны и отдам кому-нибудь, если Юхименко не возьмет. Уж столько мне попадало за эту обезьянку».

И вот настала весна. Потеплело. Яшка ожил и еще больше проказил. Очень ему хотелось на двор, на волю. А двор у нас был огромный, с десятину. Посреди двора был сложен горой казенный уголь, а вокруг склады с товаром. И от воров сторожа́ держали на дворе целую свору собак. Собаки большие, злые. А всеми собаками командовал рыжий пес Каштан. На кого Каштан зарычит, на того все собаки бросаются. Кого Каштан пропустит, и собаки не тронут. А чужую собаку бил Каштан с разбегу грудью. Ударит, с ног собьет и стоит над ней, рычит, а та уж и шелохнуться боится.

Я посмотрел в окно — вижу, нет собак во дворе. Дай, думаю, пойду выведу Яшеньку погулять первый раз. Я надел на него зелененькое платьице, чтобы он не простудился, посадил к себе на плечо и пошел. Только я двери раскрыл, Яшка — прыг наземь и побежал по двору. И вдруг, откуда ни возьмись, вся стая собачья, и Каштан впереди, прямо на Яшку. А он как зелененькая куколка, стоит маленький. Я уж решил, что пропал Яшка — сейчас разорвут. Каштан сунулся к Яшке. Но Яшка повернулся к нему, присел, прицелился. Каштан стал за шаг от обезьянки, оскалился и ворчал, но не решался броситься на такое чудо. Собаки все ощетинились и ждали, что Каштан.

Я хотел броситься выручать. Но вдруг Яшка прыгнул и в один момент уселся Каштану на шею. И тут шерсть клочьями полетела с Каштана. По морде и глазам бил Яшка, так что лап не видно было. Взвыл Каштан, и таким ужасным голосом, что все собаки врассыпную бросились. Каштан сломя голову пустился бежать, а Яшка сидит, вцепился ногами в шерсть, крепко держится, а руками рвет Каштана за уши, щиплет шерсть клочьями. Каштан с ума сошел: носится вокруг угольной горы с диким воем. Раза три обежал Яшка верхом

вокруг двора и на ходу спрыгнул на уголь. Взобрался не торопясь на самый верх. Там была деревянная будка; он влез на будку, уселся и стал чесать себе бок как ни в чем не бывало. Вот, мол, я,— мне нипочем!

А Каштан в ворота от страшного зверя.

С тех пор я смело стал выпускать Яшку во двор: только Яшка с крыльца — все собаки в ворота. Яшка никого не боялся.

Приедут во двор подводы, весь двор забьют, пройти негде. А Яшка с возу на воз перелетает. Вскочит лошади на спину — лошадь топчется, гривой трясет, фыркает, а Яшка не спеша на другую перепрыгивает. Извозчики только смеются и удивляются:

— Смотри, какая сатана прыгает. Ишь ты! У-ух!

А Яшка — на мешки. Ищет щелочки. Просунет лапку и щупает, что там. Нащупает, где подсолнухи, сидит и тут же на возу щелкает. Бывало, что и орехи нащупает Яшка. Набьет за щеки и во все четыре руки старается нагрести.

Но вот нашелся у Якова враг. Да какой! Во дворе был кот. Ничей. Он жил при конторе, и все его кормили объедками. Он разжирел, стал большой, как собака. Злой был и царапучий.

И вот раз под вечер гулял Яшка по двору. Я его никак не мог дозваться домой. Вижу, вышел на двор котище и прыг на скамью, что стояла под деревом. Яшка как увидел кота — прямо к нему. Присел и идет не спеша на четырех лапах. Прямо к скамье и глаз с кота не спускает. Кот подобрал лапы, спину нагорбил, приготовился. А Яшка все ближе ползет. Кот глаза вытаращил, пятится. Яшка — на скамью. Кот все задом на другой край, к дереву. У меня сердце замерло. А Яков по скамье ползет на кота. Кот уж в комок сжался, подобрался весь. И вдруг — прыг, да не на Яшку, а на дерево. Вцепился за ствол и глядит сверху на обезьянку. А Яшка все тем же ходом к дереву. Кот поцарапался выше — привык на деревьях спасаться. А Яшка на дерево, и все не спеша, целится на кота черными глазками. Кот выше, выше, влез на ветку и сел с самого краю. Смотрит, что Яшка будет делать. А Яков по той ветке ползет и так уверенно, будто он сроду ничего другого не делал, а только котов ловил. Кот уж на самом краю, на тоненькой веточке еле держится, качается. А Яков ползет и ползет, цепко переби-

рает всеми четырьмя ручками. Вдруг кот прыг с самого верху на мостовую, встряхнулся и во весь дух прочь без оглядки. А Яшка с дерева ему вдогонку: «Йай, йау!» — каким-то страшным, звериным голосом,— я у него никогда такого не слышал.

Теперь уж Яков стал совсем царем во дворе. Дома он уж есть ничего не хотел, только пил чай с сахаром. И раз так на дворе изюму наелся, что еле-еле его отходили. Яшка стонал, на глазах слезы, и на всех капризно смотрел. Всем было сначала очень жалко Яшку, но, когда он увидел, что с ним возятся, стал ломаться и разбрасывать руки, закидывать голову и подвывать на разные голоса. Решили его укутать и дать касторки. Пусть знает.

А касторка ему так понравилась, что он стал орать, чтобы ему еще дали. Его запеленали и три дня не пускали на двор.

Яшка скоро поправился и стал рваться на двор. Я за него не боялся. Поймать его никто не мог, и Яшка целыми днями прыгал по двору. Дома стало спокойнее, и мне меньше влетало за Яшку. И как настала осень, все в доме в один голос:

— Куда хочешь убирай свою обезьянку или сажай в клетку. А чтоб по всей квартире эта сатана не носилась.

То говорили, какая хорошенькая, а теперь, думаю, сатана стала. И как только началось ученье, я стал искать в классе, кому бы сплавить Яшку.

Подыскал наконец товарища, отозвал в сторону и сказал:

— Хочешь, я тебе обезьянку подарю? Живую.

Не знаю уж, кому он потом Яшку сплавил. Но первое время, как не стало Яшки в доме, я видел, что все немного скучали, хоть признаваться и не хотели.

МАНГУСТА

Я очень хотел, чтобы у меня была настоящая, живая мангуста. Своя собственная. И я решил: когда наш пароход придет на остров Цейлон, я куплю себе мангусту и отдам все деньги, сколько ни спросят.

И вот наш пароход у острова Цейлон. Я хотел скорей бежать на берег, скорей найти, где они продаются,

эти зверьки. И вдруг к нам на пароход приходит черный человек (тамошние люди все черные), и все товарищи обступили его, толпятся, смеются, шумят. И кто-то крикнул: «Мангусты!» Я бросился, всех растолкал и вижу — у черного человека в руках клетка, а в ней серые зверьки. Я так боялся, чтобы кто-нибудь не перехватил, что закричал прямо в лицо этому человеку:

— Сколько?

Он даже испугался сначала, так я крикнул. Потом понял, показал три пальца и сунул мне в руки клетку. Значит, всего три рубля, с клеткой вместе, и не одна, а две мангусты! Я сейчас же расплатился и перевел дух: я совсем запыхался от радости. Так обрадовался, что забыл спросить этого черного человека, чем кормить мангуст, ручные они или дикие. А вдруг они кусаются? Я спохватился, побежал за человеком, но его уже и след простыл.

Я решил сам узнать, кусаются мангусты или нет. Я просунул палец через прутья клетки. И просунуть-то не успел, как уж слышу — готово: мой палец схватили. Схватили маленькие лапки, цепкие, с ноготками. Быстро-быстро кусает меня мангуста за палец. Но совсем не больно — это она нарочно, так — играет. А другая забилась в угол клетки и глядит искоса черным блестящим глазом.

Мне скорей захотелось взять на руки, погладить эту, что кусает для шутки. И только я приоткрыл клетку, эта самая мангуста — юрк! — и уж побежала по каюте. Она суетилась, бегала по полу, все нюхала и крякала: кррык! кррык! — как будто ворона. Я хотел ее поймать, нагнулся, протянул руку, и вмиг мангуста мелькнула мимо моей руки и уже в рукаве. Я поднял руку — и готово: мангуста уж за пазухой. Она выглянула из-за пазухи, крякнула весело и снова спряталась. И вот слышу — она уже под мышкой, пробирается в другой рукав и выскочила из другого рукава на волю. Я хотел ее погладить и только поднес руку, как вдруг мангуста подскочила вверх сразу на всех четырех лапах, как будто под каждой лапой пружинка. Я даже руку отдернул, будто от выстрела. А мангуста снизу глянула на меня веселыми глазками и снова: кррык! И смотрю — уж сама на колени ко мне взобралась и тут свои фокусы показывает: то свернется, то вмиг расправится, то хвост трубой, то вдруг голову просунет меж задних ног. Она

так ласково, так весело со мной играла, а тут вдруг постучали в каюту и вызвали меня на работу.

Надо было погрузить на палубу штук пятнадцать огромных стволов каких-то индийских деревьев. Они были корявые, с обломанными сучьями, дуплистые, толщенные, в коре,— как были из лесу. Но с отпиленного конца видно было, какие они внутри красивые — розовые, красные, совсем черные! Мы клали их горкой на палубе и накрепко укручивали цепями, чтобы в море не разболтало. Я работал и все думал: «Что там мои мангусты? Ведь я им ничего поесть не оставил».

Я спрашивал черных грузчиков, тамошних людей, что пришли с берега, не знают ли они, чем кормить мангусту, но они ничего не понимали и только улыбались. А наши говорили:

— Давай что попало: она сама разберет, что ей надо.

Я выпросил у повара мяса, накупил бананов, притащил хлеба, блюдце молока. Все это поставил посреди каюты и открыл клетку. Сам залез на койку и стал глядеть. Из клетки выскочила дикая мангуста, и они вместе с ручной прямо бросились на мясо. Они рвали его зубами, крякали и урчали, лакали молоко, потом ручная ухватила банан и потащила его в угол. Дикая — прыг! — и уж рядом с ней. Я хотел поглядеть, что будет, вскочил с койки, но уж поздно: мангусты бежали назад. Они облизывали мордочки, а от банана остались на полу одни шкурки, как тряпочки.

Наутро мы были уже в море. Я всю свою каюту увесил гирляндами бананов. Они на веревочках качались под потолком. Это для мангуст. Я буду давать понемногу — надолго хватит. Я выпустил ручную мангусту, и она теперь бегала по мне, а я лежал, полузакрыв глаза и недвижно.

Гляжу — мангуста прыгнула на полку, где были книги. Вот она перелезла на раму круглого пароходного окна. Рама слегка вихлялась — пароход качало. Мангуста покрепче примостилась, глянула вниз на меня. Я притаился. Мангуста толкнула лапкой в стенку, и рама поехала в бок. И в тот самый миг, когда рама была против банана, мангуста рванулась, прыгнула и обеими лапками ухватила банан. Она повисла на момент в воздухе, под самым потолком. Но банан оторвался, и мангуста шлепнулась об пол. Нет! Шлепнул-

ся-то банан. Мангуста прыгнула на все четыре лапки. Я привскочил поглядеть, но мангуста уже возилась под койкой. Через минуту она вышла с замазанной мордой. Она покрякивала от удовольствия.

Эге! Пришлось перевесить бананы к самой середине каюты: мангуста уже пробовала по полотенцу вскарабкаться повыше. Лазила она, как обезьяна: у нее лапки как ручки. Цепкие, ловкие, проворные. Она совсем меня не боялась. Я выпустил ее на палубу погулять, на солнце. Она сразу по-хозяйски все обнюхала и бегала по палубе так, будто она и сроду нигде больше не была и тут ее дом.

Но на пароходе у нас был свой давнишний хозяин на палубе. Нет, не капитан, а кот. Громадный, откормленный, в медном ошейнике. Он важно ходил по палубе, когда было сухо. Сухо было и в этот день. И солнце поднялось над самой мачтой. Кот вышел из кухни, поглядел, все ли в порядке.

Он увидел мангусту и быстро пошел, а потом начал осторожно красться. Он шел по железной трубе. Она тянулась по палубе. Как раз у этой трубы суетилась мангуста. Она как будто и не видела кота. А кот был уж совсем над нею. Ему оставалось только протянуть лапу, чтобы вцепиться когтями ей в спину. Он выжидал, чтобы поудобней. Я сразу сообразил, что сейчас будет. Мангуста не видит, она спиной к коту, она разнюхивает палубу как ни в чем не бывало; кот уж прицелился.

Я бросился бегом. Но не добежал. Кот протянул лапу. И в тот же миг мангуста просунула голову меж задних лап, разинула пасть, громко каркнула, а хвост — громадный пушистый хвост — поставила вверх столбом, и он стал как ламповый ежик, что стекла чистят. В одно мгновение она обратилась в непонятное, невиданное чудище. Кота отбросило назад, как от каленого железа. Он сразу повернул и, задрав хвост палкой, понесся прочь без оглядки. А мангуста как ни в чем не бывало снова суетилась и что-то разнюхивала на палубе. Но с тех пор красавца кота редко кто видел. Мангуста на палубе — кота и не сыщешь. Его звали и «кис-кис» и «Васенька». Повар его мясом приманивал, но кота найти нельзя было, хоть обыщи весь пароход. Зато у кухни теперь вертелись мангусты; они крякали, требовали от повара мяса. Бедный Васенька только по ночам пробирался к повару в каюту, и повар его

прикармливал мясом. Ночью, когда мангусты были в клетке, наступало Васькино время.

Но вот раз ночью я проснулся от крика на палубе. Тревожно, испуганно кричали люди. Я быстро оделся и выбежал. Кочегар Федор кричал, что сейчас идет он с вахты и вот из этих самых индийских деревьев, вот из этой груды, выползла змея и сейчас же назад спряталась. Что змея — во! — в руку толщиной, чуть ли не две сажени длиной. И вот даже на него сунулась. Никто не верил Федору, но все же на индийские деревья поглядывали с опаской. А вдруг и вправду змея? Ну, не в руку толщиной, а ядовитая? Вот и ходи тут ночью! Кто-то сказал: «Они тепло любят, они к людям в койки заползают». Все примолкли. Вдруг все повернулись ко мне:

— А ну, зверюшек сюда, мангустов ваших! А ну, пусть они...

Я боялся, чтобы ночью не убежала дикая. Но думать было некогда: уже кто-то сбегал ко мне в каюту и уже нес сюда клетку. Я открыл ее около самой груды, где кончались деревья и видны были черные ходы между стволами. Кто-то зажег электрическую люстру. Я видел, как первой юркнула в черный проход ручная. И следом за ней дикая. Я боялся, что им прищемит лапки или хвост среди этих тяжелых бревен. Но уже было поздно: обе мангусты ушли туда.

— Неси лом! — крикнул кто-то.

А Федор уж стоял с топором. Потом все примолкли и стали слушать. Но ничего не слышно было, кроме скрипа колод. Вдруг кто-то крикнул:

— Гляди, гляди! Хвост!

Федор замахнулся топором, другие отсунулись дальше. Я схватил Федора за руку. Он с перепугу чуть не хватил топором по хвосту; хвост был не змеи, а мангусты — он то высовывался, то снова втягивался. Потом показались задние лапки. Лапки цеплялись за дерево. Видно, что-то тянуло мангусту назад.

— Помоги кто-нибудь! Видишь, ей не по силам! — крикнул Федор.

— А сам-то чего? Командир какой! — ответили из толпы.

Никто не помогал, а все пятились назад, даже Федор с топором. Вдруг мангуста изловчилась; видно бы-

ло, как она вся извилась, цепляясь за колоды. Она рванулась и вытянула за собой змеиный хвост. Хвост мотнулся, он вскинул вверх мангусту и брякнул ее о палубу.

— Убил, убил! — закричали кругом.

Но моя мангуста — это была дикая — мигом вскочила на лапы. Она держала змею за хвост, она впилась в нее своими острыми зубками. Змея сжималась, тянула дикую снова в черный проход. Но дикая упиралась всеми лапками и вытаскивала змею все больше и больше. Змея была толщиной в два пальца, и она била хвостом о палубу, как плетью, а на конце держалась мангуста, и ее бросало из стороны в сторону. Я хотел обрубить этот хвост, но Федор куда-то скрылся вместе с топором. Его звали, но он не откликался. Все в страхе ждали, когда появится змеиная голова. Сейчас уже конец, и вырвется наружу вся змея. Это что? Это не змеиная голова — это мангуста! Вот и ручная прыгнула на палубу: она впилась в шею змеи сбоку. Змея извивалась, рвалась, она стучала мангустами по палубе, а они держались, как пиявки.

Вдруг кто-то крикнул:

— Бей! — и ударил ломом по змее.

Все бросились и кто чем стали молотить. Я боялся, что в переполохе убьют мангуста. Я оторвал от хвоста дикую.

Она была в такой злобе, что укусила меня за руку: она рвалась и царапалась. Я сорвал с себя шапку и завернул ей морду. Ручную оторвал мой товарищ. Мы усадили их в клетку. Они кричали и рвались, хватали зубами решетку.

Я кинул им кусочек мяса, но они и внимания не обратили. Я потушил в каюте свет и пошел прижечь йодом покусанные руки.

А там, на палубе, все еще молотили змею. Потом выкинули за борт.

С этих пор все стали очень любить моих мангуст и таскали им поесть что у кого было.

Ручная перезнакомилась со всеми, и ее под вечер трудно было дозваться: вечно гостит у кого-нибудь.

Она бойко лазила по снастям. И раз под вечер, когда уже зажгли электричество, мангуста полезла на мачту по канатам, что шли от борта.

Все любовались на ее ловкость, глядели, задрав головы. Но вот канат дошел до мачты. Дальше шло голое, скользкое дерево. Но мангуста извернулась всем телом и ухватилась за медные трубки. Они шли вдоль мачты. В них — электрические провода к фонарю наверху.

Мангуста быстро полезла еще выше. Все внизу захлопали в ладоши. Вдруг электротехник крикнул:

— Там провода голые! — и побежал тушить электричество.

Но мангуста уже схватилась лапкой за голые провода. Ее ударило электрическим током, и она упала с высоты вниз. Ее подхватили, но она уже была недвижна.

Она была еще теплая. Я скорей понес ее в каюту доктора. Но каюта его была заперта. Я бросился к себе, осторожно уложил мангусту на подушку и побежал искать нашего доктора. «Может быть, он спасет моего зверька?» — думал я. Я бегал по всему пароходу, но кто-то уже сказал доктору, и он быстро шел мне навстречу. Я хотел, чтобы скорей, и тянул доктора за руку.

Вошли ко мне.

— Ну, где же она? — сказал доктор.

Действительно, где же? На подушке ее не было. Я посмотрел под койку. Стал шарить там рукой. И вдруг: кррык-кррык! — и мангуста выскочила из-под койки как ни в чем не бывало — здоровехонька.

Доктор сказал, что электрический ток, наверное, только на время оглушил ее, а пока я бегал за доктором, мангуста оправилась.

Как я радовался! Я все ее к лицу прижимал и гладил. И тут все стали приходить ко мне, все радовались и гладили мангусту — так ее любили.

А дикая потом совсем приручилась, и я привез мангуст к себе домой.

БЕСПРИЗОРНАЯ КОШКА

I

Я жил на берегу моря и ловил рыбу. У меня была лодка, сетки и разные удочки. Перед домом стояла будка, и на цепи огромный пес. Мохнатый, весь в чер-

ных пятнах,— Рябка. Он стерег дом. Кормил я его рыбой. Я работал с мальчиком, и кругом на три версты никого не было. Рябка так привык, что мы с ним разговаривали, и очень простое он понимал. Спросишь его: «Рябка, где Володя?» Рябка хвостом завиляет и повернет морду, куда Володька ушел. Воздух носом тянет, и всегда верно. Бывало, придешь с моря ни с чем, а Рябка ждет рыбы. Вытянется на цепи, подвизгивает.

Обернешься к нему и скажешь сердито:

— Плохи наши дела, Рябка! Вот как...

Он вздохнет, ляжет и положит на лапы голову. Уж и не просит, понимает.

Когда я надолго уезжал в море, я всегда Рябку трепал по спине и уговаривал, чтобы хорошо стерег. И вот хочу отойти от него, а он встанет на задние лапы, натянет цепь и охватит меня лапами. Да так крепко — не пускает. Не хочет долго один оставаться: и скучно и голодно.

Хорошая была собака!

II

А вот кошки у меня не было, и мыши одолевали. Сетки развесишь, так они в сетки залезут, запутаются и перегрызут нитки, напортят. Я их находил в сетках — запутается другая и попадется. И дома всё крадут, что ни положи.

Вот я и пошел в город. Достану, думаю, себе веселую кошечку, она мне всех мышей переловит, а вечером на коленях будет сидеть и мурлыкать. Пришел в город. По всем дворам ходил — ни одной кошки. Ну нигде!

Я стал у людей спрашивать:

— Нет ли у кого кошечки? Я даже деньги заплачу, дайте только.

А на меня сердиться стали:

— До кошек ли теперь? Всюду голод, самим есть нечего, а тут котов корми.

А один сказал:

— Я бы сам кота съел, а не то что его, дармоеда, кормить!

Вот те и на! Куда же это все коты девались? Кот привык жить на готовеньком: нажрался, накрал и вече-

ром на теплой плите растянулся. И вдруг такая беда! Печи не топлены, хозяева сами черствую корку сосут. И украсть нечего. Да и мышей в голодном доме тоже не сыщешь.

Перевелись коты в городе... А каких, может быть, и голодные люди приели. Так ни одной кошки и не достал.

III

Настала зима, и море замерзло. Ловить рыбу стало нельзя. А у меня было ружье. Вот я зарядил ружье и пошел по берегу. Кого-нибудь подстрелю: на берегу в норах жили дикие кролики.

Вдруг, смотрю, на месте кроличьей норы большая дырка раскопана, как будто бы ход для большого зверя. Я скорее туда.

Я присел и заглянул в нору. Темно. А когда пригляделся, вижу: там в глубине два глаза светятся.

Что, думаю, за зверь такой завелся?

Я сорвал хворостинку — и в нору. А оттуда как зашипит! Я назад попятился. Фу-ты! Да это кошка!

Так вот куда кошки из города переехали!

Я стал звать:

— Кис-кис! Кисонька! — и просунул руку в нору.

А кисонька как заурчит, да таким зверем, что я и руку отдернул.

Ну тебя, какая ты злая!

Я пошел дальше и увидел, что много кроличьих нор раскопано. Это кошки пришли из города, раскопали пошире кроличьи норы, кроликов выгнали и стали жить по-дикому.

IV

Я стал думать, как бы переманить кошку к себе в дом.

Вот раз я встретил кошку на берегу. Большая, серая, мордастая. Она, как увидела меня, отскочила в сторону и села. Злыми глазами на меня глядит. Вся напружинилась, замерла, только хвост вздрагивает. Ждет, что я буду делать.

А я достал из кармана корку хлеба и бросил ей. Кошка глянула, куда корка упала, а сама ни с места.

Опять на меня уставилась. Я обошел стороной и оглянулся: кошка прыгнула, схватила корку и побежала к себе домой, в нору.

Так мы с ней часто встречались, но кошка никогда меня к себе не подпускала. Раз в сумерки я ее принял за кролика и хотел уже стрелять.

V

Весной я начал рыбачить, и около моего дома запахло рыбой. Вдруг слышу — лает мой Рябчик. И смешно как-то лает: бестолково, на разные голоса, и подвизгивает. Я вышел и вижу: по весенней траве не торопясь шагает к моему дому большая серая кошка. Я сразу ее узнал. Она нисколько не боялась Рябчика, даже не глядела на него, а выбирала только, где бы ей посуше ступить. Кошка увидала меня, уселась и стала глядеть и облизываться. Я скорее побежал в дом, достал рыбешку и бросил.

Она схватила рыбу и прыгнула в траву. Мне с крыльца было видно, как она стала жадно жрать. Ага, думаю, давно рыбы не ела.

И стала с тех пор кошка ходить ко мне в гости.

Я все ее задабривал и уговаривал, чтобы перешла ко мне жить. А кошка все дичилась и близко к себе не подпускала. Сожрет рыбу и убежит. Как зверь.

Наконец мне удалось ее погладить, и зверь замурлыкал. Рябчик на нее не лаял, а только тянулся на цепи, скулил: ему очень хотелось познакомиться с кошкой.

Теперь кошка целыми днями вертелась около дома, но жить в дом не хотела идти.

Один раз она не пошла ночевать к себе в нору, а осталась на ночь у Рябчика в будке. Рябчик совсем сжался в комок, чтобы дать место.

VI

Рябчик так скучал, что рад был кошке.

Раз шел дождь. Я смотрю из окна — лежит Рябка в луже около будки, весь мокрый, а в будку не лезет.

Я вышел и крикнул:

— Рябка! В будку!

Он встал, конфузливо помотал хвостом. Вертит мордой, топчется, а в будку не лезет.

Я подошел и заглянул в будку. Через весь пол важно растянулась кошка. Рябчик не хотел лезть, чтобы не разбудить кошку, и мок под дождем.

Он так любил, когда кошка приходила к нему в гости, что пробовал ее облизывать, как щенка. Кошка топорщилась и встряхивалась.

Я видел, как Рябчик лапами удерживал кошку, когда она, выспавшись уходила по своим делам.

VII

А дела у ней были вот какие.

Раз слышу — будто ребенок плачет. Я вскочил, гляжу: катит Мурка с обрыва. В зубах у ней что-то болтается. Подбежал, смотрю — в зубах у Мурки крольчонок. Крольчонок дрыгал лапками и кричал, совсем как маленький ребенок. Я отнял его у кошки. Обменял у нее на рыбу. Кролик выходился и потом жил у меня в доме. Другой раз я застал Мурку, когда она уже доедала большого кролика. Рябка на цепи издали облизывался.

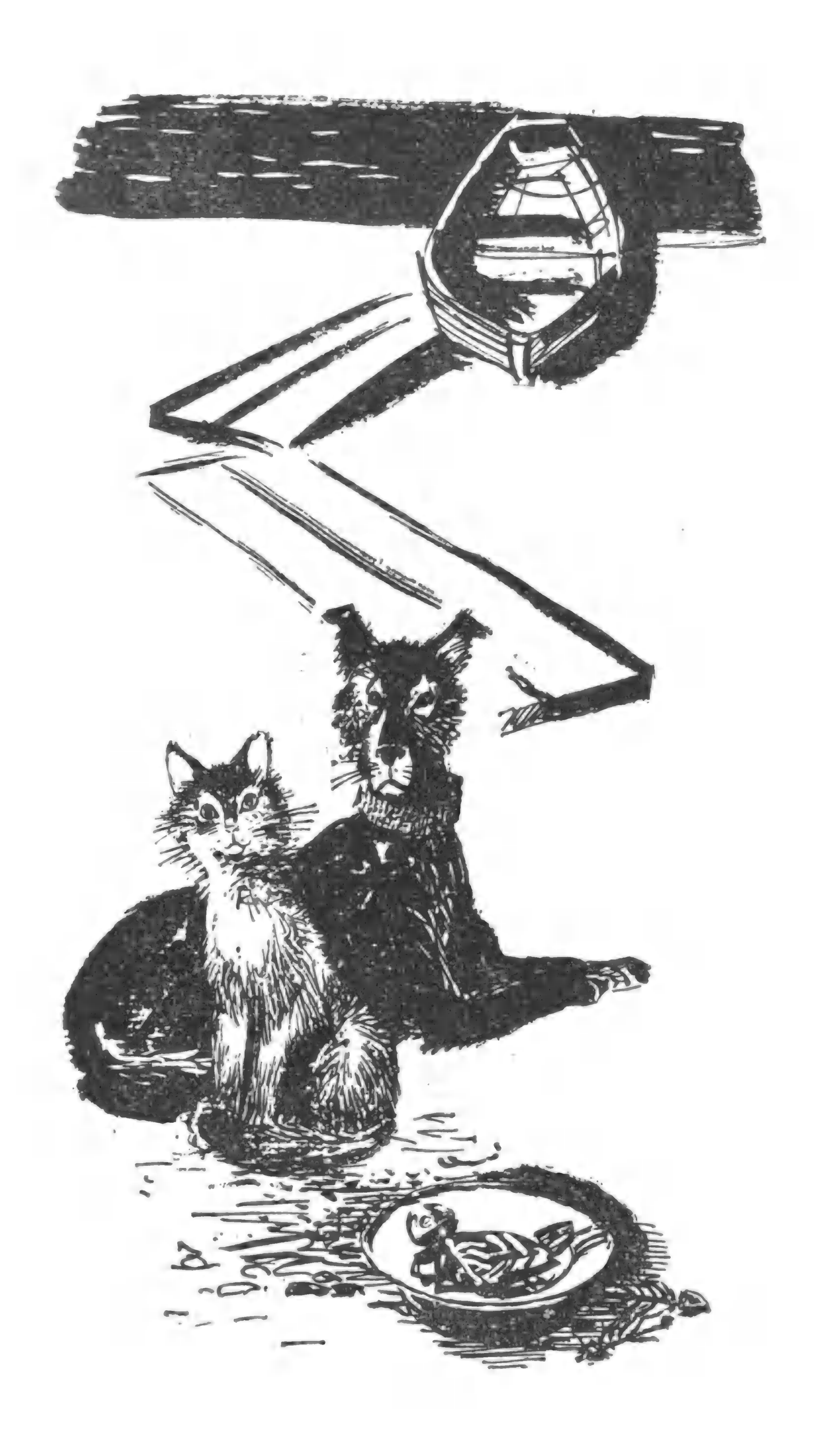
Против дома была яма в пол-аршина глубины. Вижу из окна: сидит Мурка в яме, вся в комок сжалась, глаза дикие, а никого кругом нет. Я стал следить.

Вдруг Мурка подскочила — я мигнуть не успел, а она уже рвет ласточку. Дело было к дождю, и ласточки реяли у самой земли. А в яме в засаде поджидала кошка. Часами сидела она вся на взводе, как курок: ждала, пока ласточка чиркнет над самой ямой. Хап! — и цапнет лапой на лету.

Другой раз я застал ее на море. Бурей выбросило на берег ракушки. Мурка осторожно ходила по мокрым камням и выгребала лапой ракушки на сухое место. Она их разгрызала, как орехи, морщилась и выедала слизняка.

VIII

Но вот пришла беда. На берегу появились беспризорные собаки. Они целой стаей носились по берегу, голодные, озверелые. С лаем, с визгом они пронеслись мимо нашего дома. Рябчик весь ощетинился, напрягся. Он глухо ворчал и зло смотрел. Володька схватил палку, а я бросился в дом за ружьем. Но собаки пронеслись мимо, и скоро их не стало слышно.



Рябчик долго не мог успокоиться: все ворчал и глядел, куда убежали собаки. А Мурка хоть бы что: она сидела на солнышке и важно мыла мордочку.

Я сказал Володе:

— Смотри, Мурка-то ничего не боится. Прибегут собаки — она прыг на столб и по столбу на крышу.

Володя говорит:

— А Рябчик в будку залезет и через дырку отгрызется от всякой собаки. А я в дом запрусь. Нечего бояться.

Я ушел в город.

IX

А когда вернулся, то Володька рассказал мне:

— Как ты ушел, часу не прошло, вернулись дикие собаки. Штук восемь. Бросились на Мурку. А Мурка не стала убегать. У ней под стеной, в углу, ты знаешь, кладовая. Она туда зарывает объедки. У ней уж много там накоплено. Мурка бросилась в угол, зашипела, привстала на задние ноги и приготовила когти. Собаки сунулись, трое сразу. Мурка так заработала лапами — шерсть только от собак полетела. А они визжат, воют и уж одна через другую лезут, сверху карабкаются все к Мурке, к Мурке!

— А ты чего смотрел?

— Да я не смотрел. Я скорее в дом, схватил ружье и стал молотить изо всей силы по собакам прикладом, прикладом. Все в кашу замешалось. Я думал, от Мурки клочья одни останутся. Я уж тут бил по чем попало. Вот, смотри, весь приклад поколотил. Ругать не будешь?

— Ну, а Мурка-то, Мурка?

— А она сейчас у Рябки. Рябка ее зализывает. Они в будке.

Так и оказалось. Рябка свернулся кольцом, а в середине лежала Мурка. Рябка ее лизал и сердито поглядел на меня. Видно, боялся, что я помешаю — унесу Мурку.

X

Через неделю Мурка совсем оправилась и принялась за охоту.

Вдруг ночью мы проснулись от страшного лая и визга.

Володька выскочил, кричит:

— Собаки, собаки!

Я схватил ружье и, как был, выскочил на крыльцо.

Целая куча собак возилась в углу. Они так ревели, что не слыхали, как я вышел.

Я выстрелил в воздух. Вся стая рванулась и без памяти кинулась прочь. Я выстрелил еще раз вдогонку. Рябка рвался на цепи, дергался с разбегу, бесился, но не мог порвать цепи: ему хотелось броситься вслед собакам.

Я стал звать Мурку. Она урчала и приводила в порядок кладовую: закапывала лапкой разрытую ямку.

В комнате при свете я осмотрел кошку. Ее сильно покусали собаки, но раны были неопасные.

XI

Я заметил, что Мурка потолстела,— у нее скоро должны были родиться котята.

Я попробовал оставить ее на ночь в хате, но она мяукала и царапалась, так что пришлось ее выпустить.

Беспризорная кошка привыкла жить на воле и ни за что не хотела идти в дом.

Оставлять так кошку было нельзя. Видно, дикие собаки повадились к нам бегать. Прибегут, когда мы с Володей будем в море, и загрызут Мурку совсем. И вот мы решили увезти Мурку подальше и оставить жить у знакомых рыбаков. Мы посадили с собой в лодку кошку и поехали морем.

Далеко, за пятьдесят верст от нас, увезли мы Мурку. Туда собаки не забегут. Там жило много рыбаков. У них был невод. Они каждое утро и каждый вечер завозили невод в море и вытягивали его на берег. Рыбы у них всегда было много. Они очень обрадовались, когда мы им привезли Мурку. Сейчас же накормили ее рыбой до отвала. Я сказал, что кошка в дом жить не пойдет и что надо для нее сделать нору,— это не простая кошка, она из беспризорных и любит волю. Ей сделали из камыша домик, и Мурка осталась стеречь невод от мышей.

А мы вернулись домой. Рябка долго выл и плаксиво лаял; лаял и на нас: куда мы дели кошку?

Мы долго не были на неводе и только осенью собрались к Мурке.

XII

Мы приехали утром, когда вытягивали невод. Море было совсем спокойное, как вода в блюдце. Невод уж подходил к концу, и на берег вытащили вместе с рыбой целую ватагу морских раков — крабов. Они, как крупные пауки, ловкие, быстро бегают и злые. Они становятся на дыбы и щелкают над головой клешнями: пугают. А если ухватят за палец, так держись: до крови. Вдруг я смотрю: среди всей этой кутерьмы спокойно идет наша Мурка. Она ловко откидывала крабов с дороги. Подцепит его лапой сзади, где он достать ее не может, и швырк прочь. Краб встает на дыбы, пыжится, лязгает клешнями, как собака зубами, а Мурка и внимания не обращает, отшвырнет, как камешек.

Четыре взрослых котенка следили за ней издали, но сами боялись и близко подойти к неводу. А Мурка залезла в воду, вошла по шею, только голова одна из воды торчит. Идет по дну ногами, а от головы вода расступается.

Кошка лапами нащупывала на дне мелкую рыбешку, что уходила из невода. Эти рыбки прячутся на дно, закапываются в песок — вот тут-то их и ловила Мурка. Нащупает лапкой, подцепит когтями и бросает на берег своим детям. А они уж совсем большие коты были, а боялись и ступить на мокрое. Мурка им приносила на сухой песок живую рыбу, и тогда они жрали и зло урчали. Подумаешь, какие охотники!

XIII

Рыбаки не могли нахвалиться Муркой:

— Ай да кошка! Боевая кошка! Ну, а дети не в мать пошли. Балбесы и лодыри. Рассядутся, как господа, и всё им в рот подай. Вон, гляди, расселись как! Чисто свиньи. Ишь развалились. Брысь, поганцы!

Рыбак замахнулся, а коты и не шевельнулись.

— Вот только из-за мамаши и терпим. Выгнать бы их надо.

Коты так обленились, что им лень было играть с мышью.

XIV

Я раз видел, как Мурка притащила им в зубах мышь. Она хотела их учить, как ловить мышей. Но коты лениво перебирали лапами и упускали мышь. Мурка бросалась вдогонку и снова приносила им. Но они и смотреть не хотели: валялись на солнышке по мягкому песку и ждали обеда, чтоб без хлопот наесться рыбьих головок.

— Ишь мамашины сынки! — сказал Володька и бросил в них песком.— Смотреть противно. Вот вам!

Коты тряхнули ушами и перевалились на другой бок.

Лодыри!

ТИХОН МАТВЕИЧ

Это было в царское время на грузовом пароходе. Он ходил на Дальний Восток. И все это началось с порта Коломбо, на острове Цейлон. Это английская колония [1], а туземное население — сингалезы. Они шоколадного цвета, и мужчины здорово похожи на цыган.

И вот на пароход приходят два сингалеза. Один высокий и статный, другой — пониже, широкий, на редкость крепко сшитый человек. Он-то и говорил, высокий больше молчал. Можно было понять, что он говорит про зверей. Он говорил на ломаном английском языке. Его обступили машинисты. Кто-то грубо спросил, где у него левый глаз. Левого глаза действительно не было. Он сказал, что глаз ему выбил тигр.

Они с братом охотники. Ловят зверей живьем и продают в зверинцы. Тигр прыгнул, брат должен был поднять сетку.

— В один миг тигр лапами попадает в нее, а вот ему приходится в это время тигру в пасть засунуть руку. В руке бамбуковая палочка, если сжать ее в кулаке, то с обеих сторон выскакивают короткие ножики и так остаются торчать. Они вонзаются в язык и нёбо,— сингалез пальцами стал показывать у себя во рту, как становится палочка.— Но если нажать раньше, палочка

---

[1] С 1948 года Цейлон получил права доминиона (самоуправляющаяся часть Британской империи).

не влезет в пасть. А если поставить криво, пропало все, но уж если удалось, тигр от боли забывает все. Он лапами хочет выскрести палочку из пасти, лапы путаются в сетке, но тут не зевай: охотники подкуривают его снотворной отравой. Он засыпает, замирает. С ним можно делать что угодно. Они вынимают палку.

— Заливает! Калоши заливает! — сказал Храмцов, старший машинист.

Он был атлет и франт. Он франтил мускулатурой и ходил в одной сетке на голом теле, а усики закручивал в острые стрелки. И он мигнул сингалезу нахально и помахал перед носом пальцем. Сингалез показал на груди шрамы. Они, как белые восклицательные знаки, шли от ключицы вкось к животу. Сингалез был до пояса голый, но казалось, что он в коричневой фуфайке и его закапали штукатуркой.

— Это вот брат не успел, на один всего миг опоздал поднять сетку, и тигр задел его лапой, но зато брат успел выстрелить.

— Сказки! Расскажи еще, как летающих медведей ловил,— говорил Храмцов.

Он сделал шагов пять по палубе, но снова вернулся. Сингалез уже говорил про обезьян. Он говорил про оранга. Ловить ездили на остров Борнео. Говорил, что если оранга встретить в лесу и нет ружья, то не стоит пытаться бороться: захочет оранг — и задушит, как мышь.

— А велик ли оранг? — спросил Храмцов.

Сингалез показал метра на полтора от палубы.

— А если ему в морду? — И Храмцов замахнулся кулаком.— Бокс, бокс! Понимаешь?

Сингалез улыбнулся.

Но машинист Марков, многосемейный человек, спросил:

— А почем штука оранги эти здесь, на месте?

Сингалез назвал цену.

— А в Нагасаках?

Да, выходило, что в Японии, если продать немецкому агенту, который скупает зверей для зоопарков, то заработать можно рубль на рубль.

— Дай мне сюда твою обезьяну, так ты у ней зубов не соберешь! — кричал Храмцов и выпячивал грудь. Грудь действительно здоровая, и мускулы — как живая резина.

— Да брось ты, надо дело говорить,— гнусил Марков и заводил усы себе в рот — это всякий раз у него, как разговор заходил о деньгах.

Он пробовал торговаться. Деньги действительно большие. Он хмуро оглядел всех и вдруг сказал:

— Айда, покупаю.

— А вдруг сдохнет дорогой? — сказал кто-то.

Марков засосал усы и долго зло глядел на сингалеза. Но сингалез говорил с братом, потом оба подошли к машинистам.

Они говорили, что пусть поедут посмотрят — есть одна очень здоровая обезьяна. Ух, какая сильная! Не оранг, они ее иначе называли.

* * *

Решили сейчас же идти на берег трое, Марков четвертым, глядеть обезьян. Увязался и радист Асейкин, совсем молодой, долговязый; он первый раз попал в тропики и ходил как пьяный от счастья. Он все покупал дорóгой маленькие вещи из дерева и из кости и все нюхал их. Хотел увезти с собой аромат этой нагретой солнцем земли, аромат зноя, когда начинают пахнуть и сами камни. А машинисты говорили, как бы Марков не надул сингалеза и что цены на зверей есть в каталоге. Где бы достать?

Это был небольшой дворик, и в нем два сарайчика. В один из сарайчиков ввел всю гурьбу сингалез. Сначала показалось — темно и все попятились. Из темноты раздался рев... Нет! Это было мычанье, каким вдруг начинает орать глухонемой в беде, в отчаянии, в злобе, но голос страшной силы и злобы.

Теперь ясно видно стало: сарай был надвое разделен решеткой, железными прутьями в палец толщиной, если не толще: низ их уходил в помост, верх был заделан в потолок. И там, за решеткой, на помосте, стоял, держась за прутья... кто? Сначала показалось, что человек в лохмотьях. Нет! Огромная обезьяна. Она глядела на людей большими черными глазами, страшными потому, что как будто из человечьих глаз смотрели собачьи зрачки, и пламенная, неукротимая ненависть была в этом взгляде. Низкий лоб и короткие волосы острой щетиной.

— Горилла! Тьфу, черт какой! — сказал Марков.

Но в этот момент горилла рванула и затрясла железную решетку и заорала мучительным ревом с ярой ненавистью. Она в бешенстве старалась укусить себя за плечо и не могла: железный воротник вокруг шеи подпирал эту голову с клыками, голову гориллы. Клетка трепетала в ее руках. Кроме Асейкина, все выскочили во двор. Сингалез показывал Асейкину на один прут. Его обезьяна вдолбила в потолок настолько, что он поднялся на полфута над помостом. Нижний конец этого прута был загнут крючком. Это она хотела расширить отверстие, схватила рукой и навернула на кулак. Сингалез объяснил, что они с братом ездили в Африку, в Нижнюю Гвинею. Они поймали ее в сетку из толстых веревок. Но она все равно их разгрызла бы зубами, изорвала бы в клочья. Они успели ее подкурить своим дурманом, и она заснула. Они надели на нее кандалы и заперли в клетку. Ух, как она взъярилась, очнувшись! Она в ярости кусала, рвала зубами свои плечи. Ее усыпили снова, надели ошейник.

Марков ругался на дворе, требовал показать товар, о котором говорилось на пароходе. Это в другом сарае.

Сингалез кивнул на гориллу и весело сказал:

— Бокс! Бокс!

Все вспомнили Храмцова. Но Марков торопил. Люди были отпущены на час.

* * *

В другой сарай уже не решились войти сразу — через двери глядели. Там, полулежа на рисовой соломе, пузатый оранг искал в голове у другого. Оба оглянулись на людей. Они глядели спокойно, даже с ленивым любопытством. Рыжая борода придавала орангу вид простака, немного дурковатого, но добродушного и без хитрости. Другая обезьяна была его женой.

— Леди, Леди,— объяснял хозяин.

У Леди живот был таким же пузатым, как и у ее мужа. Большой рот, казалось, улыбался.

Асейкин захохотал от радости. Он совсем близко подошёл. Сингалез его не удерживал. Асейкин уже поздоровался с орангом за руку. Сингалез утверждал, что обезьяны эти совершенно ручные, что, если их не обижать, с ними можно жить в одной комнате.

Все осмелели. Оранг темными глазами разглядывал не спеша всех по очереди.

Марков ругался:

— Это же пара: разделить, так он от тоски сдохнет. И ведь этакие деньги!

Оказалось, не поняли: эти деньги сингалез хотел за пару, он их только вместе и продает.

Марков повеселел. Он заставил сингалеза поднять оранга, провести; он уже хотел, как у лошади, глядеть зубы.

Нет, цена действительно сходная. Разговор шел уже о кормежке.

Асейкин без умолку болтал с орангом. Он хлопал его по плечу и переводил свои слова на английский язык.

— Поедешь с нами, приятель. Ей-богу, русские люди неплохие. Как звать-то тебя? А? Сам не знаешь? Тихон Матвеич! Слушайте,— кричал Асейкин,— его Тихоном Матвеичем зовут.

Асейкин совал ему банан. Тихон его очистил. Но супруга вырвала и съела.

— Не куришь? — спрашивал Асейкин.

Тихон взял портсигар двумя пальцами, Асейкин пробовал потянуть. «Как в тисках!» — с восхищением говорил Асейкин. Тихон держал без всякого, казалось, усилия. Он повертел в руках серебряный портсигар, понюхал его. Сингалез что-то крикнул. Тихон бросил на солому портсигар.

Марков ворчал:

— Еще табаку нажрется да сдохнет...

Сигналез объяснял, чем кормить. Нет! Ничего не понять. Наконец решили, что сингалез сам доставит обезьян — Тихона и его Леди — и корм на месяц и там покажет на деле, чего и сколько в день давать.

Марков долго торговался. Наконец Марков дал задаток.

* * *

Капитан пришел поглядеть, когда Тихон с женой появились у нас на палубе. Капитан бойко говорил поанглийски. Сингалез его уверил, что этих орангов мож-

но держать на свободе. Кормежку — всё сплошь фрукты — привезли в корзинках на арбе, на тамошних бычках с горбатой шеей. Сингалез определил дневную порцию. Пароходный мальчишка Сережка успел украсть десятка три бананов и принялся дразнить Тихона. Марков стукнул его по шее. Тихон поглядел и как будто одобрил. Асейкин сказал: «Ладно, что не Тихон стукнул, а то бы Сережкина башка была за бортом». Сережка не верил, пока не увидал, как этот пузатый дядя взялся одной рукой за проволочный канат, что шел с борта на мачту, и на одной руке, подбрасывая себя вверх, легко полез выше и выше. Обезьяны ходили по пароходу. Их с опаской обходили все, хоть и делали храбрый и беззаботный вид. Фельдшер Тит Адамович глядел, как Асейкин играл с Тихоном, как наконец Тихон понял, чего хотел радист. Тихон взял в руку конец бамбуковой палки, за другой держал Асейкин. И вот Тихон потянул конец к себе; он лежал, облокотясь на люк. Он не изменил позы. Он легко упирался ногой в трубу, что шла по палубе. Да, а вот Асейкин как стоял, так на двух ногах и подъехал к Тихону Матвеичу.

— Як он захворает,— сказал фельдшер,— то пульс ему щупать буду не я.

— Тьфу,— сказал Храмцов,— это сила? Что, потянуть? А ну!

Храмцов держал за палку. Он дернул рывком и чуть не полетел — оранг выпустил конец. Храмцов снова бросился с палкой. Тихон поднялся, в упор глядя на Храмцова.

— Бросьте! — крикнул Асейкин.

Марков уже бежал, крича:

— Ты за нее не платил, так брось ты со своими штуками!

Но Асейкин уже хлопнул Тихона по плечу:

— Знаешь что?

Тихон оглянулся. Асейкин протянул ему банан.

— А я вам говорю, что я из него веревку совью,— говорил Храмцов и, расставив руки бочонком, как цирковой борец, важно зашагал.

* * *

Но фельдшер Тит Адамович накаркал беду. Ночью Леди-оранг стонала. Стонала, как человек стонет, и все искали на палубе, кто это. Стонала она, а Тихон держал ее голову у себя на коленях и не спал. Марков побежал, разбудил фельдшера. Тит Адамович сказал, что можно компресс на лоб, но кто это сделает? Холодный компресс. Но если Тихон обидится? Тихон что-то бормотал или ворчал над своей женой. Марков требовал, чтобы фельдшер дал хоть касторки. Касторки Тит дал целую бутылку, но Марков только стоял с ней около, да и не очень около, шагах в трех.

— Да ты сам хоть пей! — крикнул Храмцов.— Чего так стоишь?

Асейкин сидел в радиокаюте, и к орангу до утра никто не подходил.

Наутро все три компаньона ругали Маркова: обезьяна сдохнет, а Тихон от тоски в воду кинется или сбесится, ну его в болото!

Асейкин один сидел рядом и глядел, как Тихон заботливо искал блох у жены в голове. Он даже хотел помочь, когда Тихон взял жену на руки и понес ее в тень. Какая-то мошкара увязалась еще с берега; Тихон отмахивал ее рукой от больной жены. Леди часто дышала с полуоткрытым ртом, веки были опущены. Асейкин веером махал на нее издали. Но Асейкин просил, чтобы заперли воду, чтобы сняли рукоятки с кранов: оранг их умел открывать. Он наконец оставил жену и пошел за водой, это было ясно: он пробовал открыть краны. Он пошел к кухне, возбужденный, встревоженный. Он шел, как всегда, опираясь о палубу, но в дверях кухни он встал в рост, держась за притолоку, искал глазами воду. Повар обомлел: он не знал, что собирается делать Тихон, другая дверь была завалена снаружи каким-то товаром, ее нельзя было открыть. Повар боялся, что Тихон обожжется обо что-нибудь или ошпарится — обидится, взъярится, и тогда аминь. И повар потерянно шептал:

— Тише, Тишенька! Христос с тобой! Чего, голубчик Тихон Матвеич? Чего вам захотелось?

Но Тихон обвел тоскливыми глазами плиту и стол и быстро пошел к жене. Он носил ее с места на место, искал, где лучше. Но она вся обвисала у него на руках и не открывала глаз.

* * *

Уже второй день Леди ничего не ела, не ел и Тихон.

Храмцов издевался. Асейкин кричал, чтобы не давали пить. Пайщики махнули рукой. Марков один только не мог примириться с неудачей. Он стоял над больной и приговаривал с тоской:

— Такие деньжищи! Да это лучше бы чаю купить, этого, цейлонского...

Но вот Леди открыла глаза. Она искала чего-то вокруг себя.

Асейкин вскочил. Он понесся к фельдшеру. Назад он шел со стаканом, с граненым чайным стаканом, в нем была вода, а поверху плавал порошок. Тит Адамович шел сзади:

— Не станет она того пить, а стаканом вам в рожу кинет, увидите. Я не отвечаю, честное даю вам слово!

Но Асейкин сказал свое: «А знаешь что?» — и Тихон оглянулся. Он сам потянулся рукой к стакану, взял его осторожно и потянул к губам, но Леди подняла голову. Она хотела слабой рукой перехватить стакан. Тихон бережно за затылок придерживал ей голову, и она жадно пила из стакана.

Марков причитал:

— Все одно пропадет, только на чучело теперь...

Тихон передал стакан Асейкину, как делал всегда, Асейкин налил воды из графина. Тихон снова споил его жене. Третий стакан — за ним не потянулась, отстранила — Тихон сам выпил. Он пил с жадностью: это был третий день, что у него не было маковой росинки во рту.

Мы так и не узнали, чего намешал Тит Адамович, но на другой день Леди уже сидела. К вечеру она пошла пешком. Тихон поддерживал ее с одной стороны, Асейкин — с другой.

Храмцов уверял, что Тихону надоест, что Асейкин суется, и шваркнет он этого приятеля за борт. Но Тихон, видимо, верил Асейкину, и они втроем прогуливались по палубе. Асейкин пробовал тоже опираться рукой в палубу — все смеялись, конечно, кроме орангов. Асей-

кин уверял, что он уже кое-чему выучился по-обезьяньи. Он, правда, каркал иногда, но выходило по-вороньи. Обезьяны повеселели. Боцман поговаривал, чтобы Асейкин выучил их хоть палубу скрести, а то сила такая зря пропадает.

— Какая сила такая? — перебил Храмцов.— Это лазить разве? Так он же легкий сам. А если взяться на силу — ну, бороться,— да врет этот сингалез, заливает, вроде как про тигра. Да я возьмусь с вашим Тихоном бороться, хотя бы по-русски, без приемов, в обхват,— вот увидите.

Храмцов представил, как это он обхватывает Тихона, и так это действительно приемисто, и так это вздулась, заходила его мускулатура, забегали живые бугры по плечам, по рукам, меж лопаток, что стало страшно за мохнатого, за пузатого Тихона Матвеича с рыжей бородушкой.

— А ну, как Марков будет на вахте, спробуйте,— шепотом сказал боцман.

— А кто ответит? — спросил фельдшер,— обезьяна-то эта фунтов тридцать стоит, на русское золото — триста рублей.

Но Храмцов сказал, что он-то ведь не обезьяна, так что душить ее насмерть не будет. А что положит, то положит.

И теперь уж шепотком, по секрету от Маркова, все переговаривались, что Храмцов будет бороться с Тихоном, бороться будет по-русски, в обхват, и даже назначили когда. Все ждали развлеченья. Небо да вода, да день в день те же вахты — невеселая штука. А тут вдруг такой цирк!

* * *

Марков только что ушел в машину, когда Тихона привели на бак. Возле носового трюма должна была состояться встреча.

— А он ногой захватит,— говорил Храмцов.

— А сапоги ему надеть,— советовал боцман.

Тихону на ноги надели сапоги с голенищами — это его забавляло. Он любопытно глядел на ноги, и, казалось, ему самому тоже смешно. Но Храмцов уже стал его обхватывать, командовал, как завести руки Тихона

себе за спину. Тихону все это нравилось, он послушно делал все, что с ним ни устраивали. Пузатый, с рыжей бороденкой, в русских сапогах на согнутых ногах, он казался веселым деревенским шутником, что́ не дурак выпить и народ посмешить.

Храмцов жал, но оранг не понимал, что надо делать.

— Сейчас я ему поддам пару!

Храмцов углом согнул большой палец и стал им жать обезьяну в хребет.

Вдруг лицо Тихона изменилось — это произошло мгновенно,— губы поднялись, выставились клыки и вспыхнули глаза. Сонное благодушие как сдуло, и зверь, настоящий лесной зверь, оскалился и взъярился.

Храмцов мгновенно побелел, опустил руки. Они повисли, как мокрые тряпки, глаза вытаращились и закатились. Оранг валил его на люк и вот вцепится клыками... Все оцепенели, закаменели на местах.

— А знаешь что? — Это Асейкин хлопнул Тихона по плечу. И вмиг прежняя благодушная морда повернулась к Асейкину. Асейкин рылся в кармане и говорил спешно: — Сейчас, Тихон Матвеич, сию минуту... Стой, забыл, кажись...

Храмцова уже отливали водой, но он не приходил в сознание.

В лазарете он сказал Титу Адамовичу:

— Это вроде в машину под мотыль попасть. Еще бы миг — и не было бы меня на свете. А как вы думаете, он на меня теперь обижаться не будет?

— Кто? Марков?

— Нет... Тихон Матвеич.

* * *

В Нагасаки, на пристани, уже ждала клетка. Она стояла на повозке. Агент зоопарка пришел на пароход.

Марков просил Асейкина усадить Тихона Матвеича в клетку.

— Я не мерзавец,— сказал Асейкин и сбежал по сходне на берег.

Только к вечеру он вернулся на пароход.

Никто ему не рассказывал, как Тихон с женой вошли в клетку,—будто все сговорились,—и про обезьян больши никто не говорил во весь этот рейс.

КЕНГУРА

На парусном судне «Зазноба» служил матросом один литвин, Заторский. Пудов на шесть дядя. Силы медвежьей.

Бывает, тянут хлопцы брас[1]; пятеро их стоит, тужатся, жилятся; Заторский подойдет, упрется — те только за ним слабину подбирают да на кнехт крепят.

Он откудова-то из лесов был и мужицкой повадки своей не бросал: хоть за мокрое берется, а непременно вперед в руки поплюет. Ноги узловатые, как коренья, и ходит, будто за землю хватается, так и гребет.

Бить он никогда никого не бил. Возятся с ним ребята, иной раз — в штиль ведь делать-то нечего — бросаются, как собаки на медведя, а он только смеется. Потом поплюет в руки, сгребет троих, что хвороста охапку, и положит не торопясь на палубу. Добрый был и неразговорчивый. Это уж когда с полчаса все молчат, он, бывало, вдруг хриплым басом заведет: «А у нас в зиму — самая охота...» Смешно: штиль, жара, море, как масло, а он про снег, про берлоги. Только это редко с ним бывало.

На берег идешь, там в случае скандальчик или что — за ним, как за каменной горой: в обиду не даст.

Вот как-то раз сидим мы на берегу в пивной, и Заторский с нами. Денег мало, так что выпиваем потихоньку. Молчат все.

Заторский уж начал объяснять, как у них там на волка капканы ставят, и Простынев вдруг перебивает:

— Идем в цирк!

Идем да идем — и так пристал, болтает, ломается И ведь черт его знает, как он у нас на судне завелся: в каком-то порту подобрали. Жиденький весь какой-то, скользкий, дрыгается. Ну, слякоть одна.

---

[1] Брас — снасть, которой поворачивают рен.

И вечно врет. То говорит, что из Москвы, то он саратовский. А может быть, он и не Простынев вовсе? То у него мать — вдова, то он у тетки жил. Так его и звали: теткин сын.

Выпил он на грош, а орет на весь кабак: в цирк да в цирк! А по нему, шельме, видно, что это он неспроста. И все около Заторского пляшет, за рукав тянет: ничего, мол, стоить не будет, так пустят, без денег, у него там знакомые. И крестится и ругается — это все у него вместе.

Пошли мы — так он надоел. Знали, что врал. Так и оказалось: заплатили. С разговором, правда, а все-таки заплатили. Сели.

Смотрим представленье. Ну, как обыкновенно: лошади, клоуны. Наверху человек двоих на зубах держал. Заторский посмотрел.

— Ну,— говорит,— ежели этот укусит.— И головой только помотал.

Под конец музыка остановилась, выходит человек в вязаной фуфайке, и с ним кенгура. В рост человека зверь, серой масти. На задних ногах, как на лыжах, стоит; передние лапки короткие, как ручки. И на всех четырех лапах у него рукавицы шарами и крепко к лапам примотаны ремешками.

У этого, что ее вывел, такие же шары на руках. Вышел распорядитель на середину и говорит:

— Сейчас почтеннейшей публике австралийский зверь кенгура покажет упражнение в боксе. Редкий случай искусства.

И вот этот человек в вязанке давай наступать на свою кенгуру с кулаками.

Она живо заработала ручками — трах-трах! — лап не видно. Хозяин отбивается, но видать, она его не очень-то садит — ученая.

Всем смешно, все хлопают. Тут снова музыка ударила, и кенгура перестала драться.

Опять выходит распорядитель, поднял руку: музыка остановилась.

— Вот,— говорит,— публика убедилась наглядно, как работает австралийский зверь кенгура! Желающие испытать свои силы могут выступить в бой без перчаток. Кенгура работает в перчатках. Если кто победит зверя, получает немедленно тут же сто рублей деньгами.

Весь цирк молчит — слышно, как фонари жужжат.

Вдруг слышу:

— Есть желающий! Здесь!

Гляжу — это Простынев орет. Подплясывает, тянет Заторского за рукав. Заторский застыдился, покраснел, отмахивается. Весь цирк на него пялится, орут все:

— На арену! Га! А!

Такой содом поднялся. Заторский в ноги глядит, а Простынев, «теткин сын», вскочил на сиденье, на Заторского руками тычет: «Вот! Вот!» — да вдруг как сорвет с него фуражку и швырнул на арену. Заторский вскочил — в проход, вниз, через барьер, за фуражкой.

Только он на арену — кенгура прыг! И загородила фуражку. Головка у нее маленькая, собачья, стоит и кулачками пошевеливает — и около самой фуражки. Тут распорядитель махнул рукой, и барабан в оркестре ударил дробь.

Заторский что-то кричит на кенгуру — ничего за барабаном не слыхать, а кенгура на него хитро так и зло глядит и все кулачками шевелит. Дразнит. Уперлась хвостом в песок, хвост у нее мясистый, упористый — твердо стоит, проклятая.

Заторский на нее рукой, как на теленка, по-деревенски — видно, отпугнуть хотел.

Вдруг кенгура задней ногой как лыжей, бах ему в живот. Да здóрово! Заторский так и сел, глаза выпучил. Вдруг, вижу, озверело лицо, побагровел весь, вскочил да как заревет быком — куда твой барабан! Как рванется на кенгуру — раз! раз! Сбил с ног и с хвоста с этого насел. Весь цирк на ноги встал, и барабан оборвался.

А Заторский и себя не помнит: где и что.

Сидит на кенгуре и молотит, морду ей в песок вколачивает.

Хозяин к нему — куда тут!.. И распорядитель и циркачи все вскочили — еле оторвали. Поставили Заторского на ноги.

Он огляделся, вспомнил, где это он, и бегом в проход, вон из цирка, как был — без шапки. Мы — за ним.

Нагнали его на углу. А он отдышаться, отплеваться не может.

Я ему:

— Чего ты озверел-то?

— Тьфу,— говорит,—обидно... зверь ведь... а с подлостью.

А тут Простынев нагоняет.

— Получил? — говорит.— Половина мне, потому без меня ты и не пошел бы!

Смотрю, Заторский снова озверел, как зарычит:

— Иди ты к...

Простынева и след простыл. Больше мы его и не видели.

А кенгуры три недели в афишах не было, так мы и в море ушли.

«СИЮ МИНУТУ-С!..»

Это было в царское время.

Провожали пароход на Дальний Восток. Стояла июльская жара, и смола, которой залиты пазы в палубе, выступила и надулась черными блестящими жгутами меж узких тиковых досок. Поп сиял на солнце, как луженый, в своем блестящем облаченье. Он кропил святой водой компас, штурвал. Он пошел с капитаном вниз кропить трехцилиндровую машину в три тысячи пятьсот лошадиных сил святой водою. Поп неловко топал и скользил каблуками по намасленному железному трапу.

— Хорошо, что не качает!— хихикнул мичман Березин своей даме.

Дама для проводов была в шелках, в страусовых перьях. На золотой цепочке играл на солнце лорнет в золотой оправе.

— Ах, страшно, не правда ли, когда буря и ветер воет: вв-вв-ву! — завыла дама и закачала перьями на шляпке.

Но мичман Березин — не простак.

— А знаете, если нам бояться бурь...

— Неужели никаких не боитесь?

— Нам бояться некогда.— И мичман браво тряхнул головой.— Моряк, сударыня, всегда глядит в глаза смерти. Что может быть страшнее океана? Зверь? Тигр? Леопард? Пожалуйста! Извольте — леопард, для нас, моряков, это что для вас, сударыня, кошка. Простая домашняя киска.

Он повернулся к юту, туда, где в кормовой части парохода был шикарный салон, где сейчас буфетчик Степан со всей стариковской прыти готовил закуску и завтрак из одиннадцати блюд.

— Степан! А Степан! — крикнул мичман Березин; он взял свою даму под локоток.— Степан!

— Сию минуту-с! — Старик перешагнул высокий пароходный порог и засеменил к мичману.

— Покажи Ваську,— вполголоса приказал Березин.

— Сию минуту-с! — И старик буфетчик зашаркал начищенными для парада штиблетами в кают-компанию.

В кают-компании он крикнул на лакеев:

— Не вороти всю селедку в ряд! Торговать, что ли, выставили! Охломоны!

Лакеи во фраках бросились к столу, а буфетчик с дивана в своей буфетной уж звал Ваську.

Мичман Березин стоял с дамой, опершись о борт.

— Вы спрашиваете: к тигру в клетку? Родная моя! Но волна Индийского океана рычит громче! злее! свирепей! Этот тигр в десять этажей ростом. Поверьте...

Но буфетчик уже повалил перед трюмным люком плетеное кресло-кабину японской работы — целый дом из прутьев. Степан — новгородский старик с бритыми усами — держал в руках большой кусок сырого мяса.

— Готово? — спросил мичман.— Пускай!

— Сию минуту-с!

Двери кают-компании раскрылись. В двери высунулась морда. Это была аккуратная голова леопарда с большими круглыми глазами, настороженными, со злым вниманием в косых зрачках. Он высоко поднял уши и глянул на Березина. Дама прижалась к мичману. Березин браво хмыкнул и затянулся сигарой.

— Пошел! — скомандовал Березин, подхватив даму за талию.

— Сию минуту-с! — отозвался буфетчик.

Он поднял мясо, чтоб его увидал леопард, и бросил его на трюмный люк, на туго натянутый брезентовый чехол, который прикрывал деревянные створки.

И в то же мгновенье леопард сделал скачок. Нет, это не скачок — это полет в воздухе огромной кошки, блестящей, сверкающей на солнце. Леопард высоко перемахнул через поваленное кресло-кабину и точно и мягко лег на брезент. Мясо было уж в клыках. Он зло

урчал, встряхивая мордой, хвост — пушистая змея — резко бился из стороны в сторону. Он на миг замер, только ворочал глазами по сторонам. И вдруг поднялся и воровской побежкой улепетнул. Он исчез бесшумно, неприметно.

Дама трепетно держалась за кавалера. Кавалер, осклабясь, жевал конец сигары.

— Полюбуйтесь,— не торопясь произнес мичман; он подвел даму к трапу.— Вот!

Там на палубе, на крепких тиковых досках, остались следы когтей — здесь оттолкнул свое упругое тело Васька.

— Вот как прыгают наши кошечки! Кись-кись! — позвал и щелкнул пальцами.

Дама вздрогнула и схватилась за белоснежный рукав крахмального кителя. Васька деловитой неспешной походкой прошел по палубе. Он облизывался.

— Кись-кись! — осторожно пропел Березин.

Васька не повел ухом. Он ловко зацепил лапой дверь и ленивой волной перемахнул через высокий порог кают-компании.

— Э, хотите, я его сейчас, каналью, сюда притащу? — Мичман двинулся от борта.— Вы его себе накинете вокруг шеи, горжетку такую. А?

Но дама крепче вцепилась в рукав мичмана и шептала:

— Не надо, прошу, я не хочу... я уйду...

Мичман делал вид, что вырывается.

— Степан! — крикнул мичман Березин.

— Есть! Сию минуту-с!

Буфетчик вышел из кают-компании, жмурясь на солнце.

— Не надо! Прошу! — сказала дама по-французски.

— Чего изволите-с? — Степан уж стоял, покачивая руку с салфеткой.

Мичман лукаво поглядел на даму. Она отвернулась, покраснела.

— Степан, у тебя... все готово? — спросил мичман и плутовски скосился на даму.

— Графинчики не заморозившись,— полушепотом докладывал старик,— водку надо-с как льдинку. Особо в такую жару-с. Чтоб запотевши были графинчики. Сами знать изволите-с. Они-то на льду, а я вот как на угольях: ох, быть нам не поспеть!



— Ну, ступай, ступай! Не бойтесь, сударыня, это я нарочно.— И мичман взял даму под локоток.— Кись-кись! — шепнул мичман и осторожно пощекотал локоток.

Но в это время спускались со спардека капитан и гости. Капитан — крепкий старик, лихая бородка с проседью расчесана на две стороны. Он сиял золотыми погонами, и на солнце больно было смотреть на его белый китель.

— А вот извольте — на случай пожара. Терещенко! Навинти шланг. Живо!

Матрос бросился со всех ног.

— Ах, только не поливайте! — И дамы кокетливо испугались, приподняли юбки, как в дождь.

— Нет, теперь, батюшка, дайте уж нам покропить! — И капитан захохотал деланным баском.— Правда, мичман? По-нашему.

Мичман с дамой подошел почтительно и поспешно. Батюшка, завернув в рот бороду, уважительно щурился на сиявшую, начищенную медь. Поливка развеселила всех. Мичман смеялся, когда немного забрызгало его даму.

— Ну, принесите же мой платок! — Дама, смеясь, надула губки.— Принесите мой ридикюль, я его оставила там, в кают-компании.

Мичман ловко вспрыгнул на трюмный люк и оттуда одним прыжком к кают-компании и дернул дверь.

— Эх, молодец он у меня! — довольным голосом сказал капитан, любуясь на молодого офицера.

Мичман Березин распахнул с размаху дверь и вдруг снова запер. Запер плотно, повернул ручку. Он неспешно шагал назад, подняв брови.

— Знаете, мне пришла мысль...— вдруг заулыбался он даме.— Мне очень-очень хотелось бы, чтоб вы воспользовались моим платком, честное слово.— И он достал из бокового кармана чистенький платочек.— Я буду его... хранить, как память.

— Нет, зачем же? Я хочу свой. Ну, принесите же!

Мичман молчал, протягивая платок.

— Ради бога! — шептал он.— Умоляю!

Капитан глядел нахмурясь.

— Быстрота и великолепие,— сказал батюшка капитану, но капитан, не оборачиваясь, кивнул наспех головой: глядел на мичмана.

— Это неприлично-с, господин мичман! Немедленно отправляйтесь, исполните, что требует дама.

— Есть! — ответил мичман; он зашагал к кают-компании.

Все глядели ему вслед. У самых дверей он укоротил шаги. Он поворачивал ручку, дергал ее, он рвал дверь — дверь не открывалась. Он даже раз оглянулся назад.

Все смотрели на него. Капитан прищурил один глаз, будто целился.

— Дверь не откроете? — крепким голосом крикнул капитан.— Мич-ман! — И капитан решительным шагом зашагал к двери.

— Я сама, сама! — вскрикнула дама и засеменила по мокрой палубе, стараясь обогнать капитана.

Вся публика двинулась следом. Но всех обогнал Степан. Степан-буфетчик, запыхавшийся старик, с графинчиками. Их по четыре торчало у каждой руки — зажатые горлами меж пальцев. Запотевшие, матовые — от ледяной водки внутри.

— Сию минуту-с!.. Сию минуту-с! — пришептывал старик, юля и обгоняя гостей.

Он шлепающей лакейской рысцой обогнал капитана; он уцепил пальцем ручку — дверь легко распахнулась Капитан уже стоял за плечами. У самого порога, по ту сторону дверей, лениво растянувшись, блаженно спал Васька.

— Ах, вот в чем дело! — грозно сказал капитан и перевел глаза на мичмана.

— Брысь, скотина! Брысь, брысь! — фыркнул на Ваську Степан.

Он пнул его стариковской ногой, на ходу, с досадой, и леопард прыгнул через порог и, поджав хвост, змеей шмыгнул вон, на палубу, и исчез.

Мичман стоял опустив глаза.

— Моментально отправляйтесь на берег,— сказал капитан.— Ревизор! Списать на берег га-аспадина мичмана. Ступай-те! — И капитан повернулся к гостям.

Он не видел, как мичман большими, журавлиными шагами описал на палубе дугу, обошел для чего-то трюмный люк два раза вокруг и, не понимая, почему это он шагает, пошел к сходне.

* * *

Завтрак из одиннадцати блюд сошел шикарно. Капитан вышел в море с двумя помощниками, третьим стоял штурманский ученик.

А в буфетной, после тревог, в одном жилете дремал выпивший «с устатку» Степан-буфетчик. Он развалясь сидел на диванчике. На колени старику положил голову Васька. Он терся лбом о жилет и урчал, как кот. Старик пьяной рукой щелкал Ваську по уху:

— Я тебя, окаянного, вскормил, вспоил с малых лет твоих — люди видели, не вру! А ты, шельма, скандалить? Скандалить? Через тебя, через блудню несчастную, человека на берег списали. А через кого? Через меня, скажешь? Тебя я, подлеца, спрашиваю: через меня? через меня?

Тут Степан хотел покрепче стукнуть Ваську по носу, но в это время ревизор крикнул из кают-компании:

— В буфет!

— Есть в буфет! Сию минуту-с! — Степан отпихнул Ваську и стал напяливать фрак.— Сию... минуту-с!

МЫШКИН

Вот я расскажу вам, как я мстил единственный раз в жизни, и мстил кровно, не разжимая зубов и держал в груди спертый дух, пока не спустил курок.

Звали его Мышкин, кота моего покойного. Он был весь серый, без единого пятна, мышиного цвета, откуда и его имя. Ему не было года. Его в мешке принес мне мой мальчишка. Мышкин не выпрыгнул дико из мешка, он высунул свою круглую голову и внимательно огляделся. Он аккуратно, не спеша вылез из мешка, вышагнул на пол, отряхнулся и стал языком приводить в порядок шерсть. Он ходил по комнате извиваясь и волнуясь, и чувствовалось, что мягкий, ласковый пух вмиг, как молния, обратится в стальную пружину. Он все время вглядывался мне в лицо и внимательно, без боязни следил за моими движениями. Я очень скоро выучил его давать лапку, идти на свист. Я, наконец, выучил его на условный свисток вскакивать на плечи — этому я выучил

его, когда мы ходили вдвоем по осеннему берегу, среди высокого желтого бурьяна, мокрых рытвин и склизких оползней. Глухой глинистый обрыв, на вёрсты без жилья. Мышкин искал, пропадал в этом разбойном бурьяне, а этот бурьян, сырой и дохлый, еще махал на ветру голыми руками, когда все уж пропало, и все равно не дождался счастья. Я свистел, как у нас было условлено, и вот уж Мышкин высокими волнами скачет сквозь бурьян и с маху вцепляется коготками в спину, и вот уж он на плече, и я чувствую теплую мягкую шерсть у своего уха. И я терся холодным ухом и старался поглубже запрятать его в теплую шерсть.

Я ходил с винтовкой, в надежде, что удастся, может быть, подстрелить лепорих — французского кролика,— которые здесь по-дикому жили в норах. Безнадежное дело пулей попасть в кролика! Он ведь не будет сидеть и ждать выстрела, как фанерная мишень в тире. Но я знал, какие голод и страх делают чудеса. А были уж заморозки, и рыба в наших берегах перестала ловиться. И ледяной дождь брызгал из низких туч. Пустое море мутной рыжей волной без толку садило в берег день и ночь без перебою. А жрать хотелось каждый день с утра. И тошная дрожь пробирала каждый раз, как я выходил, и ветер захлопывал за мною дверь. Я возвращался часа через три без единого выстрела и ставил винтовку в угол. Мальчишка варил ракушки, что насобирал за это время: их срывал с камней и выбрасывал на берег прибой.

Но вот что тогда случилось: Мышкин вдруг весь вытянулся вперед у меня на плече, он балансировал на собранных лапках и вдруг выстрелил — выстрелил собою, так что я шатнулся от неожиданного толчка. Я остановился. Бурьян шатался впереди, и по нему я следил за движениями Мышкина. Теперь он стал. Бурьян мерно качало ветром. И вдруг писк, тоненький писк, не то ребенка, не то птицы. Я побежал вперед. Мышкин придавил лапой кролика, он вгрызся зубами в загривок и замер, напружинясь. Казалось, тронешь — и из него брызнет кровь. Он на мгновение поднял на меня ярые глаза. Кролик еще бился. Но вот он дернулся последний раз и замер, вытянулся. Мышкин вскочил на лапы, он сделал вид, что будто меня нет рядом, он озабоченно затрусил с кроликом в зубах. Но я успел шагнуть и наступил кролику на лапы. Мышкин заворчал, да так зло!

Ничего! Я присел и руками разжал ему челюсти. Я говорил «тубо» при этом. Нет, Мышкин меня не царапнул. Он стоял у ног и ярыми глазами глядел на свою добычу. Я быстро отхватил ножом лапку и кинул Мышкину. Он высокими прыжками ускакал в бурьян. Я спрятал кролика в карман и сел на камень. Мне хотелось скорей домой — похвастаться, что и мы с добычей. Чего твои ракушки стоят! Кролик, правда, был невелик! Но ведь сварить да две картошки, эге! Я хотел уже свистнуть Мышкина, но он сам вышел из бурьяна. Он облизывался, глаза были дикие. Он не глядел на меня. Хвост неровной плеткой мотался в стороны. Я встал и пошел. Мышкин скакал за мной, я это слышал. Наконец я решил свистнуть. Мышкин с разбега, как камень, ударился в мою спину и вмиг был на плече. Он мурлыкал и мерно перебирал когтями мою шинель. Он терся головой об ухо, он бодал пушистым лбом меня в висок.

Семь раз я рассказал мальчишке про охоту. Когда легли спать, он попросил еще! Мышкин спал, как всегда усевшись на меня поверх одеяла.

С этих пор дело пошло лучше: мы как-то раз вернулись даже с парой кроликов. Мышкин привык к дележу и почти без протеста отдавал добычу.

...И вот однажды я глядел ранним утром в заплаканное дождем окно и на мутные тучи, на мокрый пустой огородишко и не спеша курил папироску из последнего табаку. Вдруг крик, резкий крик смертельного отчаяния. Я сразу же узнал, что это Мышкин. Я оглядывался: где, где? И вот сова, распустив крылья, планирует под обрыв, в когтях что-то серое бьется. Нет, не кролик, это Мышкин. Я не помнил, когда это я по дороге захватил винтовку,— но нет, она круто взяла под обрыв, стрелять уже было не во что. Я побежал к обрыву: тут ветер переносил серый пушок. Видно, Мышкин не сразу дался. Как я прозевал? Ведь это было почти на глазах, тут, перед окном, шагах в двадцати! Я знаю: она, наверное, сделала с ним, как с зайцем: она схватила растопыренными лапами за зад и плечи, резко дернула, чтобы поломать хребет, и живого заклевала у себя в гнезде.

На другой день, еще чуть брезжил рассвет, я вышел из дому. Я шел наудачу, не ступая почти, осторожно, крадучись. Зубы были сжаты, и какая злая голова на плечах! Я осторожно обыскал весь берег. Уже стало

почти светло, но я не мог вернуться домой. Мы вчера весь день не разговаривали с мальчишкой. Он сварил ракушек, но я не ел. Он спал еще, когда я ушел. И пса моего цепного я не погладил на его привет, он подвизгнул от горечи.

Я шел к дому все той же напряженной походкой. Я не знал, как я войду в дом. Вот уже видна и собачья будка из-за бугра, вот пень от спиленной на дрова последней акации. Стой, что же это на пне? Она! Она сидела на пне, мутно-белого цвета, сидела против моего курятника, что под окном. Я замедлил шаги. Теперь она повернула голову ко мне. Оставалось шагов шестьдесят. Я тихо стал опускаться на колено. Она все глядела. Я медленно, как стакан воды, стал поднимать винтовку. Сейчас она будет на мушке. Она сидит неподвижно, как мишень, и я отлично вижу ее глаза. Они как ромашки, с черным сердцем-зрачком. Взять под неё, чуть пониже ног. Я весь замер и тихонько нажимал спуск. И вдруг сова как будто вспомнила, что забыла что-то дома, махнула крыльями и низко над землей пролетела за дом. Я еле удержал палец, чтобы не дернуть спуск. Я стукнул прикладом о землю, и ружье скрипело у меня в злых руках. Я готов был просидеть тут до следующего утра. Я знаю, что ветер бы не застудил моей злобы, а об еде я тогда не мог и думать.

Я пробродил до вечера, скользил и падал на этих глиняных буграх. Я даже раз посвистел, как Мышкину, но так сейчас же обозлился на себя, что бегом побежал с того места, где это со мной случилось.

Домой я пришел, когда было темно. В комнате свету не было. Не знаю, спал ли мальчишка. Может быть, я его разбудил. Потом он меня впотьмах спросил: какие из себя совиные яйца. Я сказал, что завтра нарисую.

А утром... Ого! Утром я точно рассчитал, с какой стороны подходить. Именно так, чтоб светлеющий восход был ей в глаза, а я был на фоне обрыва. Я нашел это место. Было совсем темно, и я сидел не шевелясь. Я только чуть двинул затвор, чтоб проверить, есть ли в стволе патроны. Я закаменел. Только в голове недвижным черным пламенем стояла ярость, как — любовь, потому что только влюбленным мальчиком я мог сидеть целую ночь на скамье против ее дома, чтобы утром увидеть, как она пойдет в школу. Любовь меня тогда грела, как сейчас грела ярость.

Стало светать. Я уж различал пень. На нем никого не было. Или мерещится? Нет, никого. Я слышал, как вышла из будки моя собака, как отряхивалась, гремя цепью. Вот и петух заорал в курятнике. Туго силился рассвет. Но теперь я вижу ясно пень. Он пуст. Я решил закрыть глаза и считать до трех тысяч и тогда взглянуть. Я не мог досчитать до пятисот и открыл глаза: они прямо глядели на пень, и на пне сидела она. Она, видно, только что уселась, она переминалась еще. Но винтовка сама поднималась. Я перестал дышать. Я помню этот миг, прицел, мушку и ее над нею. В этот момент она повернула голову ко мне своими ромашками, и ружье выстрелило само. Я дышал по-собачьи и глядел. Я не знал, слетела она или упала. Я вскочил на ноги и побежал.

За пнем, распластав крылья, лежала она. Глаза были открыты, и она еще поводила вздернутыми лапами, как будто защищаясь. Несколько секунд я не отрывал глаз и вдруг со всей силой топнул прикладом по этой голове, по этому клюву.

Я повернулся, я широко вздохнул в первый раз за все это время.

В дверях стоял мальчишка, распахнув рот. Он слышал выстрел.

— Ее? — Он охрип от волнения.

— Погляди.— И я кивнул назад.

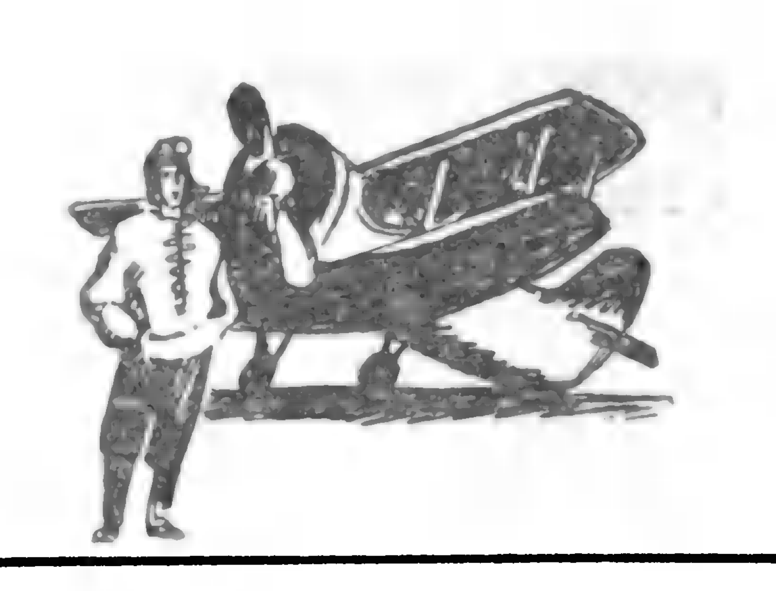
Этот день мы вместе собирали ракушки.



ЧТО БЫВАЛО







ХРАБРОСТЬ

Я о ней много думал. Особенно в детстве. Хорошо быть храбрым: все уважают, а другие и боятся. А главное, думал я, никогда нет этого паскудного трепета в душе, когда ноги сами тянут бежать, а то от трепету до того слабнут, что коленки трясутся и, кажется, лучше б лег и живым в землю закопался. И я не столько боялся самой опасности, сколько самого страха, из-за которого столько подлостей на свете делается. Сколько друзей, товарищей, сколько самой бесценной правды предано из-за трусости: «Не хватило воздуху сказать!»

И я знал, что по-французски «трус» и «подлец» — одно слово — «ляш». И верно, думал я: трусость приводит к подлости.

Я заметил, что боюсь высоты. До того боюсь, что если лежу на перилах балкона на шестом этаже, то чувствую, как за спиной так и дует холодом пустота. Просто слышу, как звенит, проклятая, холодом своим. И говорю тогда невпопад: оглушает сзади пустота.

Я раз видел, как на подвеске красил купол кровельщик. Метров сорок высоты, а он на дощечке, вроде детских качелей. Мажет, как будто на панели стоит, еще закурил, папироску скручивает. Вот я позавидовал! Да если б меня туда... я вцепился б, как клещ, в веревки или уж прямо бросился бы вниз, чтоб разом покончить со страхом: это самое больное, самое непереносимое чувство. Я выследил этого храбреца и вечером пошел за ним. Он пошел прямо на реку. Стал раздеваться. Я рядом. Я, при таком храбреце, пробежал по мосткам до самого краю и с разбегу бух головой: глубоко там, не ударишься. Выплыл. Смотрю: мой кровельщик стоит по

пояс в воде и плещет на себя, приседает, как баба. Я ему:

— Дяденька, иди сюда, здесь водица свежей.

А он:

— Ишь прыткий какой. Тама, гляди, утонуть можно.

— Да тут тебе по шею.

— Ладно! Не ровен час, колдобина али омут какой. Ну тебя к лешему! Не мани.

— А как же выси-то не боишься?

— По привычке.

А поначалу сказал, что страховито было.

Я решил, что приучу себя к высоте. И стал нарочно лазить туда, где мне казалось страшно.

«Но ведь не одна высота,— думал я.— А вот в огонь полезть. В пожар. Или на зверя. На разбойника. На войне. В штыки, например».

Я думал: вот лев — ничего не боится. Вот здорово. Это характер. А чего ему бояться, коли он сильней всех? Я на таракана тоже без топора иду. А потом прочел у Брема, что он сытого льва камнем спугнул: бросил камнем, а тот, поджавши хвост, как собака, удрал. Где же характер?

Потом я думал про черкесов. Вот черкес — этот прямо на целое войско один с кинжалом. Ни перед чем не отступит. А товарищ мне говорит:

— А спрыгнет твой черкес с пятого этажа?

— Дурак он прыгать,— говорю.

— А чего же он не дурак на полк один идти?

Я задумался. Верно: если б он зря не боялся, то сказать ему: а ну-ка, не боишься в голову из пистолета стрелять? Он бац! И готово. Этак давно бы ни одного черкеса живого не было. С горы в пропасть прыгали бы, как блохи, и палили бы себе в башку из чего попало. Если им смерть нипочем. Ясное дело: совсем не нипочем и небось как лечатся, когда заболеют или ранены. Зря на смерть не идут.

Вот про это «зря» я увидал целую картину.

Дело было так. Был 1905 год. Был еврейский погром. Хулиганье под охраной войск убивало и издевалось над евреями как хотело. Да и над всяким, кто совался против. И образовался «Союз русского народа»... казенные погромщики, им даны были значки и воля: во имя царя-отечества наводить страх и трепет. В союз этот собралась всякая сволочь. А чуть что — на помощь выезжала

казачья сотня, на конях, с винтовками, с шашками, с нагайками. Читали, может быть, про эти времена? Но читать одно. А вот выйдешь на улицу часов в семь хотя бы вечера и видишь: идет по тротуару строем душ двадцать парней в желтых рубахах. Кто не понравился — остановили, избили до полусмерти и дальше. Дружина «Союза русского народа».

В это время как раз приходит ко мне товарищ. Приглашает дать бой дружине. Днем, на улице. Я ни о чем другом не подумал, только: неужто струшу? И сказал: «Идет»... Он мне дал револьвер. А за револьвер тогда, если найдут,— ой-ой! Если не расстрел, то каторга наверняка. Уговорились где, когда. «И Левка будет». А Левку я знал. И удивился: Левка был известен как трус. Его называли Левка-жид, и он боялся по доске канаву перейти. Воин! Однако часов в пять вечера все оказались в сборе. И Левка. Место было то, с которого начинала орудовать дружина. Нас было семеро. Мы растянулись вдоль улицы под домами. Вот и желтые рубахи. Улица сразу опустела: еврейский квартал. Дружина идет строем. Мы стоим, прижавшись к домам. Нас не видно.

У меня сердце работало во всю мочь: что-то будет? Чем бы ни кончилось, все равно замечен, и потом... Все равно найдут. Стрельба на улицах... Военный суд. Виселица.

Вдруг один из дружинников поднял камень — трах в окно. В тот же момент выстрелил наш вожак. Это значило — открывай огонь. Наши стали палить. Мой выстрел был седьмым. Но я думал, что есть еще утек: есть возможность замести следы. Дружина шарахнулась. Их начальник что-то крикнул, все стали на колено и стали палить из револьверов. И вдруг Левка выбегает на середину улицы и с роста бьет из своего маузера. Выстрелит, подбежит шагов на пять и снова. Он подбегал все ближе с каждым выстрелом, и вдруг все наши выскочили на мостовую, и в тот же миг дружина вскочила на ноги и бросилась за угол. Левка побежал вслед, но его догнал наш вожак и так дернул за плечо, что Левка слетел с ног.

Дружина постреливала из-за угла. Через пять минут уже взвод казаков дробно скакал по мостовой. Дал с коней залп. Левку держали, чтоб он не бросился на казаков. А я только со всей силой удерживал ноги на

панели, чтоб не понесли назад. А грудь — как железная решетка, через которую дует ледяной ветер.

Мы, отстреливаясь, благополучно отступили. Не знаю, много ли стрелял я.

Я сразу не пошел домой, чтоб запутать следы, наплести петель. А Левку едва вытолкали с улицы, он плакал и рвался.

Я испытывал храбрость, а у Левки сестру бросили в пожар. Лез не зря. У него в ушах стоял крик сестры и не замолк вопль народа своего. Это стояло сзади, и на это опирался его дух.

У меня был товарищ — шофер. К нему подошли двое ночью, и он снял свою меховую тужурку и сапоги и раздетый прибежал домой зайчиком по морозу.

Его мобилизовали. И через два месяца я узнал: летел на мотоцикле с донесением в соседнюю часть. Не довезет — тех окружат, отрежут. По пути из лесу стрельба. Пробивают ноги — поддал газу. Пробивают бак с бензином. Заткнул на ходу платком, пальцем, правил одной рукой и пер, пер — и больше думал о бензине, чем о крови, что текла из ноги; поспеть бы довезти.

А чего проще: стать. Взяли бы в плен, перевязали, отправили в госпиталь. Да, не меховым бушлатиком подперт на этот раз был дух.

Или вот вам случай с моим приятелем капитаном Ерохиным. Ему дали груз бертолетовой соли в бочонках из Англии в Архангельск. При выгрузке у пристани от удара эта соль воспламенилась в трюме. Бертолетова соль выделяет кислород — это раз, так что поддает силы пожару. А второе — она взрывается. Получше пороха. И ею полон трюм. Ахнет — и от парохода одни черепки. Он взорвется, как граната. Через минуту пламя уже стояло из трюма выше мачт. У всей команды натуральное движение — на берег и бегом без оглядки от этого плавучего снаряда, и тут голос капитана: «Заливай!» И капитан стал красней огня и громче пламени. И никто не ушел. Не сошла машинная команда со своих мест, и дали воду, дали шланги в трюм, и люди работали обезьяньей хваткой. А берег опустел: все знали — рванет судно, на берегу тоже не поздоровится. И залили. Через полчаса приехала пожарная команда. Не пустил ее Ерохин: после драки кулаками не машут.

На что его дух опирался?

Да ведь каждый капитан, приняв судно, чувствует, что в нем, в этом судне, его честь и жизнь. Недаром говорят: Борис Иваныч идет, когда видят пароход, капитан которого — Борис Иванович. И в капитане это крепко завинчено, и всякий моряк это знает, как только вступает на судно: капитан и судно — одно. И горел не пароход, сам Ерохин горел. Этим чувством и был подперт его дух.

А то ведь говорили: как осторожно Ерохин ходит. Чуть карте не верит — прямо торцом в море и в обход. Не трусоват ли? Но поставьте тех, кто так говорил, командовать судном: думаю, и они не ушли бы с пожара и они бы не проверяли неверные карты своим килем.

Но вы скажете: «Что большие дела — война да море. А вот на улице...»

Да, на улице, на каждой почти улице есть свой «Иван». Был и в нашем переулке такой клевый парень, кому все не под шапку. Никому не уважит. Лезет хоть на кого. Просто, скажете, смелый — и все тут. Нет, не все. Для него вся жизнь в этой улице, тут его положение держится кулаком. Отступил — пропал. Хоть за ворота завтра не выходи. И когда его подуськивали затронуть здорового прохожего — как ему отказаться? Ага! Полез в бутылку! Слабо! И все его положение — героя и «Ивана» — повисло на волоске. И он уж кричит через дорогу:

— Эй, ты что смотришь?

(А тот и не смотрит.)

— В рыло давно не заезжали тебе, видать.— И шагает через улицу.

Все глядят, как наш-то его.

А прохожему не до того, чтоб на каждой улице драться. Прохожий уклоняется. Ага! То-то. Знай, как рыло держать.

А потом чего-то он перестал с ребятами за воротами стоять, прохожих поджидать. Днем его вовсе не стало видно. Как-то вечером слышу у ворот разговор, его голос:

— Ты сколько можешь осьминых заклепок в час забить? Не пробовал? Вот ты попробуй. У нас есть один, и посмотреть — невидный из себя парень, так он, брат, в час заколачивает — мне в три не кончить.

Потом через месяц слышу — он на ребят покрикивает:

— А вы что? Все бузу трете? Чего к человеку пристали! Человек в баню идет.

А раньше самое первое дело — задраться с таким и чтоб белье в грязь разлетелось.

Вышел из «Иванов», в другом его жизнь, в другом честь — не на улице, на заводе. Не подуськаешь: нет у него ни подъему, ни духу лезть на здорового дядю — улице свою храбрость показывать.

Вылетела прежняя подпорка его духа.

А вот еще: один мне говорил, что до того боялся кладбища, что и днем его обходил.

Раз пришлось отводить домой девочку лет семи. Дорога самая короткая — через кладбище. Она ему:

— Дяденька, кладбищем-то ближе всего, только, ой! Темно уж.

— А ты боишься, что ли?

— С вами-то мне нигде не страшно.

Мой приятель сразу усатым дядей стал. По кресту похлопывал, говорил:

— Да чего бояться, дурашка: он деревянный. Чего он тебе сделает? А покойники, они мертвые. Поди, и кости уж сгнили. Ничего там нет: земля да крест.

Девочка к нему жалась, он ее все по головке гладил.

Ну, а потом? Потом снова обходил.

На девочкино доверие оперся его дух.

НАВОДНЕНИЕ

В нашей стране есть такие реки, что не текут все время по одному месту. Такая река то бросится вправо, потечет правее, то через некоторое время, будто ей надоело здесь течь, вдруг переползет влево и зальет свой левый берег. А если берег высокий, вода подмоет его. Крутой берег обвалится в реку, и если на обрыве стоял домик, то полетит в воду и домик.

Вот по такой реке шел буксирный пароход и тащил две баржи. Пароход остановился у пристани, чтобы там оставить одну баржу, и тут к нему с берега приехал начальник и говорит:

— Капитан, вы пойдете дальше. Будьте осторожны, не сядьте на мель: река ушла сильно вправо и теперь

течет совсем по другому дну. И сейчас она идет все правее и правее и затопляет и подмывает берег.

— Ох,— сказал капитан,— мой дом на правом берегу почти у самой воды. Там остались жена и сын. Вдруг они не успели убежать?

Капитан приказал пустить машину самым полным ходом. Он спешил скорей к своему дому и очень сердился, что тяжелая баржа задерживает ход.

Пароход немного проплыл, как вдруг его сигналом потребовали к берегу. Капитан поставил баржу на якорь, а пароход направил к берегу.

Он увидел, что на берегу тысячи людей с лопатами спешат — возят землю, насыпают стенку, чтобы не пустить реку залить берег. Возят на верблюдах бревна, чтоб их забивать в берег и укреплять стенку. А машина с высокой железной рукой ходит по стенке и ковшом нагребает на нее землю.

К капитану прибежали люди и спросили:

— Что в барже?

— Камень,— сказал капитан.

Все закричали:

— Ах, как хорошо! Давайте сюда! А то вон, смотрите, сейчас река прорвет стенку и размоет всю нашу работу. Река бросится на поля и смоет все посевы. Будет голод. Скорей, скорей давайте камень!

Тут капитан забыл про жену и про сына. Он пустил пароход что есть духу и привел баржу под самый берег.

Люди стали таскать камень и укрепили стенку. Река остановилась и дальше не пошла. Тогда капитан спросил:

— Не знаете ли, как у меня дома?

Начальник послал телеграмму, и скоро пришел ответ. Там тоже работали все люди, какие были, и спасли домик, где жила жена капитана с сыном.

— Вот,— сказал начальник,— здесь вы помогли нашим, а там товарищи спасли ваших.

ОБВАЛ

Девочка Валя ела рыбу и вдруг подавилась косточкой. Мама закричала:

— Съешь скорее корку!

Но ничего не помогало. У Вали из глаз текли слезы. Она не могла говорить, а только хрипела и махала руками.

Мама испугалась и побежала звать доктора. А доктор жил за сорок километров. Мама сказала ему по телефону, чтоб он скорей, скорей приезжал.

Доктор сейчас же собрал свои щипчики, сел в автомобиль и поехал к Вале. Дорога шла по берегу. С одной стороны было море, а с другой стороны крутые скалы. Автомобиль мчался во весь дух.

Доктор очень боялся за Валю.

Вдруг впереди одна скала рассыпалась на камни и засыпала дорогу. Ехать стало нельзя.

Было еще далеко. Но доктор все равно хотел идти пешком.

Вдруг сзади затрубил гудок. Шофер посмотрел назад и сказал:

— Погодите, доктор, помощь идет.

А это спешил грузовик. Он подъехал к завалу.

Из грузовика выскочили люди. Они сняли с грузовика машину-насос и резиновые трубы и провели трубу в море.

Насос заработал. По трубе он сосал из моря воду, а потом гнал ее в другую трубу. Из этой трубы вода вылетала со страшной силой. Она с такой силой вылетала, что конец трубы людям нельзя было удержать, так он трясся и бился. Его привинтили к железной подставке и направили воду прямо на обвал. Получилось, как будто стреляют из пушки. Вода так сильно била по обвалу, что сбивала глину и камни и уносила их в море.

Весь обвал вода смыла с дороги.

— Скорей, едем! — крикнул доктор шоферу.

Шофер пустил машину. Доктор приехал к Вале, достал свои щипчики и вынул из горла косточку.

А потом сел и рассказал Вале, как завалило дорогу и как насос-гидротаран размыл обвал.

КРАСНЫЙ КОМАНДИР

Ехала мать в город с малыми ребятами в бричке. Вот въехали они уже в улицу, вдруг лошади чего-то испугались и понесли. Кучер со всей силы вожжи натя-

нул, совсем назад отвалился,— ничего лошади не чуют, несут во весь опор, вот-вот бричка перевернется.

Мать детей обхватила и кричит:

— Ой, держите, держите!

А прохожие в стороны шарахаются, к домам жмутся и сами кричат:

— Держите! Держите!

Навстречу возчик с возом сена. Испугался возчик, скорей в сторону, чуть свой воз не опрокинул и кричит: «Держите! Держите!» А бричка несется, лошади скачут как бешеные. Вот-вот бричка разломается и все полетят на каменную мостовую со всего разлета.

Вдруг из-за угла выехал красный командир на лошади. А бричка прямо на него несется. Понял командир, в чем дело. Ничего не крикнул, а повернул своего коня и стал бричке наперерез.

Все глядели, ждали, что ускачет командир, как близко подлетят бешеные лошади. А командир стоит, и конь под ним не шелохнется. Вот уж совсем налетает бричка,— вдруг лошади опомнились и стали. Чуть-чуть до командира не доехали.

А командир толкнул коня ногой и поехал дальше.

ПОЖАР

Петя с мамой и сестрами жил в верхнем этаже, а в нижнем этаже жил учитель. Вот раз мама пошла с девочками купаться. А Петя остался один стеречь квартиру.

Когда все ушли, Петя стал пробовать свою самодельную пушку. Она была из железной трубки. В середину Петя набил пороху, а сзади была дырочка, чтобы зажигать порох. Но сколько Петя ни старался, он не мог никак поджечь. Петя очень рассердился. Он пошел в кухню. Наложил в плиту щепок, полил их керосином, положил сверху пушку и зажег: «Теперь небось выстрелит!»

Огонь разгорелся, загудел в плите — и вдруг как бахнет выстрел! Да такой, что весь огонь из плиты выкинуло.

Петя испугался, выбежал из дому. Никого не было дома, никто ничего не слыхал. Петя убежал подальше.

Он думал, что, может быть, все само потухнет. А ничего не потухло. И еще больше разгорелось.

Учитель шел домой и увидал, что из верхних окон идет дым. Он побежал к столбику, где за стеклом была сделана кнопка. Это звонок к пожарным.

Учитель разбил стекло и надавил кнопку.

У пожарных зазвонило. Они скорее бросились к своим пожарным автомобилям и помчались во весь дух. Они подъехали к столбику, а там учитель показал им, где горит. У пожарных на автомобиле был насос. Насос начал качать воду, а пожарные стали заливать огонь водой из резиновых труб. Пожарные приставили лестницы к окнам и полезли в дом, чтобы узнать, не осталось ли в доме людей. В доме никого не было. Пожарные стали выносить вещи.

Петина мама прибежала, когда вся квартира была уже в огне. Милиционер никого не пускал близко, чтобы не мешали пожарным. Самые нужные вещи не успели сгореть, и пожарные принесли их Петиной маме.

А Петина мама все плакала и говорила, что, наверное Петя сгорел, потому что его нигде не видно.

А Пете было стыдно, и он боялся подойти к маме. Мальчики его увидели и насильно привели.

Пожарные так хорошо потушили, что в нижнем этаже ничего не сгорело. Пожарные сели в свои автомобили и уехали назад. А учитель пустил Петину маму жить к себе, пока не починят дом.

ПОЧТА

На севере, где живут ненцы, даже весной, когда уже всюду стаял снег, все еще стоят морозы и сильные метели.

Вот раз весной ненецкий почтальон должен был вывезти почту из одного ненецкого села в другое. Недалеко — всего тридцать километров.

У ненцев очень легкие санки — нарты. В них они запрягают оленей. Олени мчат их вихрем, быстрее всяких лошадей.

Почтальон вышел утром, посмотрел на небо, помял рукой снег и подумал: «Будет метель с полдня. А сейчас запрягу и успею проскочить раньше метели».

Он запряг четырех лучших своих оленей, надел на себя малицу — меховой халат с капюшоном, меховые сапоги и взял в руки длинную палку. Этой палкой он будет погонять оленей, чтоб они шибче бежали.

Почтальон привязал почту покрепче к нартам, вскочил на сани, сел бочком и пустил оленей во весь дух. Он уже выезжал из села, как вдруг навстречу — его сестра. Она замахала руками и крикнула:

— Стой!

Почтальон рассердился, а все-таки остановил. Сестра стала просить почтальона, чтоб он захватил с собой ее дочку к бабушке. Почтальон крикнул:

— Скорей! А то метель будет.

Но сестра долго провозилась, пока кормила и собирала девочку. Почтальон посадил девочку перед собой, и олени помчались. А почтальон еще подгонял их, чтобы успеть проехать до метели.

С полпути начал дуть ветер — прямо навстречу. Было солнце, и снег блестел, а тут вдруг стемнело, снег закружился, и не стало даже видно передних оленей. Олени начали вязнуть в снегу и остановились.

Почтальон отпряг оленей, сани поставил стоймя; привязал к ним свою длинную палку, а к концу палки привязал девочкин пионерский галстук. А сам обтопал место около саней, положил туда почту, уложил оленей, лег и прижался к ним с девочкой. Их скоро занесло снегом, а почтальон раскопал под снегом пещеру, и вышло как снежный дом. Там было тихо и тепло.

А в том селе, куда ехал почтальон, увидали, что метель, а его нет, и спросили по телефону, выехал ли он. И все поняли, что почтальона захватила метель. Ждали, когда метель пройдет.

На другой день метель все не утихала, но снег летал ниже. На оленях нельзя было ехать искать почтальона, проехать могли только аэросани.

Они — как домик на полозьях, а бегут вперед, потому что у них есть мотор. Мотор вертит воздушный винт, такой, как у самолета.

В аэросани сели доктор, шофер и два человека с лопатами. И аэросани побежали по той дороге, где ехал почтальон.

Вдруг над низкой метелью, как будто флаг из воды, увидали палку с пионерским галстуком.

Аэросани подъехали и остановились. Сейчас же раскопали почтальона, девочку и оленей. Почтальон сразу спросил:

— А еду привезли? Девочка плачет.

— Даже горячую,— сказал доктор и отнес девочку в аэросани.

Пока почтальон и девочка обогревались, прошла метель.

НА ЛЬДИНЕ

Зимой море замерзло. Рыбаки всем колхозом собрались на лед ловить рыбу. Взяли сети и поехали на санях по льду. Поехал и рыбак Андрей, а с ним его сынишка Володя. Выехали далеко-далеко. И куда кругом ни глянь, все лед и лед: это так замерзло море. Андрей с товарищами заехал дальше всех. Наделали во льду дырок и сквозь них стали запускать сети. День был солнечный, всем было весело. Володя помогал выпутывать рыбу из сетей и очень радовался, что много ловилось.

Уже большие кучи мороженой рыбы лежали на льду. Володин папа сказал:

— Довольно, пора по домам.

Но все стали просить, чтобы остаться ночевать и с утра снова ловить. Вечером поели, завернулись поплотней в тулупы и легли спать в санях. Володя прижался к отцу, чтоб было теплей, и крепко заснул.

Вдруг ночью отец вскочил и закричал:

— Товарищи, вставайте! Смотрите, ветер какой! Не было бы беды!

Все вскочили, забегали.

— Почему нас качает? — закричал Володя.

А отец крикнул:

— Беда! Нас оторвало и несет на льдине в море.

Все рыбаки бегали по льдине и кричали:

— Оторвало, оторвало!

А кто-то крикнул:

— Пропали!

Володя заплакал. Днем ветер стал еще сильней, волны набегали на льдину, а кругом было только море. Володин папа связал из двух шестов мачту, привязал на



10. Б. Житков.

конце красную рубаху и поставил, как флаг. Все глядели, не видать ли где парохода. От страха никто не хотел ни есть, ни пить. А Володя лежал в санях и смотрел в небо: не глянет ли солнышко.

И вдруг в прогалине между туч Володя увидел самолет и закричал:

— Самолет! Самолет!

Все стали кричать и махать шапками. С самолета упал мешок. В нем была еда и записка: «Держитесь! Помощь идет!» Через час пришел пароход и перегрузил к себе людей, сани, лошадей и рыбу. Это начальник порта узнал, что на льдине унесло восьмерых рыбаков. Он послал им на помощь пароход и самолет. Летчик нашел рыбаков и по радио сказал капитану парохода, куда идти.

КАК ТОНУЛ ОДИН МАЛЬЧИК

Один мальчик пошел ловить рыбу. Ему было восемь лет. Он увидал на воде бревна и подумал, что это плот: так они плотно лежали одно к другому.

«Сяду я на плот,— подумал мальчик,— а с плота можно удочку далеко забросить!»

Почтальон шел мимо и видел, что мальчик идет к воде.

Мальчик шагнул два шага по бревнам, бревна разошлись, и мальчик не удержался, упал в воду между бревнами. А бревна опять сошлись и закрылись над ним, как потолок.

Почтальон схватился за сумку и побежал что есть мочи к берегу.

Он все время глядел на то место, где упал мальчик, чтобы знать, где искать.

Я увидал, что сломя голову бежит почтальон, и я вспомнил, что шел мальчик, и вижу — его не стало.

Я в тот же миг пустился туда, куда бежал почтальон. Почтальон стал у самой воды и пальцем показывал в одно место.

Он не сводил глаз с бревен. И только сказал:

— Тут он!

Я взял почтальона за руку, лег на бревна и просунул руку, куда показывал почтальон. И как раз там, под водой меня стали хватать маленькие пальчики. Мальчик не мог вынырнуть. Он стукался головой о бревна и искал руками помощи. Я ухватил его за руку и крикнул почтальону:

— Тяни!

Мы вытащили мальчика. Он почти захлебнулся. Мы его стали тормошить, и он пришел в себя. А как только пришел в себя, он заревел.

Почтальон поднял удочку и говорит:

— Вот и удочка твоя. Чего ты ревешь? Ты на берегу. Вот солнышко!

А он:

— Ну да, а картуз мой где?

Почтальон махнул рукой.

— Чего слезы-то льешь? И так мокрый. И без картуза мамка тебе обрадуется. Беги домой.

А мальчик стоял.

— Ну, найди ему картуз,— сказал почтальон,— а мне надо идти.

Я взял у мальчика удочку и стал шарить под водой. Вдруг что-то нацепилось, я вынул, это был лапоть. Я еще долго шарил. Наконец вытащил какую-то тряпку. Мальчик сразу узнал, что это картуз. Мы выжали из него воду. Мальчик засмеялся и сказал:

— Ничего, на голове обсохнет!

ДЫМ

Никто этому не верит. А пожарные говорят:

— Дым страшнее огня. От огня человек убегает, а дыму не боится и лезет в него. И там задыхается. И еще: в дыму ничего не видно. Не видно, куда бежать, где двери, где окна. Дым ест глаза, кусает в горле, щиплет в носу.

И пожарные надевают на лицо маски, а в маску по трубке идет воздух. В такой маске можно долго быть в дыму, но только все равно ничего не видно.

И вот один раз тушили пожарные дом. Жильцы выбежали на улицу.

Старший пожарный крикнул:

— А ну, посчитайте, все ли?

Одного жильца не хватало.

И мужчина кричал:

— Петька-то наш в комнате остался!

Старший пожарный послал человека в маске найти Петьку. Человек вошел в комнату.

В комнате огня еще не было, но было полно дыму.

Человек в маске обшарил всю комнату, все стены и кричал со всей силы через маску:

— Петька, Петька! Выходи, сгоришь! Подай голос.

Но никто не отвечал.

Человек услышал, что валится крыша, испугался и ушел.

Тогда старший пожарный рассердился:

— А где Петька?

— Я все стены обшарил,— сказал человек.

— Давай маску! — крикнул старший.

Человек начал снимать маску. Старший видит — потолок уже горит. Ждать некогда.

И старший не стал ждать — окунул рукавицу в ведро, заткнул ее в рот и бросился в дым.

Он сразу бросился на пол и стал шарить. Наткнулся на диван и подумал: «Наверное, он туда забился, там меньше дыму».

Он сунул руку под диван и нащупал ноги. Схватил их и потянул вон из комнаты.

Он вытянул человека на крыльцо. Это и был Петька. А пожарный стоял и шатался. Так его заел дым.

А тут как раз рухнул потолок, и вся комната загорелась.

Петьку отнесли в сторону и привели в чувство. Он рассказал, что со страху забился под диван, заткнул уши и закрыл глаза. А потом не помнит, что было.

А старший пожарный для того взял рукавицу в рот, что через мокрую тряпку в дыму дышать легче.

После пожара старший сказал пожарному:

— Чего по стенам шарил! Он не у стенки тебя ждать будет. Коли молчит, так, значит, задохнулся и на полу валяется. Обшарил бы пол да койки, сразу бы и нашел.

БОРОДА

Один старик шел ночью через лед. И уж совсем подходил к берегу, как вдруг лед подломился, и старик упал в воду. А у берега стоял пароход, и с парохода шла железная цепь в воду к якорю.

Старик добрался до цепи и стал по ней лезть. Вылез немного, устал и стал кричать: «Спасите!»

Матрос на пароходе услыхал, поглядел,— а на якорной цепи кто-то прицепился и кричит.

Матрос не стал долго думать, нашел веревку, схватил конец в зубы и полез по цепи вниз спасать старика.

— На,— говорит матрос,— веревку, обвяжись, дедушка, я тебя вытяну.

А дедушка говорит:

— Нельзя меня тянуть: у меня борода к железу примерзла.

Матрос достал нож.

— Отрежь,— говорит,— дед, бороду.

— Нет,— говорит дед.— Как же мне без бороды?

— Не до весны же ты на бороде висеть будешь,— сказал матрос, отхватил ножом бороду, обвязал старика и вытянул его на веревке.

Потом матрос привел его в теплую каюту и говорит:

— Раздевайся, дедушка, да ложись в постель, а я тебе чаю согрею.

— Какой чай,— говорит дед,— коли без бороды теперь.— И заплакал.

— Смешной ты, дед,— сказал матрос.— Чуть было совсем ты не пропал, а чего бороды жалеть, коли она вырастет.

Стащил с себя старик мокрую одежду и лег в теплую постель. А наутро сказал матросу:

— Твоя правда: вырастет борода, а без тебя бы я пропал.

В ГОРАХ

Три брата шли в горах по дороге. Они шли вниз. Был вечер, и внизу они уже видели, как засветилось окно в их доме.

Вдруг собрались тучи, стало сразу темно, грянул гром, и полил дождь. Дождь был такой сильный, что по дороге вниз потекла вода, как в речке. Старший сказал:

— Стойте, вот тут скала, она нас немного прикроет от дождя.

Все трое присели под скалой и стали ждать.

Младшему, Ахмету, надоело сидеть, он сказал:

— Я пойду. Чего трусить? До дому недалеко. Не хочу я здесь с вами мокнуть. Поужинаю и в сухой постели переночую.

— Не ходи — пропадешь,— сказал старший.

— Я не трус,— сказал Ахмет и вышел из-под скалы.

Он смело зашагал по дороге — вода ему нипочем.

А вода уж ворочала камни и катила их вниз за собой. Камни догоняли и с разгону били Ахмета по ногам. Он пустился бежать.

Он хотел разглядеть впереди огонек в доме, но дождь так лил, что ничего впереди не было видно.

«Не вернуться ли?» — подумал Ахмет. Но стыдно стало: похвастал — теперь засмеют его братья.

Тут сверкнула молния, и ударил такой гром, будто все горы треснули и повалились. Когда молния осветила, Ахмет не узнал, где он.

«Ой, кажется, я заблудился»,— подумал Ахмет и испугался.

Ноги ему избило камнями, и он пошел тише.

Он совсем тихонько ступал и боялся оступиться. Вдруг снова ударила молния, и Ахмет увидал, что прямо перед ним обрыв и черная пропасть.

Ахмет так и сел на землю от страха.

«Вот,— подумал Ахмет,— если б я ступил еще шаг, я сорвался бы вниз и разбился б насмерть».

Теперь ему страшно стало и назад идти. А вдруг опять там обрыв и пропасть.

Он сидел на мокрой земле, и сверху лил на него холодный дождь.

Ахмет только думал:

«Хорошо, что я еще один шаг не ступил: пропал бы я совсем».

А когда настало утро и прошла гроза, братья нашли Ахмета. Он сидел на краю пропасти и весь закоченел от холода.

Братья ему ничего не сказали, а подняли и повели домой.

КАК УТОНУЛ ПАРОХОД

Была война. Люди боялись, чтобы враги не приплыли к их земле на военных кораблях. Военные корабли из пушек могут все на берегу разбить. А потом могут привезти с собой солдат и высадить их на берег.

Так вот, чтоб военные корабли боялись подходить к берегу, в море пускали большие круглые железные коробки. Эта коробка так устроена, что если за нее заденет пароход, то она сейчас же взорвется. Да с такой силой, что непременно сделает дырку в пароходе. И в пароход начнет набираться вода, и тогда он может потонуть.

Эти коробки называют минами. Чтобы мины никуда не уносило и чтобы они стояли около берега в воде, их привязывают проволочной веревкой к тяжелым якорям. Якоря крепко лежат на дне и держат мины. Чтобы их сверху не было видно, проволочную веревку делают покороче, так что мина сидит под водой, но не очень глубоко. Пароход над ней не пройдет, непременно дном зацепит. Когда воевали, много военных кораблей наскакивало на мины. Мины взрывались и топили корабли.

Но вот кончилась война. Вынули из воды мины. А когда подсчитали, то вышло, что вынули не все. Немного мин еще осталось в море. Их не могли найти.

По морю стали ходить простые пароходы, а не военные. Простые пароходы перевозили людей и товары из порта в порт, из страны в страну.

Один пароход шел с грузом. Дело было летом, и была спокойная погода. Пароход проходил мимо рыбаков, и с парохода все смотрели, как рыбаки поднимают сети и много ли попалось рыбы.

Вдруг раздался такой удар, будто гром. Пароход тряхнуло, и из-под борта взлетел в воздух сноп воды выше мачты. Это пароход толкнул мину, и она взорвалась. Пароход стал быстро тонуть.

Рыбаки оставили сети, подплыли на лодках к пароходу и взяли всех людей. Капитан долго не хотел уходить. Ему было жалко парохода. Он думал, что, может быть, пароход можно как-нибудь спасти и он не утонет. Но все видели, что пароход все равно утонет. И капитана силой взяли в лодку.

Пароход пошел на дно вместе с грузом.

КАК ПОДНЯЛИ ПАРОХОД СО ДНА

Пароход опустился на дно и лег, наклонившись набок. У него была большая пробоина, и он весь был наполнен водой.

Вода была там, где стоит машина; вода была в каютах, где жили люди; вода была в трюмах, где лежал товар. Маленькие рыбки заходили заглянуть, нет ли чем поживиться.

Капитан очень хорошо знал место, где утонул его пароход. Там было не очень глубоко: туда могли спуститься водолазы. Пароход решили поднять!

Пришел спасательный пароход и стал спускать под воду водолазов. Водолазы все одеты в резиновые костюмы: через них вода не проходит. Грудь и воротник у этого костюма — медные. Голову водолаза закрывают медным колпаком. Этот колпак привинчивают к воротнику. А в медном колпаке есть стеклянное окошечко — чтобы водолазу смотреть. И еще в этот колпак идет резиновая труба, в нее сверху качают воздух, чтобы водолаз под водой мог дышать.

Водолазы привязали к пароходу большущие бидоны — понтоны. В эти понтоны напустили по трубам воздух. Понтоны поплыли вверх, потянули с собой пароход.

Когда пароход всплыл, все обрадовались, и больше всех капитан. Пароход на буксире повели в починку. На нем был только один человек. Это капитан скорей захотел пойти на свой пароход. Двадцать дней чинили пароход — и заделали пробоину.

СКАТ

Один старик пошел утром на море удить рыбу. Он пошел по берегу поискать, где б получше. Вдруг видит: недалеко от берега торчат из воды камни, а на камнях сидят двое с удочками и то и дело рыбу вытягивают.

«Ну-ка и я с ними»,— подумал старик. Разделся, взял одежу в охапку, пошел вброд к камням, где сидели рыболовы.

Он вошел уж по грудь в воду, как вдруг вскрикнул, выпустил удочку и одежу, опрокинулся назад и пошел под воду.

Рыболовы оглянулись, бросили удочки и кинулись спасать старика.

Когда они вытащили его на берег, то увидели, что у старика живот разрезан, как ножом, и кровь течет ручьем.

Младший испугался и говорит:

— Дядя Вася, я боюсь, старик сейчас помрет, вон и глаза закрыл.

А дядя Вася сказал:

— Это его скат ударил, рыба такая. Ты, Федька, здесь стой, а я побегу, тут доктор живет, приведу.

И дядя Вася побежал бегом что было мочи.

Федя отвернулся, боялся на старика глядеть и думал, что умер уже старик, потому что он не охал и ничего не говорил.

Вдруг видит Федя: бежит дядя Вася, а за ним доктор. Тогда Федя оглянулся на старика, а он глазами моргает.

Федя вскочил и побежал навстречу доктору и стал кричать во весь голос:

— Моргает, моргает!

А доктор расстелил на песке простыню и говорит:

— Осторожно берем, кладем его на простыню.

Тут старик застонал и говорит:

— Ой, не трожьте меня, дайте помереть спокойно.

— Помереть успеешь,— сказал доктор и велел нести старика в дом, да скорей.

Федя с дядей Васей понесли старика на простыне, как могли скорей, а доктор вперед бегом побежал.

У доктора положили старика на стол, и доктор сказал, что пусть все уйдут.

Пошли дядя Вася с Федей к своим удочкам, а дядя Вася и говорит:

— Это рыба такая есть — скат, у ней хвост, а на хвосте тонкая пилочка. Как махнет скат хвостом, так этой пилочкой может и лошади ноги подрезать. Он спал, должно быть, на дне, а старик не видал и наступил на него. Он взвился да и резанул старика по животу. Ну,— говорит дядя Вася,— пришли! Идем на каменья.

— Нет,— говорит Федя,— я уж не пойду. Иди сам.

— Ну,— сказал дядя Вася,— ската уж спугнули, он уж куда теперь уплыл! А боишься, так я вперед пойду, ты за мной.

И пошел. Феде стыдно стало, и он пошел следом.

А вечером они зашли к доктору спросить, как старик, жив ли.

Доктор вышел, говорит:

— Вот хорошо, что меня скоро позвали. Жив старик. Я ему живот зашил, авось выздоровеет.

Через неделю пустил доктор Федю с дядей Васей старика посмотреть.

— А я уж думал, что помру,— сказал старик,— да вот доктору спасибо, не дал помереть.

А доктор сказал:

— Ты вот им спасибо скажи, что вытащили.

А Федя сказал:

— Это дядя Вася доктора позвал; полетел, что пуля.

— Э,— сказал старик,— чем же я вас благодарить буду! Нет у меня ничего. Только вот разве рыбы наловлю да вас всех позову уху хлебать.

РАЗИНЯ

Девочку Сашу мама послала в кооператив. Саша взяла корзинку и пошла. Мама ей вслед крикнула:

— Смотри, сдачу-то не забудь взять. Да гляди, чтоб кошелек у тебя не вытащили!

Вот Саша заплатила в кассе, кошелек положила в корзинку на самое дно, а сверху ей насыпали в корзинку картошки. Положили капусты, луку — полна корзинка. А ну-ка, вытащи оттуда кошелек! Саша-то вон как хитро придумала от воров! Вышла из кооператива и тут вдруг забоялась: ой, кажется, сдачу-то опять забыла взять, а корзинка тяжелющая! Ну, на одну минутку Саша поставила корзинку у дверей, подскочила к кассе:

— Тетенька, вы мне, кажется, сдачи не дали.

А кассирша ей из окошка:

— Не могу я всех помнить.

А в очереди кричат:

— Не задерживай!

Саша хотела взять корзинку и уж так, без сдачи, идти домой. Глядь, а корзинки нет. Вот перепугалась Саша! Заплакала да как закричит во весь голос:

— Ой, украли, украли! Корзинку мою украли! Картошку, капусту!

Люди обступили Сашу, ахают и бранят ее:

— Кто ж вещи свои так бросает! Так тебе и надо!

А заведующий выскочил на улицу, вынул свисток и начал свистеть: милицию звать. Саша думала, что сейчас ее в милицию заберут за то, что она разиня, и еще громче заревела. Пришел милиционер.

— В чем тут дело? Чего девочка кричит?

Тут милиционеру рассказали, как обокрали Сашу. Милиционер говорит:

— Сейчас устроим, не плачь.

И стал говорить по телефону.

Саша боялась домой идти без кошелька и корзинки. И тут стоять ей тоже страшно было. А ну как милиционер в милицию сведет? А милиционер пришел и говорит:

— Ты никуда не уходи, стой здесь!

И вот приходит в магазин человек с собакой на цепочке. Милиционер на Сашу показал:

— Вот у нее украли, вот у этой девочки.

Все расступились, человек подвел собаку к Саше. Саша думала, что собака ее сейчас начнет кусать. Но собака только ее нюхала и фыркала. А милиционер в это время спрашивал Сашу, где она живет. Саша просила милиционера, чтобы он ничего маме не говорил. А он смеялся, и все кругом тоже смеялись. А тот человек с собакой уже ушел.

Милиционер тоже ушел. А Саша боялась домой идти. Села в угол прямо на пол. Сидит — ждет, что будет.

Она долго там сидела. Вдруг слышит—мама кричит:

— Саша, Сашенька, ты здесь, что ли?

Саша как крикнет:

— Тута! — и вскочила на ноги.

Мама схватила ее за руку и привела домой.

А дома в кухне стоит корзина с картошкой, капустой и луком. Мама рассказала, что собака повела того человека по нюху следом за вором, нагнала вора и схватила зубами за руку. Вора отвели в милицию, корзинку у него отобрали и принесли маме. А вот кошелька не нашли, так он и пропал с деньгами вместе.

— И вовсе не пропал! — сказала Саша и перевернула корзинку. Картошка высыпалась, и кошелек со дна выпал.

— Вот какая я умная! — говорит Саша.

А мама ей:

— Умная, да разиня.

БЕЛЫЙ ДОМИК

Мы жили на море, и у моего папы была хорошая лодка с парусами. Я отлично умел на ней ходить — и на веслах и под парусами. И все равно одного меня папа никогда в море не пускал. А мне было двенадцать лет.

Вот раз мы с сестрой Ниной узнали, что отец на два дня уезжает из дому, и мы затеяли уйти на шлюпке на ту сторону; а на той стороне залива стоял очень хорошенький домик: беленький, с красной крышей. А кругом домика росла рощица. Мы там никогда не были и думали, что там очень хорошо. Наверно, живут добрые старик со старушкой. А Нина говорит, что непременно у них собачка и тоже добрая. А старики, наверное, простоквашу едят и нам обрадуются и простокваши дадут.

И вот мы стали копить хлеб и бутылки для воды. В море-то ведь вода соленая, а вдруг в пути пить захочется?

Вот отец вечером уехал, а мы сейчас же налили в бутылки воды потихоньку от мамы. А то спросит: зачем? — и тогда все пропало.

Чуть только рассвело, мы с Ниной тихонько вылезли из окошка, взяли с собой наш хлеб и бутылки в шлюпку. Я поставил паруса, и мы вышли в море. Я сидел как капитан, а Нина меня слушалась как матрос.

Ветер был легонький, и волны были маленькие, и у нас с Ниной выходило, будто мы на большом корабле, у нас есть запасы воды и пищи, и мы идем в другую страну. Я правил прямо на домик с красной крышей. Потом я велел сестре готовить завтрак. Она наломала меленько хлеба и откупорила бутылку с водой. Она все сидела на дне шлюпки, а тут, как встала, чтобы мне подать, да как глянула назад, на наш берег, она так закричала, что я даже вздрогнул:

— Ой, наш дом еле видно! — и хотела реветь.

Я сказал:

— Рева, зато старичков домик близко.

Она поглядела вперед и еще хуже закричала:

— И старичков домик далеко: нисколько мы не подъехали. А от нашего дома уехали!

Она стала реветь, а я назло стал есть хлеб как ни в чем не бывало. Она ревела, а я приговаривал:

— Хочешь назад, прыгай за борт и плыви домой а я иду к старичкам.

Потом она попила из бутылки и заснула. А я все сижу у руля, и ветер не меняется и дует ровно. Шлюпка идет гладко, и за кормой вода журчит. Солнце уже высоко стояло.

И вот я вижу, что мы совсем близко уж подходим к тому берегу и домик хорошо виден. Вот пусть теперь Нинка проснется да глянет — вот обрадуется! Я глядел, где там собачка. Но ни собачки, ни старичков видно не было.

Вдруг шлюпка споткнулась, стала и наклонилась набок. Я скорей опустил парус, чтобы совсем не опрокинуться. Нина вскочила. Спросонья она не знала, где она, и глядела, вытаращив глаза. Я сказал:

— В песок ткнулись. Сели на мель. Сейчас я спихну. А вон домик.

Но она и домику не обрадовалась, а еще больше испугалась. Я разделся, прыгнул в воду и стал спихивать.

Я выбился из сил, но шлюпка ни с места. Я ее клонил то на один, то на другой борт. Я спустил паруса, но ничто не помогло.

Нина стала кричать, чтобы старичок нам помог. Но было далеко, и никто не выходил. Я велел Нинке выпрыгнуть, но и это не облегчило шлюпку: шлюпка прочно вкопалась в песок. Я пробовал пойти вброд к берегу. Но во все стороны было глубоко, куда ни сунься. И никуда нельзя было уйти. И так далеко, что и доплыть нельзя.

А из домика никто не выходил. Я поел хлеба, запил водой и с Ниной не говорил. А она плакала и приговаривала:

— Вот завез, теперь нас здесь никто не найдет. Посадил на мель среди моря. Капитан! Мама с ума сойдет. Вот увидишь. Мама мне так и говорила: «Если с вами что, я с ума сойду».

А я молчал. Ветер совсем затих. Я взял и заснул.

Когда я проснулся, было совсем темно. Нинка хныкала, забившись в самый нос, под скамейку. Я встал на ноги, и шлюпка под ногами качнулась легко и свободно. Я нарочно качнул ее сильней. Шлюпка на свободе. Вот я обрадовался! Ура! Мы снялись с мели. Это ветер переменился, нагнал воды, шлюпку подняло, и она сошла с мели.

Я огляделся. Вдали блестели огоньки — много-много. Это на нашем берегу: крохотные, как искорки. Я бро-

сился поднимать паруса. Нина вскочила и думала сначала, что я с ума сошел. Но я ничего не сказал. А когда уже направил шлюпку на огоньки, сказал ей:

— Что, рева? Вот и домой идем. А реветь нечего.

Мы всю ночь шли. Под утро ветер перестал. Но мы были уже под берегом. Мы на веслах догреблись до дому. Мама и сердилась и радовалась сразу. Но мы выпросили, чтобы отцу ничего не говорила.

А потом мы узнали, что в том домике уже целый год никто не живет.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ПАРТИЗАНА»

На заводе сделали пароход. Его строили на берегу и вот теперь спускают в воду. Назвали пароход — «Партизан».

«Партизан», совсем готовый, стоит у пристани, и в него кладут груз. Ему назначили идти в Ледовитый океан. Там никогда не тает лед. Там на далеком острове люди ждут не дождутся парохода. Им нужны доски для постройки дома, нужны мука, сахар, овощи, молоко. «Партизан» везет им даже живую корову.

«Партизан» очень торопится. Если его застанет зима, ему не выбраться изо льда без помощи ледокола и не вернуться назад.

Машина работает полным ходом. «Партизан» идет днем и ночью. По ночам зажигаются огни: белые на мачтах, а по бокам красный и зеленый, чтобы встречные пароходы не натолкнулись на него.

Вдруг поднялась страшная буря. Идти вперед стало трудно. Огромные волны рвались на пароход. Но «Партизан» был крепкий и сильный пароход: он шел сквозь ветер и волны все вперед и вперед. Капитан знал: на далеком острове ждут люди. Если он запоздает и его захватит в пути зима, они останутся без хлеба.

Но вот капитан увидел: гибнет в море парусный корабль. Нужно спасать людей! С «Партизана» перекинули веревку, а на паруснике прикрепили ее к мачте. К веревке привязали корзину, и в ней перетаскивали людей на «Партизан». Всех спасли и отправились дальше. Все скорей, скорей!..

Уже полпути прошел «Партизан» благополучно. Но тут поднялся на море туман. Ничего кругом не видно, как будто в молоке плывешь. «Партизан» идет медленно и гудит в гудок, чтоб не столкнуться. Как вдруг совсем близко показался другой пароход. Капитан хотел повернуть, но было уже поздно. Встречный пароход ударил «Партизана» в бок и пробил большую дыру.

Но «Партизан» не потонул. Пробоина была в борту над водой. Пришлось идти в порт, чтобы зачинить пробоину. Капитан просил, чтобы чинили скорее. Надо было до зимы успеть на далекий остров. На месте пробоины поставили новый железный лист, и «Партизан» опять стал как новый.

Теперь «Партизан» спешил больше прежнего и все-таки не успел: льды окружили его со всех сторон.

Не пробить «Партизану» льда. Но тут помог ему пароход-ледокол. Ледоколу лед нипочем. Он его разбивает и делает среди льда канал, похожий на речку с ледяными берегами. По этой речке за ледоколом и пошел «Партизан».

Так за ледоколом прошел «Партизан» к острову, где его давно ждали люди. Капитан все рассказал, что с ним было в пути. И все радовались, что пароход все-таки пришел до зимы. Стали скорее выгружать сахар, муку, доски, а корову свели по сходням. Потом на пароход нагрузили звериные шкуры, моржовые клыки — все, что наловили и настреляли за целый год.

На севере был уже мороз, когда «Партизан» пошел домой.

В море налетела на корабль морозная буря, волны захлестывали палубу, и вода замерзала. От тяжести льда пароход мог перевернуться. Люди скалывали лед три дня и три ночи без отдыха и спасли «Партизана».

Чем ближе к дому, тем становилось теплей. А когда пришли домой, было уже совсем тепло и светило солнышко. Пароход украсили флагами. На пристани его встречали люди; они махали шапками и кричали «ура». Все были рады, что «Партизан» не замерз во льдах. Он доставил все необходимое людям на острове. А оттуда привез много мехов и шкур, и тюленьего жира, и соленой рыбы, и моржовых клыков, и даже живого белого мишку для зоосада.

МЕТЕЛЬ

Мы с отцом на полу сидели. Отец чинил кадушку, а я держал. Клепки рассыпались, отец ругал меня, чертыхался: досадно ему, а у меня рук не хватает.

Вдруг входит учительша Мария Петровна — свезти ее в Ульяновку: пять верст, и дорога хорошая, катаная,— дело на святках было.

Я оглянулся, смотрю на Марью Петровну, а отец крикнул:

— Да держи ты! Рот разинул!

Мать говорит:

— Присядьте.

А Марья Петровна строго спрашивает:

— Вы мне прямо скажите: повезете или нет?

Отец в бороду говорит:

— Некому у нас везти! — И стал клепки ругать еще крепче прежнего.

Марья Петровна повернулась — и в двери. Мать накинула платок и, в чем была, за ней.

Я тоже подумал, что стыдно. Вся деревня знает, что мы новую пару прикупили, двух кобылок, и что санки у нас есть городские.

Мать вернулась сердитая:

— Иди запрягай сейчас, живым духом! Я держать буду.— Оттолкнула меня и села у кадушки.

Вижу, отец молчит. Я вскочил и стал натягивать валенки. Живой рукой запряг. Торопился, а то вдруг отец передумает?

Запряг я новых кобылок в городские санки, сена навалил в ноги, сел на облучок бочком, форсисто, и заскрипел санками по улице прямо к школе.

День солнечный был, больно на снег глядеть — так блестит; парой еду, и на правой кобылке бубенчики звенят. Только кнутовищем в передок стукну — эх, как подымут вскачь! — молодые, держи только.

Чертом я подкатил к учительше под окно. Постучал в окно, кричу:

— Подано, Марья Петровна!

Сам около саней рукавицами хлопаю — рукавицы батькины, и руки здоровые кажутся, как у большого.

Марья Петровна кричит в двери — из дверей пар, и она — как в облаке.

— Иди погрейся,— кричит,— пока мы оденемся!

— Ничего,— говорю,— мы так, нам в привычку. Топаю около саней, шлею поправляю, посвистываю? А что? Пятнадцать лет, мужик уже скоро вполне.

Вот вышли они: Марья Петровна и Митька. Она своего Митьку завязала — глаз не видать. Весь в платках, в башлыке, чужая шуба до полу, еле идет, путается и дороги не видит. Учительша его за руку тянет. А ему тринадцатый год. Летом мы с ним играли, подрались; я ему, помню, накостылял. Ему стыдно, что его такой тютей укутали, разгребает башлык варежкой, а я нарочно ему ноги в сено заправляю, прикрываю армяком:

— Так теплее будет.

Вскочил на облучок, ноги в стороны, обернулся:

— Трогать прикажете? — И зазвенел по дороге.

Скрипят полозья — тугой снег, морозный.

Пять верст до Ульяновки мигом мы доехали. Марья Петровна Митьке все говорила:

— Да не болтай ты — надует, простудишься!

А я на кобыл покрикиваю.

В Ульяновке они у тамошней учительши гостили, а я к дядьке пошел.

Еще солнце не зашло, присылает за мной — едем. Ульяновка, надо сказать, вся в ложбине. А кругом степь; на сто верст одни поля.

Дядька глянул в дверь и говорит:

— Вон, гляди, воронье под кручу попряталось, вон черное на самом снегу умостилось — гляди, кабы в степи-то не задуло! Уж ехать — так валяй вовсю, авось проскочишь.

— Ладно,— говорю,— пять верст. Счастливо! — И отмахнул шапкой.

Пока запрягал, пока учительша Митьку кутала, смотрю — береть стало. Только я тронул, а дядька навстречу идет, полушубок в опашку.

— Не ехать бы,— говорит,— на ночь-то! Остались бы до утра.

А я стал кричать нарочно, чтобы учительша не услыхала, что дядька говорит:

— Хорошо, я матке поклонюсь. Ладно! Спасибо! И стегнул лошадей, чтобы скорее от него подальше.

Выбрались мы из низинки. Вот она, ровная степь, и дует поземка, по грудь лошадям метет снег. И на минуту подумалось мне: «Ай вернуться?» И сейчас как

толкнул кто: мужик бы не струсил; вот оно, скажут, с мальчишкой-то ездить — завез, и ночуй. Пять верст всего. Я подхлестнул лошадей и крикнул весело:

— А ну, не спи! Шевелися!

Слушаю, как лошади топочут: дробно бьют,— не замело, значит, дороги. А уж глазом не видать, где дорога: метет низом да и небо замутилось. Подхлестнул я лихо, а у самого в груди екнуло: не было б греха.

А тут Марья Петровна сзади говорит из платка:

— Может быть, вернемся, Колька! Ты смотри!

— Чего,— говорю,— там смотреть, пять верст всего. Вы сидите и не тревожьтесь.— И оправил ей армяк на коленях.

Тут как раз от Ульяновки в версте выселки, пять домов на дороге. И вот я туда, а тут сугроб. Намело горой. Я хотел свернуть, вижу — поздно. Ворочать буду — дышло сломаю. И я погнал напролом. Сам соскочил, по пояс в снегу, ухаю на лошадей грубым голосом. Они станут, отдышатся и опять рвут вперед.

Летит снег; как в реке, барахтаются мои кобылки. Собака затявкала на мой крик. Баба выглянула,— кацавейка на голове. Постояла — и в избу. Гляжу: мужики идут, не торопясь, по снегу. Досадно мне стало. Выходит, что я сам не могу. Я толкал что есть мочи сани, нахлестывал лошадей, спешил стронуть до мужиков, но лошади стали. Мужики подошли.

— Стой, не гони, дурак, выпрягать надо.

И старик с ними. Хлипкий старичок. Выпрягли лошадей. Учительшу и Митьку на руках вынесли. Вывернули сани — вчетвером-то эка штука!

— Ночуй,— говорит,— здесь, метет в поле.

— Ладно,— говорю,— учительша пусть как знает, а я еду, некогда мне вожжаться! — И стал запрягать. Руки мерзнут, ремни мерзлые — колодой стоят.— Еду я — и край! — говорю.

А старик:

— Добром тебе говорю — смотри и помни: звал я тебя, не мой грех будет, коли что.

Я сел на козлы.

— Ну что,— кричу,— едете? — И взял вожжи.

Марья Петровна села. Я тронул и оглянулся. Старик стоял среди дороги и крикнул мне:

— Вернись!



Я еле через ветер услышал. Без охоты лошади тронули. Ой, вернуться?!

— А, черт! Пошла! — И ляпнул я кнутом по лошадям. Поскакали. Я оглянулся, и уже не видно ни домов, ни заборов — белой мутью заволокло сзади.

Я скакал напропалую вперед, и вот лошади стали уже мягко ступать, и я увидел, что загрузает нога. Я придержал и с облучка ткнул кнутовищем в снег.

— Что? Что? — всполохнулась Марья Петровна.— Сбились? Этого я и боялась.

— Чего там бояться? Вот она, дорога.

А кнут до половины залег в снег.

— А ну, задремали! — И дернул вожжи.

Лошади пошли осторожной рысцой.

И вот вижу я, что валит уж снег с неба, сверху несет его ветер, кружит, как будто того и ждала, метель, чтоб отъехал я от выселков. Вот, как назло, заманила и поймала. И сразу в меня холод вошел: пропали! Поймала и знает, где мы, и заметет, совсем насмерть заметет, и спешит, и воет, и торопится.

— Что? Что? — кричит учительша.

А я уже не отвечаю: чего там что? Не видишь, мол, что? Заманила метель в ловушку. Да я сам же, дурак, скакал прямо сюда. Конец теперь!

И вспомнился старичок, как он на дороге стоял, на ветру его мотало: «Вернись!»

И вдруг Митька взвыл, ревом взвыл, каким-то страшным голосом, не своим:

— Назад, назад! Ой, назад! Не хочу! Не надо! Назад! — И стал червем виться в своих намотках.

Мать его держит; он бьется, вырывается и ревет, ревет как на кладбище, рвет на себе башлык.

Учительша ему:

— Митя! Митя! Да в самом же деле, да что же это? Митечка! — И кричит мне: — Поворачивай, поворачивай!

У меня руки ходуном пошли. Я задергал вожжами. Ветер сечет, слезит глаза, забивает снегом. Мне от слез горько и от этого реву Митькиного, а она еще в голос молится. А куда его поворачивать? Всюду одно: снег и снег. Дыбом его подняло и метет и крутит до самого неба.

И вдруг учительша нагнулась ко мне, слышу в самое ухо кричит:

— Пусти лошадей, пусть они сами вывезут, пусть они сами!

Я бросил вожжи. Лошади шагом пошли.

А учительша причитает:

— Лошадушки! Милые! Милые лошадушки!.. Да что же это? Господи!

Я отвернулся от ветра, глянул: они с Митькой от снега белые-белые, как из снега вылеплены. Посмотрел — и я такой же. И представилось мне, что занесет нас, заметет, и потом найдут нас троих замерзшими, так и сидим в санях съежившись. И не дай бог я живой останусь — вот оно, заморозил, погубил. И опять старик причудился: «Звал я тебя, не мой грех, коли что». А теперь уж все равно никуда не приехать.

И вдруг я увидел, что наехали мы на колею. Глянул я — от наших саней, от подрезных, колея. И увидел я, что кружат лошади. Да куда они вывезут? Неделю они у нас, ездил батька раз всего в волость за карточками. Я вырвал клок сена, свил жгутом, слез, втоптал в снег. И вот опять наехали мы на колею, и вот он, мой жгут, торчит, и замести не успело; тут мы, на месте крутимся. И понял я вдруг, что можно сто верст в этой метели ехать, ехать и никуда не приедешь, все равно как не стало на свете ничего, только снег да санки наши.

— Ну что? Ну что? — спрашивает учительша.

— Кружат,— говорю,— никуда не идут, не знают.

И она заплакала. И вот тут меня ударило: что я наделал! Погубил, погубил, как душегуб. И захотелось слезть и бежать, бежать,— пусть я замерзну, пусть заметет с головой, черт со мной совсем!

И вдруг Марья Петровна говорит:

— Ничего, мы тут ночевать будем. Авось как-нибудь. Уж вместе, коли что...

И спокойно так говорит. И вот тут как что в меня вошло. Остановил я лошадей. Слез.

— Полезайте,— говорю,— вы, Марья Петровна, с Митькой вниз, я вас укрою. Полезайте, дело говорю.— И стал сено разгребать. Как будто и не я стал, все твердо так у меня пошло.

Смотрю, она слушает, лезет и Митьку туда упрятала. Скорчились они там. Я их сеном, армяком подоткнул кругом, и сейчас же снегом замело их сверху, только я знаю, что они там и тепло им, как будто дети мои, а я им отец. И как будто в ум я пришел. Дует ветер мне

в ухо, перетянул я шапку на сторону и вспомнил: ведь в левое ухо мне дуло, как я из выселков ехал. Дуть ему теперь в правое, и выеду я назад: не больше версты я отъехал, не может быть, чтобы больше: здесь они должны, заборы эти, быть.

Я погнал лошадей и пошел рядом. Иду правым ухом к ветру. Слышу, кричит что-то Марья Петровна из саней, еле слыхать, как за версту голос. Я подошел:

— Вам чего? Подоткнуть?

— Не отходи от саней, Коленька,— говорит,— не отходи, милый, потом залезешь, погреешься. Гукай на лошадей, чтобы я слышала.

— Ладно,— говорю,— не беспокойтесь.

«Ничего,— думаю,— живые там у меня».

Вижу, лошади стали: по самое брюхо в снегу. Я пошел вперед.

Сам все на сани оглядываюсь — не потерять бы. Лошади головы подняли, глядят на меня бочком, присматриваются. Вижу, там снегу больше да больше. Я тихонько стал сворачивать по ветру. Думаю: сугроб это, и я объеду. И только я снова на выселки сверну — опять намет. И вижу: не пробиться к выселкам. А если влево за ветром ехать, то должна быть Емельянка, и туда семь верст. И вот пошел я за ветром и вижу: меньше снегу стало,— это мы на хребтину выбрались — сдуло ветром снег.

А я все так: пройду вперед и вернусь к лошадям. Веду под уздцы. Пройду, сколько мне сани видны, и опять к лошадям, веду их. А как иду рядом с лошадью, она на меня теплом дышит, отдувается. И уж опять нельзя идти по ветру — снегу наметы впереди; прошел я — и по грудь мне. Только я уж знаю, что мы хребтиной идем, а вот тут овраг, а через овраг Емельянка. Лошадь мне через плечо голову положила и так держит, не пускает. Я все в уме говорю: «Тут, тут Емельянка» — и нарочно себе кнутом показываю, чтобы вернее было, что тут.

Иду я рядом с лошадью, и вдруг мне показалось, что мы уже век идем, и нигде мы, и никакой Емельянки нет, и совсем мы не там, и что крутим неведомо где. А тут Марья Петровна высунулась.

— Где, где ты, Коля, Коленька? Что тебя не слыхать? Голос подавай! Иди погрейся, я побуду.

— Что? Что? — кричу я.— Сидите, ничего мне.

А она машет чем-то:

— Надень, надень башлык, Николай!

Мне даже и не показалось чудно тогда, что она меня Николаем назвала. Это с Митьки башлык.

И опять ударило меня: «Ведь не доедем до Емельянки! Погубитель я ваш!»

Я не хотел башлыка брать, мне надо первому замерзнуть. Пусть я замерзну, а их живыми найдут.

А она кричит: «Бери, а то брошу!»

И вижу, что бросит.

Я взял, обмотался. Отдам, как замерзать буду. И решил повернуть на Емельянку, попробовать. Теперь она уж чуть сзади должна быть. Сунулся и залег в снег, как в воду. Вдруг стало мне холодно, всего трясти стало, прямо бить меня стало, не могу ничего; думаю, раздергает меня по клочкам этой тряской. Вот, думаю, как замерзают. И кто знал, что так мне пропасть придется? И очень так просто, и хоть просто, все равно назад ходу нет. Я пошел в другой бок. Все на санки оглядываюсь, а лошади на меня смотрят. Вижу, меньше тут снегу; стал ногой пробовать. И вдруг пошла, пошла нога ниже... и весь я провалился, и лечу, ссовываюсь вглубь — и тьма. И я уже стою на чем-то, и тихо-тихо, только чуть слышно, как шуршит метель над головой. Как в могилу попал.

Я пощупал — узко, и острый камень вокруг. И понял, что я в колодец провалился. Роют у нас люди колодцы в степи по зароку. Узкие, как труба, и кругом камнем выкладывают, чтобы не завалились.

Меня все трясло, все разрывало холодом, и я решил, что все пропало, и пусть я здесь замерзну, пусть меня снегом завалит. Заплачу и помру тут, а они как-нибудь, может, и доживут до утра.

Скорчился и сижу. Не знаю, сколько я сидел так. И перестало меня бить холодом, стало тепло мне в яме... И вдруг хватился я! Так и привиделось, как они там в санях, и заметет их снегом — и лошадей и санки, и там Митька и Марья Петровна. Вылезти, вылезти! И стал я карабкаться по камням вверх, ноги в распор, руками скребусь, как таракан. Вылез с последним духом и лег спиной на снег. Воет метель, пеной снег летит.

Я вскочил, и ничего нет — нет саней. Я пробежал — нет и нет. Потерял, и теперь все пропало, и я один, и лепит, бьет снегом. Злей еще метель взмылась, за два шага не видать.

Я стал орать всем голосом, без перерыву; стою в снегу по колено и все ору:

— Гей! Го! Ага! — Выкричу весь голос и лягу на снег, пусть завалит — и конец.

Только перевел дух и тут над самым ухом слышу:

— Ау, Николай!

Я прямо затрясся: чудится это мне... И я пуще прежнего с перепугу заорал:

— Го-го!

И тут увидел: сани, лошади стоят, снегом облеплены, и Марья Петровна стоит, белая, мутная, и треплет ей подол ветром. Я сразу опомнился.

— Полезайте,— говорю,— едем.

— Не уходи ты,— кричит,— не надо! Лезь в сани как-нибудь.— И сама, вижу, еле стоит на ветру.

— Залезайте, едем. Я знаю, близко мы.

Она стоит.

— Полезай,— говорю я,— там и Митьке теплей будет, а я в ходу, я не замерзну.— И толкаю ее в сани.

Пошла. Я опять тронул. И стало мне казаться, что верно близко и вот сейчас, сейчас приедем куда-нибудь. Гляжу в метель и вижу: колокольни высокие вот тут, сейчас, сквозь снег, перед нами, высокие, белые. Все церкви, церкви, и звон будто слышу. И вдруг вижу, впереди далеко человек идет. И башлык остряком торчит.

Я стал кричать:

— Дядька! Дядька! Гей, дядька!

Марья Петровна из саней высунулась.

— Дядька! — Я остановил лошадей и к нему навстречу.

А это тут в двух шагах столбик на меже и остро сверху затесан. А он мне далеко показался.

Я позвал лошадей, и они пошли ко мне, как собаки.

Стал я у этого столба, и чего-то мне показалось, будто я куда приехал. Прислонился к лошади, и слышно мне, как она мелкой дрожью бьется. Я пошел погладил ей морду и надумал: дам сена. Вырвал из саней клок и стал с рук совать лошадям. Они протянулись вперед, и я увидал, как дрожат ноги у молодой: устала. Выставит ножку вперед, и трясется у ней в коленке. И я все сую, сую им сено; набрал в полу, держу, чтобы ветром не рвало. Кончится у них сила, и тогда все пропало. Я их все кормил и гладил. Достал я два калача, что дядька дал. Они мерзлые, каменные. Я держу руками,

а лошадь ухватит зубами и отламывает, и вижу — сердится, что я хлипко держу.

Постояли мы.

Оглянулся я на сани — замело их сбоку и уж через верх снегом перекатывает.

Я только взял лошадь под уздцы — двинули обе дружно, и я не сказал ничего. Я иду между ними, держусь за дышло, и идем мы втроем. Тихонько идем. Я не гоню — пусть как могут, только бы шли. Иду и уж ничего не думаю, только знаю, что втроем: я да кобылки; слушаю, как отдуваются. Уж не оглядываюсь на сани и спросить боюсь.

И вдруг стена передо мной, чуть-чуть дышлом не уперлись. И враз стали мы все трое...

Обомлел я. Не чудится ли?

Ткнул кнутовищем — забор!

Ударил валенком — забор, доски!

Как вспыхнуло что во мне.

Я к саням:

— Марья Петровна! Приехали!

— Куда?!

Митька из саней выкатился, запутался, стал на четырех, орет за матерью:

— Куда, куда?

— А черт его знает! Приехали!

ПУДЯ

Теперь я большой, а тогда мы с сестрой были еще маленькие.

Вот раз приходит к отцу какой-то важный гражданин. Страшно важный. Особенно шуба. Мы подглядывали в щелку, пока он в прихожей раздевался. Как распахнул шубу, а там желтый пушистый мех, и по меху все хвостики, хвостики... Черноватенькие хвостики. Как будто из меха растут. Отец раскрыл в столовую двери:

— Пожалуйста, прошу.

Важный — весь в черном, и сапоги начищены. Прошел, и двери заперли.

Мы выкрались из своей комнаты, подошли на цыпочках к вешалке и гладим шубу. Щупаем хвостики. В это

время приходит Яшка, соседний мальчишка, рыжий. Как был, в валенках вперся и в башлыке.

— Вы что делаете?

Таня держит хвостик и спрашивает тихо:

— А как по-твоему: растет так из меху хвостик или потом приделано?

А Рыжий орет, как во дворе:

— А чего? Возьми да попробуй.

Таня говорит:

— Тише, дурак: там один важный пришел.

Рыжий не унимается:

— А что такое? Говорить нельзя? Я не ругаюсь.

С валенок снег не сбил и следит мокрым.

— Возьми да потяни, и будет видать. Дура какая! Видать бабу... Вот он так сейчас.— И Рыжий кивнул мне и мигнул лихо.

Я сказал:

— Ну да, баба,— и дернул за хвостик.

Не очень сильно потянул: только начал. А хвостик — пак! — и оторвался.

Танька ахнула и руки сложила. А Рыжий стал кричать:

— Оторвал! Оторвал!

Я стал совать скорей этот хвостик назад в мех: думал, как-нибудь да пристанет. Он упал и лег на пол. Такой пушистенький лежит.

Я схватил его, и мы все побежали к нам в комнату. Танька говорит:

— Я пойду к маме, реветь буду — ничего, может, и не будет.

Я говорю:

— Дура, не смей! Не говори. Никому не смей!

Рыжий смеется, проклятый. Я сую хвостик ему в руку:

— Возьми, возьми, ты же говорил...

Он руку отдернул:

— Что ж, что говорил! А рвал-то не я! Мне какое дело!

Подтер варежкой нос — и к двери.

Я Таньке говорю:

— Не смей реветь, не смей! А то сейчас спрашивать начнут, и все пропало.

Она говорит и вот-вот заревет:

— Пойдем посмотрим, может быть, незаметно? Вдруг незаметно?

Я держал хвостик в кулаке. Мы пошли к вешалке. И вот все ровно-ровно идут хвостики, довольно густовато, а тут пропуск, пусто. Видно, сразу видно, что не хватает.

Я вдруг говорю:

— Я знаю: приклеим.

А клей у папы на письменном столе, и если будешь брать, то непременно спросят: зачем? А потом, там в кабинете сидит этот важный, и входить нельзя.

Танька говорит:

— Запрячем, лучше запрячем, только скорей! Подальше, в игрушки.

У Таньки были куклы, кукольные кроватки. Нет, туда нельзя. И я засунул хвостик в поломанный паровоз, в середину.

Мы взялись за кукол и очень примерно играли в гости, как будто бы на нас все время кто смотрит, а мы показываем, как мы хорошо играем.

В это время слышим голоса. Важный гудит басом. И вот уже они в прихожей, и горничная Фрося затопала мимо и говорит скоренько:

— Сейчас, сейчас шубу подам.

Мы так с куклами и замерли, еле руками шевелим. Таня дрожит и бормочет за куклу:

— Здравствуйте! Как вы поживаете? Сколько вам лет? Как вы поживаете? Сколько вам лет?

Вдруг дверь к нам отворяется: отец распахнул.

— А вот это,— говорит,— мои сорванцы.

Важный стоит в дверях, черная борода круглая, мелким барашком, и улыбается толстым лицом:

— А, молодое поколение!

Ну, как все говорят.

А за ним стоит Фроська и держит шубу нараспашку. Отец нахмурился, мотнул нам головой. Танька сделала кривой реверанс, а я что было силы шаркнул ножкой.

— Играете? — сказал важный и вступил в комнату. Присел на корточки, взял куклу. И я вижу, в дверях дура Фроська стоит и растянула шубу, как будто нарочно распялила и показывает. И это пустое место без хвостика так и светит. Важный взял куклу и спрашивает:

— А эту барышню как же зовут?

Мы оба крикнули в один голос:

— Варя!

Важный засмеялся:

— Дружно живете.

И видит вдруг — у Таньки слезы на глазах.

— Ничего, ничего,— говорит, я не испорчу.

И скорей подал пальчиками куклу. Поднялся и потрепал Таню по спине. Он пошел прямо к шубе, но смотрел на отца и не глядя стал попадать в рукава. Запахнул шубу; Фроська подсовывает глубокие калоши.

Не может быть, чтобы отец не заметил. Но отец очень веселый вошел к нам и сказал смеясь:

— Зачем же коне́м таким?

И представил, как я шаркнул.

В этот день мы с Танькой про хвостик не говорили. Только когда пили вечером чай, то все переглядывались через стол, и оба знали, что про хвостик. Я даже раз, когда никто не глядел, обвел пальцем на скатерти, как будто хвостик. Танька видела и сейчас же уткнулась в чашку.

Потом мне стало весело. Я поймал Ребика, нашу собаку, зажал его хвост в кулак, чтобы из руки торчал только кончик, и показал Таньке. Она замахала руками и убежала.

На другой день, как проснулся, вспомнил сейчас же хвостик. И стало страшно: а ну как важный только для важности в гостях и не глядит даже на шубу, а дома-то небось каждый хвостик переглаживает? Даже, наверно, наизусть знает, сколько их счетом. Гладит и считает: раз, два, три, четыре... Вскочил с постели, подбежал к Таньке и шепчу ей под одеяло, в самое ухо:

— Он, наверное, дома пересчитает хвостики и узнает. И пришлет сюда человека с письмом. А то сам приедет.

Танька вскочила и шепчет:

— Чего ж там считать, и так видно: вот такая пустота! — И обвела пальцем в воздухе большой круг.

Мы на весь день притихли и от каждого звонка прятались в детскую и у дверей слушали: кто это, не за хвостиком ли?

Несколько дней мы так боялись.

А потом я говорю Таньке:

— Давай посмотрим.

Как раз никого в квартире не было, кроме Фроськи. Заперли двери, и я тихонько вытянул из паровоза хвостик. Я и забыл, какой он хорошенький, пушистенький.

Таня положила его к себе на колени и гладит.

— Пудя какой,— говорит.— Это собачка кукольная.

И верно. Хвостик в паровозе загнулся, и совсем будто собачка свернулась и лежит с пушистым хвостом.

Мы сейчас же положили его на кукольный диван, примерили. Ну и замечательно!

Танька закричала:

— Брысь, брысь сейчас! Не место собакам на диване валяться!

И скинула Пудю. А я его Варьке на кровать.

А Танька:

— Кыш, кыш! Вон, Пудька! Блох напустишь...

Потом посадили Пудю Варьке на колени и любовались издали: совсем девочка с собачкой.

Я сейчас же сделал Пуде из тесемочки ошейник, и получилось совсем как мордочка. За ошейник привязали Пудю на веревочку и к Варькиной руке. И Варьку водили по полу гулять с собачкой.

Танька кричала:

— Пудька, тубо!

Я сказал, что склею из бумажек Пуде намордничек.

У нас была большая коробка от гильз. Сделали в ней дырку. Танька намостила тряпок, и туда посадили Пудю, как в будку. Когда папа позвонил, мы спрятали коробку в игрушки. Забросали всяким хламом. Приходил к нам Яшка Рыжий, и мы клали Пудю Ребику на спину и возили по комнате — играли в цирк.

А раз, когда Рыжий уходил, он нарочно при всех стал в сенях чмокать и звать:

— Пудя! Пудька! — И хлопал себя по валенку.

Прибежал Ребик, а Яшка при папе нарочно кричит:

— Да не тебя, дурак, а Пудю! Пудька! Пудька!

Папа нахмурился:

— Какой еще Пудька там? — И осматривается.

Я сделал Яшке рожу, чтобы уходил. А он мигнул и язык высунул. Ушел все-таки.

Мы с Таней сговорились, что с таким доносчиком не будем играть и водиться не будем. Пусть придет — мы в своей комнате запремся и не пустим. Я забил сейчас же гвоздь в притолоку, чтобы завязывать верев-

кой ручку. Я завязал, а Таня попробовала из прихожей. Здóрово держит. Потом Танька запиралась, а я ломился: никак не открыть. Как на замке. Радовались, ждали — пусть только Рыжий придет.

Я Пуде ниточкой замотал около кончика, чтобы хвостик отделялся. Мы с Таней думали, как сделать ножки,— тогда совсем будет живой.

А Рыжий на другой же день пришел. Танька прибежала в комнату и шепотом кричит:

— Пришел, пришел!

Мы вдвоем дверь захлопнули, как из пушки, и сейчас же на веревочку.

Вот он идет... Толкнулся... Ага! Не тут-то было. Он опять.

— Эй, пустите, чего вы?

Мы нарочно молчим. Он давай кулаками дубасить в дверь:

— Отворяй, Танька!

И так стал орать, что пришла мама:

— Что у вас тут такое?

Рыжий говорит:

— Не пускают, черти!

— А коли черти,— говорит мама,— так зачем же ты к чертям ломишься?

— А мне и не их вовсе надо,— говорит Рыжий,— я Пудю хочу посмотреть.

— Что? — Мама спрашивает.— Пудю? Какого такого?

Я стал скорей отматывать веревку и раскрыл дверь.

— Ничего,— кричу,— мама, это мы так играем! Мы в Пудю играем. У нас игра, мама, такая...

— Так орать-то на весь дом зачем? — И ушла.

Рыжий говорит:

— А, вы, дьяволы, вот как? Запираться? А я вот сейчас пойду всем расскажу, что вы хвостик оторвали. Человек пришел к отцу в гости. Может, даже по делу какому. Повесил шубу, как у людей, а они рвать, как собаки. Воры!

— А кто говорил: «Дерни, дерни?»

— Никто ничего и не говорил вовсе, а если каждый раз по хвостику да по хвостику, так всю шубу выщипаете.

Танька чуть не ревет.

— Тише,— говорит,— Яша, тише!

— Чего тише? — кричит Рыжий.— Чего мне тише? Я не вор. Пойду и скажу.

Я схватил его за рукав.

— Яша,— говорю,— я тебе паровоз дам. Это ничего, что крышка отстала. Он ходит полным ходом, ты же знаешь.

— Всякий хлам мне суешь,— заворчал Рыжий.

Но хорошо, что кричать-то перестал. Потом поднял с пола паровоз.

— Колесо,— говорит,— проволокой замотал и тычешь мне.

Посопел, посопел...

— С вагоном,— говорит,— возьму, а так — на черта мне этот лом!

Я ему в бумагу замотал и паровоз и вагон, и он сейчас же ушел через кухню, а в дверях обернулся и крикнул:

— Все равно скажу, хвостодеры!

Потом мы с Таней гладили Пудю и положили его спать с Варькой под одеяло. Танька говорит:

— Чтоб ему теплей было.

Я сказал Таньке, что Рыжий все равно обещал сказать. И мы все думали, как нам сделать. И вот что выдумали.

Самое лучшее попасть бы в такое время, когда папа будет веселый,— после обеда, что ли. Положить Пудю на платочек на носовой, взять за четыре конца и войти в столовую каким-нибудь смешным вывертом. И петь что-нибудь смешное при этом. Как-нибудь:

Пудю несем,
Пахнет гусем.

И еще там что-нибудь. Все засмеются, а мы еще больше запоем — и к папе. Папа: «Что это вы, дураки?» — и засмеется. А тут мы как-нибудь кривульно расскажем, и все сойдет. Папе, наверно, даже жалко будет отбирать от нас Пудю.

Или вот еще на Ребика положим и вывезем. И тоже смешное будем петь. Рыжий придет ябедничать, а все уж и без него знают, и ничего не было. Запремся, как тогда, и пускай скандалит. Мама его за ухо выведет, вот и все.

Я еще в кровати думал, что́ я устрою Яшке Рыжему.

Утром мы все пили чай. Вдруг вбегает Ребик, рычит и что-то в зубах треплет.

Папа бросился к нему:

— Опять что-нибудь! Тубо, тубо! Дай сюда!

А я сразу понял — что, и в животе похолодело.

Папа держит замусоленный хвостик и, нахмурясь, говорит:

— Что это? Откуда такое?

Мама поспешила, взяла осторожно пальчиками. Ребик визжит, подскакивает, хочет схватить.

— Тубо! — крикнул папа и толкнул Ребика ногой.

Поднесли к окну, и вдруг мама говорит:

— Это хвостик. Это от шубы.

Папа вдруг как будто задохнулся сразу и как крикнет:

— Это черт знает что такое!..

Я вздрогнул. А Танька всхлипнула — она с булкой во рту сидела. Папа затопал к Ребику:

— Эту собаку убить надо! Это дьявол какой-то!

Ребик под диван забился.

— Раз уж пришлось за штаны платить... Ах ты, дрянь эдакая! Теперь шубы, за шубы взялся!..

И папа вытянул за ошейник Ребика из-под дивана. Ребик выл и корчился. Знал, что сейчас будут бить. Танька стала реветь в голос. А отец кричит мне:

— Принеси ремень! Моментально!

Я бросился со стула, совался по комнатам.

— Моментально! — заорал отец на всю квартиру злым голосом.— Да свой сними, болван! Живо!

Я снял пояс и подал отцу. И папа стал изо всей силы драть ремнем Ребика. Танька выбежала. Папа тычет Ребика носом в хвостик — он на полу валялся — и бьет, бьет:

— Шубы рвать! Шубы рвать! Я не дам шубы рвать!

Я даже не слыхал, что еще там папа говорил,— так орал Ребик, будто с него живого шкуру сдирают. Я думал, вот умрет сейчас. Фроська в дверях стояла, ахала.

Мама только вскрикивала:

— Оставь! Убьешь! Николай, убьешь! — Но сунуться боялась.

— Веревку! — крикнул папа.— Афросинья, веревку!

— Не надо, не надо,— говорит Фроська.

Папа как крикнет:

— Моментально!

Фроська бросилась и принесла бельёвую веревку.

Я думал, что папа сейчас станет душить Ребика веревкой. Но папа потащил его к окну и привязал за ошейник к оконной задвижке. Потом поднял хвостик, привязал его на шнурок от штор и перекинул через оконную ручку.

— Пусть видит, дрянь, за что драли. Не кормить, не отвязывать.

Папа был весь красный и запыхался.

— Эту дрянь нельзя в доме держать. Собачникам отдам сегодня же! — И пошел мыть руки. Глянул на часы.— А, черт! Как я опоздал! — И побежал в прихожую.

Пудю Ребик всего заслюнявил, он был мокрый и взъерошенный, и как раз поперек живота туго перехватил его папа шнурком. Он висел вниз головой, потому что видно было сверху перехват хвостика, который я там намотал из ниток. Если б отец тогда хорошенько разглядел, так увидал бы все и догадался бы, что все это не без нас. Да и теперь все равно могут увидеть. Как станут важному назад отсылать хвостик, начнут его чистить — вдруг нитки. Откуда нитки? А уж Ребика все равно побили...

Я сказал Таньке, чтобы украла у мамы маленькие ногтяные ножнички, улучил время, влез на подоконник и тихонько ножничками обрезал нитки. Все-таки осталось вроде шейки, и я распушил там шерсть, чтоб ничего не было заметно.

Ребик подвывал, подрагивал и все лизал задние лапы. Мы с Танькой сели к нему на пол и всё его ласкали. Танька приговаривает:

— Ребинька, миленький, били тебя! Бедная моя собака!

Стала реветь. И я потом заревел.

— Отдадут,— говорю,— собачникам. Папа сказал, что отдаст. На живодерню.

И представилось, как придет собачник, накинет Ребичке петлю на шею и потянет. Как ни упирайся, все равно потянет. А потом так, на петле, с размаху — брык в фургон со всей силы.А там на живодерне будут резать. Для чего-то там живых режут, мне говорили.

Потом мы у Фроськи выпросили мяса,— Танька под юбкой мимо мамы пронесла,— и скормили Ребику. А зачем ему есть? Ведь так только, все равно на живодерню.

И мы с Танькой говорили:

— Мы за тебя просить будем, мы на коленки станем и будем плакать, чтоб папа не отдавал.

И это все потому, что Танька выдумала к Варьке подложить Пудю. А Варькина кровать стояла на полу, в углу, на бумажном коврике. Вот Ребик и нанюхал Пудю.

Принесли мы ему пить. Он лакнул два раза и бросил. Танька заревела:

— Он чует, чует!

А я стал ей про живодерню рассказывать. Я сам не знал, а так прямо говорю:

— Двое держат, а один режет.— И показал на Ребика рукой, как режут.

Танька залилась.

— Я скажу, я скажу, что мы!.. Скажем... Хоть на коленки станем, а скажем.

И все ревет, ревет... Я сказал:

— Скажем, скажем. Только чтоб Ребика не отдавали. Не дадим.

И мы так схватились за Ребика, что он взвизгнул.

А время обеда приближалось, и вот уж скоро должен прийти папа со службы. Мама вернулась из города с покупками.

— Не сидите на грязном полу. И не возитесь с собакой — блох напустит.

Мы встали и уселись на подоконнике над Ребичкой, и все смотрели на дверь в прихожую. Решили, как папа придет, сейчас же просить, а то потом не выйдет. Таньку послали мыть заплаканную морду. Она скоро: раз-два, и сейчас же прибежала и села на место. Я тихонько гладил Ребика ногой, а Танька не доставала. На стол уже накрыли, свет зажгли и шторы спустили. Только на нашем окне оставили: на шнурке папа повесил Пудю, и никто не смел тронуть.

Позвонили. Мы знали, что папа. У меня сердце забилось. Я говорю Таньке:

— Как войдет, сейчас же на пол, на колени, и будем говорить. Только вместе, смотри. А не я один. Говори: «Папа, прости Ребика, это мы сделали!»

Пока я ее учил, уж слышу голоса в прихожей, очень веселые, и сейчас же входит важный, а за ним папа.

Важный сделал шаг и стал улыбаться и кланяться. Мама к нему спешила навстречу. Я не знал, как же при

важном — и вдруг на колени? И глянул на Таньку. Она моментально прыг с подоконника, и сразу бац на коленки, и сейчас же в пол головой, вот как старухи молятся.

Я соскочил, но никак не мог стать на колени. Все глядят, папа брови поднял.

Танька одним духом, скороговоркой:

— Папа, прости Ребика, это мы сделали!

И я тогда скорей сказал за ней:

— Это мы сделали.

Все подошли:

— Что, что такое?

А папа улыбается, будто не знает даже в чем дело.

Танька все на коленках и говорит скоро-скоро:

— Папочка, миленький, Ребичка миленького, пожалуйста, миленький, миленького Ребичка... не надо резать...

Папа взял ее под мышки:

— Встань, встань, дурашка!

А Танька уже ревет — страшная рева! — и говорит важному:

— Это мы у вас хвостик оторвали, а не Ребик вовсе.

Важный засмеялся и оглядывается себе на спину:

— Разве у меня хвост был? Ну вот спасибо, если оторвали.

— Да видите ли, в чем дело,— говорит папа, и все очень весело, как при гостях,— собака вдруг притаскивает вот это.— И показывает на Пудю. И стал рассказывать.

Я говорю:

— Это мы, мы!

— Это они собаку выгораживают,— говорит мама.

— Ах, милые! — говорит важный и наклоняется к Таньке.

Я говорю:

— Вот ей-богу! — мы! Я оторвал. Сам.

Отец вдруг нахмурился и постучал пальцем по столу:

— Зачем врешь и еще божишься?

— Я даже хвостик ему устроил, я сейчас покажу. Я там нитками замотал.

Сунулся к окну и назад: я вспомнил, что нитки я обрезал.

Отец:

— Покажи, покажи. Моментально!

Важный тоже сделал серьезное лицо. Как хорошо было, все бы прошло. Теперь из-за ниток этих...

— Яшка,— говорю я,— Яшка Рыжий видел,— и чуть не плачу.

А папа крикнул:

— Без всяких Яшек, пожалуйста! Достать! Моментально! — И показал пальцем на Пудю.

Важный уже повернулся боком и стал смотреть на картину. Руки за спину.

Я полез на окно и рвал и кусал зубами узел. А папа кричал:

— Моментально! — и держал палец.

Таньку мама уткнула в юбку, чтоб не ревела на весь дом.

Я снял Пудю и подал папе.

— Простите,— вдруг обернулся важный,— да от моей ли еще шубы?—И стал вертеть в пальцах Пудю.— Позвольте, это что же? Что тут за тесемочки?

— Намордничек! — крикнула Танька из маминой юбки.

— Ну вот и ладно! — крикнул важный, засмеялся и схватил Таньку под мышки и стал кружить по полу.— Трам-бам-бам! Трум-бум-бум!

— Ну, давайте обедать,— сказала мама.

Уж сколько тут рёву было!..

— Отвяжи собаку,— сказал папа.

Я отвязал Ребика. Папа взял кусок хлеба и бросил Ребику:

— Пиль!

Но Ребик отскочил, будто в него камнем кинули, поджал хвост и, согнувшись, побежал в кухню.

— Умой поди свою физию,— сказала мама Таньке, и все сели обедать.

Важный Пудю подарил нам, и он у нас долго жил. Я приделал ему ножки из спичек. А Яшке, когда мы играли в снежки, мы с Танькой набили за ворот снегу. Пусть знает!

«С НОВЫМ ГОДОМ!»

Был канун нового, 1907 года. В городской думе были расставлены столы. В парадном зале, в два ряда. А на столах — свечи в канделябрах, по шести штук в каж-

дом. Канделябры бронзовые, сияют, как золото. А вокруг икра, балыки, заливные осетры, окорока, индюшки. Все в завитках, в бумажных финтифлюшках. Вазы хрустальные. В вазах апельсины, яблоки: гора над горой. А бутылок — что солдат на параде. По краям тарелки, ножики, вилки, графинчики, рюмки. Блестит, горит — режет глаза. Официанты в белых перчатках. Бегают, мечутся — дух зашибло. Сейчас господа приедут! Ведь господа-то какие! Не простые — именитые. Цвет купечества. Виднейшие адвокаты. Сказывают: сам губернатор будет. С графиней, с губернаторшей.

А вот и собираются. Во фраках. Глаженые рубашки блестят, как фарфоровые. А другие в мундирах пришли, воротники золотые, шпаги при боку. А дамы-то! В ушах бриллианты, на пальцах колец — что перчатки. Вот уж и музыканты наверх пробираются. Трубы горят начищенные. Ух, как рявкнет медь — посуда подскочит!

Сейчас губернатор будет. Бегут, бегут — это его встречать. Городской голова[1] впереди всех покатил. Музыканты встречу ударили. Городской голова кланяется, улыбается. А что говорит, за музыкой не слыхать. Его сиятельство по сторонам кивает: «Садитесь, господа. Прошу без чинов». На музыку платками замахали. Городской голова говорит, в руке бокал держит:

— Вступаем в новый, девятьсот седьмой, божьей помощью и стараниями вашего сиятельства! — И кланяется.— В новый год, год успокоения, мирного преуспеяния, без стачек, без баррикад. Ваше сиятельство, без смуты вступаем в спокойное...— И все кланяется, кланяется. И бокалом губернатору, как поп кадилом.

Дамы все на графа смотрят и прическами кивают. Пришептывают: «Ваше сиятельство! Ваше сиятельство!»

А голова:

— В ознаменование крепости державы российской и силы русского оружия со дна моря поднята, с затопленного дерзостного английского корабля, чугунная пушка десятифунтового калибра. И пушка эта, ваше сиятельство, поставлена на пьедестал как памятник победы, близкой сердцу нашему. И в знак близости водружена в двадцати шагах от этого здания — городской думы.

Городской голова махнул бокалом к дверям, чтобы

[1] Городской голова — в царское время председатель городской управы.

показать, где пушка, и плеснул вином губернаторше на голое плечо. Адъютант губернаторский подскочил с салфеткой и так усердно стал вытирать, что граф нахмурился на адъютанта и сказал сердито: «Довольно бы, пожалуй!»

Голова думал, что это ему, и на всем ходу прикусил язык. А граф кивнул голове: «Я вас слушаю!» Тут кто-то догадался махнуть музыкантам, те ударили туш, все господа встали, у всех бокалы с вином играют в руках. «Ура! Ура!» Зазвякали, зачокались.

А мы еще накануне знали, как это там соберутся, как там бутылки раскупоривать начнут и как начнут всей рабочей революции отходную петь. Да и верно, прижали — не повернись. По всем городам усиленная охрана, шпиков — что воробьев. «Союз русского народа» резинами машет, хлещет этим резиновым дубьем всех, чья личность им не по нраву. Что ж, выходит: в щель забейся. Но мы сидели втроем на квартире, и всем тошно, а Сережка все бубнил:

— Теперь им лафа — во какими павлинами ходят: «Что? Кого? Царя?» Сейчас свисток из кармана, тебя за шиворот, и такое тебе «боже, царя» начнут в участке всаживать, что аккурат на три месяца больницы. Сиди, брат, и не пикни. А они там, в городской думе завтра — ого! Три фургона одних бутылок, говорят, туда пригнали.

Гришка говорит:

— А я пикну. Ой, пикну! Они только за рюмки, а я...

— А ты залазь под койку и оттуда пикни! — И Сережка ткнул ногой под кровать.— Залазь хоть сейчас и пищи. Только малым ходом, а то сам испугаешься.

Гришка вскочил:

— Ой, охота пикнуть! Охота, товарищи, пришла, тьфу! Чтоб я пропал совсем.

Мы на него глядим: что он, сдурел? А его всего так и ломает, так и крутит винтом.

— Вот надумал, побей меня господь!

И сел на корточки, потом опять вскочил — и к двери; засматриваем, не слушает ли кто. Обезьяна! В нем, в идоле, сажень без вершка, и тощий, как веревка. Мы с Сережкой засмеяться не успели, а он присел на пол между нами, за шеи сгреб и ну шептать. Такого нашептал, что мы с Сережкой по карманам всю мелочь вывернули: гони, ребята, пока лавки не закрыли! Через час чтоб здесь быть. За шапки — и в двери.



Через час мы опять вместе. Мы с Сережкой принесли по три фунта охотничьего пороху, марки «царский», Гриша — клею столярного, веревки сажен десять и шнурок. Вот где он этот шнурок достал? Говорит, у сапера. Это замечательный шнурок: если его подпалить с одного конца, хотя бы цигаркой, то он неугасимо горит на какой ни есть погоде, и горит с полным ручательством: ровно аршин в минуту — как часы. Мы с Сережкой не поверили. Отмерили на пробу четверть аршина точнехонько, подпалили с конца и по часам, по маленькой стрелке, глядели. Секунда в секунду! Что ты скажешь!

И вот мы бросили курить, ссыпали все шесть фунтов этого пороху в газету длинной колбасой, обложили картонками, обвязали всю эту змею бечевками. И весело нам стало. «Царский»,— приговариваем. Гришка для смеха «Боже, царя храни» затянул. Мы подтягиваем. Разварили клею столярного у хозяйки на керосинке — говорим, койку будем чинить. Она рада: «Вот дельные хлопцы»,— говорит. А тут Гришка проткнул дырку в колбасе, потом обернул карандашик в бумажку и всадил в эту дырку карандаш до самого пороха. Кто его выучил, долговязого? И теперь ну мазать веревку в клею и эту колбасину укручивать клейкой веревкой. Да плотно и накрепко.

Мы все в клею перемазались; однако все идет как надо. Колбаса вышла хоть и толстая, однако Гриша все ее промеривал и говорил: «Толщина подходящая, и больше не мотать». Мы ее, мамочку, выровняли, укатали в газеты — вышла, что со станка, как точеная, полтора аршина длиной. Мы ее закатали под кровать — пусть сохнет.

Тут мы закурили и для виду стали по кровати постукивать — чиним, мол, чтоб хозяйка не была в сомнении. Гришка все под кровать заглядывает. Домой не хотел идти.

— Вы,— говорит,— ее возить еще начнете туда-сюда и все дело завалите.

А ночевать ему здесь как же? Дворник придет: кто посторонний ночует? По какой причине? Укрывается, значит. А Гришку с 1905 года в полиции хорошо помнили. Да где такому спрятаться: в толпе торчит, будто на ящик встал.

Пришлось Грише уйти. На прощанье он колбасу погладил: «Сохни, мамочка ты моя!»

На другой день был канун Нового года. На думе из газовых рожков горело ярко «Боже, царя храни» саженными буквами, а колбаса наша засохла, как каменная. А к думе кареты подъезжали и откатывали. Погода была тихая, и снежок ласковый, как вишневый цвет, падал нехотя с неба. А Гриша отмерил, семь раз отмерил четыре аршина чудесного шнурка, вынул карандашик и заправил в дырку на его место кончик этого шнурка и крепко бечевкой укрепил шнурок в колбасе.

А полиция в белых перчатках у думы стоит и откозыривает каждой карете. А мы втроем идем в скверик, что возле думы, и Гриша под пальто несет колбасу, к груди прижимает. Он длинный, и на нем не видать. Похоже, просто человек поплотней кутается: пальтишко то дрянненькое. Вот уж половина двенадцатого. Последняя карета отъехала. Успокоились околоточные и поверх белых перчаток варежки натянули. Гляди, и пусто перед думой стало. А вот и один всего околоточный остался. Вот и он зазяб и ушел в думу, в сени, греться.

А у меня жестяночка с красной краской, а у Сережи — кисточка. Вот мы с Сережей к думе. Я сторожить остался, а Сережа — к пушке. Мигом влез на фундамент, уцепился за лафет. Вот уж вижу — там, малюет. Вот уже Гришка саженями шагает через площадь, торчит столбом верстовым. На него просто посмотреть — так городовой свистнет. Вот Сережка спрыгнул. А Гришка — ему пушка как раз под рост: дуло-то высоко, а ему как раз руками достать,— ух! — и ушла колбаса в пушку, шнурочек только чудесный, как макаронина, висит изо рта пушки.

Часы у нас по-думски поставлены в точности. Во, как раз четыре минуты осталось. Вижу, Гришка раздул папироску и припалил шнурочек. Теперь ходу, ребята! Гришки уже нет. Вмиг отшагал, верблюд проклятый, не видит, что под самой пушкой, на скамеечке бульварной, сидит парочка. И парочка ничего не видит, конечно, тоже: им не до нас. Да и не видать впотьмах. Но ведь они со страху лопнут, как шнурочек-то кончится. И всего три минуты осталось. Мы с Сережкою вмиг, как сговорившись, за снежки, а тут и околоточный на крыльцо выставился. Я в Сережку снежком, он отбежал, стал против скамейки. Я бац еще раз, да в спину скамейки. Снежок расшибся, барышне за шиворот попало. Кава-

лер вскочил. Сережка меня снежком да кавалеру по шапке: две минуты осталось, когда тут нюнить!

— Фу, нахалы какие!

А Сережа:

— Извините, я ниже целил.

А кавалер барышню под руку и быстрым шагом прочь, по бульварчику вниз. Мы с Сережкой бегом и все вроде в снежки играем. Вот он, Гришка, стоит в сквере. Остановились мы, ждем. Замерли. Сейчас шнурочек должен догореть. Там, в думе, сейчас бокалы поднимают за упокой революции. «Ура» кричат, сюда слышно.

Гришка, слышим, шепчет:

— Пикни, мамочка, пикни, родная моя!

Ничего. Тихо, все замерло. Ударил колокол в соборе. Гришка сорвался:

— Я погляжу в нее, что там.

Мы его за полы:

— Куда ты? С ума ты...

И тут как ахнет! Мы даже подскочили. Ну, знаете, и пикнуло! Тысячью хлопков застукало эхо.

Мы только видели, как белое густое кольцо выпрыгнуло из пушки и важно поплыло в воздухе. Секунду все молчало, пока отхлопало эхо. И тут как заверещали свистки! В думе двери захлопали. Вылетели околоточные, господа во фраках, все забегали по крыльцу, со свечками бегут, с канделябрами.

Пристав с крыльца скатился, вот полицмейстер бежит, как был, без фуражки, салфетка на мундире. Кареты с перепугу рванули. Ух, какую-то понесли кони!

— Фиюррр! Держи! — Городовые бегут, свистят все разом.

Кто-то кричал:

— Бомбу бросили, спасайтесь!

Мы бежим тоже, кричим:

— Что? Что случилось? Ради бога?

Все бегут к пушке. Полицмейстер кричит:

— Да не бойтесь: второй раз сама не выстрелит!

Наконец примолкли, расступились: шел губернатор, с ним голова. Какие-то во фраках несли канделябры со свечками.

— Осмотреть, осмотреть! — басил губернатор.

Губернаторский адъютант ловко влез на лафет.

— Внимательно осмотрите. Дать ему свет! — командовал губернатор.

Друг через друга карабкались чиновники с канделябрами, капали стеарином на спины.

— Ну, докладывайте оттуда, сейчас же! — кричал губернатор адъютанту.

— Тут надписи, ваше сиятельство, красным! Свежая краска! — Адъютант обтирал рукав.

— Вы там не прихорашивайтесь, не перед зеркалом! — крикнул губернатор.— Читайте! Кажется, грамотный. Громче, не слышно!

— Вот тут написано...— тонким голосом начал адъютант и смолк.

— Ну! — рявкнул губернатор.— Осипнуть изволите с перепуга? Герой!

— Здесь на-пи-са-но,— во весь голос кричал адъютант,— написано: «Ура! Ура! Ура! Да здравству-ет... Российская... социал-демократическая... рабочая... парти-я!!»

ПЕКАРНЯ

Как-то раз, на пирушке у товарища, меня обидели, хозяин не заступился, я хлопнул дверью и вышел не попрощавшись.

Это было как раз недели через две после того, как ушли от нас красные и в город ввалились белые. Дело было в слободке. Места я не знал и злыми шагами пошел наугад вдоль забора. Но забор кончился, и скользкая, мокрая дорога пошла под гору. Я очутился в овраге. Наверху, на той же стороне, мутными зубьями чернели лачуги. Я стал карабкаться вверх по липкой грязи, но пьяная лень одолела — я лег на мокрый откос и решил ждать до утра.

Я уже стал засыпать, как вдруг почувствовал, что на мою мокрую кепку хлынула волна не то песку, не то какого-то зерна. Я насторожился. Волна повторилась. Я схватился рукой: не зерно, не песок, а сухая земля. Я привстал и глянул наверх: две человеческие фигуры маячили на краю оврага. Теперь я ясно увидел, как они вывернули мешок. Сухая земля снова докатилась до меня. Хмель соскочил с меня. Все Пинкертоны, которых

я читал, вихрем закружились в голове. Я обрадовался, что не крикнул.

Я шепотом сказал себе:

— Федя, не зевай шанс, здесь тайна. Ты один, без помощников, откроешь ее.

Я взял горсть этой земли и сунул в карман. Шерлок Холмс, пожалуй, тоже не прозевал бы.

Наверху фигуры исчезли. Я встал на четвереньки и кошкой пополз наверх. Я осторожно огляделся. Передо мной был поломанный забор. Наверное, они ушли туда. Я боялся переступить: во дворе, наверное, собака. Я воровски обошел двор и оказался на улице. Направо я увидел пароконный фургон и трех человек около него. Яркий свет из отворенной двери освещал всю группу. Я прислушался: они говорили не по-русски, а на каком-то кавказском наречии. «Теперь осторожность и храбрость: надо пройти мимо них и заметить лица».

Пьяной походкой я прошел по мосткам; я был весь в грязи и меня легко было принять за гуляку. Я поматывал головой. На фургоне я успел прочесть: «Пекарня Тер-Атунянц». Я осторожно мазнул глазами по лицам — так и есть, бородатые кавказские лица. Один высокий, кривой: левого глаза нет. В освещенную дверь я увидел внутренность обыкновенной булочной.

«Тьфу, кажется, я зря пинкертонил! Обычное дело: всегда по ночам развозят хлеб в булочные. Пожалуй, они не сыпали землю».

Я прошел еще десять шагов и пьяно прислонился к забору. Кавказцы замолкли.

Боком глаза я следил за ними из темноты. Вдруг высокий повернулся и пошел ко мне по мосткам. Он стал вплотную против меня, чиркнул спичку и поднес к моему лицу. Признаюсь, душа сползла у меня в пятки. Я, как мог, распустил губы и сопел носом.

— Кто такой? — сказал кавказец и опять чиркнул спичку.

Я приоткрыл глаза. Лицо его показалось мне страшным; будто дуло из кустов, глядел из-под брови его единственный глаз. Он что-то крикнул своим, и те двое затопали ко мне по мосткам.

— Ты здешний, слободской?

— Нет,— просопел я и помотал головой.

Но двое взяли меня за руки, а третий стал шарить по карманам. Он нащупал землю, захватил ее в горсть,

что-то крикнул своим, и меня повели в булочную. На свету они рассматривали землю, а косой крепко держал меня за руку. Немилым глазом смотрели они на меня.

— Городской, говоришь? — сказал кривой.— Заблудился? Подвезем.

Вот мы въехали в город, замелькали уличные фонари. Из фургона я увидал собор. Вот Государственный банк и часовой у фонаря. Вот свернули в переулок, и фургон стал. Меня под руки ввели в пекарню; крепко пахну́ло свежим хлебом. Ранние покупатели толклись у прилавка. Мои провожатые весело гоготали. И вот я уже в задней комнатке: голые лавки по стенам, деревянный стол, счетная книга и тусклая электрическая лампочка с потолка. Кроме тех двух, что меня привели, появилось еще двое. Кривой начал допрос:

— Зачем землю брал?

Я сказал, что взял землю спьяна, наобум, и сейчас же стал говорить про себя. Сказал, что я дорожный мастер, что сейчас я без места, что кавказцев люблю, потому что работал на Кавказе, делали туннель.

— Это вам не хлеб печь! Это, знаете, с одной стороны гору копают, а с другой — им навстречу. Одни других не видят, а надо, чтобы сошлись.

Я уже развалился, размахивая руками, слюнил палец и чертил на столе.

— Гора каменная, работа трудная, а вдруг попадут мимо, не сойдется — миллионы пропали. Инженер ночей не спал. Вот пришло время, вбегает инженер, бледный, вот как эта стенка. «Что, спрашивает, не слышно?» — «Нет, говорим, не слыхать». Ничего не сказал и убежал. Убежал и застрелился. А через полчаса мы через дырочку уже прикуривали у тех, что с той стороны. И весь туннель сошелся, будто кто гору буравом просверлил. Это вам не калачи в печку сажать.

Я глядел на них, как они слушали. У всех глаза блестят, по коленкам себя стукают, повеселели. Вижу: моя взяла. Я поднялся.

— Так вот то-то,— говорю.— Дайте мне теперь закурить, и я пошел, а то, гляди, уж день на дворе.

Но кривой взял меня за руку и придавил к лавке.

— Ты сиди, никуда отсюда не пойдешь... Хочешь быть живым, месяц будешь у нас работать.

Я посмотрел на всех, все серьезно глядят.

— Бросьте,— говорю,— шутки шутить. Уж седьмой час, наверное.

Смотрю, один, маленький, против меня на лавке сидит и из-под полы кинжал показывает. Новенький, блестящий. То на меня глянет, то на кинжал. Я последний раз попробовал.

— Да вы что, в самом деле? — сказал я.— Это же...

И тут я заплакал. Они молчат. Я бросил плакать.

Тогда кривой стукнул ладошкой об стол, как камнем кинул.

— Плакать еще потом будешь. Слушай дело.— И тут он рассказал мне, в чем дело.

Они сняли пекарню. Для вида пекут хлеб, а сами ведут подкоп наискосок под улицей в Государственный банк, в самую главную кладовую. Значит, роют туннель. Ты, мол, туннельный мастер, ты нам нужный человек, и вот мы тебе доставим все, что надо, веди нашу работу. Времени у нас осталось две недели. До того времени ты из туннеля не выйдешь, а если в кладовую тоннеля не потрафишь, тогда в этом туннеле тебя и закопаем.

Я спрашиваю:

— Живого?

А они смеются.

— Что ж,— говорят,— можно и живого, тебе от этого пользы мало будет. Понял? — спрашивают.

Я подумал: «Куда ж я это попал? Что за люди? Ну, Федя, влопался ты! Страшные это люди».

А они в полу открыли люк. Там у них в полу отделан ход и целая горенка с электрическим освещением. Хороший стол. Вижу, на нем два плана. Но мне уж было не до того. Голова у меня с похмелья гудела, как завод. Я искал глазами, где прилечь. Около стены было пригорожено что-то вроде нар. Я повалился на постель в надежде, что проснусь и все окажется смешной шуткой. Только кинжал все поблескивал в памяти и не давал покою. Однако заснул я довольно скоро.

Когда я проснулся, двое кавказцев спорили за столом. Я смотрел на них прищуренными глазами. Пусть думают, что сплю. Один был молодой, с бритым подбородком. Другой был в бороде, с проседью. Он поминутно снимал пенсне и стукал им по чертежу. Пенсне меня успокоило. Они спорили во весь голос. Я сел на койке и крякнул. Оба сейчас же смолкли и обернулись ко

мне. Сероватый сейчас же подскочил к койке и быстро заговорил:

— Кушать хочешь? Чай пить хочешь? Вина немножко хочешь? Курить хочешь? Скажи, чего хочешь?

Он очень ласково смотрел на меня. Молодой так и держал руку в волосах и черными глазами навыкате пристально меня разглядывал. Седоватый прошел в глубь комнаты — там чернел проход в рост человека, с метр в поперечнике.

— А как тут вас звать? — спросил я молодого.

— А зови как хочешь. Скажи как хочешь. Мы запомним.

Он совсем чисто говорил по-русски.

— Ну, зови его «Старичок», а меня — «Земляк».

Он засмеялся. Я глаза раскрыл с перепугу. Мне показалось, что во рту у него вдвое больше зубов, чем обычно бывает у людей. Будто весь рот зубами усажен. Белые и крепкие, как камень. «Если такой укусит...» — подумал я, но недодумал.

Земляку, видно, не терпелось.

— Слушай, мастер. Иди сюда.— И он нетерпеливо хлопал рукой по плану.— Скажи, пожалуйста,— говорил он,— вот улица. Вот, видишь: трамвай. Вот здесь, видишь: красным — это наш подкоп. Вот тут канализация. А вот тут какие-то кишки протянуты — должно быть, освещение.

— Постой,— сказал я.— Почему ты знаешь, что ваш ход идет так?

— Как почему? Компас. Вот север.— Он показал на верх плана.— Вон видишь стрелку? Там начерчено, где север. Ты же знаешь, как на планах? Ты же мастер.

— Что ж,— сказал я,— вы прочертили прямую от пекарни до банка. По ней ведете подкоп. Направление держите по компасу. И думаете попасть как раз в кладовую, когда пройдете эти сто сорок саженей по плану. И думаете, как гвоздь вобьете?

— А что, нет? И вобьем,— сказал Земляк и со всей силой ударил кулаком в грудь. Хорошо еще, что в свою, а не в мою.

— Ух, какой ты умный! — Я прищурился на него и маленько головой поматывал.— Какой ты страшный!

Он еще больше выпучился, а потом вдруг заулыбался:

— Мастер, говори. А что, нет, не попадем?

— Какой ваш план? — стал кричать я. Я схватил со стола план и тряс ему перед носом.— Верста в дюйме. Ты мне покажи тут сажень, сажень ты мне покажи! Ну, какая она? Такая? Такая? — показывал я на ногте крошечки.

Земляк мой совсем обтек, глядел на меня — вот заплачет. И вдруг зашептал жалобно:

— Она очень маленький, сажень, совсем маленький...— Бедняга от волнения и русский язык забыл.— Ну, скажи, дорогой, как делать? Я могу понимать, я учился винодельческая школа.

— Эх, ты! Школа! — сказал я.— Тут нужно сажень в дюйме.

— Вот сажень в дюйме. Есть сажень в дюйме.— Он схватил с койки свернутый в трубку план. Это был план здания Государственного банка, подробный, точный.

— Это банк! — кричал я.— Нужно улицу и город, а с этим планом мы попадем во двор. Да кто его знает — может, прямо в караульное помещение, к солдатам. На этом плане ты не можешь указать сажени, а ошибка в один аршин может загубить все дело. Это — барахло, а не работа.

Сам не понимаю. Я орал, как в строительной конторе на работах. Как будто я не пленник, а инженер и передо мной стоит прораб, который прошляпил дело.

— Верно, верно,— шептал Земляк.

Он вдруг сорвался, бросился в черный проход и что-то кричал на своем языке.

— Остановить работы! — приказал я.

Черт знает, что на меня нашло. Я уже говорил «мы», «нас». Как будто в самом деле попал на постройку.

— Он уже кричал остановить,— сказал Старичок и кивнул головой в проход.

Я сел на койку, взял котелок и стал важно, не спеша, есть. В это время в мою контору из прохода стали входить люди. Они были все в земле, на коленках подушки — прикрученные веревкой мешки.

— Подожди,— сказал я.

Пришел и Земляк. Они стояли в проходе, разглядывали меня.

Я пошел в проход. Люди расступились и пропустили меня. Проход быстро понижался. Я зацеплял потолок головой. Вдали светили оставленные людьми фонари.

Скоро мне пришлось стать на четвереньки. Наконец мне попалась под руку лопата, потом кирка. Вот свежекопаная земля. Ага, вот конец! Так, саженей пятьдесят накопано. Но что это за работа: нигде не подперто, каждую минуту земля могла обвалиться и засыпать работников. Но такое дело, что пожарных не вызовешь или аварийную команду. Я пополз назад. Все выжидательно смотрели на меня. Я минуту молчал и хмурил брови. Меня злило, что так по-дурацки начато дело. Все молчали. Ждали.

— Вы копаете себе могилу,— сказал я наконец.— Нужно достать план водопроводных работ этого района. В городской управе, у Петра Афанасьевича Мышкина... Запомнил? — тыкал я Земляка.

Он нырнул рукой в волоса и крепко зажал их в кулак.

— Повтори,— сказал я.

— Петру Афанасьевичу Мышкину,— прошептал Земляк.

— Громче! — крикнул я.

Земляк повторил во весь голос.

— Чтобы к вечеру было!

Все переглянулись и оскалили зубы. Я спохватился: с разгону и не сообразил, что не знаю, который час.

— Сейчас девять вечера,— сказал Старичок.

Вышло, я чуть-чуть сорвался. Но я не сдал ходу:

— Ну, так к утру!

Я скорей отвернулся и стал разглядывать план Государственного банка. Трое землекопов ушли в проход. Старичок и Земляк поднялись вверх по лестнице. Я остался один. И вдруг тоска налетела на меня. Черт возьми, они копают эту яму наобум Лазаря! К дьяволу в зубы! Достанут ли они точный план? И что по пути нам встретится? Попадем ли мы через две недели куда надо, если нарвемся по пути на каменный массив? Сейчас они меня слушают, а через две недели...

Я вспомнил кинжал и сказал вслух:

— Как барашка! — и внутри у меня замутило.

То я старался глазами пронизать всю толщу земли от нас до банка, то вдруг ноги неудержимо просились к лестнице, головой пробить этот люк на потолке и броситься вон, к двери, на волю. Пусть на дороге зарежут. Только на свету, а не в погребе. Я уж невольно двинулся к лесенке, как вдруг люк отворился и спустил-

ся кривой. Он уставился на меня и стал шепотом говорить:

— Ты смотри! Ты помни! Две недели — пасха. Ваш русский пасха. В банке не будем — тебя не будет. На волю дырку не копай. Вперед тебя наши будут. Ты последний идешь. Или в банк, или на тот свет дорогу копаешь.

Я решил осердиться:

— Что ты меня пугаешь? Я уже пуганый. Я вам дело говорю, а нет...

— А нет, мы другой человек поймаем. А тебе здесь могила будет.

На минуту я струсил. Так он страшно глядел на меня своим глазом. Я его так возненавидел, что мне стало все равно. Я отвернул голову, чтобы не глядеть, и со всего маху стукнул кулаком по столу.

— Да пошло оно все...— заорал я не своим голосом.

Но в это время из прохода высунулись землекопы. Я не знаю, что тут вышло в этой подземной клетушке. Помню, что была возня и я забился в угол на койку. Они что-то кричали по-кавказски и все навалились на кривого. Потом он быстро взбежал наверх. Землекопы мои запыхались. Потом один присел ко мне и сказал:

— Ты не серчай ему. Нервный человек. Ему штыком солдат глаз колол.

— Я-то чем виноват?

У землекопов в земляной нише была керосинка, харчи. Мы пили чай, и все опять было похоже на то, как будто я на работах, а они сезонщики. Я закурил и заснул с папироской во рту. Меня разбудил Земляк. Он принес-таки план. Настоящий план района в крупном масштабе! Внизу была подпись городского архитектора и печать городской управы.

— Ловко! — сказал я.

Земляк улыбался.

— Хвалю, молодец! Где твой компас?

Земляк ушел в проход и тотчас принес мне новенькую астролябию на подрезанном штативе. Все чертежные приборы — циркули, линейки, транспортир — уже оказались на столе. Я принялся за дело.

Я проверил направление подкопа. Земляк ошибся: туннель привел бы нас во двор банка, рядом с караульным помещением. Надо было взять на десять градусов левей. Земляк смотрел мне в руки, когда я работал.

— Ай, ай, ай! — закричал Земляк.— Значит, все пропало. Пятьдесят саженей пропало.

Землекопы высунулись из прохода на этот крик. Я все-таки дал им минуту погоревать.

— Исправить можно,— сказал я.

Я сам стальной рулеткой точно промерил длину подкопа. Я показал, как повернуть, чтобы на ломаной линии попасть точно в намеченную точку.

Я слышал, как над нами, там, в конце подкопа, грохотали трамваи. Земля мелко сыпалась с потолка. Звуки глухо доносились вниз, и теперь я знал, когда начинается день и когда наступает глухая ночь. Я распорядился, чтобы достали чурбанки и плахи и подперли туннель.

— Точно вот по этому направлению и вести работу,— сказал я Земляку и показал на плане мою линию.— Каждую сажень подпирать. Выработка — в два часа сажень. Тогда у нас будет три дня в запасе. И к пасхе мы будем там.

Я звонко щелкнул ногтем по плану и в ту же минуту оглянулся на дверь. Из черного люка глядел на меня острый глаз.

Я лежал на койке. Старичок приносил мне есть, как больному. Я ел неохотно: недоедал, отказывался от вина. В «нашей» конторе стоял дым от моих папирос, и Земляк каждые два часа докладывал мне, сколько прокопали и какой грунт. Не знаю, сколько дней прошло,— я не ходил в туннель, а сюда не слыхать было трамваев. Дни я считал по тому, сколько раз таскали мешки. Землю отвозили на слободку, в хлебном фургоне, и выбрасывали в тот овраг, где я застрял, возвращаясь с пирушки. Но скоро я перестал считать дни. Кривой не появлялся, и никто не шагал наверху по полу: может, он и ходил в чулках.

Но один раз Старичок сказал мне:

— Посмотри, дорогой, посмотри, мастер: там кишки пошли какие-то!

— Ну ладно.

Шахта была подперта по всем правилам. Я стал проверять направление от поворота, где шла линия уже по моему плану. Что за чертовщина! Сначала линия шла совершенно прямо, а потом она уклонялась все левей

и левей. Земляк светил мне электрической лампой. Это по моему распоряжению весь вход осветили электричеством.

— Опять натворил чудес! — ворчал я.— Оставь вас только на три дня. Чего же это вы влево взяли? — обернулся я к Земляку.

Он внимательно смотрел на меня добрыми, овечьими глазами.

— Не брал лево. Честное слово, по компасу.

— Давай компас,— сказал я.

Я проверил направление. Земляк был прав. Ход шел по намеченному мной курсу.

— Что за притча?

Я вернулся обратно к тому месту, где начинался мой поворот.

Нет, и я прав. Отсюда ход идет только по курсу. Значит, компас поворачивает влево, потому что я по огням свечек наметил прямую, и ход нашего подкопа ясно уклонялся влево.

Я велел вынести вон из шахты весь железный инструмент. Совсем вон, в нашу контору: может быть, железо оттягивало магнитную стрелку и путало показания компаса? Где же компас показывает верно? В начале поворота или там, где наш путь закривился влево? Сказать правду: в этот момент у меня внутри все похолодело.

Я еще три раза проверил мои наблюдения. Я стал раздражаться и покрикивал на землекопов, как будто они в чем-то виноваты.

Наконец я вылез из шахты, от волнения не берегся и набил себе темя о скрепи. Это меня еще больше обозлило. Я сел в конторе на койке и закурил. Мне противно было, что Земляк стоит там, у стола, и внимательно глядит на меня. Глядит на меня, как на больного.

— Чего уставился? — крикнул я.— Не видишь, какую кривулину гнем? Это тебе не винный подвал. Чего стоишь? Скажи, чтобы не копали.

Земляк ушел. Очень нерешительно ушел.

Я курил папиросу за папиросой. Вернулся Земляк. Он осторожно присел рядом со мной, тихонько положил руку на колени и сказал тихо, почтительно:

— Скажи, мастер, куда копать? Где компас верный?

— Ничего я не знаю, будь оно проклято! Копайте могилу и себе и мне. Ну вас!

Я лег на койку, поднял воротник и натянул на уши кепку. Однако я слышал, как Земляк поднялся по лестнице вверх, а через минуту стали спускаться вниз много, не один. Я не оглядывался. Черт с ними! Пусть как хотят. Я слышал, что много народу говорит в нашей конторе. Вдруг все замолкли. Я услыхал, как Старичок позвал меня:

— Мастер, слышишь, мастер!

Я не оглядывался, не шевелился. Но меня за плечо повернули к свету, и я увидел, что это кривой.

Контора была полна людей. Двое были в муке — видно, что сейчас из пекарни. Все смотрели на меня. Из прохода глядели землекопы.

— Чего не копаешь? — крикнул кривой.— В чем твое дело? Говори! — И он присунулся близко к моему лицу. И опять глаз, как пистолетное дуло, вперся в меня.

Я тихонько отпихнул кривого назад и сел на койку.

— Режьте меня сейчас,— сказал я,— хоть живым в землю зарывайте, а я не знаю, в чем дело. Компас кривит. Спросите его, коли не верите.— Я кивнул на Земляка.

Земляк мотнул утвердительно головой и что-то сказал по-своему.

Я ничего не понимал и взглядывал на Земляка. Но он не глядел на меня и разговаривал с кривым. Старик два раза бросил на меня взгляд, но лучше бы уж не глядел: ничего хорошего для меня во взгляде не было. Я опустил голову. Папироска дрожала у меня в руке. Я едва попал в нее спичкой. Но тут все опять замолчали, и Старичок сказал:

— Вставай, иди меряй. Это тебе будет последний раз!

Меня подняли с койки: сам я встать не мог. Меня пропихнули в туннель. Я не мог стоять. Я встал на коленки и пополз. Я дополз до поворота. Тут стояла астролябия, а там, впереди, горело два огонька, по которым я определял направление работ. Я лег пряжкой на землю. Было совсем тихо. Уж действительно, как в могиле. Люди молчали — видать, ждали. Трамваев не было слышно. Земля молчала.

«Значит, ночь,— подумал я,— трамваи не ходят».

Я повернулся лицом вверх и стал смотреть в потолок. Он был от меня в полутора метрах.

И вот эти самые кишки — провода, про которые говорил Старик,— их подвязали веревкой к перекладинам, как я велел.

«Развязать веревку и удавиться,— подумал я.— Низко, но я подожму коленки. Тогда режь покойника хоть на котлеты».

Я приподнялся: надо было переставить астролябию, чтобы не мешала. Понятно, что я не очень спешил. Я даже еще раз взглянул на астролябию. Что за дьявол? Компас не кривил и показывал точно. Я стоял на коленках, глядел через прорези на огоньки и не верил глазам.

Я перенес астролябию дальше. Компас уверенно и спокойно показывал то же самое. Я носился с астролябией по всему нашему ходу, компас отмечал все то же.

— Что ж ты, мерзавец, раньше-то? — Это я уж застонал вслух.— Ведь меня резать хотят, а ты вон что!

Я обернулся и крикнул во всю глотку:

— Земляк! Иди проверяй! Компас на месте.

Я вошел в контору и нахально глянул кривому в глаз.

Минуты через три вернулся Земляк. Он был красен и чуть не плакал от счастья.

— Что ты там сделал, мастер? — закричал он.

— Ничего не сделал,— сказал я.— А ты дурак! — Я видел, как двинул бровями Земляк.— И я дурак! — прибавил я и ткнул себя пальцем в грудь.

Я сейчас же потребовал есть. Я ел и не мог наесться. Земляк несколько раз просил меня объяснить, что случилось с компасом, но я отвечал ему всякие глупости.

Я ни с кем не разговаривал, курил, сплевывал, распоряжался. Я потребовал, чтобы работы вели в три смены, а землю пускай хоть едят — не мое дело.

Теперь все ходили копать. Приходил и кривой. Он каждый раз пронзительно взглядывал на меня, но я глядел на него, как на стенку, и отдувался дымом; я курил не переставая. Люк часто открывали, потому что в туннеле становилось душно, люди вылезали оттуда потные, все в земле и скользкие, как черви. Работали до поту, раздевшись чуть ли не донага.

Каждые шесть часов я ходил проверять длину. Остальное время я жрал, курил и валялся на койке. Я чувствовал, что я обрюзг, отяжелел. Щеки обросли щетиной, и тупая сонливость овладела мной. Всякое волнение на

время покинуло меня, как будто действительно копали ямину для винного погреба. Наконец мне сказали, что осталось три дня.

— Осталось три сажени,— сказал я и сплюнул через зубы.

За день до срока — это, значит, был канун пасхи — я сказал: «Стоп!»

Я знал точность моих измерений. Больше чем на полсажени я ошибиться не мог. По моим расчетам, мы подкопались под самую середину кладовой банка, а кладовая была три сажени в ширину, восемь сажен в длину. В какую бы сторону я ни ошибся, мы выйдем наверх обязательно внутри кладовой.

Но если мои расчеты неверны? Если планы, которые были у меня в руках, сняты неточно? Если мы действительно попадем в караульное помещение? На секунду я оледенел от этой мысли, но даю слово: на одну секунду, а потом мне становилось опять все равно.

Я сам забил кол в том месте, откуда мы должны рыть яму вверх. Теперь я сидел в конторе и каждые десять минут поглядывал на часы. Я знал, что был вечер, а в девять часов было назначено начать работу вверх. Чтобы скоротать время, я требовал то кофе, то еды.

В половине девятого Земляк снова взял рулетку и опять пошел промерять,— не знаю, вероятно, в сотый раз. Потом он подошел ко мне, молча глядел на меня. Минуты с три, не больше.

Но тут открылся люк, и стали спускаться люди.

Теперь командовал кривой.

Впереди пошли три землекопа, за ними какой-то человек, которого я раньше не видел, потом Земляк, за ним Старичок, потом кривой велел идти мне.

Требовать иного порядка я не смел: обогнать Старичка и пойти впереди него в этом узком проходе было невозможно. Сердце мое колотилось от досады и злобы, но делать было нечего.

Наконец все остановились. Я слышал, как впереди начали работать землекопы. До верха должно было оставаться не больше полсажени. Я слышал, как лопата царапнула по цементному полу подвала. Вот осторожно садят ломом. Стуку было очень мало.

Цемент легко треснул. Большие куски передавали с руки на руки. Говорили шепотом. Старичок двинулся впереди меня. Я понял, что дыра пробита.

Но пройти в дыру мне не дал кривой. Он цепко схватил меня за ногу.

«Ага, вот оно!» — подумал я. Я ждал удара кинжалом и прикрыл руками шею.

— Стой здесь со мной,— шептал кривой.— Там пол работают.

Действительно, я слышал, как наверху ломали. Я закрыл глаза, хотя все равно было темно. Я скорчившись сидел на куче земли и слышал, как кто-то рядом со мной хрипло дышал. Сверху что-то говорили по-кавказски.

Куда попали? Может быть, в общий зал, а может быть, в глухое помещение архива? Я старался не думать, но это было так трудно. Мне хотелось крикнуть Земляку: «Ну как?» Но я боялся пошевелиться. Кривой все крепче жал мою ногу, он накрутил на кулак штанину и вертел ее все туже и туже.

Наверху все замолкло. Я не знал, куда они провалились. Мне казалось, что время запуталось в этой темноте, стало на месте как вкопанное. Да и не все ли равно! Я решил, что больше уж никогда не увижу свет. Наконец я услышал осторожные голоса.

Кривой совсем было насел на меня, но теперь он поднялся и тащил меня назад. Мы стали пятиться.

Я снова начал беспокойно думать, что значит это отступление. Голоса впереди глухо гудели. Вдруг я увидел, как вдоль по туннелю что-то пересовывали от одного к другому. Вот оно уже у Старичка в руках, вот он переталкивает мне, говорит:

— Давай дальше.

Я пропихнул кривому плотный сверток, кило с пять весом. Потом пошло больше и больше.

Я понял, конечно: удача. Это деньги.

Я и Старичок стояли в пекарне.

— Ты знаешь,— сказал Старичок,— тебя искали. Твоя хозяйка в полиции говорила, что ты пропал. В газете было...

Я уже плохо понимал, что́ он говорил. Я слышал через закрытые двери волю. Я слышал, как гудят пасхальные колокола, как гомонят прохожие ночными гулкими голосами.

А Старичок все говорил, говорил...

Я только понял, что меня не пускают потому, что надо идти непременно с ними.

Наш пароход уходил в три часа ночи. Старичок, кривой и Земляк вместе со мной поместились в одной каюте. Где были остальные, я не знал. Я не видал, куда они дели деньги. Насколько помню, их было мешков пять. На пароходе я не узнал кривого — не потому, что он переоделся, не потому, что он успел постричь и расчесать бороду. Нет, веселый и приветливый человек сидел против меня на пароходной койке. Он глядел на меня, как, пожалуй, мать смотрит на сына, когда лет десять его не видала. Он поминутно хлопал меня по колену, говорил что-то по-кавказски и приговаривал по-русски:

— Ти хорош человек. Очень милый человек. Совсем хороший мастер.— И опять по-своему и опять по-русски.— Завтра,— говорит,— что хочешь, сегодня не надо.

Когда я выходил из каюты на минутку, на две, кривой выходил со мной, но я уже на него не сердился. Он хлопал меня по плечу, и мне было приятно, когда он говорил:

— Постой, милый мой, немножко. Завтра иди куда хочешь.

Я уже засыпал, как вдруг в темноте кто-то толкнул меня в плечо. Из темноты я услыхал, как Земляк говорил:

— Милай, пожалуйста, прошу, скажи, компас?

Ну, как я мог ему отказать, когда мне только и хотелось, что улыбаться! И я сказал:

— Астролябия стояла под этими кишками. Помнишь, под проводами. Это трамвайные провода. Подземный кабель. Весь день до поздней ночи по ним идет ток, пока ходят трамваи. Этот ток и поворачивал магнитную стрелку, пока ходили вагоны. Случайно, когда вы собрались меня резать,— я даже улыбнулся, когда вспомнил про это,— было это в глухую ночь, когда молчат трамваи.

Сквозь сон я слышал, как наш пароход останавливался, как наверху топали по палубе. Я взглядывал в пароходное окошко, но там было мутно. Я заворачивался с головой в одеяло. Мне хотелось сделать себе подарок. Мне хотелось открыть глаза и сразу увидать яркий дневной свет.

Так и вышло. Я проснулся — и солнце в каюте. Я так обрадовался, что погладил рукой на стене солнечные пятна. Но в каюте я оказался один. Товарищи исчезли.

На пароходе их не оказалось.

Под подушкой я нашел небольшую пачку денег и записку. Из записки я узнал, что деньги-то эти как раз те, что́ красные не успели с собой увезти из нашего города,— белые навалились и поставили в банке свой караул. А они копали, чтоб свое золото выручить.

Только тут я понял, кто они были.

На октябрьском вечере товарищ Н. в своих воспоминаниях, посвященных подпольной работе в тылу у белых, вскользь упомянул и об описанном случае с пекарней.

«Действительно,— рассказывал товарищ Н.,— с трудом налаженное дело увоза золота, которое не успели вывезти от белых, чуть не сорвалось из-за какого-то полупьяного чудака, который задумал разыграть из себя сыщика. Нам ничего не оставалось, как взять с собой этого человека, и он неожиданно, несмотря на свою трусость и небольшие умственные способности, принес нам кое-какую пользу.

Мы ему представлялись какими-то страшными разбойниками; со страху ему казалось, что мы готовы его живьем в землю закопать.

По соображениям вполне понятным ему не открывали, кто мы такие.

В истории с подкопом товарищи проявили немалую выдержку. Легко себе представить, что́ всем нам грозило, если бы белые пронюхали про подкоп. Но подпольный ревком поручил нам выручить золото, и мы это выполнили».

ИСТОРИЯ КОРАБЛЯ

Я жил у моря. В порту. Мне было десять лет. Это было летом. Пришел мой дядька и из прихожей, не снимая шапки, закричал мне:

— Если хочешь военный корабль смотреть, сейчас же бери шапку и марш со мной!

Я схватил шапку и побежал.

Военные суда я видал только издалека. Они в порт никогда не входили. Они совсем не такие были, как обыкновенные пароходы, что возят груз. В них какие-то постройки поднимались горкой вверх в середине. Там стояли дымовые трубы. А спереди и сзади из этой горки надстроек торчали, как длинные пальцы, пушки. Все мальчишки говорили, что это двенадцатидюймовые орудия. Я тоже повторял, как дурак. Говорил «орудие» и говорил «двенадцатидюймовое». А почему не пушка, а орудие и что там двенадцатидюймового, это я ничего не понимал. Твердил я это для важности, потому что после этого надо было поднимать кулак и говорить: «Ка-ак ахнет!»

Когда мы с дядькой шли к пристани, я хотел ему похвастаться, что кой-чего уж понимаю, показал рукой, где стояли военные корабли, поднял кулак и сказал:

— Эх, двенадцатидюймовая ка-ак ахнет!

О том, что было потом, я говорить не хочу, потому что очень плохо вышло.

Дядька ухмыльнулся, на меня скосился и стал меня спрашивать, почему это двенадцатидюймовая и как это она ахнет. Было очень плохо еще потому, что везли нас на корабль на военной шлюпке. А дядька и там не отставал. Штатские были мы с дядькой да какой-то старик. Остальные кругом все были моряки: гребли матросы, а правил шлюпкой молодой офицер. И дядька нарочно при всех громко расспрашивает:

— Ну, а что же в ней двенадцатидюймового, в этой пушке-то? Ты же говорил: «Двенадцатидюймовая-то ахнет».

Все стали смеяться. А я хотел совсем из лодки выпрыгнуть и лучше вплавь на берег плыть, чем так ехать.

Но все-таки до корабля меня довезли, и, когда я стал его видеть все ближе и ближе, я уже не слушал, как дядька подтрунивает.

Военный корабль вблизи показался мне таким громадным. И не то что дом, а как будто целый город стоит на воде. Мне даже страшным показалось, что этакая громада держится на воде. Мне казалось, что должен сейчас же пойти ко дну, как каменная гора, которую пустили плавать.

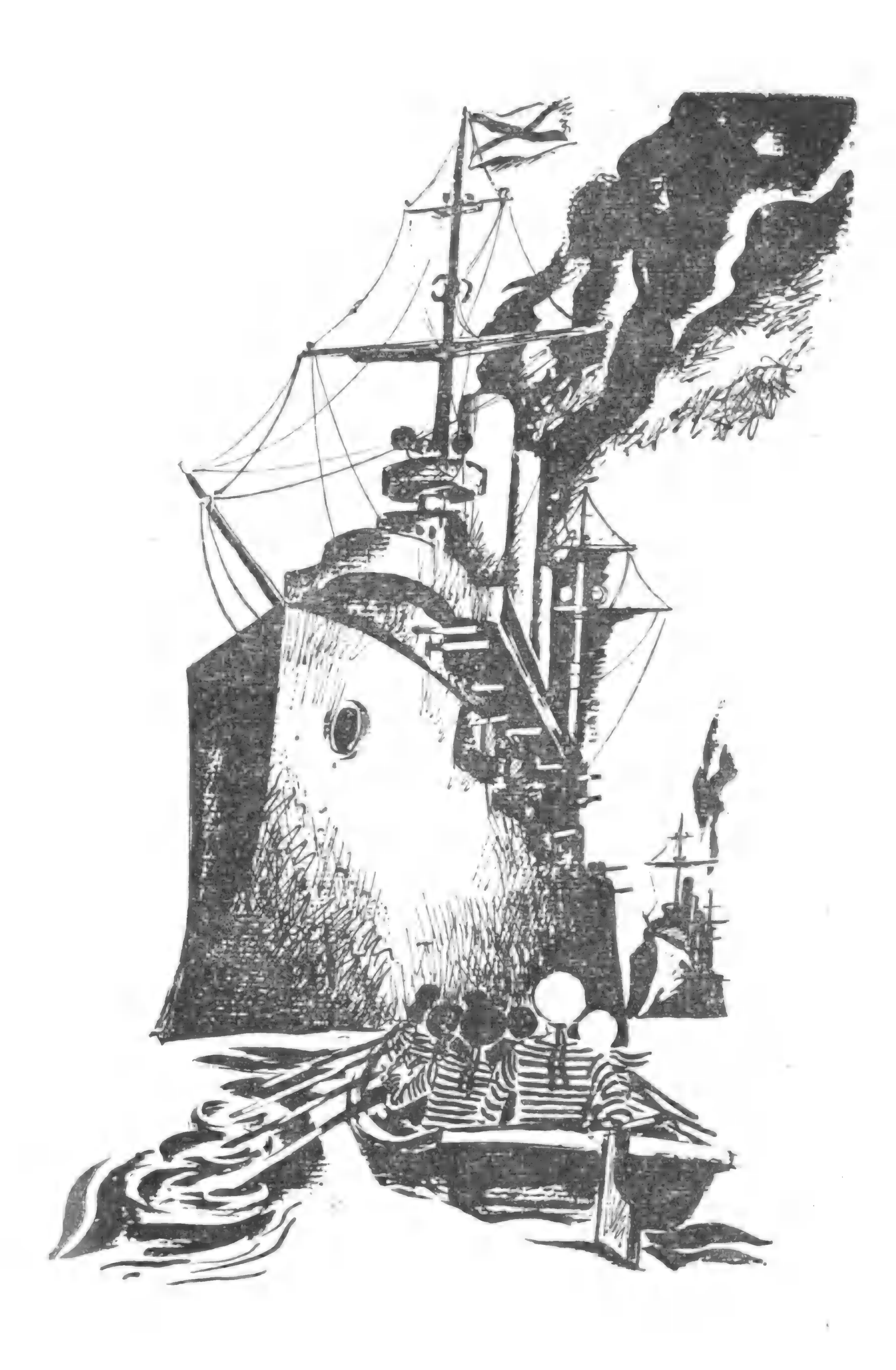
Я очень много узнал, пока нас с дядькой водили по кораблю.

Когда меня сестра дома спросила про корабль: «Что же он, железный?», я сказал: «Очень, очень железный». И тут я вспомнил, чего я больше всего боялся, когда был на корабле.

Нас водили в огромные круглые башни. Башни были на палубе. Их стены из железа в два кулака толщиной. Из этих башен торчат пушки. Вот это-то самые двенадцатидюймовые орудия. Они тяжеленные, потому что дула у них двенадцать дюймов в поперечнике, торчат они из башни, длинней, чем телеграфный столб. Одна такая башня на корабле впереди, другая сзади. Экая тяжесть! Мне сказали, что палуба тоже железная. Она из железных плит толщиной в руку. А сверху эти деревянные дощечки, только так, чтоб ходить лучше было. А по бортам, от верху до самой воды, идут у корабля железные плиты такой толщины, что могла бы лечь моя фуражка и козырек не высунулся бы. Я, конечно, понимал, что корабль не утонет из-за всего этого, что он как большое железное корыто. Вон в корыто сколько кирпичей нагрузить можно, и то не потонет. Нет, я уж как-то перестал бояться, что корабль потонет от всего этого,— я не того боялся, что корабль потонет от всей этой тяжести, а мне вот чего страшно было. Вся эта тяжесть наверху, и вот он стоит теперь, пока все спокойно, а если его чуть качнет, сразу перевесит верхний груз — и корабль перевернется вверх дном. Сразу, мгновенно. Как у меня переворачивались игрушечные лодочки, когда я на них наваливал песок горбом. Мне все было неспокойно. Я совсем легко себя почувствовал, уже когда мы сели на гребной катер.

Там сидело двадцать гребцов. Рулевой как сказал: «Весла!» — так все гребцы сразу взяли весла, вставили в уключины и выставили над водой. Они их так ровно держали, как будто две гребенки выросли по бокам нашей шлюпки. А потом рулевой сказал: «На воду!» — и все матросы, как один, занесли весла и сунули их в воду. Они их враз опускали и вынимали. Весла взблескивали на солнце, как будто вспыхивал и гаснул огонь. Я очень много узнал за этот день. Не за день даже, а за те три часа, что пробыл на военном корабле. Мне стало смешно и стыдно, как это я ничего не знал, а только кулак поднимал: «Да ка-ак ахнет!»

Я уже совсем засыпал в постели и думал, как это завтра я буду всем мальчишкам рассказывать про ко-



рабль и расскажу все, что мне говорили: почему двенадцатидюймовая и как дошли, чтобы толщенными броневыми плитами борта загораживать. И тут вдруг увидал, что я почти все забыл, что мне говорили моряки. А что я запомнил, так того я не понимал...

И вот с тех пор я стал узнавать, я стал отыскивать книжки, рисунки, картинки, непременно чтобы про корабли, про корабли.

И вот что я узнал с тех пор и постараюсь здесь рассказать. Я сам, только когда вырос большой, понял, почему не переворачивается военный корабль, несмотря на то что так много у него нагружено наверху.

И мне сейчас вовсе не смешно, что я тогда мальчишкой боялся, чтобы не опрокинулся вверх дном броненосец.

Я все-таки тогда на берегу спросил дядьку: «Не может ли корабль перевернуться?» Дядька сказал: «Чего б это ему переворачиваться? Не так он строен, чтоб ему переворачиваться».

Но потом я узнал, что это неправда, что корабль может перевернуться. Всякий. И военный тоже, если бы пришел великан, подошел бы в воде к кораблю, упер бы пальцем в мачту и стал бы корабль наклонять. Моряки говорят: «Кренить». Сначала великану было бы легко кренить корабль. Но чем больше бы он кренил корабль, тем сильнее старался бы корабль выпрямиться. И мачта сильней давила бы великану на палец. И вот когда мачта стоит так, как часовая стрелка, когда на часах половина второго, великан вдруг почувствует, что сопротивление корабля начинает слабнуть. Мачта слабей стала давить на палец, великану стало легче кренить корабль, и вдруг, когда мачта еще не дошла до воды, корабль сразу упал на бок. А вот он уже вверх килем!

Если бы великан мог точно сказать, с силой скольких тонн он давил на мачту в начале, в середине, в конце крена, мог бы точно сказать, как возрастало и как падало потом сопротивление корабля, тогда бы мы могли записать, до какого крена возрастает это сопротивление корабля — его остойчивость, и как потом она падает.

...Сто лет тому назад жил в Англии знаменитый корабельный инженер Джон Рид. Он для каждого корабля делал чертеж, где видно было, как растет и падает

устойчивость при крене. На его чертежах показано, с какой силой корабль сопротивляется крену. Вот когда его положат на пятьдесят градусов, это значит — он с наибольшей силой старается выпрямиться и встать ровно. Но в шестьдесят градусов уже нет никакой силы у корабля сопротивляться крену. Это значит, что если довести его до этого наклона, то он без сопротивления опрокинется, ляжет мачтами на воду или вовсе перевернется. Эта линия начерчена для каждого корабля, ее знает всякий капитан, она называется диаграмма Рида.

И на том броненосце, где я был с дядькой, конечно, была у командира диаграмма Рида. И он знал, при каком наклоне его броненосец уже не будет сопротивляться крену, не будет больше стараться выровняться, а опрокинется, как сраженный насмерть.

Конечно, командир знал, что ни при какой волне его не покренит так здесь, в Черном море. И командир был спокоен, хоть огромные тяжести были нагружены вверху корабля.

Но какой же корабль устойчивее: узкий и острый с тяжестью на самой глубине или широкий, как лоханка? Узкий и острый с тяжестью внизу — ведь он как доска, которой на ребро надели свинцовую шину, да так и пустили плавать. Доска, конечно, наполовину загрузнет и будет торчать из воды, как забор. Вы ее никогда не перевернете, она будет вставать как ванька-встанька. Но и болтаться же она будет тоже как ванька-встанька от малейшего толчка. От ничтожной причины ее будет раскачивать с боку на бок, и хоть такое судно никогда не перевернется, но и остойчивости в нем мало.

То ли дело ящик: широкий, с высокими бортами. Да, его не так-то легко накренить. Если начнешь пихать один борт в воду, будешь стараться его притопить, какое он окажет сопротивление! Как будет стараться он вылезть из воды и стать ровно, как стоял прежде! Вот в том, что широко расставленные высокобортные края ящика не хотят идти под воду,— в этом и вся сила остойчивости широкого высокобортного судна. Это не доска, которую одним щелчком можно раскачать и она будет качаться, как маятник. Нет, как только вы пустите ящик, он сейчас же выпрямится. И разве разок-другой покачнется и сейчас же станет на воде прочно, будто он стоит на земле.

Ящику вовсе не требуется свинцовый груз под водой.

Он и без всякого груза крепко стоит на воде. На таком ящике можно посредине нагородить целую башню со всякими тяжестями, и от этого широкому ящику горя мало, лишь бы не пошли борта под воду. А там, сделай милость, раскачивай — не перевернусь!

Я вспомнил, что броненосец, куда мы с дядькой ходили, был здорово широкий. Я потом смотрел его чертеж. Он прямо как лоханка.

Но как же люди плавали по морям, когда еще никакого Рида не было и никто не знал, как наперед подсчитать, чтобы корабль не перевернулся? А ведь ходили! Вон Колумб переплыл океан на своей «Санта-Марии». Если бы теперь такое судно вздумало взять отход за океан, его не выпустили бы ни из одного порта в мире. Нет, я вру! Именно как раз такому судну, в точности как «Санта-Мария», дали отход, чтобы переплыть океан из Европы в Америку. Это в 1898 году, когда праздновали 400-летие открытия Америки. Сделали точную копию Колумбова корабля. Люди сели и повторили первое Колумбово плавание. Да, только эти «колумбы» плыли с нянькой: большой океанский пароход шел рядом на случай, чтобы ничего не случилось. По счастью, все прошло гладко, и наши «колумбы» открыли Америку второй раз.

Но когда в 1498 году Колумб плыл открытым морем все на запад и на запад, ни он сам, ни команда не боялись, что их судно перевернется. Они боялись другого: им было страшно, что там земля кончится и что там вода прямо с краю, водопадом срывается в бездну, что туда идет сильный ток, он тем сильнее, чем ближе к краю. Туда затянет корабль с неудержимой силой, и от той гибели не уйти на парусах. И не спасет никакой якорь.

Того хуже: можно было увидать в книгах, в работах почтенных, страшные рисунки. На одном рисунке было точно показано, как из-за горизонта поднимается страшная рука гиганта. Уже издали до полнеба поднимаются длинные пальцы с длинными на концах когтями. Такая рука может, как муху, накрыть и раздавить корабль. А сирены? В них твердо верили тогдашние люди. Вой ночного ветра в снастях, светящаяся пена южных волн, как все это обманывало испуганный глаз и ухо! Вой ветра в снастях казался пением. Откуда оно? И белые барашки зыбей на ночном море казались белыми телами

русалок-сирен. Ага! Они-то и воют. И уж пошли рассказы, что кто-то погибал в море, один или вдвоем на обломках корабля. Их спасли. И они рассказали, божась и крестясь, что видели днем, как поднялся из моря целый хоровод сирен, днем, в тихую погоду. И они пели чудными голосами. Манили к себе в воду. Погибавшие рассказывали, что если бы они не закрыли друг другу глаза и уши, то они оба бросились бы в море.

А вы думаете, они не видали этих сирен, не слыхали их пения? Я много слышал рассказов людей, погибавших в море,— людей, на шлюпке, без воды и пищи скитавшихся по десять, по пятнадцать дней, когда погибали товарищ за товарищем и последние оставшиеся в живых уже бывали не в силах выбрасывать покойников за борт. Оставшиеся в живых передавали страшные рассказы, они передавали видения и бред своих товарищей. Люди погибали, выбились из сил, они устали погибать. Но неугасимая надежда на спасение, она-то и вызывала видения и бред. Одному казалось, что вот «чухает» мотор, вот прямо им навстречу несется полным ходом спасательный бот. Погибающий в бреду кричит рулевому охрипшим голосом, но что есть мочи: «Право! Право! Держи право!» — а сам ловит руками невидимый канат, который как будто ему бросают спасатели. Если бы этот человек остался жить, он, наверное, рассказал бы, что к ним подходил спасательный бот, сказал бы даже, какой нации, и что бросали канат, а дурак-рулевой не взял вправо, сколько он ему ни кричал.

Рассказывал один полярный моряк: их спаслось на шлюпке двое из восьми. Он наслушался этого предсмертного бреда товарищей, и, когда за ним действительно стал «чухать» мотор норвежского рыбачьего бота, он не оглянулся. Он подумал: «Эге, вот уж и мне начинает казаться!» Он плохо еще верил, когда и он и товарищ увидели рядом догнавших их норвежских рыбаков. Он боялся, что ему чудится то, что он знает, во что верил, что может быть.

И чего удивляться, что старинным людям чудилось то, во что они твердо верили?

Еще не так давно пропала вера в морскую змею. То тот, то другой моряк или пассажир океанского парохода сообщал, что видел ясно в бинокль, другие говорили, что простым глазом, совсем близко, видели громадную змею, раза в полтора длиннее парохода. Змея плыла по

морю, подняв высоко из воды голову, страшную, зубатую. На пароходе хотели стрелять, да не было пушки.

А во времена Колумба вы никого не разуверили бы, что есть морской человек, что он живет и растет в море и что там, на дне, есть морская собака; она, как рыба, только на четырех лапах и со страшными зубами. Четырьмя лапами она бегает по дну, а рыбьим хвостом поддает себе ходу. Вот всех этих страстей и боялись Колумбовы люди, а вовсе не того, что их может опрокинуть ветром, положить парусами на воду.

Паруса на Колумбовой каравелле были совсем не высоки, и центр напора ветра приходился совсем низко. Кроме того, при тогдашней оснастке кораблей мореходы не ходили боковыми ветрами, а всегда так, чтобы ветер дул хоть немножечко сзади. А если он дул уж совсем сбоку, когда опаснее всего опрокинуться, то рулевой поворачивал судно так, чтобы все-таки идти немножко по ветру. Конечно, за погодой зорко следили, парусов было мало, и спустить их можно было в один миг, если бы налетела буря.

А уж в этом деле — подследить погоду, направить судно, чтобы меньше заливало волной да чтобы не валил ветер,— ох! — в этом деле давно уже люди понаторели. И к Колумбову времени уж столько было опытных специалистов парусного хождения, что их на Средиземном море, наверное, не меньше было, чем в Москве шоферов.

Вот смотрите: несколько лет тому назад в Средиземном море работали подводники. И вдруг водолазы наткнулись на остатки древнего корабля. Он затонул на неглубоком месте, куда еще могли спускаться водолазы. Водолазы сообщили наверх, наверху решили непременно достать. Достать эту древность, которую море так добросовестно сберегало нам до наших дней.

Теперь не сломать бы, как будем доставать!

Достали со всей осторожностью, и что же? Ученые сказали, что этому судну две с половиной тысячи лет. Все тщательно очистили, обмыли. Они сказали, что это судно финикийское, что плавало оно между Тиром и Карфагеном, принадлежало оно торговой компании «Бр. Кукис» и что сейчас оно везло тридцать мехов карфагенского вина.

Ученых спросили:

— Позвольте, вы говорите— сейчас?

— Фу,— сказали ученые в один голос,— ведь вот мы нашли росписи и записи, по которым был сдан на судно груз. Это уж совсем как теперешняя бухгалтерия. Все это так похоже на сегодняшний день. Вот мы и сказали «сейчас».

...Две с половиной тысячи лет назад уже существовала контора по морской перевозке грузов! Значит, отвечали за целость. А от Карфагена до Тира не ближний путь. Это и в наше время не парусник, а грузовой пароход прошлепает недели полторы.

Этому кораблю не удалось доплыть. Но ведь и нынче бывают несчастья, а в прежнее время, кроме бурь, туманов и подводных скал, была опасность и от людей... Ведет кормчий хозяйское судно. Хитро ведет. Он знает, когда бывает под берегом и где, когда скорей найдешь ветер в море. В надежных гаванях, на тяжелых якорях он отстаивается, выжидает, пока продуют противные ветры. Он жалеет силы гребцов: они понадобятся, чтобы из штилевой полосы добраться к ветру или чтобы подгрестись к берегу, когда с гор начинает задувать штормовой ветер. Но вот он идет тихим ветром мимо скалистых отвесных берегов. Он глядит на берег, но видит на фоне скал небольшие лодки с большими веслами. Он заметил, когда они уже сорвались, гребут во всю мочь и идут напересечку. Он их увидел тогда, когда высокая гора совсем закрыла ему ветер и паруса безжизненно повисли, как большие тряпки. Капитан уже видит, как блестят на лодках щиты, как блещут огоньками острия копий.

— Весла! Весла! — командует кормчий.

— Горе нам! — шепчет брат хозяина.

Ему доверили сопровождать груз. Он даже подумал, не уговорился ли капитан с этими разбойниками. Зачем он так близко подошел к берегу? Зачем он залез в такое место, где нет ветра? Хозяйский брат спускается к гребцам, он кричит на них, бьет, чтобы гребли сильней. Он кричит капитану, чтобы правил прямо в море. Капитан сам давно уже направил судно носом от берега, он приказал спустить паруса, чтобы не мешали движению судна.

Но разбойники на легких лодках летят по гладкой воде, кажется едва ее задевая.

Эге! Да они с двух сторон охватывают судно! Теперь и они летят прямо в море. Один их ряд справа, дру-

гой — слева от корабля, но они смыкаются ближе, ближе. Кто раньше устанет: гребцы на тяжелом корабле или на легких лодках? Вот уже слева полетела первая стрела, пущенная пиратом с передней лодки. Она ударилась, вонзилась в борт и остановилась, дрожа. На корабле тоже есть лучники, на корабле есть охрана. Они ответили десятками стрел с борта. Но вот и справа полетели стрелы. Это справа, совсем близко подступили пираты.

— Все направо! — закричал капитан.

Хозяйский брат тоже что-то кричит, мечется, но никто его не слушает. Он схватил копье, метательный дротик и бросил его в пиратов. Но дротик упал в двух шагах от корабля. Показалось, что он бросил его за борт.

Гребцы внизу не знали, что сделают с ними пираты, если захватят судно. Может быть, они потопят их вместе с кораблем за то, что они сильно гребли и долго не давались. Они все были рабы, никто не будет выкупать их, и пираты их, может быть, возьмут, чтобы перепродать хоть за низкую плату. И гребцы не знали, что делать. Они то гребли со всей силой, то их одолевали усталость и сомнение, и они опять гребли тише.

Вдруг к ним спустился капитан и сказал два слова. Гребцы навалились на весла так, что пена забурлила перед носом корабля. Казалось, вон из воды хочет вырваться корабль и взлететь на воздух. Весла трещали и гнулись. Казалось, сейчас лопнут. Капитан впереди видит черную полосу на воде. Он знал, что туда лег ветер, это от мелкой ряби почернело глянцевитое море. Там не затеняет гора, там он подымет паруса, и тогда пусть-ка гонятся за ним пираты на веслах! Ветер небось не устанет! Но надо дойти туда раньше, чем схватят пираты.

Капитан вытащил мешок круглых, отборных камней к себе на корму. Он закладывал их в ременный пояс и, раскрутив в руке, швырял их с этой пращи в ближние лодки.

Капитан с детства был мастером этого дела. Он кидал камни из пращи лучше, чем солдат-пращник. Поэтому он надеялся не только попасть в пиратскую лодку, но целил там самому высокому воину в башку. С третьего камня он угодил ему в локоть. Воин бросил лук, схватился за локоть, повернулся раза два на месте и сел на дно лодки. Капитану это поддало духу, и он

сбил еще двоих пиратов. Капитан кричал, чтобы только в эту первую лодку и метили с его корабля, кто из лука стрелой, кто метательным копьем. Лодка как будто приостановилась, задумалась. Вторая стала обгонять ее. С левой стороны летели стрелы с пиратских лодок. Теперь они полетели вдруг густо. Капитан хотел поглядеть налево, но он увидел, что его рулевой убит: ему в шею попала стрела. Капитан сам схватил веревки от рулей — от двух больших весел, которые спускались с кормы справа и слева. Теперь не к чему было глядеть ему налево: снизу, с воды, крики доносились так громко и ясно, пираты близко, они сейчас настигнут. С корабля перестали стрелять — видно, все потеряли надежду.

Брат хозяина держал в руке короткий меч, он им размахивал, направляя себе в сердце, и каждый раз останавливался и только слегка касался мечом своей груди. Но каждый раз он пронзительно вскрикивал: «А! А!» На него никто уже не оглядывался.

Капитан давно уже делал какие-то знаки матросам. Он махал им руками. Они его понимали без слов. И вот теперь капитан на минуту освободил свою руку от веревок рулей, он вскинул ее вверх. Матросы поняли. Они мигом растянули парус. Он раздулся пузырем: корабль был уже в полосе ветра. Гребцы, не щадя сил, вынесли корабль из безветрия. Двое гребцов упали со своих лавок, бросив свои весла. Может быть, они умерли от натуги. Сейчас было не до них.

Теперь корабль шел на парусах и на веслах. С пиратских лодок завизжали, когда увидали поднятый парус. Пираты налегали во всю мочь. С корабля было видно, как воины били гребцов. Но через минуту корабль был уже в полосе сильного ветра. Всем стало ясно, что погоня не удалась. Пиратские стрелы уже не долетали, они их пускали с досады, в надежде, что донесет ветер. Капитан велел прекратить греблю. Он велел матросу разносить гребцам вино и воду сколько хотят. Убирали раненых, их было семь человек. Убит был один рулевой. Два гребца так и не пришли в себя: они умерли с натуги, от разрыва сердца.

Корабль спокойно шел попутным ветром, удаляясь от страшного берега. Два матроса сменили капитана у рулей. Брат хозяина совсем изнемогал от пережитого страха. Он лег щекой на плечо капитана.

— Какое счастье! Спас бог Мардук.

— Не Мардук, а гребцы,— сказал капитан.— Я обещал им свободу за наше спасение.

— Как это? — сказал брат хозяина. Он перестал всхлипывать, отшатнулся и испуганно глядел на капитана.— Ведь не ты их покупал! Или ты обещаешь их выкупить?

— Они себя выкупили: спасли корабль,— сказал капитан.— А на всякий случай меньше разговаривай, потому что я приказал освободить их ноги от оков.

Брат хозяина нахмурился и глядел капитану в глаза.

— Торговаться не приходится,— сказал капитан.— Ты бы лучше радовался, что остался цел. А то продали бы тебя пираты... в гребцы. И пахал бы ты тяжеленным веслом. Ты знаешь: их двое умерло сейчас за свою свободу, спасая тебя и твое добро.

И капитан пошел к гребцам.

ЧЕРНЫЕ ПАРУСА

1. Ладьи

Обмотали весла тряпьем, чтоб не стукнуло, не брякнуло дерево. И водой сверху полили, чтоб не скрипнуло.

Ночь темная густая, хоть палку воткни. Подгребаются казаки к турецкому берегу, и вода не плеснет: весло из воды вынимают осторожно, что ребенка из люльки. А лодки большие, развалистые. Носы острые, вверх тянутся. В каждой лодке по двадцать пять человек, и еще для двадцати места хватит.

Старый Пилип на передней лодке. Он и ведет.

Стал уж берег виден: стоит он черной стеной на черном небе. Гребанут, гребанут казаки и станут — слушают.

Хорошо тянет с берега ночной ветерок. Все слыхать. Вот и последняя собака на берегу брехать перестала. Тихо. Только слышно, как море шуршит песком под берегом, чуть дышит Черное море.

Вот веслом дно достали. Вылезли двое и пошли вброд на берег, в разведку. Большой, богатый аул тут, на берегу, у турок стоит.

А ладьи уж все тут. Стоят слушают — не забаламутили б хлопцы собак. Да не таковские!

Вот чуть заалело над берегом и обрыв над головой стал виден. С зубцами, с водомоинами.

И гомон поднялся в ауле.

А свет ярче, ярче, и багровый дым заклубился, завился над турецкой деревней: с обоих краев подпалили казаки аул. Псы забрехали, кони заржали, завыл народ, заголосил.

Рванули ладьи в берег. По два человека оставили казаки в лодке и полезли по обрыву на кручу. Вот она, кукуруза,— стеной стоит под самым аулом.

Лежат казаки в кукурузе и смотрят, как турки все свое добро на улицу тащат: и сундуки, и ковры, и посуду,— все на пожарище, как днем, видать. Высматривают, чья хата побогаче.

Мечутся турки, ревут бабы, таскают из колодца воду, коней выводят из стойл. Кони бьются, срываются, носятся меж людей, топчут добро и уносятся в степь.

Пожитков груда на земле навалена.

Как гикнет Пилип! Вскочили казаки, бросились к турецкому добру и ну хватать, что кому под силу.

Обалдели турки, кричат по-своему.

А казак хватил и — в кукурузу, в темь, и сгинул в ночи, как в воду нырнул.

Уж набили хлопцы лодки коврами, и кувшинами серебряными, и вышивками турецкими, да вот вздумал вдруг Грицко турчанку с собой подхватить — так, для смеху.

А она как даст голосу, да такого, что сразу турки в память пришли. Хватились ятаганы откапывать в пожитках из-под узлов и бросились за Грицком.

Грицко и турчанку кинул, бегом ломит через кукурузу, камнем вниз с обрыва бежит к ладьям.

А турки за ним с берега сыплются, как картошка. В воду лезут, на казаков: от пожара, от крика как очумели, вплавь бросились.

Тут уж с обрыва из мушкетов палить принялись и пожар-то свой бросили. Отбиваются казаки. Да не палить же из мушкетов в берег — еще темней стало под обрывом, как задышало зарево над деревней. Своих бы не перебить. Бьются саблями и отступают вброд к ладьям.

И вот, кто не успел в ладью вскочить, порубили тех турки. Одного только в плен взяли — Грицка.

А казаки налегли что силы на весла и — в море, подальше от турецких пуль. Гребли, пока пожар чуть виден стал: красным глазком мигает с берега. Тогда подались на север, скорей, чтоб не настигла погоня.

По два гребца сидело на каждой скамье, а скамей было по семи на каждой ладье: в четырнадцать весел ударяли казаки, а пятнадцатым веслом правил сам кормчий. Это было триста лет тому назад. Так ходили на ладьях казаки к турецким берегам.

2. Фелюга

Пришел в себя Гриц. Все тело избито. Саднит, ломит. Кругом темно. Только огненными линейками светит день в щели сарая. Прощупал кругом: солома, навоз.

«Где это я?»

И вдруг все вспомнил. Вспомнил, и дух захватило. Лучше б убили. А теперь шкуру с живого сдерут. Или на кол посадят турки. Для того и живого оставили. Так и решил. И затошнило от тоски и от страха.

«Может, я не один тут,— все веселей будет».

И спросил вслух:

— Есть кто живой?

Нет, один.

Брякнули замком, и вошли люди. Ударило светом в двери. Грицко и свету не рад. Вот она, смерть, пришла. И встать не может.

Заслабли ноги, обмяк весь. А турки теребят, ногами пинают — вставай!

Подняли.

Руки закрутили назад, вытолкали в двери. Народ стоит на улице, смотрит, лопочут что-то. Старик, бородатый, в чалме, нагнулся, камень поднял. Махнул со злости и попал в провожатых.

А Грицко и по сторонам не глядит, все вперед смотрит — где кол стоит? И страшно, и не глядеть не может: из-за каждого поворота кола ждет. А ноги как не свои, как приделанные.

Мечеть прошли, а кола все нет. Из деревни вышли и пошли дорогой к морю.

«Значит, топить будут,— решил казак.— Все муки меньше!»

У берега стояла фелюга — большая лодка, острая с двух концов. Нос и корма были лихо задраны вверх, как рога у турецкого месяца.

Грицко бросили на дно. Полуголые гребцы взялись за весла.

3. Карамусал

«Так и есть, топить везут»,— решил казак.

Грицко видел со дна только синее небо да голую потную спину гребца.

Стали вдруг легче грести. Гриц запрокинул голову: видит — нос корабля над самой фелюгой. Толстый форштевень изогнуто подымается из воды. По сторонам его написаны краской два глаза, и, как надутые щеки, выпячиваются круглые скулы турецкого карамусала. Как будто от злости надулся корабль.

Только Грицко успел подумать, уж не повесить ли его сюда привезли, как все было готово. Фелюга стояла у высокого, крутого борта, и по веревочному трапу с деревянными ступеньками турки стали перебираться на корабль. Грицка веревкой захлестнули за шею и потащили за борт. Едва не задушили.

На палубе Гриц увидел, что корабль большой, шагов с полсотни длиной. Две мачты, и на спущенных над палубой рейках туго скручены убранные паруса. Фок-мачта смотрела вперед. От мачт шли к борту веревки — ванты. Тугие — ими держалась мачта, когда ветер напирал в парус.

У бортов стояли бочки.

На корме была нагорожена целая кибитка. Большая, обтянутая плотной материей. Вход в нее с палубы был завешен коврами.

Стража с кинжалами и ятаганами у пояса стояла при входе в эту кормовую беседку.

Оттуда не спеша выступал важный турок — в огромной чалме, с широчайшим шелковым поясом; из-под пояса торчали две рукоятки кинжалов с золотой насечкой, с самоцветными каменьями.

Все на палубе затихли и смотрели, как выступал турок.

— Капудан, капудан! — зашептали около Грицка.

Турки расступились. Капудан (капитан) глянул в глаза Грицку,— так глянул, как ломом ткнул. Целую минуту молчал и все глядел. Затем откусил какое-то слово и округло повернул к своей ковровой палатке на корме.

Стража схватила Грицка и повела на нос.

Пришел кузнец, и Грицко мигнуть не успел, как на руках и ногах заговорили, забренчали цепи.

Открыли люки и спихнули пленника в трюм. Грохнулся Грицко в черную дыру, ударился внизу о бревна, о свои цепи. Люк неплотно закрывался, и сквозь щели проникал светлыми полосками солнечный свет.

«Теперь уж не убьют,— подумал казак.— Убили бы, так сразу, там, на берегу».

И цепям и темному трюму обрадовался.

Грицко стал лазить по трюму и рассматривать, где ж это он. Скоро привык к полутьме.

Все судно внутри было из ребер[1], из толстых, вершка по четыре. Ребра были не целые, стычные, и густо посажены. А за ребрами шли уже доски. Между досками, в щелях, смола. Понизу в длину, поверх ребер, шло посредине бревно[2]. Толстое, обтесанное. На него-то и грохнулся Гриц, как его с палубы спихнули.

— А таки здоровая хребтина! — И Грицко похлопал по бревну ладошкой.

Грицко грохотал своими кандалами. А сверху в щелочку смотрел пожилой турок в зеленом тюрбане. Смотрел, кто это так здорово ворочается. И заприметил казака.

— Якши урус[3],— пробормотал он про себя.— За него можно деньги взять. Надо покормить.

4. Порт

В Царьграде на базаре стоял Грицко и рядом с ним невольник-болгарин. Турок в зеленой чалме выменял казака у капудана на серебряный наргилé[4] и теперь продавал на базаре.

[1] Ребра эти называются шпангоутами.

[2] Это бревно, покрывающее шпангоуты, называется кильсоном.

[3] Якши урус — хороший русский.

[4] Наргиле — кальян, прибор для курения.



Базар был всем базарам базар. Казалось, целый город сумасшедших собрался голоса пробовать. Люди старались перекричать ослов, а ослы — друг друга. Груженые верблюды с огромными вьюками ковров на боках, покачиваясь, важно ступали среди толпы, а впереди сириец орал и расчищал каравану дорогу: богатые ковры везли из Сирии на царьградский рынок.

Губастого ободранного вора толкала стража, и густой толпой провожали их мальчишки, бритые, гологоловые.

Зелеными клумбами подымались над толпой арбы с зеленью.

Завешанные черными чадрами, турецкие хозяйки пронзительными голосами ругали купцов-огородников.

Над кучей сладких, пахучих дынь вились роем мухи.

Загорелые люди перекидывали из рук в руки золотистые дыни, заманивали покупателей дешевой ценой.

Грек бил ложкой в кастрюлю — звал в свою харчевню.

С Грицком продавал турок пять мальчиков-арапчат. Он велел им орать свою цену и, если они плохо старались, поддавал жару плеткой. Рядом араб продавал верблюдов.

Покупатели толкались, приливали, отливали и рекой с водоворотом текли мимо.

Кого только не было! Ходили и арабы: легко, как на пружинках, подымались на каждом шагу. Валили толстым пузом вперед турецкие купцы с полдюжиной черных слуг. Проходили генуэзцы в красивых кафтанах в талию; они были франты и все смеялись, болтали, как будто пришли на веселый маскарад. У каждого на боку шпага с затейливой ручкой, золотые пряжки на сапогах.

Среди толчеи вертелись разносчики холодной воды с козьим бурдюком за спиной.

Шум был такой, что грянь гром с неба — никто б не услышал. И вот вдруг этот гам удвоился — все кругом завопили, как будто их бросили на уголья.

Хозяин Грицка схватился нахлестывать своих арапчат. Казак стал смотреть, что́ случилось. Базар расступался: кто-то важный шел — видать, главный тут купец.

Двигался венецианский капитан, в кафтане с золотом и кружевом. Не шел, а выступал павлином. А с ним целая свита расшитой, пестрой молодежи.

Болгарин стал креститься, чтоб видали: вот христианская душа мучится. Авось купят, крещеные ведь люди. А Гриц пялил глаза на шитые кафтаны.

И вот шитые кафтаны стали перед товаром: перед Грицком, арапчатами и набожным болгарином. Уперлись руками в бока, и расшитый золотом капитан затрясся от смеха. За ним вся свита принялась усердно хохотать. Гнулись, переваливались. Им смешно было глядеть, как арапчата, задрав головы к небу, в один голос выли свою цену.

Капитан обернулся к хозяину с важной миной. Золоченые спутники нахмурились, как по команде, и сделали строгие лица. Болгарин так закрестился, что руки не стало видно.

Народ сбежался, обступил венецианцев, всякий совался, тискался: кто подмигивал хозяину, кто старался переманить к себе богатых купцов.

5. Неф

Вечером турок отвел Грицка с болгарином на берег и перевез на фелюге на венецианский корабль.

Болгарин всю дорогу твердил на разные лады Грицку, что их выкупили христиане. От бусурман выкупили, освободили.

А Гриц сказал:

— Що мы им, сватья чи братья, що воны нас выкуплять будут? Дурно паны грошей не дадуть!

Корабль был не то что турецкий карамусал, на котором привезли Грицка в Царьград. Как гордая птица, лежал на воде корабль, высоко задрав многоярусную корму. Он так легко касался воды своим круто изогнутым корпусом, как будто только спустился отдохнуть и понежиться в теплой воде. Казалось, вот сейчас распустит паруса-крылья и вспорхнет. Гибкими змеями вилось в воде его отражение. И над красной вечерней водой тяжело и важно реял за кормой парчовый флаг. На нем был крест и в золотом ярком венчике икона.

Корабль стоял на чистом месте, поодаль от кучи турецких карамусалов, как будто боялся запачкаться.

Квадратные окна были вырезаны в боку судна — семь окон в ряд, по всей длине корабля. Их дверцы были приветливо подняты вверх, а в глубине этих окон (пор-

тов), как злые зрачки, поблескивали дула бронзовых пушек.

Две высокие мачты, одна на носу [1], другая посредине [2], натуго были укреплены веревками. На этих мачтах было по две перекладины — реи. Они висели на топенантах, и, как вожжи, шли от их концов (ноков) брасы. На третьей мачте, что торчала в самой корме [3], был только флаг. С него не спускал глаз болгарин.

Грицко залюбовался кораблем. Он не мог подумать, что вся эта паутина веревок — снасти, необходимые снасти, без которых нельзя править кораблем, как конем без узды. Казак думал, что все напутано для форсу; надо было б еще позолотить.

А с самой вышки кормы глядел с борта капитан — сеньор Перучьо. Он велел турку привезти невольников до заката солнца и теперь гневался, что тот запаздывает. Как смел? Два гребца наваливались что есть силы на весла, но ленивая фелюга плохо поддавалась на ход против течения Босфора.

Толпа народа стояла у борта, когда, наконец, потные гребцы ухватили веревку (фалень) и подтянулись к судну.

«Ну,— подумал Гриц,— опять за шею...»

Но с корабля спустили трап: простой веревочный трап, невольникам развязали руки, и хозяин показал: полезайте!

Какие красивые, какие нарядные люди обступили Грицка! Он видал поляков, но куда там!

Середина палубы, где стоял Грицко, была самым низким местом. На носу крутой стеной начиналась надстройка [4].

На корме надстройка еще выше и поднималась ступенями в три этажа. Туда вели двери великолепной резной работы. Да и все кругом было прилажено, пригнано и форсисто разделано. Обрубком ничто не кончалось: всюду или завиток, или замысловатый крендель, и весь корабль выглядел таким же франтом, как те венецианцы, что толпились вокруг невольников. Невольников поворачивали, толкали, то смеялись, то спрашивали непонятное, а потом все хором принимались хохотать.

---

[1] Фок-мачта.
[2] Грот-мачта.
[3] Бизань-мачта.
[4] Надстройка — по-морскому бак.

Но вот сквозь толпу протиснулся бритый мужчина. Одет был просто. Взгляд прямой и жестокий. За поясом — короткая плетка. Он деловито взял за ворот Грицка, повернул его, поддал коленом и толкнул вперед. Болгарин сам бросился следом.

Опять каморка где-то внизу, по соседству с водой, темнота и тот самый запах: крепкий запах, уверенный. Запах корабля, запах смолы, мокрого дерева и трюмной воды. К этому примешивался пряный запах корицы, душистого перца и еще каких-то ароматов, которыми дышал корабельный груз. Дорогой лакомый груз, за которым венецианцы бегали через море к азиатским берегам. Товар шел из Индии.

Грицко нанюхался этих крепких ароматов и заснул с горя на сырых досках. Проснулся оттого, что кто-то по нему бегал. Крысы!

Темно, узко, как в коробке, а невидимые крысы скачут, шмыгают. Их неведомо сколько. Болгарин в углу что-то шепчет со страху.

— Дави их! Боишься паньскую крысу обидеть? — кричит Грицко и ну шлепать кулаком, где только услышит шорох.

Но длинные, юркие корабельные крысы ловко прыгали и шныряли. Болгарин бил впотьмах кулаками по Грицку, а Грицко по болгарину.

Грицко хохотал, а болгарин чуть не плакал.

Но тут в дверь стукнули, визгнула задвижка, и в каморку влился мутный полусвет раннего утра. Вчерашний человек с плеткой что-то кричал в дверях, хрипло, въедливо.

— Ходимо! — сказал Грицко и вышел.

6. Ванты

На палубе были уже другие люди — не вчерашние. Они были бедно одеты, выбриты, с мрачными лицами.

Под носовой надстройкой в палубе была сделана круглая дыра. Из нее шла труба. Она раскрывалась в носу снаружи. Это был клюз. В него проходил канат с корабля к якорю. Человек сорок народа тянуло этот канат. Он был в две руки толщиной; он выходил из воды мокрый, и люди с трудом его удерживали. Человек с плеткой, подкомит, пригнал еще два десятка народа.

Толкнул туда и Грицка. Казак тянул, жилился. Ему стало веселей: все же с народом!

Подкомит подхлестывал, когда ему казалось, что дело идет плохо. Толстый мокрый канат ленивой змеей, не спеша выползал из клюза, как из норы. Наконец стал. Подкомит ругался, щелкал плетью. Люди скользили по намокшей уже палубе, но канат не шел дальше.

А наверху, на баке, топали, и слышно было, как кричали по-командному непонятные слова. По веревочным ступенькам — выбленкам — уже лезли на мачты люди.

Толстые веревки — ванты — шли от середины мачты к бортам. Между ними-то и были натянуты выбленки. Люди босыми ногами ударяли на ходу по этим выбленкам, и они входили в голую подошву, казалось, рвали ее пополам. Но подошвы у матросов были так намозолены, что они не чувствовали выбленок.

Матросы не ходили, а бегали по вантам легко, как обезьяны по сучьям. Одни добегали до нижней реи и перелезали на нее, другие пролезали на площадку, что была посредине мачты (марс), а от нее лезли по другим вантам (стень-вантам) выше и перелезали на верхнюю рею. Они, как жучки, расползались по реям.

На марсе стоял их начальник — марсовой старшина — и командовал.

На носу тоже шла работа. Острым клювом торчал вперед тонкий бушприт, перекрещенный блиндареем. И там, над водой, уцепившись за снасти, работали люди. Они готовили передний парус — блинд.

С северо-востока дул свежий ветер, крепкий и упорный. Без порывов, ровный, как доска.

Парчового флага уже не было на кормовой мачте — бизани. Там трепался теперь на ветру флаг попроще. Как будто этим утренним ветром сдуло весь вчерашний багряный праздник. В сером предрассвете все казалось деловым, строгим, и резкие окрики старшин, как удары плетки, резали воздух.

7. Левым галсом

А вокруг на рейде еще не просыпались турецкие чумазые карамусалы, сонно покачивались испанские каравеллы. Только на длинных английских галлеях шевелились люди: они мыли палубу, черпали ведрами на ве-

ревках воду из-за борта, а на носу стояли люди и глядели, как снимется с якоря венецианец,— не всегда это гладко выходит.

Но вот на корме венецианского корабля появился капитан. Что же якорь? Якорь не могли подорвать люди. Капитан поморщился и приказал перерубить канат. Не первый якорь оставлял корабль на долгой стоянке. Еще три оставалось в запасе. Капитан вполголоса передал команду помощнику, и тот крикнул, чтобы ставили блинд.

Вмиг взвился под бушпритом белый парус. Ветер ударил в него, туго надул, и нос корабля стало клонить по ветру. Но ветер давил и высокую, многоярусную корму, которая сама была хорошим деревянным парусом; это мешало судну повернуться.

Опять команда — и на передней (фок) мачте между реями растянулись паруса. Они были подвязаны к реям, и матросы только ждали команды марсового, чтобы отпустить снасти (бок горденя), которые подтягивали их к реям.

Теперь корабль уж совсем повернул по ветру и плавно двинулся в ход по Босфору на юг. Течение его подгоняло.

А на берегу стояла толпа турок и греков; все хотели видеть, как вспорхнет эта гордая птица.

Толстый турок в зеленой чалме ласково поглаживал широкий пояс на животе: там были венецианские дукаты.

Солнце вспыхнуло из-за азиатского берега и кровавым светом брызнуло в венецианские паруса. Теперь они были на всех трех мачтах. Корабль слегка прилег на правый борт, и казалось, что светом дунуло солнце и поддало ходу. А вода расступалась, и в обе стороны от носа уходила углом живая волна. Ветер дул слева — левым галсом шел корабль.

Матросы убирали снасти. Они свертывали веревки в круглые бухты (мотки), укладывали и вешали по местам. А начальник команды, аргузин, неожиданно появлялся за плечами каждого. Каждый матрос, даже не глядя, спиной чувствовал, где аргузин. У аргузина будто сто глаз — всех сразу видит.

На высоком юте важно прохаживался капитан со своей свитой. За ними по пятам ходил комит. Он следил за каждым движением капитана: важный капитан давал

иной раз приказ просто движением руки. Комиту надо было поймать этот жест, понять и мгновенно передать с юта на палубу.

А там уж было кому поддать пару этой машине, что шевелилась около снастей.

8. На фордевинд

К полудню корабль вышел из Дарданелл в синюю воду Средиземного моря.

Грицко смотрел с борта в воду, и ему казалось, что прозрачная синяя краска распущена в воде: окуни руку и вынешь синюю.

Ветер засвежел, корабль повернул правей. Капитан глянул на паруса, повел рукой. Комит свистнул, и матросы бросились, как сорвались, тянуть брасы, чтобы за концы повернуть реи по ветру. Грицко глазел, но аргузин огрел его по спине плеткой и толкнул в кучу людей, которые тужились, выбирая брас.

Теперь паруса стояли прямо поперек корабля. Чуть зарывшись носом, корабль шел за зыбью. Она его нагоняла, подымала корму и медленно прокатывала под килем.

Команде давали обед. Но Грицку с болгарином сунули по сухарю. Болгарина укачало, и он не ел.

Тонкий свисток комита с кормы всполошил всех. Команда бросила обед, все выскочили на палубу. С кормы комит что-то кричал, его помощники — подкомиты — кубарем скатились вниз на палубу.

На юте стояла вся свита капитана и с борта глядела вдаль. На Грицко никто не обращал внимания.

У люка матросы вытаскивали черную парусину, свернутую тяжелыми, толстыми змеями. Аргузин кричал и подхлестывал отсталых. А вверху по вантам неслись матросы, лезли на реи. Паруса убирали, и люди, налегши грудью на реи, перегнувшись пополам, сложившись вдвое, изо всей силы на ветру сгребали парус к рее. Нижние (шкотовые) концы болтались в воздухе, как языки,— тревожно, яростно, а сверху спускали веревки и быстро к ним привязывали эти черные полотна.

Грицко разинув рот смотрел на эту возню. Марсовые что-то кричали внизу, а комит носился по всему кораблю, подбегал к капитану и снова камнем летел на палубу.

Скоро вместо белых, как облако, парусов появились черные. Они туго надулись между реями.

Ветра снова не стало слышно, и корабль понесся дальше.

Но тревога на корабле не прошла. Тревога напряглась, насторожилась. На палубе появились люди, которых раньше не видал казак: они были в железных шлемах; на локтях, на коленях торчали острые железные чашки. На солнце горели начищенные до сияния наплечники, нагрудники. Самострелы, арбалеты, мушкеты [1], мечи на боку. Лица у них были серьезны, и смотрели они в ту же сторону, куда и капитан с высокого юта.

А ветер все крепчал, он гнал вперед зыбь и весело отрывал мимоходом с валов белые гребешки пены и швырял в корму кораблю.

9. Красные паруса

Грицко высунул голову из-за борта и стал глядеть туда, куда смотрели все люди на корабле. Он увидал далеко за кормой, слева, среди зыби, рдеющие красные паруса. Они то горели на солнце, как языки пламени, то проваливались в зыбь и исчезали. Они вспыхивали за кормой и, видно, пугали венецианцев.

Грицку казалось, что корабль с красными парусами меньше венецианского.

Но Грицко не знал, что с марса, с мачты, видели не один, а три корабля, что это были пираты, которые гнались на узких, как змеи, судах, гнались под парусами и помогали ветру веслами.

Красными парусами они требовали боя и пугали венецианцев.

А венецианский корабль поставил черные, «волчьи» паруса, чтоб его не так было видно, чтобы стать совсем невидимым, как только сядет солнце. Свежий ветер легко гнал корабль, и пираты не приближались, но они шли сзади, как привязанные.

Судовому священнику, капеллану, приказали молить у бога ветра покрепче, и он стал на колени перед раскрашенной статуей Антония, кланялся и складывал руки.

[1] Мушкеты — старинные ружья, тяжелые, кончавшиеся раструбом.

А за кормой все вспыхивали из воды огненные паруса.

Капитан смотрел на солнце и думал, скоро ли оно зайдет там впереди, на западе.

Но ветер держался ровный, и венецианцы надеялись, что ночь укроет их от пиратов. Казалось, что пираты устали грести и стали отставать. Ночью можно свернуть, переменить курс, а по воде следа нет. Пусть тогда ищут.

Но когда солнце сползало с неба и оставалось только часа два до полной тьмы, ветер устал дуть. Он стал срываться и ослабевать. Зыбь ленивее стала катиться мимо судна, как будто море и ветер шабашили под вечер.

Люди стали свистеть, обернувшись к корме: они верили, что этим вызовут ветер сзади. Капитан посылал спрашивать капеллана: что же Антоний?

10. Штиль

Но ветер спал вовсе. Он сразу прилег, и все чувствовали, что никакая сила его не подымет: он выдулся весь и теперь не дохнет. Глянцевитая масленая зыбь жирно катилась по морю, спокойная, чванная. И огненные языки за кормой стали приближаться. Они медленно догоняли корабль. Но с марса кричали сторожевые, что их уже оказалось четыре, а не три. Четыре пиратских судна!

Капитан велел подать себе хлеба. Он взял целый хлеб, посолил его и бросил с борта в море. Команда глухо гудела: все понимали, что настал мертвый штиль. Если и задышит ветерок, то не раньше полуночи.

Люди столпились около капеллана и уже громко ворчали: они требовали, чтоб монах им дал Антония на расправу. Довольно валяться в ногах, коли тебя все равно не хотят слушать! Они прошли в каюту-часовню под ютом: сорвали статую с ее подножия и всей гурьбой потащили к мачте.

Капитан видел это и молчал. Он решил, что грех будет не его, а толк все же может выйти. Может быть, Антоний у матросов в руках заговорит по-иному. И капитан делал вид, что не замечает. Грешным делом, он уже бросил два золотых дуката в море. А матросы

прикрутили Антония к мачте и шепотом ругали его на разных языках.

Штиль стоял на море спокойный и крепкий, как сон после работы. А пираты подравнивали линию своих судов, чтобы разом атаковать корабль. Поджидали отсталых.

На второй палубе пушкари стояли у медных орудий. Все было готово к бою.

Приготовили глиняные горшки с сухой известью, чтоб бросать ее в лицо врагам, когда они полезут на корабль. Развели в бочке мыло, чтоб лить его на неприятельскую палубу, когда корабли сцепятся борт о борт: пусть на скользкой палубе падают пираты и скользят в мыльной воде.

Все воины — их было девяносто человек — готовились к бою; они были молчаливы и сосредоточенны. Но матросы гудели: они не хотели боя, они хотели уйти на своем легком корабле. Им обидно было, что нет ветра, и они решили туже стянуть веревки на Антонии, чтоб знал! Один пригрозил палкой, но ударить не решился.

А черные «волчьи» паруса обвисли на реях. Они хлопали по мачтам, когда судно качало, как траурный балдахин.

Капитан сидел в своей каюте. Он велел подать себе вина. Пил, не хмелел. Бил по столу кулаком — нет ветра. Поминутно выходил на палубу, чтобы взглянуть, не идет ли ветер, не почернело ли от ряби море.

Теперь он боялся попутного ветра: если он начнется, то раньше захватит пиратов и принесет их к кораблю, когда он только что успеет взять ход. А может быть, и уйти успеет? Капитан решил: пусть будет какой-нибудь ветер, и пообещал в душе отдать сына в монахи, если хоть через час подует ветер.

А на палубе матрос кричал:

— В воду его, чего смотреть, ждать некогда!

Грицку смешно было смотреть, как люди серьезно обсуждали: головой пустить вниз статую или привязать за шею?

11. Шквал

Пираты были совсем близко. Видно было, как часто ударяли весла. Можно было различить и кучку народа

на носу переднего судна. Красные паруса были убраны: они мешали теперь ходу.

Мачты с длинными гибкими рейками покачивались на зыби, и казалось, что не длинная галера на веслах спешит к кораблю, а к лакомому куску ползет сороконожка и бьет от нетерпения лапами по воде, качает гибкими усами.

Теперь было не до статуи, ветра никто уже не ждал, все стали готовиться к бою. Капитан вышел в шлеме. Он был красен от вина и волнения. Дюжина стрелков залезла на марс, чтобы сверху бить стрелами врага. Марс был огорожен деревянным бортом. В нем были прорезаны бойницы. Стрелки стали молча размещаться. Вдруг один из них закричал:

— Идет! Идет!

На палубе все задрали вверх головы.

— Кто идет? — крикнул с юта капитан.

— Ветер идет! Встречный с запада!

Действительно, с марса и другим была видна черная кайма у горизонта: это ветер рябил воду, и она казалась темной. Полоса ширилась, приближаясь.

Приближались и пираты. Оставалось каких-нибудь четверть часа, и они подойдут к кораблю, который все еще болтал на месте своими черными парусами, как параличный калека.

Все ждали ветра. Теперь уж руки не пробовали оружия — они слегка дрожали, а бойцы озирались то на пиратские суда, то на растущую полосу ветра впереди корабля.

Все понимали, что этим ветром их погонит навстречу пиратам. Удастся ли пройти боковым ветром (галфвинд) наперерез пиратам и удрать у них из-под носу?

Капитан послал комита на марс — поглядеть, велик ли ветер, быстро ли набегает темная полоса. И комит со всех ног пустился по вантам. Он пролез сквозь отверстие (собачью дыру) на марс, вскочил на его борт и побежал выше по стень-вантам. Он еле переводил дух, когда долез до марс-реи, и долго не мог набрать воздуха, чтоб крикнуть:

— Это шквал! Сеньор, это шквал!

Свисток — и матросы бросились на реи. Их не надо было подгонять — они были моряки и знали, что такое шквал.

Солнце в багровом тумане грузно, устало катилось за горизонт. Как нахмуренная бровь, висела над солнцем острая туча.

Паруса убрали. Крепко подвязали под реями. Корабль затаил дух и ждал шквала. На пиратов никто не глядел, все смотрели вперед.

Вот он гудит впереди. Он ударил по мачтам, по реям, по высокой корме, завыл в снастях. Передний бурун ударил в грудь корабль, хлестнул пеной на бок и понесся дальше. Среди рева ветра громко, уверенно резанул уши свисток комита.

12. Рифы

Команда ставила на корме косую бизань. На фок-мачте ставили марсель — но как его уменьшили! — риф-сезни связали в жгут его верхнюю половину, и он, как черный ножик, повис над марсом. Красный закат предвещал ветер, и, как вспененная кровь, рвалось море навстречу мертвой зыби.

И в этой толчее, накренясь лихо на левый борт, рванул вперед венецианский корабль.

Корабль ожил. Ожил капитан, он шутил:

— Кажется, чересчур напугали Антония. Эти разбойники и скрягу заставят раскошелиться.

А команда, шлепая босыми ногами по мокрой палубе, тащила с почтением несчастную статую на место.

О пиратах никто теперь не думал. Шквал им тоже наделал хлопот, а теперь сгустившийся кровавый сумрак закрыл от них корабль. Дул сильный, ровный ветер с запада. Капитан прибавил парусов и шел на юг, чтобы за ночь уйти подальше от пиратов. Но корабль плохо шел боковым ветром — его сносило вбок, он сильно дрейфовал. Высокий ют брал много ветра. Пузатые паруса не позволяли идти под острым углом, и ветер начинал их полоскать, едва рулевой пытался идти острее, круче.

В суматохе аргузин забыл про Грицка, а он стоял у борта и не сводил глаз с моря.

13. На буксире

Наутро ветер «отошел»: он стал дуть больше с севера. Пиратов нигде не было видно. Капитан справлялся

с картой. Но за ночь нагнало туч, и капитан не мог по высоте солнца определить, где сейчас корабль. Но он знал приблизительно.

Все люди, которые правили кораблем, невольно, без всякого усилия мысли, следили за ходом корабля, и в уме само собою складывалось представление: люди знали, в каком направлении земля, далеко ли они от нее, и знали, куда направить корабль, чтоб идти домой. Так птица знает, куда ей лететь, хоть и не видит гнезда.

И капитан уверенно скомандовал рулевому, куда править. И рулевой направил корабль по компасу так, как приказал ему капитан. А комит свистел и передавал команду капитана, как поворачивать к ветру паруса. Матросы тянули брасы и «брасопили» пáруса, как приказывал комит.

Уже на пятые сутки, подходя к Венеции, капитан приказал переменить паруса на белые и поставить за кормой парадный флаг.

Грицка и болгарина заковали в цепи и заперли в душной каморке в носу. Венецианцы боялись: берег был близко, и кто их знает? Бывало, что невольники прыгали с борта и добирались вплавь до берега.

На корабле готовили другой якорь, и аргузин, не отходя, следил, как его привязывали к толстому канату.

Был полдень. Ветер еле работал. Он совсем упал и лениво шутил с кораблем, набегал полосами, рябил воду и шалил с парусами.

Корабль еле двигался по застывшей воде — она была гладкая и казалась густой и горячей. Парчовый флаг уснул и тяжело висел на флагштоке.

От воды подымалось марево. И, как мираж, подымались из моря знакомые купола и башни Венеции.

Капитан приказал спустить шлюпку. Дюжина гребцов взялась за весла. Нетерпеливый капитан приказал буксировать корабль в Венецию.

14. Буцентавр

Выволокли пленников из каморки, повезли на богатую пристань. Но ничего наши ребята рассмотреть не могли: кругом стража, толкают, дергают, щупают, и двое наперебой торгуют невольников: кто больше. Поспорили, поругались; видит казак — уже деньги отсчитывают.

Завязали руки за спину и повели на веревке. Вели вдоль набережной, вдоль спокойной воды. На той стороне дома-дворцы стоят над самым берегом и в воде мутно отражаются, переливаются.

Вдруг слышит Грицко: по воде что-то мерно шумит, плещет, будто шумно дышит. Глянул назад и обмер: целый дворец в два этажа двигался вдоль канала. Такого дома и на земле казак не видал. Весь в завитках, с золочеными колонками, с блестящими фонарями на корме, а нос переходил в красивую статую. Все было затейливо переплетено, перевито резными гирляндами. В верхнем этаже в окнах видны были люди; они были в парче, в шелках.

Нарядные гребцы сидели в нижнем этаже. Они стройно гребли, подымали и опускали весла, как один человек.

— Буцентавр! Буцентавр! — загалдели кругом люди.

Все остановились на берегу, придвинулись к воде и смотрели на плавучий дворец.

Дворец поравнялся с церковью на берегу, и вдруг все гребцы редко и сильно ударили три раза веслами по воде и три раза крикнули:

— Ал! ал! ал!

Это Буцентавр по-старинному отдавал салют старинной церкви.

Это главный венецианский вельможа выезжал давать клятву морю. Клятву верности и дружбы. Обручаться, как жених с невестой.

Все смотрели вслед уплывающему дворцу, стояли — не двигались. Стоял и Грицко со стражей. Смотрел на рейд, и каких только судов тут не было!

Испанские галеасы с высоким рангоутом, с крутыми бортами, стройные и пронзительные. Стояли они, как притаившиеся хищники, ласковые и вежливые до поры до времени. Они стояли все вместе кучкой, своей компанией, как будто не торговать, а высматривать пришли они на венецианский рейд.

Плотно, развалисто сидели на воде ганзейские купеческие корабли. Они вразвалку пришли издалека, с севера. Деловито раскрыли ганзейские корабли свои трюмы и выворачивали по порядку плотно набитые товары. Стая лодок вертелась около них; лодки толкались, пробирались к борту, а ганзейский купец в очередь набивал их товаром и отправлял на берег.

Португальские каравеллы, как утки, покачивались на ленивой волне. На высоком юте, на задранном вверх баке не видно было людей. Каравеллы ждали груза, они отдыхали, и люди на палубе лениво ковыряли иголками с дратвой. Они сидели на палубе вокруг потрепанного погодой грота и ставили толстые заплаты из серой парусины.

А дальше, вдоль набережной, кормой к берегу, стояли длинные блестящие красавицы — венецианские галеры. К ним-то и двинулась стража с Грицком.

15. Галера

Галера стояла кормой к берегу. Сходня, устланная ковром, вела с берега на галеру. Выступ у борта был открыт. Этот борт поднимался над палубой хвастливым изгибом.

Вдоль него бежали тонкой ниткой буртики, канты, а у самой палубы, как четки, шли полукруглые прорези для весел — по двадцать пять с каждого борта.

Комит с серебряным свистком на груди стоял на корме у сходни. Кучка офицеров собралась на берегу.

Ждали капитана.

Восемь музыкантов в расшитых куртках, с трубами и барабанами, стояли на палубе и ждали приказа грянуть встречу.

Комит поглядывал назад на шиурму — на команду гребцов. Он всматривался: при ярком солнце под тентом казалось полутемно, и, только приглядевшись, комит различал отдельных людей: черных негров, мавров, турок,— они все были голы и прикованы за ногу к палубе.

Но все в порядке: люди сидят на своих банках по шести человек правильными рядами справа и слева.

Был штиль, и от нагретой воды канала подымалось зловонное дыхание.

Голые люди держали огромные весла, вытесанные из бревна: одно на шесть человек.

Люди смотрели, чтоб весла стояли ровно. Дюжина рук напряженно держала валек тяжелого галерного весла.

Аргузин ходил по мосткам, что тянулись вдоль палубы между рядами банок, и зорко поглядывал, чтоб никто не дохнул, не шевельнулся.

Два подкомита — один на баке, другой среди мостков — не спускали глаз с разноцветной шиурмы; у каждого в руке была плеть, и они только смотрели, по какой голой спине пора щелкнуть.

Все томились и задыхались в парнóм вонючем воздухе канала. А капитана все не было.

16. Кормовой флаг

Вдруг все вздрогнули: издали послышалась труба — тонко, певуче играл рожок. Офицеры двинулись по набережной. Вдали показался капитан, окруженный пышной свитой.

Впереди шли трубачи и играли сигнал.

Комит метнул глазом под тент, подкомиты зашевелились и наспех, на всякий случай, хлестнули по спинам ненадежных; те только ежились, но боялись шевельнуться.

Капитан приближался. Он не спеша, важно выступал в середине процессии. Офицер из свиты дал знак на галеру, комит махнул музыкантам, и грянула музыка: капитан по ковру вступал на галеру.

Едва он ступил на палубу, как над кормой тяжело всплыл огромный, шитый золотом флаг. На нем был вышит мишурой и шелками герб, фамильный герб капитана, венецианского вельможи, патриция Пиетро Гальяно.

Капитан посмотрел за борт — в сонную лоснящуюся воду: золотом глянуло из воды отражение шитого флага. Полюбовался. Патриций Гальяно мечтал, чтобы его слава и деньги звенели звоном по всем морям. Он сделал строгое, надменное лицо и прошел на корму с дорогóй, вызолоченной резьбой, с колонками и фигурами. Там под трельяжем [1], накрытым дорогим ковром, стояло его кресло. Не кресло, а трон.

Все почтительно молчали. Шиурма замерла, и голые люди, как статуи, неподвижно держали на весу тяжелые весла.

Капитан шевельнул рукой — и музыка смолкла. Кивком головы Гальяно подозвал старшего офицера. Офицер докладывал, что галера вооружена, снаряжена,

---

[1] Трельяж — решетчатый навес. Он сводом перекрывает ют венецианской галеры.

что куплены новые гребцы, что провиант, вода и вино запасены, оружие в исправности. Скривано (писец) стоял сзади со списком наготове — для справок.

17. Шиурма

— Посмотрим,— вымолвил командир.

Он встал с трона, спустился в свою каюту в корме и оглядел убранство и вооружение, что висело по стенам. Прошел в кают-камеру и обозрел всё — и запасы и оружие. Он проверял арбалетчиков: заставлял их при себе натягивать тугой арбалет. Один арбалет он приказал тут же выбросить за борт; едва следом не полетел в воду и сам арбалетчик.

Капитан был в гневе.

Все трепетали, и комит, подобострастно извиваясь, показывал капитану шиурму.

— Негр. Новый. Здоровый парень... очень даже здоровый.

Капитан поморщился:

— Негры — дрянь. Хороши первый месяц. Потом киснут и дохнут. Военная галера не для тухлого мяса.

Комит опустил голову. Он купил негра по дешевке и втридорога показал цену командиру.

Гальяно внимательно рассматривал гребцов. Они сидели в обычной при гребле позе: прикованная нога опиралась на подножку, а другой ногой гребец упирался в переднюю банку.

Капитан остановился: у одного гребца дрожали руки от напряженного, застывшего усилия.

— Новый? — бросил он комиту.

— Да, да, сеньор, новый, славянин. С Днепра. Молодой, сильный чело...

— Турки лучше! — оборвал капитан и отвернулся от новичка.

Грицка никто б не узнал: он был побрит — голый череп, без усов, без бороды, с клочками волос на маковке. На цепи, как и все эти цепные люди. Он посматривал на цепочку на ноге и приговаривал про себя:

— О це ж дило! И усе через бабу... Сидю, як пес на цепочке...

Ему уже не раз попадало плетью от подкомитов, но он терпел и приговаривал:

— А усе через нее. Только не может же быть того...

Он никак не мог поверить, чтоб так оно все и осталось в этом царстве, где коки прикованы к камбузу, гребцы — к палубе, где триста человек здоровых людей дрожат перед тремя плетками комитов.

А пока что Грицко держался за валек весла. Он сидел первым от борта. Главным гребцом на весле считался шестой от борта; он держался за ручку.

Это был старый каторжник. Его приговорили к службе на галере, пока не раскается: он не признавал римского папы, и за это его судили. Он уже десять лет греб и не раскаивался.

Сосед у Грицка был черный — негр. Он блестел, как глазированная посуда.

У негра всегда был осовелый вид, и он грустно хлопал глазами, как большая лошадь. Негр слегка шевельнул локтем и показал глазами на корму. Комит подносил ко рту свисток.

На свист комита ответили командой подкомиты, грянула музыка, и в такт ей все триста человек согнулись вперед, даже привстали на банках.

Все весла, как одно, рванулись вперед. Гребцы приподняли вальки, и едва лопасти весел коснулись воды, как все люди дернулись, изо всей мочи потянули весла к себе, вытянув руки. Люди падали назад, на свои банки, все разом.

Банки подгибались и охали. Хриплый вздох этот повторялся при каждом ударе весел. Его слышали гребцы, но не слышали те, что окружали капитанский трон. Музыка заглушала скрип банок и те слова, которыми перекидывались галерники.

А галера уже оторвалась от берега. Ее пышная корма теперь вся была видна столпившимся любопытным.

Всех восхищали фигуры греческих богов, редкой работы колонки, затейливый орнамент. Патриций Гальяно не жалел денег, и десять месяцев лучшие художники Венеции работали над носовой фигурой и разделкой кормы.

Галера казалась живой. Длинный водяной дракон бил по воде сотней плавников.

От быстрого хода ожил тяжелый флаг. Он чванился золотом на солнце.

Галера вышла в море. Стало свежее. Легкий ветер тянул с запада. Но под тентом вздыхали банки, и три-

ста голых людей сгибались, как черви, и с размаху бросались на банки.

Гребцы тяжело дышали, и едкий запах пота носился над всей шиурмой. Теперь музыки не было, бил только барабан, чтоб давать такт гребцам.

Грицко изнемогал. Он только держался за валек весла, чтоб двигаться в такт со всеми. Но бросить, не сгибаться он не мог: задним веслом попадут по спине.

В такт барабану двигалась эта живая машина. Барабан ускорял свой бой — люди начинали чаще сгибаться и падать на банки. Казалось, что барабан гнал галеру вперед.

Подкомиты смотрели во все глаза: капитан пробовал шиурму, и нельзя было ударить в грязь лицом. Плетки ходили по голым спинам: подкомиты поддавали пару машине.

Вдруг свисток с кормы — раз и два. Подкомиты что-то крикнули, и часть гребцов сняла руки с весел. Они опустились и сели на палубу.

Грицко не понимал, в чем дело. Его сосед-негр сел на палубу. Грицко получил плеткой по спине и крепче вцепился в валек. Негр схватил его за руки и потянул вниз. А тут в спину налетел валек переднего весла и вовремя сбил Грицка наземь — комит уже нацелился плеткой.

Это капитан приказал грести четырем из каждой шестерки. Он хотел посмотреть, какой получится ход, когда треть команды отдыхает.

Теперь гребли четверо на каждом весле. Двое у борта отдыхали, опустившись на палубу. Грицко в кровь успел уже разодрать себе руки. Но у привычных галерников ладонь была как подошва и валек не натирал руки.

Теперь галера шла в открытом море.

Западный ветер гнал легкую зыбь и полоскал борта судна. Мокрые золоченые боги на корме блестели еще ярче. Тяжелый флаг полоскался в свежем ветре.

18. Правым галсом

Комит коротко свистнул.

Барабан смолк. Это командир приказал остановить греблю.

Гребцы стали втягивать весла на палубу, чтоб уложить их вдоль борта.

Матросы убирали тент. Он вырывался из рук и бился на ветру. Другие полезли по рейкам: они отдавали сезни, которыми были плотно подвязаны к рейкам скрученные паруса.

Это были треугольные паруса на длинных, гибких рейках. Они были на всех трех мачтах. Новые, яркобелые. И на переднем было нашито цветное распятие, под ним три герба: папы римского, испанского короля и Венецианской республики. Гербы соединены были цепью. Обозначало это крепкий, нерушимый боевой союз трех христианских государств против «неверных», против сарацин, мавров, арабов, турок.

Туго расправились на ветру паруса. На свободном углу паруса была веревка — шкот. За нее тянули матросы, и капитан давал приказание, как натянуть: от этого зависит ход судна. Матросы знали свои места, каждый знал свою снасть и они бросились исполнять приказание капитана. Наступали на измученных гребцов, как на кладь.

Матросы были наемные добровольцы; в знак этого у них оставляли усы. А галерники были каторжники, рабы, и матросы их топтали.

Галера накренилась на левый борт и плавно скользила по зыби. После барабана, стона, банок, шума весел спокойно и тихо стало на судне. Гребцы сидели на палубе, опершись спиной о банки. Они вытянули набухшие, затекшие руки и тяжело дышали.

Но за плеском зыби, за говором флагов, что трепались на ноках рейков, не слыхали сеньоры на корме под трельяжем говорка, бормотанья, смутного, как шум, и ровного, как прибой. Это шиурма от весла к веслу, от банки к банке передавала вести. Они облетели всю палубу, от носа к корме, шли по левому борту и переходили на правый.

19. Комиты

Подкомиты не видели ни одного раскрытого рта, ни одного жеста: усталые лица с полуоткрытыми глазами. Редко кто повернется да звякнет цепочкой.

У подкомитов зоркий глаз и тонкое ухо. Им слышалось среди глухого бормотанья, звяканья цепей, плеска моря — им слышался звук, будто крысы скребут.

«Тихо на палубе, осмелели, проклятые!» — думал подкомит и прислушивался — где?

Грицко оперся о борт и свесил меж колен бритую голову с клочком волос на макушке. Помотывая головой, думал о гребле и приговаривал про себя:

— Ще раз так, то я вже сдохну.

Негр отвернулся от своего соседа-турка и чуть не упал на Грицка. Придавил ему руку. Казак хотел ее высвободить. Но негр крепко ее зажал, и Грицко почувствовал, что ему в руку суют что-то маленькое, твердое. Потом разобрал — железка.

Негр глянул полуоткрытым глазом, и Грицко понял: и бровью моргнуть нельзя.

Взял железку. Тихонько пощупал — зубатая.

Пилка!

Маленький жесткий зубатый кусочек. Грицка в пот бросило. Задышал сильней. А негр закрыл совсем глаза и еще больше навалился своим черным скользким телом на Грицкову руку.

Подкомиты прошли, остановились и внимательно посмотрели на изнеможенного негра. Грицко замер. Он весь обвис от страха и хитрости: пусть думают, что он едва жив, до того утомился.

Комиты говорили, а Грицко ждал: вдруг бросятся, поймают на месте.

Он не понимал, что они говорили про неудачно купленного негра.

— Лошадь, настоящая лошадь, а сдохнет. От тоски они дохнут, канальи,— говорили подкомиты.

Они прошли дальше, на бак: там их ждал обед.

Загорелая голая нога просунулась осторожно между Грицком и негром.

Казак обиделся:

«Тисно, а вин ще пхается».

Нога зашевелила пальцами.

«Ще дразнится!» — подумал Грицко.

Хотел толкнуть ногу в намозоленную подошву. А нога снова нетерпеливо, быстро зашевелила пальцами.

Негр приоткрыл глаза и взглядом указал на ногу. Грицко понял. Он устало переменил позу, навалился на эту голую ногу и засунул между пальцев огрызок пилки.

Негр не шелохнулся. Не двинулся и Грицко, когда нога протянулась назад к соседям.

Порыв веселого ветра набежал на галеру, а с ним зыбина увесисто шлепнула в правый борт. Брызгами обдало по голым телам.

Люди дернулись и звякнули цепями. И в этом шуме Грицко ясно услышал, как шелестом долетел до него звук:

— Якши?..

Первое слово, что понял Грицко на галере. Дрогнув, обрадовался. Родным слово показалось. Откуда? Поднял глаза, а это турок, что облокотился о черного негра, скосил глаза и смотрит внимательно, серьезно.

Чуть не крикнул казак во всю глотку от радости:

— Якши! Якши!

Да спохватился. И ведь знал-то всего три слова: урус, якши да алла [1]. И когда опять зашлепали на палубе матросы, чтобы подобрать шкоты, Грицко успел прохрипеть:

— Якши! Якши!

Турок только глазами метнул.

Это ветер «зашел» — стал больше дуть с носа. Галера подобрала шкоты и пошла круче к ветру.

Все ждали, что сеньор Пиетро Гальяно повернет назад, чтобы до захода солнца вернуться в порт. Осмотр окончен. Никто не знал тайной мысли капитана.

20. Поход

Капитан дал приказание комиту. Тот передал его ближайшим к корме гребцам, «загребны́м», они передали следующим, что держали весла за рукоятку, и команда неслась вдо́ль галеры к баку по этому живому телефону.

Но чем дальше уходили слова по линии гребцов, тем все больше и больше прибавлялось слов к команде капитана, непонятных слов, которых не поняли бы и подкомиты, если бы услышали. Они не знали этого каторжного языка галерников.

Капитан требовал, чтобы к нему явился из своей каюты священник. А шиурма прибавляла к этому свое распоряжение.

[1] Алла — бог (у мусульман).

— Передавай ее дальше, на правый борт.

Слова относило ветром, и слышал их только сосед.

Скоро по средним мосткам затопал, подбирая сутану [1], капеллан. Он спешил и на качке нетвердо ступал по узким мосткам и, балансируя свободной рукой, размахивал четками.

— Отец! — сказал капитан.— Благословите оружие против неверных.

Свита переглянулась.

Так вот отчего галера идет правым гасом вкрутую уже три часа кряду, не меняя курса!

Поход!

На свой риск и страх. Партизанский подвиг затеял Гальяно.

— Неверные,— продолжал капитан,— овладели галерой патриция Рониеро. Генуэзские моряки не постыдились рассказать, что это было на их глазах. Должен ли я ждать благословения Совета?

На баке толпились уже вооруженные люди в доспехах, с мушкетами, копьями, арбалетами. Пушкари стояли у носовых орудий.

Капеллан читал латинские молитвы и кропил пушки, мушкеты, арбалеты, спустился вниз и кропил камни, которые служили вместо ядер, глиняные горшки с огненным составом, шарики с острыми шипами, которые бросают при атаке на палубу врагам. Он только остерегся кропить известь, хотя она и была плотно укупорена в засмоленных горшках.

Шиурма знала уже, что это не проба, а поход.

Старый каторжник, что не признавал папы римского, что-то шепнул переднему гребцу.

И пока на баке все тянули в голос Te Deum, быстро, как ветер бежит по траве, зашелестели слова от банки к банке. Непонятные короткие слова.

21. Свежий ветер

Ветер, все тот же юго-западный ветер, дул весело и ровно. Начал играючи, а теперь вошел в силу, гнал бойкую зыбь и плескал в правую скулу галеры.

---

[1] Сутана — одеяние католических священников.

А галера рылась в зыбь, встряхивалась, отдувалась и рвалась вперед на другой гребень.

Поддает зыбь, блестят брызги на солнце и летят в паруса, обдают людей, что столпились на баке.

Там солдаты с подкомитом говорили про поход. Никто не знал, что затеял Пиетро Гальяно, куда он ведет галеру.

Всем выдали вина после молебна; тревожно и весело было людям.

А на юте, под трельяжем, патриций сидел на своем троне, и старший офицер держал перед ним карту моря. Комит стоял поодаль, у борта, и старался уловить, что говорит командир с офицером. Но комит стоял на ветру и ничего не слышал.

Старый каторжник знал, что Гальяно здесь врага не встретит. Знал, что такой погодой они к утру выйдут из Адриатики, а там... Там пусть только нападут...

Матросы разносили суп гребцам. Это были вареные фиги. Сверху плавало немного масла. Суп давали в море через день — боялись, чтоб еда не отяготила гребцов на их тяжелой работе. Негр не ел — он тосковал на цепи, как волк в клетке.

К вечеру ветер спал, паруса обессиленно повисли. Комит свистнул.

Матросы убирали паруса, лазая по рейкам, а гребцы взялись за греблю.

22. На юте

И опять барабан забил дробь — четко, неумолимо отбивал он такт, чтобы люди бросались вперед и падали на банки. И опять все триста гребцов заработали тяжелыми длинными веслами.

Негр вытягивался всей тяжестью на весле, старался, даже скалился. Пот лил с него, он блестел, как полированный, и банка под ним почернела — промокла. То вдруг силы оставляли этого громадного человека, он обмякал, обвисал и только держался за валек слабыми руками, и пятеро товарищей чувствовали, как тяжело весло: грузом висело черное тело и мешало грести.

Старый каторжник глянул, отвернулся и еще сильней стал налегать на ручку.

А негр водил мутными глазами по сторонам — он уже ничего не видел и собирал последнюю память. Память обрывалась, и негр уже плохо понимал, где он, но все же в такт барабану сгибался и тянулся за вальком весла.

Вдруг он пустил руки: они сами разжались и выпустили валек. Негр рухнул спиной на банку и скатился вниз. Товарищи не смотрели на него, чтобы не обратить внимания подкомитов.

Но разве что укроется от подкомита?

Уже двое с плетьми бежали по мосткам: они увидали, что пятеро гребут, а шестого нет на Грицковой банке. Через спины людей подкомит хлестнул негра. Негр слабо дернулся и замер.

— А, скотина! Валяться! Валяться? — шипел подкомит и со злостью, с яростью хлестал негра.

Негр не двигался. Мутные глаза остановились. Он не дышал.

Комит с юта острым глазом все видел. Он сказал два слова офицеру и свистнул.

Весла стали.

Галера с разгону шла вперед, шумела вода под форштевнем.

Комит пошел по мосткам, подкомиты пробирались между банок к негру.

— Что? Твой негр? — крикнул вдогонку комиту Пистро Гальяно.

Комит повел лопатками, как будто камнем ударили в спину слова капитана, и ускорил шаги. Он вырвал плеть у подкомита, сжал зубы и изо всей силы стал молотить плеткой черный труп.

— Сдох!.. Сдох, дьявол! — злился и ругался комит.

Галера теряла ход. Комит чувствовал, как зреет на юте гнев капитана. Он спешил.

Каторжный кузнец уже возился около ноги покойника. Он заметил, что цепочка надпилена, но смолчал. Гребцы смотрели, как подкомиты поднимали и переваливали через борт тело товарища. Комит последний раз изо всей злой силы резнул плетью по мертвому телу, и с шумом плюхнуло тело за борт.

Стало темно, и на корме зажгли над трельяжем фонарь, высокий, стройный, в половину человеческого роста фонарь, разукрашенный, с завитками, с фигурами,

с наядами на подножке. Он вспыхнул желтым глазом через слюдяные стекла.

Небо было ясное, и теплым светом горели звезды — влажным глазом смотрели с неба на море.

Из-под весел белой огненной пеной подымалась вода — это горело ночное море, и смутным, таинственным потоком выбегала в глубине струя из-под киля и вилась за судном.

Гальяно пил вино. Ему хотелось музыки, песни. Хорошо умел петь второй офицер, и вот Гальяно приказал замолчать барабану. Комит свистнул. Дробь оборвалась, и гребцы подняли весла.

Офицер пел, как певал он дамам на пиру, и все заслушались: и галерники, и свита, и воины. Высунулся из своей каюты капеллан, вздыхал и слушал грешные песни.

Под утро побежал свежий трамонтан и полным ветром погнал галеру на юг. На фордевинд шла галера, откинув свой косой фок направо, а грот — налево. Как бабочка, распустила крылья.

Усталые гребцы дремали. Гальяно спал в своей каюте, и над ним покачивалось на зыби и говорило оружие. Оно висело на ковре над койкой.

Галера вышла в Средиземное море. Вахтенный на мачте осматривал горизонт.

Там, на верхушке, мачта распускалась, как цветок, как раструб рога. И в этом раструбе, уйдя по плечи, сидел матрос и не спускал глаз с моря.

И вот за час до полудня он крикнул оттуда:

— Парус! — и указал на юг прямо по курсу корабля.

Гальяно появился на юте. Проснулись гребцы, зашевелились на баке солдаты.

23. Саэта

Корабли сближались, и теперь все ясно видели, как, круто вырезаясь против ветра в бейдевинд, шел сарацинский корабль — саэта, длинная, как стрела.

Пиетро Гальяно велел поднять на мачте красный флаг — вызов на бой.

Красным флагом на рейке ответила сарацинская саэта — бой принят.

Пиетро Гальяно велел готовиться к бою и спустился в каюту. Он вышел оттуда в латах и шлеме, с мечом на поясе. Теперь он не садился в свое кресло, он ходил по юту — сдержанно, твердо.

Он весь напрягся, голос стал звончей, верней и обрывистей. Удар затаил в себе командир, и все на корабле напряглись, приготовились. Из толстых досок городили мост. Он шел посредине, как пояс, от борта к борту, над гребцами. На него должны забраться воины, чтоб оттуда сверху разить сарацин из мушкетов, арбалетов, сыпать камнями и стрелами, когда корабли сцепятся борт о борт на абордаж.

Гальяно метился, как лучше ударить в неприятеля.

На саэте взялись за весла, чтоб лучше управляться,— трудно идти вкрутую против ветра.

24. «С наветра»

А Гальяно хотел подойти «с наветра», чтоб по течению ветра сарацины были ниже его.

Он хотел с ходу ударить саэту в скулу острым носом, пробить, с разгону пройтись по всем ее веслам с левого борта, поломать их, своротить, сбросить гребцов с банок и сразу же засыпать врага стрелами, камнями, как ураган, обрушиться на сарацин.

Все приготовились и только изредка шепотом переговаривались отрывисто, крепко.

На шиурму никто не глядел, о ней забыли и подкомиты.

А старому каторжнику на каторжном языке передавали:

— Двести цепочек!

А он отвечал:

— По моему свистку сразу.

Казак взглядывал на старика, не понимал, что́ затевают, но каторжник отворачивал лицо.

На баке уже дымились фитили. Это приготовились пушкари у заряженных орудий. Они ждали — может быть, ядрами захочет встретить командир неприятельскую саэту.

Начальник мушкетеров осмотрел стрелков. Оставалось зажечь фитили на курках. Надавят мушкетеры

крючок, и фитили прижмутся к затравкам [1]. Тогдашние тяжелые мушкеты палили, как ручные пушки.

Саэта, не меняя курса, шла навстречу венецианцам. Оставалось минут десять до встречи.

Десять стрелков пошли, чтоб взобраться на мост.

И вдруг свист, резкий, пронзительный, разбойничий свист, резанул уши.

Все обернулись и обомлели.

Каторжная шиурма встала на ноги. Если б деревянная палуба стала вдруг дыбом на всем судне, не так бы изумилась команда. И солдаты минуту стояли в ужасе, как будто на них неслось стадо мертвецов.

Люди дергали своими крепкими, как коренья, руками надпиленные цепи. Рвали, не жалея рук. Другие дергали прикованной ногой. Пусть нога прочь, но оторваться от проклятой банки.

Но это была секунда, и триста человек вскочили на банки.

Они побежали по скамьям, с воем, с звериным ревом. Они лязгали обрывками цепей на ногах, цепи бились на бегу по банкам. Обгорелые, черные, голые люди прыгали через снасти, опрокидывали все по дороге. Они ревели от страха и злобы. С голыми руками против вооруженных людей, что стояли на баке.

Но с юта грянул выстрел. Это сеньор Гальяно вырвал мушкет у соседа, выпалил. Выпалил в упор по наступавшим на него галерникам. Вырвал из ножен меч. Лицо перекосилось от бешенства.

— Проклятые изменники! — хрипел Гальяно, махал мечом, не подпуская к трельяжу.— Сунься!

Выстрел привел в память людей на баке. Из арбалетов полетели стрелы.

Гребцы падали.

Но те, кто рвался на бак, ничего не видели: выли звериным голосом, не слышали выстрелов, неудержимо рвались вперед, наступали на убитых товарищей и лезли ревущей тучей.

Они бросались, хватали голыми руками мечи, лезли на копья, падали, а через них прыгали задние, бросались, душили за горло солдат, впивались зубами, рвали и топтали комитов.

---

[1] Затравка — отверстие в казенной (задней) части пушки или ружья, через которое поджигают заряд.

Пушкари, не зная для чего, выпалили в море.

А галерники сталкивали солдат с борта. Мавр огромного роста крушил обломком арбалета все кругом — и своих и чужих.

А на юте, у трельяжа, сеньор Гальяно рванулся вперед на галерников. Поднял свой меч, и люди на минуту стали: бешеных цепных людей остановила решимость одного человека.

Но не успели офицеры поддержать своего сеньора: старый каторжник бросился вперед, головой ударил командира, и вслед за ним голая толпа залила трельяж с воем и ревом.

Двое офицеров сами бросились в воду. Их утопили тяжелые латы.

А галера без рулевого стала в ветер, и он трепал, полоскал паруса, и они тревожно, испуганно бились.

Хлопал и бормотал над трельяжем тяжелый штандарт Пиетро Гальяно. Сеньора уже не было на судне — его сбросили за борт.

Комита люди, сорвавшиеся с цепи, разорвали в клочья. Галерники рыскали по судну, выискивали притаившихся в каютах людей и били без разбора и пощады.

25. Оверштаг

Сарацины не понимали, что случилось. Они ждали удара и удивлялись, почему нелепо дрейфует, ставши в ветер, венецианская галера.

Военная хитрость? Сдача?

И саэта сделала поворот, оверштаг, и направилась к венецианской галере.

Сарацины приготовили новое оружие. Они насажали в банки ядовитых и отвратительных змей и этими банками готовились закидать неприятельскую палубу.

Венецианская шиурма была почти вся из моряков, взятых с мавританских и турецких судов; они знали парусное дело и повернули галеру левым бортом к ветру. Левым галсом пошла навстречу сарацинам венецианская галера под командой турка, Грицкова соседа.

Старого каторжанина зарубил сеньор Гальяно, и он лежал под трельяжем, уткнувшись лицом в окровавленный ковер.

Флаг Гальяно шумел по-прежнему на ветру на крепком флагштоке. Сарацины видели кормовой флаг на своем месте — значит, венецианцы не сдаются, идут на них.

Сарацины приготовили железные крючья, чтоб сцепиться борт о борт. Они шли под парусами правым галсом навстречу галере.

Но вот на трельяж влез голый человек, черный и длинный. Он поймал вьющийся штандарт за угол, а тот бился и вырывался у него из рук, как живой.

Это великан-мавр решил сорвать кормовой флаг. Он дергал. Флаг не поддавался. Он рванул, повис на нем — затрещала дорогая парча, флаг сорвался и вместе с мавром полетел за борт.

Все турки из шиурмы собрались на баке: они кричали по-арабски сарацинам, что капитана нет, нет солдат, что они, галерники, сдают судно.

Рулевой приводил к ветру. Передний парус, фок, подтянули шкотом так, что стал он против ветра и работал назад, а задний, грот, вытянули шкотом втугую, и он слабо работал вперед.

Галера легла в дрейф.

Она едва двигалась вперед и рыскала, то катясь под ветер, то выбегая на ветер. Осторожно подходили к ней сарацины, все еще не доверяя.

Мало ли хитростей в морской войне!

Оружие было наготове.

Турки клялись аллахом и показывали порванные цепи.

Сарацины стали борт о борт и взошли на палубу.

26. В дрейф

Это были марокканские арабы. Они были в красивых, чеканной работы шлемах и латах — в подвижных, легких чешуйчатых латах. В этой броне они ловко и гибко двигались и блестели чешуей на солнце, как змеи. Убитые галерники валялись среди окровавленных банок, многие так и оставались на цепи, простреленные пулями и стрелами солдат.

Мавры-галерники наспех объясняли землякам, что случилось. Они говорили все сразу.

Сарацинский капитан все уже понял. Он велел всем молчать.

Теперь, после гама и рева, первый раз стало тихо, и люди услышали море, как оно билось между бортами судов.

Галера осторожно продвигалась вперед, лежа в дрейфе, ждала своей участи, и только чуть полоскал на ветру уголок высокого паруса.

Сарацинский капитан молчал и обводил глазами окровавленную палубу, убитых людей и нежные белые крылья парусов. Галерники смотрели на сарацина и ждали, что он скажет. Он перевел глаза на толпу голых гребцов, посмотрел с минуту и сказал:

— Я даю свободу мусульманам. Неверные пусть примут ислам. Вы подняли руку на врагов, а они — на своих.

Глухой ропот прошел по голой толпе.

Турок, Грицков сосед, вышел, стал перед сарацинским капитаном, приложил руку ко лбу, потом к сердцу, набрал воздуху всей грудью, выпустил и снова набрал.

— Шейх! — сказал турок.— Милостивый шейх! Мы все — одно. Шиурма — мы все. Зачем одним свобода, другим нет? Они все наши враги были, эти, которых мы убили. А мы все на одной цепочке были, одним веслом гребли, и правоверные и неверные. Одной плеткой нас били, один хлеб мы ели, шейх. Вместе свободу добывали. Одна пусть судьба наша будет.

И опять стало тихо, только вверху, как трепетное сердце, бился легкий парус.

Шейх смотрел в глаза турку, крепко смотрел, и турок уперся ему в глаза. Смотрел не мигая, до слез.

И все ждали. И вдруг улыбнулся сарацин.

— Хорошо ты сказал, мусульманин. Хорошо! — Показал рукой на убитых и прибавил: — Смешалась ваша кровь в бою. Будет всем одно. Убирайте судно.

Он ушел, перескочил на свою саэту.

Все завопили, загомонили и не знали, за что приняться.

Радовались кто как умел: кто просто махал руками, кто дубасил до боли кулаком по борту галеры, другой кричал:

— Ий-алла! Ий-алла!

Сам не знал, что кричал, и не мог остановиться.

Грицко понял, что свобода, и орал вместе со всеми. Он кричал в лицо каждому:

— А я ж казав! А я ж казав!

Первый опамятовался Грицков турок. Он стал звать к себе людей. Он не мог их перекричать и манил руками. Турок показывал на раненых. И вдруг гомон стих.

Шиурма принялась за дело. С сарацинской саэты пришли на помощь. Отковали тех, кто не успел перепилить цепи и остался у своей банки.

Когда взяли тело старого каторжника, все притихли и долго смотрели в мертвое лицо товарища — не могли бросить его в море. Сарацины его не знали. Они подняли его. Зарычала цепочка через борт, загремела, и приняло море человека.

И все отвернулись от борта. Шепотом говорили на своем каторжном языке и мыли кровавую палубу.

Теперь флаг с полумесяцем развевался на мачте. Галера послушно шла в кильватер сарацинской саэте.

Сарацинский моряк теперь вел венецианскую галеру в плен к африканским берегам.

27. У сарацин

Толпа стояла на берегу, когда в залив влетела полными парусами ловкая саэта. За ней шла, не отставая, как за хозяином, в свой плен галера с затейливо разубранной кормой, в белых нарядных парусах на гибких рейках.

Саэта стала на якорь, и галера следом за ней стала в ветер и тоже отдала якорь. Шиурма мигом сбила и убрала паруса.

На берегу поняли, что саэта привела пленницу. Толпа кричала. Народ палил в воздух из мушкетов. Странно было смотреть на эту новую, блестящую галеру, без царапинки, без следов боя и трепки — здесь, в мавританской бухте, рядом с сарацинской саэтой.

Шейх исполнил свое слово: всякий галерник волен был идти куда хочет. И Грицко долго объяснял своему турку, что он хочет домой, на Украину, на Днепр.

А турок и без слов знал, что всякий невольник хочет домой, только не мог растолковать казаку, что надо ждать случая.

Казак наконец понял самое главное: что не выдаст турок, каторжный товарищ, и решил: «Буду его слушать...»

И стал жить у сарацин.

В бухте стояло около десятка разных судов.

Некоторые были так ловко выкрашены голубой краской, что ленивому глазу трудно было их сразу заметить в море. Это сарацинские пинкеты красили так свои фюсты, чтобы незаметно подкрадываться к тяжелым купеческим судам.

Это были маленькие галеры, ловкие, юркие, с одной мачтой. Их легко подбрасывала мелкая зыбь в бухте. Казалось, им не сидится на месте, вот-вот сорвутся, понесутся и ужалят, как ядовитое насекомое.

У бригантин форштевень переходил в острый и длинный клюв. Бригантины смотрели вперед этим клювом, как будто целились. Корма выгибалась фестоном и далеко свешивалась над водой. Весь ют был поднят. Из портов кормовой надстройки торчали бронзовые пушки, по три с каждого борта.

Турок показывал казаку на бригантину и что-то успокоительно бормотал. Казак ничего не понимал и кивал головой: понимаю, дескать, хорошо, спасибо.

Много хотелось Грицку сказать галернику-турку, да не мог ничего и только приговаривал:

— Якши, якши.

Сидел на песке, смотрел на веселую бухту, на сарацинские суда и загадывал:

«Через год буду дома... хоть бы через два... а вдруг на рождество!» И вспомнил снег. Взял рукой горсть красноватого горячего песку, сдавил, как снежок. Не клеится. Рассыпается, как вода.

Арабы ходили мимо в белых бурнусах, скрипели черными ногами по песку. Зло посматривали на казака. А Грицко отворачивался и все смотрел на веселую бухту, навстречу ветру.

28. Бухта

Фелюга стояла на берегу. Кольями она была подперта в борта и сверху прикрыта парусом, чтоб не рассохлась на солнце. Спала, как под простыней. Парус навесом свешивался с борта. В тени его лежали арабы. Они

спали, засунув головы под самое пузо сонной фелюги, как щенки под маткой.

А мелкий прибой играл и ворочал ракушей под берегом. Ровно и сладко.

В углу бухты мальчишки купали коней, кувыркались в воде, барахтались. Мокрые лошади блестели на солнце, как полированные.

Загляделся казак на коней.

Вдруг вдали показался верховой араб в белом бурнусе, на вороной лошади. Длинный мушкет торчал из-за спины. Он проскакал мимо мальчишек, что-то им крикнул. Мальчишки мигом вскочили на коней и в карьер поскакали от берега.

Араб подъехал к Грицку и по дороге что-то кричал фелюжникам.

Фелюжники проснулись, помигали со сна с минуту и вдруг вскочили, как пружины. Они мигом выбили подпорки, облепили фелюгу и с криком дернули ее к морю. Верховой осадил коня, глянул зверем на Грицка, заорал грозно и замахнулся плеткой. Грицко встал и отбежал в сторону.

Араб пугнул его конем. Поднял на дыбы лошадь и повернул ее в воздухе. Ударил острыми стременами в бока и полетел дальше. Скоро весь берег покрылся народом — белыми бурнусами, полосатыми хламидами.

Все смотрели в море.

Это сторожевые с горы дали знать, что с моря идет парус. Не сарацинский парус. Фелюга уже рыскала по бухте от судна к судну: передавала приказ шейха готовиться сняться в море.

А на берегу зажгли костер.

Какая-то старая, высохшая женщина стояла у костра и держала за крылья петуха.

Петух перебирал в воздухе лапами и стеклянными глазами смотрел на огонь.

Старуха раскачивалась и что-то бормотала.

Грудь до самого пояса была вся в толстых бусах, в монетах, в раковинах. Бусы переливчато бренчали, тоже говорили.

Народ стоял кружком и молчал.

Старуха кинула в огонь ладан, и сладкий дым понесло ветром вбок, где за мысом синело яркой синью Средиземное море.

Старухе подали нож.

Она ловко отхватила петуху голову и бросила ее в огонь.

Все отошли: теперь начиналось самое главное.

Старуха ощипывала петуха и, проворно работая черными костлявыми пальцами, пускала перья по ветру.

Теперь все смотрели, куда полетят петушьи перья. Перья летели по ветру: они летели к мысу, летели к Средиземному морю.

Значит, удача.

И шейх дал приказ фюстам выйти в море.

Полетели бы перья в аул — сарацины остались бы в бухте.

Арабы бросились к фелюгам.

А женщины остались со старухой у костра, и она еще долго гремела бусами и бормотала нараспев старинные заклинания.

Две фюсты первые вырвались в море.

Они пошли в разведку с темными парусами на мачтах.

Их скоро не стало видно: они как растворились в воздухе.

Бригантины на веслах выгребались из залива.

Грицко влез на пригорок и следил за сарацинскими судами и европейским парусом.

Парус шел прямо к бухте — спокойно и смело.

29. Славянский неф

Грицков турок нашел своего товарища. Он тянул Грицка вниз на берег и что-то серьезно и тревожно говорил. Все повторяли одно, но казак ничего не понимал. Однако пошел за турком — он ему верил: крепко каторжное слово.

Это сарацины собрали всех христиан в кружок, чтобы все на глазах были, чтоб не давали своим сигналов. Пересчитали и хватились Грицка.

Христиане сидели в кружке на берегу, а вокруг стояли сарацины с копьями. Турок привел казака и сам остался в кружке. Грицко осмотрелся — вся шиурма была тут: мусульмане-галерники не хотели покидать товарищей. Они сидели впереди и коротко переругивались со стражей.

Но вот все поднялись, засуетились.

В бухту вернулась бригантина. Она вошла и отдала якорь на своем месте. Скоро весь сарацинский флот был в бухте.

Неужели отступили, спрятались в бухту от одного корабля?

Но вот в проходе появился высокий корабль. Он тяжело, устало входил в бухту под одним парусом. Осторожно пробирался в чужом месте далекий путник.

Стража разошлась. Галерники разбрелись. Казак не понимал, что случилось. Решил, что христиане сдались без боя.

Дюжина фелюг обступила корабль. Все старались пробиться к борту.

Турок, увязая ногами в песке, бежал к Грицку и что-то кричал. Он улыбался всеми зубами, кричал изо всей силы Грицку в ухо раздельно, чтоб понял казак. И все смеялся, весело, радостно. Наконец шлепнул Грицка по спине и крикнул:

— Якши, якши, урус, чек якши!

И потащил его за руку бегом к каику.

Узкий каик уже отчаливал от берега, гребцы, засучив шаровары, проводили каик на глубокое место. Их обдавало по грудь зыбью, каик вырывался, но люди смеялись и весело кричали.

На крик турка они оглянулись. Остановились. Закивали головами.

Турок толкал Грицка в воду, торопливо толкал, показывал на каик. Грицко вошел в воду, но оглянулся на турка. Турок, высоко поднимая ноги, догнал Грицка и потащил дальше. Смеялся, скалил зубы.

Гребцы гукнули и разом вскочили с обоих бортов в узкий каик. Зыбью рвануло каик к берегу, но весла уже были на месте и дружно ударили по воде.

Прибой, играя, поставил каик чуть не дыбом. Арабы весело осклабились и налегли, так что затрещали шкармы. Каик рванулся, прыгнул на другой гребень раз и два и вышел за пену прибоя. Грицко видел, что его везут к христианскому кораблю. Прогонистый каик, как ножом, резал воду. А турок знай хлопал казака по спине и приговаривал:

— Якши, делибаш!

Грицко немного побаивался. Может, думают, что ему к христианам хочется: был он уж у одних. Да надеялся на каторжного товарища. Этот понимает!

По трапу влез Грицко за турком на корабль. С опаской глянул на хозяев.

Что за люди? Двое к нему подошли. Они были в белых рубашках, в широких шароварах, в кожаных постолах на ногах. Что-то знакомое мелькнуло в длинных усах и усмешке.

Они, смеясь, подошли к нему.

Турок по-своему что-то сказал им.

И вдруг один сказал, смеясь:

— Добры день, хлопче!

Казак так и обмер. Рот разинул, и дыханье стало. Если б кошка залаяла, если б мачта по-человечьи запела, не так бы он удивился.

Казак все смотрел, испуганно, как спросонья. А моряк смеялся. Хохотал и турок и от радости приседал и стукал Грицка ладошкой в плечо:

— А дели, дили-сен, дели!

30. До хаты

Это был славянский корабль. Он пришел к маврам с товаром издалека, с Далматского берега, из Дубровники.

Небогатый был корабль у дубровичан — из-под топора все.

И одеты хорваты-дубровичане были просто: в портах да рубахах.

Пахло на судне смолой да кожей.

Не свой, чужой товар развозило по всему Средиземному морю славянское судно — ломовое судно. Как ломовые дроги, смотрело оно из-под смолы и дегтя, которым вымазали дубровичане и борта и снасти. В заплатах были их паруса, как рабочая рубаха у сносчика.

Люди на судне приветливо встретили казака, и не мог Грицко наговориться. Слушал турок непонятную славянскую речь и все смеялся, тер себе ладошками бока и скалил зубы.

Потом заговорил с хорватами по-турецки.

— Это он спрашивает, переправим ли тебя домой,— сказали Грицку хорваты и побожились турку, что поставят казака на дорогу, будет он дома.

...Через год только добрался казак до своих мест. Сидел на завалинке под хатой и в сотый раз землякам рассказывал про плен, про неволю, про шиурму.

И всегда кончал одним:

— Бусурманы, бусурманы... А вот на того турка я ридного брата не сменяю.

ЭЛЧАН-КАЙЯ

I

Ветер дул с моря. Плотный, тяжелый ветер. Налег на город и на порт. Все окошки захлопнулись, все ворота рты зажали, голые деревья спиной повернулись, и полохнул дождь. Не дождем, а будто каменьями кто с неба кидал: зло и метко. В рожу, за шиворот, ляпнет в глаз. И все побежали и спрятались в домах. Закрылись, законопатились. Зажгли свет, а дети залезли на кровать и шептались тихо.

А греку Христо нельзя было бежать. Он стерег в порту мешки. Мешки были покрыты брезентом. Ветер рвал брезент, а Христо ловил его за угол, и его подбрасывало на воздух и ударяло об мостовую. Черная собака лаяла на брезент, металась и хватала Христо за штаны.

Такой был ветер.

Христо был сильный человек, он прикатил огромные камни, навалил, прижал брезент и ругался, чтоб не заплакать.

Большое парусное судно, что стояло на рейде, подняло якорь, поставило крохотный парус, как платочек, и понеслось в порт, в ворота: не могло выдержать погоды.

Христо забился в угол, а собака стала моститься ему под пальто.

Зыбь била в портовую стенку, и брызги фонтаном летели вверх — выше мачт.

Ветер принес тучи, нагнал темноту и завладел всем.

II

Христо сидел на дворе и стерег брезент. Христо думал: теперь уж никого в море нет. Суда ушли в порт, а люди — под крышу. Одно только судно в море не спустило парусов: каменный корабль Элчан-Кайя. Ему все нипочем.

Много чего рассказывали про каменный корабль. Чего только не выдумывали! И турки одно, а греки другое. Будто шел корабль на недоброе дело, совсем уж к берегу подходил и вдруг окаменел, как был, со всеми парусами, со всеми людьми.

И верно: когда издали смотришь, днем на солнце горят паруса, накренившись набок, пенится в волнах корабль — и все ни с места. А подойдешь — это скала торчит из моря. Какой же это корабль?

Но турки говорят: давно это было, давно окаменел корабль, и море размыло, разъела вода каменные паруса и снасти. Чего люди не выдумают! Говорят же, что по татарским кладбищам клады закопаны. Копни только — и море золота. Врут люди. А кто и выкопал, разве скажет?.. Врут и про Элчан-Кайя,— просто торчат из моря дикие скалы торчком, остряком, а зыбь бьется об них и пенится.

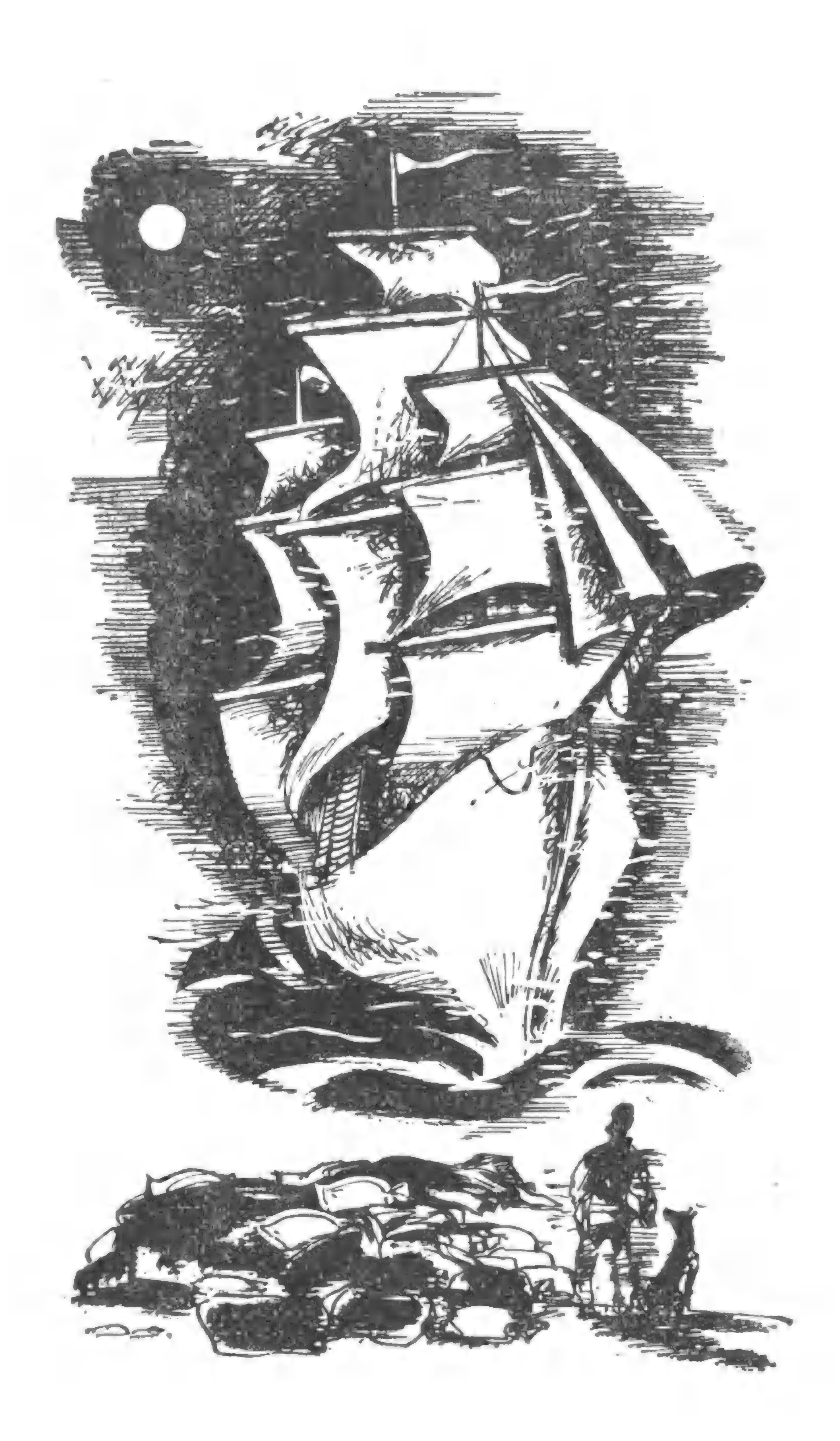
Но отойдешь полверсты, оглянешься — догоняет на всех парусах каменный корабль: прилег набок, пенит воду.

И Христо стал думать, как это сейчас стоит там в море один этот корабль и разбивается об него черная осенняя зыбь. А собака ворошилась в ногах и лизала мокрую шерсть, а заодно и хозяйские брюки.

Маяк стоял на конце мола, далеко в море, в воротах порта. Светил красной звездой, не мигая. Христо сжег полкоробка спичек, пока закурил трубку, а маяк не моргнет на штормовом ветру. И кому светить в такую ночь? — никого нет в море. Один только есть корабль...

III

И вдруг маяк погас на секунду, потом опять мелькнул... опять... И снова загорелся ровным светом. Значит, кто-то прошел мимо маяка. Кто-то парусами закрыл маяк. Христо привстал и через дождь и шторм стал пялиться в море.



Неужели парусник, что спрятался в порту, выскочил в ворота на полных парусах? Нет, вот он белеет в углу гавани. И тут Христо заметил в темноте — на минуту совсем ясно — огромные, как облака, паруса и высокий, как дом, корпус. Корабль медленно входил в порт. Медленно, в шторм на всех парусах.

Он занял половину порта, серый, как скала. Молча, без огней, двигался медленно, тяжело, чуть накренившись набок. Не спуская парусов, он стал посреди порта. Христо дух затаил — смотрел во все глаза.

Элчан-Кайя! Каменный корабль пришел в порт.

Ой, и никто не видит — все заперлись, все спрятались. Один Христо в порту, а в порт пришел Элчан-Кайя. Наутро рассветет, и все увидят. Не устоял Элчан-Кайя в море!

А с каменного корабля спустили шлюпку. Ну да, шлюпку. Вон движется, ползет по воде. Как будто кусок от корабля отломился. Медленно идет. Уж хорошо видать через дождь. Христо спрятался под брезент.

«Пусть,— думает Христо,— меня нет. И сам буду считать, что меня нет».

Запрятал собаку под брезент. Ведь кто их знает, какие там люди? Старинные турки. Одним глазом смотрит Христо из-под брезента. А шлюпка идет прямо туда, где мешки, где Христо. Теперь уж под самой пристанью. И вот брякнули весла и стали на пристань вылезать люди. Каменные старинные турки, в каменных чалмах.

Вылезли не спеша. Сорок турок вылезло на берег. Христо знал по-турецки, прислушивался, но ветер рвал голоса: ничего не разобрать. Собака заворчала на них под брезентом. Христо ей морду что было силы стиснул меж коленами. А турки пошли по каменной пристани и дробно стучали тяжелыми ногами. Серые все, как камень Элчан-Кайя.

Прямо в город пошли турки. А впереди высокий, все брюхо широким поясом замотано, из-за пояса кривые ручки торчат — пистолеты. Будто каменные крючки. Близко прошли от Христо — медленно, тяжело. Еще гнутся каменные ноги, не треплет штормом бороды, и все вниз глядят, в землю. На ходу друг о друга стукаются каменным стуком.

Куда пошли турки? Христо слышит, как грохают шаги по мостовой. Войдут в дома, выдавят двери, закаменеют люди от страха, и всех греков, всех русских выре-

жут за ночь турки. Бежать надо, всем сказать, надо в соборе в колокол ударить!

Христо хотел двинуться, да вспомнил — стоит под берегом турецкий баркас. А глянул в море — полнеба закрыл Элчан-Кайя каменными парусами. И никто не видит. Светит ровно красный маяк. Крепко спят там люди под дождь, под штормовой ветер.

«Нет меня, нет меня на свете,— думает Христо.— Ничего я не видел». И со всей силой зажмурил глаза. Только слышит сквозь бой зыби, как тяжело толчет в пристань каменная шлюпка.

Прижался Христо к собаке — все же вместе, все же она живая, теплая. И тут вдруг вспомнил, что осталась в городе жена Фира. Придут турки...

— Не может грек терпеть это! — сказал Христо и стал ползти под брезентом, вдоль мешков, подальше от берега, дальше от шлюпки.

Вылез Христо,— хлещет дождь, как стрелы. Собака хвост между ног зажала, смотрит на Христо: куда?

«Да не чудится ли мне?» — подумал грек. Оглянулся и обмер: еще выше стали каменные паруса, еще ближе надвинулся на город Элчан-Кайя.

IV

И ударился Христо бежать. Напролом — через рельсы, через барьеры бежал Христо. Гнал его ветер, гнал дождь холодными прутьями. Христо бежал в темноте. Перебежал площадь и тут стал. Дробно по мостовой шаркали каменные ноги.

Христо прижался к стене: по трое, тринадцать рядов прошли старинные турки, а впереди высокий. Газовый фонарь мигал, пламя билось, но Христо увидал, что у высокого одна рука. Другую он нес под мышкой, и она сжимала кинжал. Только не каменная рука была под мышкой у высокого турка, а живая, и кинжал вспыхивал сталью на свету.

Христо пошел за турками; шел поодаль, затаив дух. Боялся будить людей, боялся стукнуть в ворота, чтоб не оглянулись турки. А они прошли город и вышли на большую дорогу. Вот прошли татарское кладбище и встали в круг. Зажгли каменные факелы. Мутным светом стал огонь и недвижно замер.

Тогда вышли двенадцать турок в круг и стали ятаганами копать землю. Выкопали большую яму, круглую могилу. И высокий турок спустился и положил на дно живую руку с зажатым кинжалом. И вот все загудели, запели молитву. Будто обвалились с гор камни и грохочут с раската.

Тут завыл пес. Христо накрыл его полой, но турки пели — не слыхали. Потом все стали разматывать пояса, и посыпалось из поясов золото. В сорок ручьев лилось золото в яму, и чуть не дополна засыпали ее турки. Закидали землей, затоптали тяжелыми ногами.

Стали опять по три в ряд и пошли. Христо хорошо заметил место и покрался вслед за турками. Глянул — а над городом, сквозь темь и дождь, высоко в небе маячат серые паруса. Христо бежал за турками, держался за мокрый картуз и думал: «Уйдут турки — все золото мое. Никто не видал: кто в такую погоду нос высунет? Скорее бы ушли турки!»

И вдруг подумал:

«А что, если останется один человек, один каменный человек — стеречь золото? Нет,— сказал Христо.— Нет, я прибегу раньше их на пристань, я всех пересчитаю: ровно сорок их было — если сорок уедет, значит, мои деньги».

И Христо пустился переулками бегом, скорей, в обход к пристани. Тихонько прокрался к мешкам и заполз под брезент. Дождь перестал уже и не стучал по брезенту, как по железной крыше.

Только ветер еще злее рвал с моря и нес брызги на берег.

Христо стал прислушиваться: идут, идут турки. Вот остановились и стали один за другим спускаться вниз. У Христо глаза слезились от ветра, но он не мигал и считал:

— Раз, два...

Вот тридцать девять турок спустились в шлюпку. Один остался на пристани — высокий турок. Он обернулся к городу и сказал на крепком старом турецком языке.

— Прощай, город,— сказал турок.— Похоронили мы грехи наши, похоронил я руку, что отсек мне праведный человек вместе с моим кинжалом непобедимым.

Поклонился городу — чуть не до земли чалмой, и слез в шлюпку.

Христо перевел дух. Шлюпка подошла к кораблю и как вросла в него.

Взметнул Элчан-Кайя парусами над городом, повернулся, и полетел каменный корабль из порта. Вышел в море, и растаяли во тьме серые паруса.

V

Христо вылез из-под брезента, потер усталые глаза.

«Да что за черт,— подумал грек,— было ли все это?» И вздрогнул. Услыхал — бьются друг о друга, говорят камни.

«Фу ты! Да это ветер треплет брезент, а брезент ворочает камни, что навалил по краям Христо. Заснул я, и привиделось. Не был в порту Элчан-Кайя, не ходили по городу старинные турки».

А собака сидит против Христо, смотрит ему в глаза и подрагивает мокрой шерстью на холоду.

И не знал Христо: ходил он за город на татарское кладбище или проспал за полночь и все привиделось. Собака знает. А как спросить?

— Филе, Филе,— сказал Христо,— ходили мы с тобой?

Собака подвизгнула и стала тереться мордой о Христину руку. Глянул Христо в море — пусто в порту. Ровно сочит свой красный свет маяк, и стоит в стороне белый парусник.

Вот и ветер стал спадать. Дунул, дунул и оборвался. Мутным заревом дымит за облаками луна. Капнули по нему звездочки. Прошел шторм, выдулся ветер, и глянула с неба спокойная луна. Круглая, ясная.

— А трелля, трелля, глупости это,— сказал Христо и обошел мешки.

Все спокойно. Постучал ногой в камень. Наутро заведующий скажет: хороший человек Христо, уберег мешки Христо. Все убежали, а Христо молодец — иди спать.

VI

Чуть стало солнце подыматься, пошел Христо домой, и Филос-пес поплелся сзади.

Вошел в дом, жена ахнула:

— Где был, откуда грязи набрался? Точно волокли тебя за ноги по дороге!

Глянул Христо: весь бок в грязи, в липкой глине. Посмотрел на собаку: по брюхо собака вывалялась, на хвосте комьями глина налипла.

Глядит Христо и не знает, что жене сказать.

— Элчан-Кайя,— шепчет Христо и стоит глаза выпучив.

Жена тараторит.

— Снимай,— кричит,— ботинки! Ты пастух или сторож? Смотри, морда вся в грязи.

Пока стаскивал пудовую одежду, надумал Христо, что врать.

— Привезли,— говорит,— хохлы хлеб, полколеса в грязи, обмазался я об колеса.

Помотала жена головой и поставила чайник на мангал.

Смотрит Христо на собаку, собака на него из угла косится.

«Хорошо,— думает Христо,— что собака говорить не может. А то узнала бы баба про золото, испугалась, ни за что не пустила бы и одного червонца взять. Все соседки узнали бы, весь город. Пришло бы начальство, и весь клад свезли бы в контору, а Христо остался бы в дураках».

Разве грек может так сделать? Грек и пьяный ума не теряет.

VII

— Ложись спать,— говорит жена,— наморился за ночь.— И пошла во двор чистить Христину одежду.

А Христо лег и ни минуты не спал. Все думал про золото, про каменный корабль Элчан-Кайя. Никто не знает, никто не видел. Может, и не было. И взглянет на собаку. А собака на него глядит черными глазами.

— Мы с тобой знаем,— сказал Христо и ткнул себя в грудь.

В обед вышел Христо в город. Солнце светит, как будто не осень, а весна настала. Топчется веселый народ на улице, в кофейнях посудой звякают, спорят греки за столиками. В кости играют, кофий пьют. Зашел Христо в кофейню: дай, думает, послушаю: если люди видели — разговор будет. Узнаю, что люди говорят.

Натворила за ночь погода всяких бед: две мельницы положила, рыбакам сети оторвала и с часовни крышу

сдернула. Головами люди качают, языками цокают, а про корабль — ни слова.

Три чашки выпил Христо и до самого вечера сидел в кофейне. Уж свет стали зажигать, вдруг слышит Христо, кто-то сзади сказал:

— Элчан-Кайя!

Обернулся — видит, за столиком два моряка парусника, и один говорит другому:

— Иду я судном,— думал, уж с дороги сбился, а ведь берегом иду. Вот уж должен быть Элчан-Кайя. Прошел уж два тополя — нет и нет Элчан-Кайя. Так и в порт пришел. Повалило, видать, штормом каменный корабль.

— Э, брось масал рассказывать,— сказал другой.— Сколько лет стоял, не может этого быть. Проспал ты или пьян был. Не ушел же в море Элчан-Кайя на каменных парусах!

— Спроси моих людей,— говорит тот,— коли не веришь. Никто не видал. Пойди, найдешь каменный корабль — я тебе на него мое судно меняю.

Тут они встали и вышли.

«Ну,— думает Христо,— значит, верно. Дождусь ночи и пойду за кладбище, в степь».

VIII

Зашел Христо домой, крикнул собаку и пошел мешки стеречь.

Луна взошла и тихую ночь привела. Светит лунная дорога на море, и, как капля крови, рдеет маяк на молу.

А Христо ждет, чтоб смолк город, угомонился б народ, заперся бы в домах. Высоко уже взошла луна. Вот и город замер, только чуть хлюпает зыбь под пристанью. Нашарил Христо старый чугунный колосник, взял под мышку и тихонько свистнул собаку.

Спит город в белых улицах, а Христо в тень прячется, пробирается закоулками на большую дорогу.

Вот и кладбище татарское. Стоят татарские могилы, каменные столбы на могилах, и чалмы высечены. Блестят на луне.

Покосился Христо на каменные чалмы и позвал собаку поближе. Потрепал по спине.

Вот оно, место.

Огляделся Христо быстро кругом и вонзил колосник в землю. Раз, раз! — летит земля комьями. Торопится Христо узнать, есть ли золото, не померещилось ли. Рвет землю, рук не слышит. Тычет колосником. Чует только, как стоят за спиной чалмы на кладбище.

Уж с четверть проковырял Христо. Нет золота.

— Трелля, трелля! — говорит Христо.— Привиделось! — А сам все бьет землю злее и злее.

И вдруг лязгнул колосник и блеснуло на луне золото. Христо сразу в пот бросило. Кинул он колосник, выхватил из земли червонец и зажал в кулак. Оглянулся на кладбище.

Спокойно стоят каменные чалмы за оградой, блестят на лунном свету.

В ушах это звенит или двинулось там что?

— Филе, Филе,— шепчет Христо,— чужой, чужой!

Насторожилась собака, напружилась. Уркнула глухо.

Нет, все спокойно. Никого.

Запустил Христо горсть в ямку, ухватил червонцы и сунул не глядя в карман. Скорее заровнял ямку, притоптал ногой и бежать прочь.

IX

Как вор, прокрался в порт, за мешки, за брезент и тут вынул из кармана червонец. Старая мусульманская монета, а чистая, как вчерашняя. Горит, на луне нежится. Погладил ее Христо и опять в карман.

Тяжелый карман. Звенит, раскачивается, говорит в нем золото. Не утерпел Христо, снова вынул золотой: поглядеть, на руке взвесить. Поцеловал Христо золотой — спрятал. Двенадцать раз за ночь вынимал Христо золото, чтоб проверить, чтобы порадоваться.

Чуть светать стало — пошел домой. В карманах руки держит, чтоб молчало золото. Услышат люди: откуда у Христо деньги?

«Приду домой,— думает Христо,— найду ему место».

Разве грек не знает, как надо сделать?

— Фира,— сказал Христо жене,— я больной совсем. Никакой нету силы: тянет в животе и тошно мне.

Жена зажгла свет.

— Что ты, Христо, что тебе дать? Ты красный какой!

— Дай,— говорит Христо,— огурца соленого, мне лучше будет.

Жена побежала в погреб, принесла пару огурцов, а Христо швырнул огурцы.

— Жаль тебе хороших огурцов мне дать! Это не огурцы — жабы болотные.

Три раза Фира бегала, а Христо все больше ругается. Заплакала — бросила ключи.

— Иди,— говорит,— сам, ты как с ума сошел. Видать, болезнь в голову бросилась.

А Христо поднял ключи и пошел. Нарочно ключами бренчит, чтоб не слыхала жена, как золото в карманах переливается.

Пошел в погреб. Вырыл в углу яму, схоронил золото и засыпал землей, а сверху картошкой закидал. Один только червонец оставил Христо.

X

А когда ушла жена на базар, Христо вышел, запер двери и побежал на слободку к старому еврею.

Еврей жил на самом краю, в последнем доме. Древний старик. Весь в белой бороде, как в снегу.

Христо вошел в темную комнату: одно маленькое окошко, и то рядном завешено.

Еврей посмотрел на Христо красноватыми глазками, и показалось Христо, что он все знает: и про клад, и про Элчан-Кайя.

И подумал Христо: «Задушить еврея».

А старик сидел, барабанил сухими пальцами по столу, брякал ногтями и смотрел, моргая, на Христо.

Минуту Христо стоял и дышал, как корова, и сказал наконец:

— День добрый!

Разве грек не понимает, как дело делать?

— Здравствуй,— сказал старик и сложил руки под тощим животом, а пальцы один вокруг другого бегают.

— Вот,— говорит Христо,— дядя мне из Турции с верным человеком деньги послал. Старые деньги.

И показал Христо турецкий червонец.

Еврей подошел к окну, отдернул рядно и поглядел на червонец. Стукнул о подоконник.

— Старые деньги, — сказал старик. — Крепкие деньги.

Попробовал на зуб:

— Каменные это деньги.

Христо кровь в голову бросилась, а старик задернул рядно.

— Хочешь двадцать рублей?

Отсыпал он Христо двадцать серебряных рублей. Христо завязал их туго в платок, забил в карман и пошел прочь, и дверь забыл закрыть.

Раньше жены вернулся Христо. Достал лопату и наточил ее на камне, наточил, как бритву. Обернул ее мешком и сунул под крыльцо.

На ночь взял с собой лопату, свистнул Филуса — собаку и ушел в порт.

Ночь стояла тихая, звонкая. Тугой, свежий воздух стоял над степью. Как Христо ни таился, ярко щелкают сапоги по камням. Снял Христо сапоги и босиком засеменил по холодной дороге.

Собака сидит сторожит, а Христо роет. Хрустит лопата, а грек оглядывается, не идет ли кто. Но вот уже открылся клад, блестит, как золотая лужа на луне. Глянуло золото Христо в глаза. Шире, шире раскопать! Уж не оглядывается Христо ни на дорогу, ни на кладбище: тычет лопатой, кидает наотмашь землю. Шире бы, шире открылось золото! Вот уж круглым озером стоит и золотой рябью играет на луне, как шевелится все. Глядит Христо и думает: «Мое, мое это озеро!» И стал руки окунать в золото. Вот оно, вот, как вода, как море переливается. Ниже, ниже наклоняется Христо. По локоть закопал руки. Вот оно, глубокое, льется, всплескивает звонкими плесками.

И бросился Христо в озеро, лег и греб под себя золото. Золотыми брызгами летели на луне червонцы и падали со сладким звоном. Нырнуть захотелось греку, зарыться с головой. Закопаться в тяжелое золото. Зарыл лицо в червонцы, сгреб руками золото и замер. Прильнул — не шевелится.

И вдруг слышит: шелохнулось что-то внизу и хрустнули под спудом червонцы. И тут вспомнил Христо про руку с кинжалом. Вскочил и прыгнул на землю. Собака с испугу вбок метнулась. Встала раскорячась и смотрит на хозяина. А Христо отбежал шагов сорок, оглянулся. Ласково нежится золотое озеро в черных берегах, не шелохнется. На небе луна стоит, лбастая, мирная и будто в сторону смотрит.

— Нет,— сказал Христо,— трелля, трелля: показалось.— И позвал собаку.

Подошел к золоту, стал на берегу: показывает собаке, тычет пальцем в золото и шепчет прерывисто:

— Филе, Филе, чужой!

Собака осторожно стала над золотым озером, потянула носом и вдруг ощетинилась черной шерстью. Глаза налились. Ворчит собака, дышит зло и глаз не сводит с озера.

— Ну,— говорит Христо,— стереги, стереги, Филе.

Схватил мешок, наплескал туда червонцев, а потом стал очертя голову забрасывать золото землей.

Как же! Оставит грек золото у проезжей дороги!

Отошел Христо шагов сто, стал, оглянулся и смотрит. Брови сдвинул. Смотрит, спокойно ли лежит золото под землей. И Филос рядом стоит, вперед подался. И показалось Христо, что чуть шевелится земля над золотом, и собака оскалилась, заворчала.

Да нет! Вздор! Туча по луне прошла. Качается сонная луна на облаках, и вот мутится все на земле, шатается.

Плюнул Христо, свистнул весело собаке и пошел с тяжелым мешком.

— В чем дело? — сказал Христо вслух.— Я тебя не трогаю, лежи себе на здоровье. Какое твое дело? Держи свой кинжал заклятый!

А дома закопал Христо золото под картошкой.

И стал думать, как перенести домой весь клад. Так таскать — беда: заметят люди, и тогда пропал. Все пропало, и все скажут: дурак Христо, болгарин и тот так не сделает.

А! Разве грек не выдумает, как сделать?

XI

В обед сидел Христо дома. Фира ему поставила на стол баклажаны. А Христо говорит:

— И что баклажаны, баклажаны! Вчера были баклажаны. Что у тебя, каждый день понедельник? Поди купи полкварты вина. Я тебе расскажу. Радость у нас.

И звякнул по столу рублем.

— Что, что? — кричит Фира.— Говори, дорогой мой, хорошенький.

А Христо крикнул:

— Бре! Неси вина вперед.

Выпил Христо стакан. Фира против него сидит на табуретке. В глаза смотрит, трет коленки руками, ждет.

— Вот,— сказал Христо и поставил пустой стакан.— Вот, прислал мне из Трапезунда дядя деньги.

— Ой, поставим плиту, Христо,— говорит Фира и к мужу придвинулась.— Довольно мангал этот.

— Бре,— говорит Христо,— плита, плита! Плита — глупости. Я лошадь куплю. Дроги куплю. Бочку поставлю и буду воду возить людям. Хорошую воду. С горы воду темиз-су.

У Фиры слезы в глазах заблестели. Помолодела гречанка.

— А не лучше — рыбой торговать будем?

Христо замахал руками:

— А, скажет баба, что по горшку поленом! Рыбу постом кушают, а воду каждый день пьют.

Купил себе Христо клячу у цыгана, справил бочку на колесах. Два ведра сбоку повесил и лейку жестяную.

— Ну,— сказал Христо жене,— я с ночи буду выезжать и уж до света буду с водой в городе. Еще никто мангал не разводил, а Христо уж будет по улицам в ведро колотить: вода темиз-су!

— Вот какой ты у меня! — говорит жена.

— Э! Бре! Грек не знает, как воду возить?

Ездил Христо в горы к источнику, набирал полбочки воды. А как назад ехать, становился около клада и насыпа́л в воду золота.

Уже все золото перевез Христо. На один раз только осталось.

XII

Везет Христо в город бочку, тарахтят по мостовой колеса. Ведра звякают, танцует на боку лейка, бьется о бочку, а Христо изо всей силы колотит в ведро, и не слышно, как звенит в воде золото.

Запоздал нынче Христо: доро́гой шлея лопнула, завозился Уж солнышко высоко, люди с базара идут, а он только в город въезжает. Мелкий дождик закапал, что слезы. Небо низкое, и скучно в улицах, как в сырой комнате. Люди сгорбились и ходят как больные, укутанные.

Один Христо орет на всю улицу веселым голосом:

— Вода темиз-су! Кому воды?

И бьет в ведро, как цыган в бубен.

«Еще раз — и все золото дома»,— думает Христо и заорал во всю глотку:

— Ой, кончаю, кончаю! Подходи, кончаю!

И вдруг видит — идет по панели старый еврей, по уши замотанный вязаным шарфом, и белым веником торчит из ворота борода. Оглянулся еврей на Христо и подошел не спеша:

— Ну, дай напиться, коли хороша вода.

«Принесло его, черта»,— подумал Христо, остановил лошадь. А кляча тяжело дышит. По самые оглобли раздувает бока.

— Во что я тебе налью? — говорит Христо.

— Лей! — говорит старик и подставил горсть; сам смотрит на Христо.

Хотел грек оттолкнуть еврея, оглянулся — уж люди смотрят: чего старик из бочки пить просит среди улицы в осенний дождь?

Дернул Христо чоп, и побежала вода на мостовую светлой дугой. Набрал еврей в горсть, отхлебнул.

— Спасибо,— говорит,— хороша вода,— и губами почмокал.— Золотая эта вода! — И опять глянул на Христо.

Ударил Христо по кляче — поломал кнутовище.

— Зарезать черта паршивого, задушить надо гадюку,— сказал Христо.

XIII

Пригнал бочку домой и до вечера стерег с крыльца воду с золотом. Все старый черт из головы нейдет. Убить такого — семь грехов простится. Сидит, старая рухлядь, днем в потемках, а ночью читает толстые книги по корявым буквам. А что там каракулями написано? Все там есть, говорят люди. Про все они, проклятые, знают!

XIV

Выпил с досады две кварты крымского вина Христо и ночью погнал свою клячу на большую дорогу, прямо к татарскому кладбищу.

Луна уже поздняя была, и темно было дорогой. Грязь липкая клеит колеса. Еле тянет в гору проклятая кляча.

— Рвань ты! Сатана! Анафема!

Вырвал Христо из плетня здоровый прут держидерева, руки об колючки изодрал и стал колотить по лошади:

— Довези ты меня до дому и сдохни, панукла!

Возьмет свое грек, пусть тут Чатырдаг на дороге станет.

Темно. Еле нашел место Христо. Стал копать, рвать землю. Швырял во все стороны.

— Дорвусь,— шепчет Христо,— возьму свое, и пусть тут яма останется. Пусть дураки думают, зачем яма копана.

Хорошо берет лопата, как бритва острая.

Христо стал лопатой нагребать скользкое золото прямо в бочку. Конец уже. Ковырнул впотьмах: и вот она, рука, вот он, кинжал.

— А,— сказал Христо,— ты что на меня кинжалом наставилась? Будет грек турецкого кинжала бояться!

Спрыгнул грек в яму, наступил коленом на руку и стал разжимать пальцы.

Крепко держит проклятая турецкая рука. Кольцо на руке царапается. Христо губы прикусил от натуги, стал бить кулаком по мертвым пальцам.

Собака рядом возилась, лаяла во всю глотку. Уж все равно было Христо. Схватил он лопату и стал со всей силой сечь по проклятым пальцам. Как капусту в корыте толок Христо и на куски, в кашу истолок руку.

Взял кинжал.

Отер о землю рукоятку и сунул за пояс, за спину. Потом плюнул в яму, нашвырял ногой земли и тронул домой.

— Моя взяла! — сказал Христо и пошел весело под гору.

Проходил мимо татарского кладбища. Маячат каменные чалмы впотьмах.

— Эх вы, каменные башки! — крикнул Христо и стукнул кнутовищем по чалмам, где мог достать.

Весело стало Христо. Сел на дроги, ударил по кляче и пустился вскачь под гору. Звенит сзади золото, как смеется.

Бре! Разве не вырвет грек у турка золото? И кинжал ихний заклятый заткнул грек за пояс.

Запрятал Христо золото в погреб и лег спать веселый.

А наутро жена сказала, что сдохла кляча.

— Тьфу! — сказал Христо.— Туда ей и дорога. Перережь ей горло и продай татарам.

XV

На берегу, под обрывом, стояла хата. В ней жил старый мастер Мустафа-Али-Оглу Измирдан. Перед домом стояла широкая турецкая фелюга: килем на чурбанах, кольями подперта. Мустафа жмурился на низком осеннем солнце, щурил глаз и смотрел на фелюгу.

У фелюги бок пробит, торчат дубовые ребра. Ободрала бок на каменьях. Теперь терпит, ждет. А Мустафа острой стамеской кромсает деревянные лохмотья.

Рыба в море не ждет. Надо к среде ребятам спихнуть фелюгу в воду. Спешит Мустафа, упрел, стружки в бороде и красный фес на затылок съехал.

И вдруг из-за фелюги черный пес: выскочил, мохнатым хвостом машет, а за ним веселый грек Христо — крепкие усы, зубами светит, стучит прутиком по фелюге:

— Э, здорово, Мустафа Измирдан! Зачем тебе это барахло? — И ткнул Христо больную фелюгу под брюхо.— Что ты, сапожник, что весь век латки ставишь?

Мустафа надвинул фес и посмотрел из-под руки:

— Здравствуй, якши-адам, здорово, хороший человек. Что ты кричишь?

А Христо на месте не стоит, шуршит ногами в стружках.

— Такая мастеру работа нужна? — кричит.— Вот я тебе работу дам!

— Идем в хату,— сказал Мустафа и пошел к двери.

— Вот,— говорит Христо,— сделай мне новую фелюгу. Сделай, чтоб крепкая была, как бочонок, плотная, как орешек. Кругом крытая, чтоб ни щелочки. Чтоб, как утка, на волне играла.

Мустафа сидит на полу у стены и глядит на Христо. А Христо подсел к нему на корточки и прямо в лицо ему кричит:

— Большие паруса поставим, чтоб летала фелюга! На триста пудов грузу надо. Дубовые ребра, дубовый водорез!

— А что делать будешь? — спросил мастер.

— Рыбу буду возить, камсу, селедку из Керчи. По триста пудов.

— Умное дело,— сказал старик.

— Триста рублей, твой лес,— сказал Христо и встал.

Долго старик смотрел в пол, потом вскочил, как молодой.

— Идем,— говорит,— я тебе лес покажу. Демир! Железо — не дерево.— И взял Христо за рукав.

Ударили по рукам, и оставил Христо мастеру сто рублей.

— Хорошо,— говорит старик,— найму людей, скоро сделаем. А работу мою все знают.

И построил Мустафа Измирдан фелюгу для Христо.

Скрипка — не фелюга: гнутая, стройная, натяни только струны — запоет.

XVI

Прощается Христо с женой Фирой на пристани.

— Ну, довольно,— говорит,— я воду возил, пускай она меня повозит. Пойду за рыбой в Керчь. Ты меня скоро не жди.

Поднял парус Христо, только оттолкнулся от берега — прыгнул с пристани Филос-пес.

— Тьфу на тебя,— сказал Христо.

Не вернулся: нехорошо, говорят, назад раньше времени поворачивать.

Долго Фира вслед смотрела: горят на солнце новые паруса, режут ветер острым верхом. Вышла фелюга в море. Светит парус на зеленой воде.

— Как цветок в поле,— сказала Фира, вздохнула и пошла к дому.

До вечера шел Христо берегом. Вот уж два тополя прошел. Смотрит грек туда, где стояла каменная скала Элчан-Кайя: нет, нет корабля. Ходит зыбь над тем местом. Стал смотреть Христо в воду: нет, и в воде не видать каменных парусов.

Пропал Элчан-Кайя, пропал со всеми турками. А кинжал ихний заклятый здесь, за поясом.

И хлопнул Христо по боку; звякнул кинжал в новых ножнах, брякнул серебряными насечками.

«Теперь нечего мне бояться». И повернул прямо в море.

А что, не знает грек, куда судно вести?

Хорош ветерок дует с берега, распустила широко паруса фелюга и, как змейка, так и слизывает с волны на волну.

Урчит вода за кормой. Христо стоит на палубе, сдвинул шапку набок и стукнул ногой в палубу:

— Эх, лечу, куда хочу: хочу в Трапезунд, хочу в Инэболи. Неси, посудина!

А Филос свернулся кольцом под мачтой и всякий раз подымал голову, как стукнет хозяин каблуком в звонкую палубу.

XVII

На третий день открылся берег, переплыл Христо море.

Рассыпался по красному берегу белый город. Будто копья воткнуты, торчат острые минареты. Как хлеба горбушки, поднялись средь домов турецкие мечети. А вон в порту паутиной стоят мачты. Туда и направил фелюгу Христо. Прямо в Трапезунд угодил грек.

Бре! Может это быть, чтоб заплутал грек в море?

— Ай, фелюга! — говорят в порту.— Сама как змея, паруса как облако.

Толпится народ на пристани. Христо бросил канат, десять человек ловить кинулись.

И скоро все узнали, что приехал грек с того берега, один с черной собакой.

Пошел Христо в город: бегает, суетится народ, ослы орут неистово, все кричат, суются, топчутся, как будто круглый день пожар в городе.

Все греки — шумливый народ.

Одни турки в тени сидят. Кто кальяном дымит, а кто и соломку сосет — ждут судьбу.

Пробился Христо на базар и стал торговать шелковые платки — большие, вышитые, с золотом, с кисточками. Торговался, охрип. Вороха накупил Христо. Наложил четыре бочки, забил наглухо и покатил на фелюгу.

«Привезу,— думает Христо,— тайком провезу. И продадут верные люди».

Не ждал Христо, сорвался ночью и побежал парусом домой. На пятую ночь прокрался к берегу. Тихая ночь стояла на море. Черная вода дышит — издалека идет усталая зыбь, с того берега.

Свистнул Христо тихонько пять раз, и подползла к нему шлюпка. Черные греки-дангалаки сидят. Чернее ночи. Перекатил им Христо четыре бочки, а они ему от

себя рыбы насыпали полфелюги. Как серебра, налили камсы-азовки.

— Ну,— говорит Христо,— завтра деньги приготовьте, разбойники.

— Хоть нынче ночью, господин,— шепчут дангалаки.— Верный твой товар.

— А кинжал мой вернее.— И вынул свой турецкий кинжал.

И вот горит мутным светом в темной ночи кинжал, змеится по воде серебряный блеск. Христо чуть его из рук не выпустил.

— Айя, метера! — говорят дангалаки.— Нá сейчас тебе деньги.— И стали разматывать пояса.

«Святое мое дело! — думает Христо.— Некого мне бояться, некого мне бояться». И пошел к красному маяку.

XVIII

Фира сидит на фелюге, торгует камсой, глупая баба.

— Не дорожись,— говорит Христо.— Дорвалась, дура, до рыбы!

Хорош ветерок, дует прямо в море. И вот уже вечер ползет на землю.

Можно ли греку — а, диáволос! — терпеть бабьи штуки?

«Слетаю еще, еще слетаю,— думает Христо.— Весь Трапезунд, всю Турцию привезу домой; со всех мечетей ковры сорву; набью денег полный дом и всё куплю! Весь Крым, с Балаклавой и с Севастополем!»

— Скорей ты, баба, давай остатки даром!

И вот белая борода на пристани. Стоит старик и красными глазками хлопает. Стоит старый дьявол, что-то шепчет здоровому хохлу на ухо. Что-то вертит в костлявых пальцах. И показалось Христо, что щурится еврей на камсу, на фелюгу одним глазом.

«Не даст он мне жизни! — думает Христо.— Стал мне старый черт на дороге».

Что, грек не знает, как тарарам сделать?

— Что?! — орет Христо.— Что ты говоришь?

А еврей не смотрит — шепчет хохлу в ухо.

— Что тебе, собачья душа, надо? — И зашагал Христо по доске на берег.

«Пхну в воду старого черта,— думает Христо,— за него ответа не будет. Его ветром валит». И тискается Христо к еврею.

А старик держит в руке перстень, тычет на него хохлу пальцем. Горит, как кровь, на перстне красный камень.

— Ты что? — наступает на старика Христо: узнал Христо турецкий перстень.

— Колечко человек торгует,— шепчет еврей, пятится.

Толкнул его Христо: как бумажный, опрокинулся старик, а кольцо упало в море. Бросились люди подымать старика.

— Что ты, сдурел? — кричат греку.

А Христо на фелюгу, тискается меж людей.

«Зачем не зарыл могилы? Бросил там руку! На мертвой руке это кольцо блестело!»

— А, проклятое племя! Семя Иудино! — бормочет Христо.

— Да,— говорит сосед,— этот глянет — молоко киснет.

Рассердился Христо, выкинул камсу в море.

— Фира, иди домой! — кричит.— Нечего тут бабам делать! Живо!

Фиру в спину толкнул. Завизжал Филос: ногой его в зад стал колотить Христо. Обрезал канат, обрезал якорь — и в море.

Один Христо в море, не взял и собаки, думает: зачем старик бросил в море перстень! Кто его там подымет?

«Э! Когда высохнет море, пускай берут свой перстень каменные турки! Ничего не сделал ни кинжал, ни перстень — один Христо да лопата. Трелля! Святое мое дело».

XIX

Набрал Христо двенадцать бочек платков, ковров и целый бочонок масла розового.

«Отдам масло в собор,— думает Христо,— и буду святой человек».

Вот уж третья ночь. Низкое небо стояло, и стал ветер. Повисли паруса. Одно море кругом, и один Христо среди моря. И вот пошла зыбь с востока — видно, там работает ветер. Слепые зыбины ходят, чуть по гребешкам всплескивают. И показалось греку, что ищет слепая

зыбь фелюгу, щупает гребешками. Тронет фелюгу, обшарит, как слепой, и покатит дальше. Сидит Христо, руль держит, сжался, съежился, а фелюга болтает обвисшими парусами, и нет ходу.

Огляделся Христо — никого не видать, только черно стало с востока. Идет ветер — левант. Двинул ветер в паруса, и понеслась фелюга, как с испугу. Оскалилась зыбь, пошла белыми гребнями. Бьет в фелюгу, бросается в паруса.

«Нашла меня, нашла! — думает Христо.— Выноси, фелюга!»

А еще полморя впереди.

Темно стало, и рванул шторм от леванта. Сидит Христо, вцепился в руль и уж не уворачивается от зыби — неси, неси, фелюга! Увидать бы наутро свой берег. Воет ветер в снастях. Остановится черная зыбь над Христо, постоит и разорвется белым гребнем, рухнет на палубу. Мокрый Христо сидит и уж не оглядывается на зыбь. Вдруг слышит сквозь вой, сквозь рев — шум идет от леванта: будто небо оборвалось и метет подолом по морю.

Повернулся грек, глянул тайком из-под козырька, и показалось, будто облако несется на него сбоку, с леванта. Не мог глаз оторвать, держался за руль и не знал, куда свернуть. Ближе серое облако. Паруса! Обмер Христо — узнал паруса.

— Элчан-Кайя!

Элчан-Кайя идет на каменных парусах, уходят мачты в черное небо, и белой пеной режет надвое море.

Вьется фелюга меж зыбей, но уж полнеба закрыл Элчан-Кайя, прямо на Христо идет.

Крикнуть не мог Христо и шепчет без звука:

— Аман! Аман!

И прошел каменный корабль по фелюге, а сам растаял в шторме, в черном небе.

УДАВ

I

Началось с того, что играл я в клубе. И все как-то выходило, что проигрывал. Все свое жалованье проигрывал. Отдам жене, а потом по трешке выпрашиваю.

Жена служила в тресте. На машинке печатала. Я жене наврал, сказал, что шубу купил, а я ее в рассрочку взял, а деньги проиграл.

И вот я раз прямо со службы пошел в клуб. Играю — и везет, везет. Вот, думаю, когда на меня это счастье наехало, не упускай, гни вовсю! Только успеваю бумажки по карманам распихивать: так уж комком и сую. Вот когда королем домой вернусь! Жена мучается, дома до света на машинке печатает, вот вздохнет, голубушка! Уж и не знаю, что ей сделаю. Сережке, сынишке, велосипед, дураку, куплю. Настоящий! Вот будет радоваться! Наташеньке, дочке,— шапочку она все хотела, вязаную, зелененькую... Да что шапочку! Да и придумать не знаю что: она диктует матери до хрипоты, бедная, чтобы машинку эту проклятую перекричать.

Ну, думаю, поставлю еще пятьдесят рублей, и баста. Хлоп,— побили мою карту. Вот черт! Я, чтоб вернуть, вывалил сотню — натаскал из карманов мятых червонцев. Опять бита! Мне бы бросить, не злиться, а я все жду, что снова мое счастье найдет меня. И пошло, и пошло.

Я весь в поту, и уж последние бумажки таскал из карманов, трешки какие-то. И тут холод меня прямо прошиб: что вот только что все они, милые мои, счастливые могли б быть, уж были, можно сказать, и вдруг... И вот уж нет ничего. Я царапал со злостью пустой карман, скреб ногтями.

Тут я вспомнил, что у меня с собой есть пятьсот рублей. Казенные, правда. Завтра сдать надо. Я взял червонец. Уж коли повернется счастье — так ведь с рублишки начинали и с тысячами от стола уходили в полчаса какие-нибудь. И я все рвал и рвал с пачки по червонцу, и уж все равно стало. Я и считать перестал — который это идет. Поставил потом целиком сотню, чтобы уже сразу. И глаза закрыл, чтобы не видеть. Потом побежал к швейцару:

— Голубчик! Дорогой! У вас шуба в залог пусть будет, дайте рубль. Последний раз, рублик.

А он головой мотает и не глядит.

— Шли бы спать,— говорит,— коли карта не идет.

Я оделся, побежал домой, к жене, как сумасшедший. Уж в прихожей слышал, как эта машинка стукает, прямо гвозди это в мое сердце вбивает. А Наташка хриплым голосом надрывается, диктует.

Час, час всего назад разве таким бы псом побитым я к вам пришел? И не знали, бедные...

Я вошел в столовую. Жена даже не оглянулась, только крикнула на Наташку, чтоб дальше, дальше!

Сережка, дурак, через стол из пушки в солдат деревянных целит горохом. А я вошел в своей шубе, как был, и говорю — голос срывается, хриплый.

— Надя,— говорю жене,— Надя! Я знаю, не говори! Умоляю — я в отчаянии. Спаси!

Она сразу бросила печатать, глядит на меня, раскрыв глаза, дети уставились, ждут.

— Надя,— говорю,— я знаю, денег нет, дай брошку бабушкину. В залог, в залог, выкупим. Я в отчаянии...

Она вдруг вскочила, все лицо пошло красными пятнами.

— А я, а я! А мы все! — И бьет, бьет, руки не жалея, кулачком об стул.— Мы не в отчаянии? Мы всё должны сносить?

У самой слезы на глазах.

Я шапку прижал к груди, все у меня внутри рвется.

— Надя,— говорю,— милая...

А она вдруг как закричит:

— Вон! Вон! — и показывает на дверь, отмахнула рукой во всю ширь.

Дети вздрогнули. Я смотрю, у Сережки губы кривятся. А жена кричит:

— Что вы на детей смотрите? Вы их губите. Вы им не нужны.— Наклонилась к Наташке и кричит: — Говори, говори, нужен он вам? — И глядит на нее, жмет глазами.

Я шагнул к дочке, к Наташеньке. А она опустила голову, не глядит, и дрожит у ней бумага в руке.

— Говори сейчас ж! — кричит жена.— Да или нет? Говори!

Наташа чуть глаза на нее подняла и вдруг, смотрю, чуть-чуть головкой покачала, едва заметно: нет!

— Наташа,— говорю я,— ты что же?

А жена:

— Вон! Вон! Довольно! И дети вас гонят! Вон!

Я вышел, и щелкнул за мной французский замок. Запер он от меня семью мою, детей моих.

Было еще совсем рано, часов десять вечера. И вот я остался на улице, мне некуда идти. И я растратил

пятьсот казенных рублей. И куда я пойду, кому скажу, кто такого пожалеет?

Хотел бежать к товарищу моему, может быть, он как-нибудь... Вместе учились ведь. Да вспомнил: взял у него пятьдесят рублей, он из жалованья, из последних мне дал. Обещал я через неделю принести — три месяца уж тому. Как на глаза показаться!

Я все шел скорей и скорей, прямо бежал почти, и толкал прохожих. Стало рукам холодно. Я запустил руки в карманы и вдруг в правом кармане нащупал мерзлыми пальцами — деньги! Мелочь какая-то. Я сразу стал, подбежал к фонарю и давай считать. Все карманы в шубе обшарил — набралось семьдесят восемь копеек. В клубе меньше рубля ставить нельзя. Я все шарил, еще бы найти двадцать две всего копейки. Зашел в подворотню и все карманы вытряс — нет больше ни копейки. И я поплелся по улице. Шарил глазами — вдруг знакомый встретится: выпрошу двадцать две копейки. И вдруг вижу здание: все освещено, у подъезда извозчики черной кучей стоят, афиши саженные. Стоп! Да это цирк! Пойду в цирк, может, встречу кого, займу. Рубль даже можно занять.

Я купил на галерку билет за сорок копеек. Я уж не смотрел на представление, а шарил глазами по рядам, по лицам, искал знакомого. Сейчас я еще человек, а завтра — завтра я растратчик, и меня будут искать. Еще ночь впереди — ведь можно отыграться. Только б рубль, рубль!

И хоть бы один знакомый! Я бегаю глазами по людям, у меня все бьется внутри, а люди смеются— вот-то смешное клоун делает на арене.

Я тоже стал смотреть на арену. Дрессировщик показывал маленькую беленькую лошадку. Он говорил по-французски и очень забавно, но никто не понимал и не смеялся.

Я хорошо знаю по-французски. И вдруг я подумал: наймусь в цирк, буду переводить, что говорит француз, буду эту лошадку чистить — миленькая такая лошадка, кругленькая. Назовусь не своим именем и забьюсь, как таракан в щелку. Смотрю, француз вывел пятерых собак, и тут я только услыхал, что музыка играет, а то так от тоски сердце колотилось, что я и музыки не слыхал.

Объявили антракт, вся публика поднялась с мест. Я побежал в конюшню. Веселая публика смотрит лоша-

дей, лошади блестят, как лакированные. Тут же стоят конюхи. На пробор причесанные, в синих куртках, в блестящих ботфортах. Спрошу, нельзя ли конюхом поступить. Я подошел к одному:

— Скажите,— говорю,— как у вас работы, много?

Он смотрит на мою шубу, почтительно говорит:

— Хватает, гражданин, но мы не обижаемся.

И не могу никак спросить — можно ли мне поступить. Засмеется только. Однако я сказал:

— А вам тут человека еще не требуется?

— Это вы в контору, пожалуйста.— И отвернулся к лошади, стал что-то поправлять.

В контору пойти? Совсем пропасть. Вид у меня — настоящий бухгалтер, и вдруг — в конюхи! Что такое! Засмеют, а то прямо в район позвонят по телефону. Что же мне делать? Но тут народ повалил на места, и я снова залез на галерку.

Когда кончилось представление, я вырвал из записной книжки листок, написал по-французски:

«Господин Голуа (этого француза звали Голуа), очень прошу вас прийти в буфет, мне нужно передать вам несколько слов».

И подписался Петров. А фамилия моя Никонов. Дал я эту бумажку служителю, чтобы сейчас же передал, и жду в буфете.

Француз пришел, как был на арене: в желтых ботфортах с белыми отворотами, в зеленой венгерке, подмазан, усики подкручены и реденький проборчик, как селедочка с луком.

Француз шаркнул:

— Честь имею...

И я начал говорить, что я восхищен его искусством. Француз вежливо улыбается, а глаза насторожились. Я ляпнул:

— Хочу поступить к вам конюхом.

Он совсем глаза вытаращил и рот раскрыл. Потом, вижу, начинает хмуриться, и уж никакой улыбки.

И я сказал скорей:

— То есть я так восхищен вашим искусством, что готов служить даже конюхом при таком великом артисте.

Француз заулыбался и стал поспешно благодарить меня за комплименты и сейчас же повернул к двери.

В буфете уже всё убрали и запирали шкафы.

Я выбежал на улицу. Завтра будет известно, что кассир Никонов скрылся с пятьюстами рублями и что к поискам приняты меры. И дома прочтут в газетах. А Наташку в школе будут спрашивать: «Это не твой папа?»

Я стоял на морозе и думал. И вдруг мне пришла в голову мысль.

II

Я решил, что именно в темноте, где не видно моей шубы проклятой, не видно моего бухгалтерского лица, именно в темноте и надо просить, умолять, требовать. Голос, голос мой будет один. А я чувствовал, что если я сейчас заговорю, то голос будет отчаянный, как у человека, который тонет. И в темноте легче, все можно говорить... даже на колени упасть. Пусть только выйдет кто-нибудь из циркачей. Я стану на колени, буду за полы хватать. Ведь мне все равно теперь. И я подбежал к задним дверям цирка, откуда выходят артисты. Я ходил по пустой панели мимо дверей, и у меня дух забился от ожидания. Дверь хлопнула. Кто-то вышел и быстро засеменил по панели. Я не успел за ним броситься. Нет! Я брошусь к девятому, который выйдет, кто бы он ни был.

Я перешел на другую сторону переулка и стал ждать. Люди выходили по двое, по трое, весело говорили между собой. Я считал. Следующий — девятый. Я весь дрожал. Я подошел к самым дверям цирка и стал. Нет, никого нет. Господи, неужели я всех пропустил! Надо было не ждать, догнать первого. Я хотел уже бежать, но теперь где я их найду? В это время дверь наотмашь отворилась, и вышло оттуда сразу гурьбой пять человек. Они говорили громко, крепко, на весь переулок. И я слышу:

— Он мне лопочет по-своему и тычет вниз: мажь, значит, копыта, а я каждый вечер...

У меня сердце забилось: конюхи, конюхи! Но сразу броситься к ним я не мог. Я решил, что пойду за ними, разделятся же они когда-нибудь? Вот я и подбегу к одному — с одним легче... И я пошел за ними, глаз с них не спускал, чтоб не потерять в толпе.

Вдруг они свернули влево через улицу; тут трамвай, они перебежали, трамвай закрыл их от меня, а когда он

прошел, конюхов на той стороне не оказалось. Я чуть не заплакал. Я метался из стороны в сторону и вдруг вижу — пивная, и дверная штора наполовину уже спущена. А вдруг они там? И я нырнул под штору. В пивной было почти пусто, и вон, вон они, все пять человек, садятся за столик. Я сел за соседний.

Человек им подал пива и сказал:

— Только по одной, граждане, и закрывать надо, время позднее.

Я знал, что у меня осталось тридцать восемь копеек. Я спросил бутылку пива.

Как же начать? Я боялся, что они наспех выпьют пиво — и марш. Штору спустили на дверях, и только и остались в пивной, что конюхи да я.

И вот я слышу, один, самый старший, говорит не спеша:

— Да, родные мои, приходит ко мне падчерица моя — вся в синяках. Ну вся вот как конь в яблоках. «Кто же это тебя,— спрашиваю,— милая ты моя?» — «Да опять, говорит, муж». И плачет. «Чего, говорю, он тебя уродует?» — «Зачем, говорит, я косая, обидно ему». А она верно косенькая у нас. «Не такая,— говорю я,— уж ты косая, чтоб так бить. Живи, говорю, у меня, и черт с ним. Твоя, говорю, мать рябая, а я души в ней не чаю. Ты, говорю, наплюй».

Я собрал голос и говорю:

— Вы хорошо... как поступили.— Заикаюсь, голос срывается.

А конюх потянулся ко мне и ласково спрашивает:

— Вы что сказали, товарищ? Не слыхать.

Я встал, подошел и сказал:

— Мне очень нравится, как вы поступили. Извините, что я вмешался.

И чувствую, что у меня слезы на глазах. Все конюхи на меня смотрят. А старший вдруг внимательно мне в глаза глянул и говорит:

— Садитесь к нам, гражданин, веселее вам будет.— И вижу, раздвигает приятелей.

Я схватил свою бутылку и пересел к ним. Все замолчали и на меня глядят. И тут вдруг я как сорвался, как с горы покатился.

— Вот видите,— говорю я,— ей есть куда пойти, а мне некуда.— И чувствую, как слезы у меня закапали и текут по усам, по бороде катятся.

И я стал рассказывать, как я проигрался, как меня дети из дому выгнали, как жена дома убивается над работой. И говорю, как лаю,— душат горло слезы.

— А вы выпейте, выпейте, гражданин милый,— говорит старый конюх и наливает в мой стакан.

Я глотнул пива, легче стало. И все им рассказал. Одного только не сказал, что я растратчик и что меня завтра искать будут.

— Вот,— говорю,— говорил я этому французу, а как просить станешь? Я в жизни не просил, не кланялся. Да в таком виде?..

— Да,— говорит старший,— вид, можно по-старому сказать,— барин вполне.

Я боялся, что надо мной смеяться станут, и готов был и это стерпеть, но никто даже не улыбнулся. Один только сказал:

— А другую какую работу, по своей части, или...

Старший перебил:

— Видишь, человек не мальчик и не пьяный, значит, уж есть что, зачем в конюхи просится.— Хлопнул меня по колену и говорит: — Ну ладно, голубок, подумаем. Ты утрись. Дай-ка сюда парочку! — крикнул он официанту.

Официант огрызнулся:

— Из-за парочки вашей на штраф налетишь! Выметайтесь, граждане: время.

— Давай полдюжину! — крикнул конюх и пошел к хозяину и чуть мне головой мотнул. Я встал за ним. Он мне в ухо шепчет: — Первое дело — надо сейчас ребятам поставить. Что у тебя есть? Часы есть?

— Черные,— говорю,— стальные.

— Даешь!

Я живо снял часы и отдал конюху. А он ушел шептаться с хозяином за перегородку.

Смотрю, волокут дюжину пива и две воблы на закуску. А у меня все внутри трясется: а ну как все это только шарлатанство одно, чтоб мои часы пропить и поиздеваться надо мной? Но я старался верить конюху, и от этого мне теплей было.

— Только поторапливайтесь, граждане,— говорил хозяин.

Все налили, стукают о мою кружку, чокаются, и все одно и то же говорят:

— Ну, счастливо!

Мы вышли из пивной черным ходом. Я все держался ближе к старому конюху. Его звали Осип. Ну, думаю, сейчас скажут «спасибо» — и кто куда, а меня оставят на тротуаре. Так и жду.

Был первый час ночи, народ бойко ходил по улицам, и я боялся отбиться от Осипа.

Вдруг он остановился и обернулся к товарищам:

— Ну, вы, друзья, скажите человеку спасибо и, того, не гудеть. Человек из последнего расшибся, вам дюжину выставил. А мы с ним пойдем.

Все стали со мной прощаться и давили руку. Осип, полуоборотясь, ждал.

Мы тронулись с ним бок о бок.

— Ночевать где будешь? — спрашивает Осип.

Я, конечно, мог бы пойти к знакомым ночевать, но боялся хоть на минуту отпустить Осипа. Я даже взял его под руку и стал шагать с ним в ногу. Я шел молча, боялся его расспрашивать: а вдруг как рассердится, что пристаю, и тогда все пропало.

Мы шли по каким-то улицам, я не мог замечать дороги, так в голове кружились мысли, да тут повалил густой снег.

— Уж как-нибудь тебя устрою на ночь-то,— сказал Осип. И тут стал около деревянных ворот.

Мы стоим оба белые от снега.

— Ты, главное дело, не робей. Валиком, валиком, гляди — на дорогу выкатился. А? Верно я говорю? — И стукнул меня по плечу.

И тут я увидел, что мне надо ему все сказать. И я сказал, что я проиграл казенные деньги. Что меня завтра искать будут. А Осип перебивает меня:

— Да ты брось, брось, милый, и так знаю, с первых слов видать было: не в себе человек. Ладно уж. Дома-то языком не бей.

И застучал в ворота.

Крылечко под нами морозно скрипнуло. Вот дернул Осип примерзшую дверь, и вошли мы: душно, парнó, темно. Куда-то впереди себя протолкал меня всего и сказал шепотом:

— Во, тут сундук. Увернись в шубу и спи до утра.

Я нащупал сундук, залез, поднял мокрый воротник, натянул на глаза шапку и закрыл глаза. И вдруг сразу внутри что-то как распустилось, будто лопнула веревка какая, что жала и давила мне грудь и дышать не да-

вала. Я подумал, как там дети мои, и сказал: «Спите, мои родненькие, ничего: валиком, валиком»,— и заснул как убитый.

III

Еще было темно, как меня разбудил Осип:

— Вставай, пошли.

Я сейчас же вскочил и, держась за Осипа, пошел. На дворе было темно. Бело лежал пухлый снег, и с неба крупные наливные звезды смотрели серьезно.

— Пока не надыть, чтобы тебя кто видел таким-то видом,— сказал Осип.— Сейчас пойдем, перелицуем мы тебя — раз и два. Чайку вперед попьем, не торопясь — валиком.

— Валиком, валиком,— повторял я за Осипом, и иду всё, чтоб к нему поближе.

Мы зашли в трактир, где пили чай обмерзшие ночные извозчики. Я пил вприкуску жидкий чай, закусывал баранкой.

Стало чуть светать, синим цветом подернуло окно в трактире.

— Идем, браток, сейчас на барахолку, и там мы загоним эту шубу твою и там же тебе устроим вот этакую куртку, вроде что на мне. И шапку эту тоже надо долой. А ну, дай-ка сюда.

Осип повертел мою меховую шапку.

— Да,— говорит,— она пятерку подымает вполне. А шуба, гляди, рублей как бы не тридцать потянула. Как думаешь?

— Мне все равно,— говорю я.

— Зачем же зря татар-то баловать? Пошли.

Я никогда не бывал в таких местах. Куда-то далеко заехали мы с Осипом на трамвае. В переулке было сыро, мутно. В темную подворотню шмыгнули мы с Осипом по темной лестнице, я путался в своей длинной шубе. Осип толкнул дверку, и на меня пахну́ло затхлой вонью пыльного, старого тряпья. Под лампой на помосте два татарина ворочались в куче тряпья и ругались на своем языке. От тухлой пыли гнилой туман в воздухе.

— Здорово, князь! — крикнул Осип.

Оба татарина вскочили, и оба вцепились глазами в мою шубу. Один не удержался и погладил ладонью по рукаву.

Я снял шубу. Ее трясли, щупали, носили на двор, мяли мех в руках и ругались все трое: Осип и оба татарина.

— Сорок пять, последнее слово,— сказал Осип и сунул мне шубу.— Надевай. Пошли!

Я стал натягивать рукава. Но татары ухватили за полы и крикнули в один голос:

— Сорок три!

— Напяливай! — заорал Осип и стал запахивать на мне шубу. Он толкал меня в двери.

Мы вышли на лестницу. На площадке уже ждали другие татары. Сразу трое нас обступили:

— Бери сорок пять!

— Полсотни,— сказал Осип и стал спускаться с лестницы.

— Сорок семь! — крикнули сверху.

Осип стал.

— Давай!

Нас потащили назад. Татары отслюнили нам сорок семь рублей. Моя шапка пошла за пять рублей. И вот я остался раздетый у татар, в этой пыли и вони. А Осип с деньгами ушел. Уж, наверно, прошло с час, а его все не было. Боже мой! Какой я дурак! Я остался без шапки, без шубы, неизвестно где, у каких-то старьевщиков. Я разболтал этому конюху, что я растратчик и что боюсь милиции. Он знает, что в милицию не пойду. Что мне делать? Я видел, что татары уже подозрительно на меня поглядывают. Они два раза спрашивали:

— А что, товарищ твоя: скоро ворочай — эте!

На дворе было уже совсем светло. Я слышал, как звонил, гудел трамвай, как во дворе на морозе звонко орали татарские ребятишки, а на лестнице шлепали ноги и ругались голоса. Я стал придумывать, нельзя ли за мой костюм получить у татар какую-нибудь рваную фуражку и какое ни есть старье, чтоб выйти на улицу. Я видел, что они остро поглядывают на мои шевиотовые брюки. Я представил себе, каким я стану в этих лохмотьях с моей бородой, в драной фуражонке на лютом морозе. Скрываться от милиции, прятаться от людей, как пес прозябший, скоряченный. Сегодня в «Вечерней» будет напечатано. Нет, все пропало!

Дверь хлопнула, я вскочил навстречу — нет, не он. Какой-то татарин. Татарин стал болтать с хозяином, потом чего-то все на меня кивал, спрашивал. Я видал, что

про меня говорят. Теперь, наверно, весь дом знает: что-то подозрительно, какой-то гражданин... А что как приведут сейчас милицию или сыщика? Начнут спрашивать: вас обокрали, раздели, обманули? Что случилось? Почему вдруг? Кто такой? У меня опять все замутилось внутри, и я решил, что нечего ждать, а сам пошлю татар за милиционером. Хоть бы от татар выйти без позору, а там в милиции скажу, что я растратчик и чтобы меня арестовали. И уж тогда все равно — сразу, по крайней мере. Буду сидеть и ждать суда. И я решил сказать татарам, чтобы пошли в район.

Я поднялся и сказал:

— Вот что, дорогие граждане...

И вдруг слышу за дверью:

— Да брось! Не продаю! — И вваливается мой Осип, Осип с охапкой одежды. Красный весь с морозу.

Шапка-финка с ушами, тужурка на баране, синяя курточка и брюки. Все ношеное, но все целое.

Татары бросились:

— Почем давал?

А Осип на меня примеряет, по спине хлопает:

— Гляди ты, брат, угадал-то как!

Когда мы вышли, я в стекла магазинов глянул на себя и не мог узнать.

Теперь оставалось побриться и найти по ноге старые ботфорты.

Да, через час меня и дома не узнали бы.

Осип глянул:

— Фалейтор, как есть, куражу только дай побольше. Шагай теперь как не ты — никакая сила. Кто спросит — говори: мой свояк. Так и говори: Осипу, мол, Авксентьичу Козанкову свояк. Откуда? Тверской — и больше нет ничего. А теперь гнать надо в цирк, завозились, глядиде, пятый час скоро.

Мне стало весело и действительно показалось, что я уже не я, а Осипов свояк. У меня походка даже стала другая, чуть вприпрыжку, и очень легко и ловко казалось мне после долгополой шубы.

Не узнали меня, что ли, вовсе конюхи, но они и виду не показали, что меня заметили. А я стал сейчас же помогать Осипу. Шла уборка конюшни. Я первый раз ходил около лошадей. Но я ничуть не боялся — все казалось, что это не я, а форейтору нечего бояться. И сам не

ожидал, как я ловко подавал ведра Осипу, хватал щетки, мыл шваброй, где мне тыкал Осип.

Француз Голуа стоял около своей лошадки. Я увидал, что при дневном свете лошадка совсем синяя. Голуа макал в ведро губку и синькой поливал лошадь и все ругался по-французски. Я, не поворачивая головы, громко переводил, чего хочет француз. А он удивлялся, что конюхи стали понимать. Но он скоро догадался, что это я пересказываю. Он подошел ко мне и спросил по-французски:

— Вы умеете по-французски?

Все на нас оглянулись.

— Да,— сказал я,— немного знаю.— И продолжаю ворочать шваброй во всю мочь.

А Осип мне приговаривает:

— Ты не рвись, ты валиком.— И моргает тихонько на Голуа.

— Откуда вы научились? — подскочил ко мне француз.

— В войну военнопленным во Франции год держали, поневоле пришлось немного.

И ушел за лошадь, будто мне работы много и некогда болтать.

У меня сильно колотилось сердце, и я хотел, чтобы француз на время отстал. Но он нырнул под лошадь и оказался рядом со мной.

— Вы здесь служите, вы новый, теперь поступили? Говорите же!

— Нет,— сказал я,— я сейчас без дела и вот пришел помочь моему родственнику,— и киваю на Осипа.

— Пожалуйста, пожалуйста,— затараторил француз,— объясните, чтобы они не мазали копыта моей лошади. Я их крашу в синий цвет, а они непременно вымажут их черным. И никакого эффекта. Никакого! И чем больше я объясняю, тем они сильнее мажут. Ужасно! Пожалуйста.

И француз убежал.

Все сейчас же бросились ко мне:

— Что, что он тебе говорил?

Я рассказал.

— Правильно! — отрезал Осип.— Оно так и есть. Ты верно сказал. Я, мол, без делов, а пришел подсобить, как мы с тобой свояки. И квит. А он, конечно, в контору... Дай-ка мне, Мирон, ведро сюда.

Я оглянулся, но сейчас же понял, что это Осип меня окрестил Мироном. Осип ухмыльнулся и, принимая ведро, сказал мне:

— Спасибо тебе, свояк ты мой, Мирон Андреич. Мирон Андреевич Корольков. Вот, брат, как!

Я глянул на свои ноги в ботфортах, на синие брюки и сам наполовину поверил, что я именно и есть Мирон Андреевич Корольков.

В это время входит в конюшню служитель и говорит:

— Осип! Слышь, Осип! Гони твоего земляка в контору, француз спрашивает.

У меня сердце ёкнуло. Я глянул на Осипа: идти ли, дескать?

А Осип говорит спокойно:

— Только не рвись, а катышком, помаленьку.

Я отряхнул брюки и пошел за служителем.

В конторе француз быстро лопотал что-то человеку за столом — он оказался помощником директора. Мы вошли. Француз замолчал.

Я стал на пороге и говорю:

— Здравствуйте.— И кланяюсь по-простому.

И так у меня хорошо вышло, будто я и впрямь только что из тверской деревни.

Помощник директора спрашивает:

— Вы что, товарищ, Осипу родственник?

— Свояки мы,— говорю. И снова поклонился.

— Вот месье Голуа хочет, чтобы вы служили, а у нас штатных мест нет. Так месье Голуа предлагает вам у него лично. Лично, понимаете?

— Лично,— сказал я и снова поклонился.

— Одним словом, у него в конюхах. И собак смотреть.

— Можем и собак,— ответил я.

— Так вот объясните месье Голуа, как у нас в СССР: книжка расчетная, союз там, страховка и с биржей как... Одним словом, все. А пока можете ходить поденно. Там уж сговоритесь.

Он взял перо.

— Как звать?

И тут я в первый раз сам назвался по-новому:

— Мироном звать. Мирон Андреич Корольков.

Я это сказал и как будто отрезал что. Как будто не стало уже кассира Петра Никифоровича Никонова. Там он где-то. В тумане, в татарской пыли будто спит.

— Можно идти? — спросил я.

— Губернии, значит, тоже Тверской? — спросил помощник.— Что это всё тверские да скопские.

Я двинулся. Француз пошел за мной. Он схватил меня под руку.

— Мой друг Мирон! — кричал француз.— Я сейчас покажу вам собак, моих друзей. Идем, идем!

Но я не спешил, как велел мне Осип, я шел не торопясь, упираясь. И тут спросил француза:

— Однако, месье Голуа, сколько же вы мне жалованья положите?

— Ах, скажите мне, мой друг, сколько вам надо! Вы будете чистить лошадь, вы будете водить собак на прогулку, чистить их щеткой. Вот так, вот так.— И француз водил рукой в воздухе.— Два раза в день кормить, это надо варить. Но это очень интересно.

Я совершенно не знал, сколько спросить, я не знал, сколько получают конюхи, и решил, что спрошу Осипа.

Собаки сидели в клетке, и все пятеро залаяли навстречу Голуа: четыре сеттера и черный пудель. Они блестели, как намазанные маслом,— до того лоснилась шерсть. Я потом узнал, что француз помадил их особой помадой и подкрашивал красной краской сеттеров.

Голуа открыл клетку. Собаки бросились к нему, подскакивали, старались лизнуть в лицо.

— Гардэ ву! Смирно! — крикнул француз.

Собаки замолчали и моментально уселись в ряд на землю и замерли, как деревянные.

— Вот,— сказал Голуа,— это Гамэн.— Пудель обернулся.— Это Гризетт...— Француз назвал всех собак по имени.— Повторите.

Я повторил.

— О! Да вы гений, мой друг! Браво для первого раза... На место! — крикнул он на собак и поволок меня к лошадке.

Конюшню уже прибрали, и Осип склеивал цигарку из махорки.

— Что, навяливается, чтоб с ним работать?

— Сколько просить? — крикнул я Осипу.

— Не торопись. Спроси: на манеж тоже с ним выходить или как?

— Как это на манеж?

— А вот как представленье, то с ним вместе работать или только около собак ходить?

Француз хмурился и глядел то на меня, то на Осипа.

Я спросил француза, должен ли я буду помогать ему на арене.

— Боже мой! Неужели это вам не интересно? Я вам разрешаю.

— Ну, а я благодарю вас. Я не люблю на публике.

— Вы привыкнете, это ничего, мой друг. Только первый раз, а потом...

Я глянул в глаза Голуа и спросил серьезно:

— Вы нанимаете меня с выходом или без?

— Это мы увидим,— надулся француз,— годитесь ли вы еще...— И отвернулся.

— Как вам угодно,— сказал я.

Осип как будто понял, что́ мы говорим, и сказал, сплевывая махорку:

— Без выхода проси с него семьдесят пять рублей, а с выходом сотню. Главней всего — не торопись. Одумается француз. Он крутит, а ты валиком, валиком... Пошли-ка обедать.

Голуа заплетал в косы гриву своей лошадке и не обернулся, когда мы с Осипом пошли к двери.

— Не сдавайся ни в коем разе,— сказал Осип, когда мы в трактире сели за чай.

Я только что раскрыл двери, около которых я тогда метался и ждал девятого человека,— и сразу услыхал этот резкий крик, цирковое гиканье «Гоп! Гоп!» и щелканье бича.

— Самарио, итальянец, работает,— сказал Осип.

На арене металась лошадь — человек пять конюхов стояли на барьере, растопырив руки. А вокруг пустые места смотрели сверху деревянными спинками. Смуглый брюнет в зеленой тужурке, нахмуренный, злой, кричал резко, как будто бил голосом: «Гоп! Гоп!» — щелкая длинным бичом по ногам лошади. Лошадь вертелась, вскидывала ногами, дышала паром на холодном воздухе, косила испуганным глазом на хозяина. Вдруг лошадь прижала уши и бросилась в проход, на меня.

— Держи! — крикнули конюхи.

Я ухватился за тонкий ремешок, лошадь завернула, встала на дыбы, но я не пустил и повис у неё на шее. Тут подбежали конюхи.

Я бы никогда раньше не сделал этого, я бы отскочил в сторону, но если я конюх Мирон...

— Алле, алле! — кричал Самарио.

В это время кто-то сзади схватил меня под руку.

— Мой дорогой друг, месье Мирон! — И Голуа потащил меня вглубь, в коридор, что темным туннелем идет под местами.— Между друзьями не может быть спора,— говорил француз.— Деньги — вздор, искусство — впереди всего.

Я глянул на него, француз закивал головой:

— Сто рублей и работа на манеже.

И тут я заметил его глазки: совершенно черные, как две блестящие пуговки. Он на минуту остановил их на мне, и в полутьме стало чуть страшно.

— Сегодня пятнадцатое! Начинаем! Вашу руку! Идем.

Все катилось как во сне, быстро и бесспорно. Ведь дня не прошло, а как будто прожил полжизни Мироном Корольковым. И Мирон выходил мужичком крепким, старательным и себе на уме.

Все конюхи высыпали смотреть, как мы будем репетировать с французом. Он опять повторил свои шутки.

Я перевел одну и крикнул конюхам.

Все захохотали.

— Что вы сказали? — бросился ко мне Голуа.— Ах, мой друг, научите меня, чтоб я сам это сказал!

Я ходил с Голуа и долбил ему русские слова.

— Корошенька мальшик прицупалься на трамвэ! — Это когда пудель висел, уцепившись за хвост белой лошадки.

Потом пудель пускал хвост и катился по арене кубарем. Вставал совершенно чертом: мы его намазывали салом, и он весь вываливался в песке.

— Корошенька приекала домой,— говорит Голуа.

Я сам выдумывал всякую ерунду, и мне было весело.

— Надо еще для детей,— сказал француз.— В воскресенье детский утренник, все школы, мальчики, девочки, надо смешно и немного глупо.

И тут я подумал: ведь, может, и Наташа придет. Поведут со школой.

На арене уже играл оркестр, и я в проходе увидал, что лошадь Самарио на задних ногах топчется под музыку, а Самарио стоит под самыми ее передними ногами и грозит ей хлыстиком перед носом.

Человек в клоунском костюме сосредоточенно смотрел на наездницу, что прыгала под веселый марш на спине тяжелой лошади. Вдруг этот человек сделал дурацкую рожу, заверещал не своим голосом и бросился на арену.

— Рано, рано! — закричал с арены человек в пальто.— Да считайте же, сколько раз я вам говорил: на половине пятого тура — наш выход... Сначала маэстро! — крикнул он в оркестр.

Осип схватил лошадь, наездница села на голубой помост на спине лошади. Музыка грянула марш. Осип пробежал несколько шагов и пустил лошадь.

Я слышал, как клоун, нахмурясь, считал.

— Три... четыре... Ай-я-вай-вай-ва? — вдруг заорал он во всю мочь визгливым голосом и кинулся к наезднице, высоко подбрасывая коленки на бегу.

Но тут Голуа потянул меня:

— Мой друг, я забыл: «Прицупалься трамвэ!..»

— Я вам буду суфлировать,— успокоил я наконец Голуа.

— Бон, бон, мой друг, корошо. Я уверен. Бон.

Перед представлением Голуа напялил на меня фрак с галунами, сам подмазал мне брови и нарумянил щеки, подвел глаза. Теперь я и сам не узнал себя в зеркале. Я волновался...

— Главное — кураж, кураж! — приговаривал Голуа.— И ни слова по-русски. Мы — французы. Артист Голуа и его ассистент. Ассистент! Вы понимаете? — Голуа поднял палец вверх.

Мы пошли к собакам. В проходе мелькнул у меня перед глазами набитый людьми амфитеатр, яркие фонари под куполом. Голубая наездница бочком сидела на толстой лошади. Лошадь мерными волнами тяжелым галопом шла по арене.

— Вы только кланяйтесь: вот так! — говорил Голуа.— А я делаю рукой — вуаля.— Он браво взмахнул рукой и кивнул вверх подбородком.— Дю кураж, месье Мирон! После Самарио — клоун и сейчас же наш номер. Вот! Слышите? Это его музыка. Берите собак... Гамэн!

Признаюсь, я плохо видел публику. Она слилась вся в какую-то живую стену вокруг меня. Я поклонился под музыку. Француз лихо поднял руку. И так, каналья, поднял и так замер, что все стали хлопать. Француз кланялся во все стороны. Я заметил, как Осип из прохо-

да в своем шталмейстерском фраке внимательно глядит на меня. Да, а вчера еще я сидел на галерке в моей шубе и глядел потерянными глазами на этот номер. Музыка начала сначала, и собаки стали делать номер за номером. Я подсказывал французу русские слова, он так смешно их коверкал, что весь цирк покатывался. Я так волновался, что не заметил, как кончился наш номер. Но я, сам не зная почему, так же подпрыгнул, так же поклонился, как Голуа, и вприпрыжку выбежал вслед за собаками.

В коридоре запыхавшимся голосом Голуа говорил:

— Очаровательно, я в восторге... вы сделаете карьеру. Через шесть месяцев вы — рантье... у вас будет свой дом.

Он жал мне руку. Собаки подвывали около нас, и Гамэн пихал меня лбом в коленку — они ждали кормежки после работы.

— Да, да,— теребил меня за плечо Голуа, когда мы кормили псов.— Я поставлю вам номер, и тогда будете артист — вы, а я — ассистент. Мировой номер. Но это не с собаками. Собака есть в каждом дворе... Не давайте много Гризетт, она фальшивила в этот вечер... Это будет сенсация. Вся пресса неделю будет занята вами. Вот вам мое слово и моя рука! — И он совал мне свою руку в потной белой перчатке.— Завтра утром я вам покажу вашего партнера. Не забудьте лошадь Буль-де-Нэж — копыта, копыта. Я бегу, адьё!

В конюшне Осип и конюхи обступили меня.

— Что говорить: артист натуральный, форменно француз, и выходка есть, не надо лучше.

— Это уж ведро ставишь! — гудели мои товарищи.

И во вчерашней пивной я на остатки денег угощал конюхов. Я не заметил, как Осип выкупил мои часы и тихонько спустил их в карман моей новой тужурки.

Ночевал я в эту ночь в конюшне. Лошади мирно хрустели овсом и гулко переминались на деревянном помосте. Они все смотрели серьезно, как и тот клоун, что считал в проходе пятый тур наездницы.

— Газету видал? — сказал мне дежурный конюх и протянул «Вечерку».

Я вертел газету, и глаза привели меня к месту:

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ЗА ДЕНЬ

Скрылся с 500 рублями кассир Кредитного това-

рищества П. Н. Никонов. Последнее время
Никонов сильно играл в клубе.
К поискам его приняты меры.

Кассира Никонова нет. Как же его искать? Я натянул по уши казенный тулуп и заснул мертвецки Мироном Корольковым.

IV

Наутро вычистил Буль-де-Нэжа; как раз кончал, тут входит Голуа. Он поздоровался с лошадкой, потом со мной и сразу же потянул меня вон:

— Идемте, я вас представлю вашему партнеру! Мировой аттракцион. Это действительно европейский номер. Король реки Конго.

Он порылся в кармане, достал ключ и открыл дверь. На меня из темноты пахнуло теплом и сыростью. Голуа повернул выключатель, и я увидел посреди комнаты большую плоскую клетку. Голуа молчал и остро взглядывал черными глазками то на меня, то на клетку. Клетка мне сразу показалась пустой. Но вдруг я увидел, что на полу этой клетки, как изогнутое бревно, лежала змея. Я дрогнул. Голуа резко свистнул сквозь зубы. Змея повернулась и, шурша кольцом о кольцо, тяжело стала перевивать тело и потянулась головой к дверке.

— Ле боа! — сказал Голуа и указал мне рукой на клетку.

Это действительно был удав. Не удав, а удавище. Я не мог сразу определить его длины, но он был толст и упитан, и во всех его поворотах чувствовалась сила, как будто тяжелая литая резина растягивается и сбегается в кольце. Змея уставилась неподвижно черными блестящими глазами. В этих глазах был один блеск и никакого выражения — тупой и спокойный идиот глядел на меня. Но я не мог оторваться от этих блестящих, как стеклярус, глаз и тут почувствовал, что какая-то неумолимая и жестокая власть глядит на меня из этих черных блесток. Я уж не считал его идиотом, а все глядел, глядел не отрываясь.

— А? Не правда ль, король? Король лесов, король Конго. Вы восхищены, я вижу,— сказал Голуа.— Ну, довольно.— Он повернул меня к двери и погасил

свет.— Работать с таким красавцем — это, конечно, счастье. Как вы ни одевайтесь, вы не заставите глядеть на себя тысячный зал, глядеть затаив дух. Но если вы выйдете с таким прекрасным чудовищем,— вы покорили свет. Публика задохнется от восторга, от трепета. Вы понимаете, что это может вам дать? И вы, месье Мирон, вы будете артист, а я — ассистент!

Но я ничего не мог отвечать. Я не мог стряхнуть оцепенения и страха, что остался у меня от этих глаз удава. Мне казалось, что за нами шуршит его тяжелое тело. А когда я взглянул в черные глаза Голуа, то даже вздрогнул: удав! Такие же черные блестящие дырки, и такие же пристальные, и он ими жмет, гвоздит, когда говорит.

В это время подошел к нам конюх Савелий:

— Иди, Мирон, живо в местком. Требуют. Сейчас!

У меня вдруг сердце упало. В месткоме будут спрашивать, спросят документы, паспорт, хоть что-нибудь, а у меня ничего, совершенно ничего, никакой бумажонки. Сказать: потерял! Но тогда надо заявлять в милицию, а милиция наведет справки по месту жительства, а там, в Тверской губернии, сидит в деревне настоящий Мирон Корольков. Все узнается, и я пропал, пропал!

Голуа пристально глядел на меня сбоку своими блестящими дырками. Я со злобой вырвал свою руку — он всегда брал меня под руку — и бросился в конюшню искать Осипа. А Савелий кричал мне вдогонку:

— Куда ты? Наверх, сюда. Тут местком.

Осипа не было в конюшне, его совсем не было в цирке, его послали принимать опилки. Что же делать? Я вошел в стойло к Буль-де-Нэжу и без надобности расплетал и заплетал косички на его гриве.

А Савелий нашел меня и кричал на всю конюшню:

— Да брось ты стараться! Иди, не будут там ждать тебя до вечера.

— А что там им надо? — спросил я нарочно сердитым голосом.

— Да идем! Там увидишь.

Я пошел с Савелием. Я смотрел по сторонам, куда бы юркнуть, и вдруг решил: будь что будет,— как будто снова я поставил на карту последний червонец.

В месткоме сидели наш конторщик и билетерша. Голуа стоял тут же, хмурый. Зло глядел на билетершу и бил себя хлыстиком по голенищу.

— У вас бумаги есть с собой? — прямо спросил меня конторщик.

Я начал мужицким говором:

— Каки наши бумаги?

— Ну, книжка союзная.

Но билетерша вмешалась:

— Какой вы странный! Человек только что из деревни... а потом, ведь лично у Голуа. Тут главное, чтобы страховка. Спросите, Корольков, вашего хозяйчика, что же он, намерен вас страховать?

Все слушали, как я спрашивал по-французски Голуа.

— Нон! Нон! — закричал француз.— Артист! Вы артист. Артист сам лезет туда, под купол цирка, и он берет плату за свой риск, он сам себя страхует. Почему один артист должен страховать другого? Нелепость. Нет, нет.

— Ага! Не хочет! — закричала билетерша.— Ни черта, товарищ, мы ему все это вклеим. Тут тебе ЭС! ЭС! ЭС! ЭР! — крикнула билетерша в лицо французу.

Я боялся, что она ему язык покажет. У француза хлыст так и прыгал в руке.

— На, на! Пиши анкету.— Билетерша тыкала мне в руки лист.— Пиши, товарищ, и не я буду — через неделю будет книжка союзная. Пусть тогда покрутится. Валютчики!

Я схватил лист, сложил и запрятал в карман.

— Вечерком вам в кассу занесу. Мне надо толком, я по этому делу не мастер.

Я поклонился и вышел в двери. Прошел три шага и побежал, во всю прыть побежал в конюшню.

— Мирон! Мирон! — кричал сзади Голуа; кричал тем голосом, что на собак.

Вечером я сказал Осипу все как было. Это был теперь один человек во всем мире, кому я мог ни слова не врать. Я спросил чернил и корявым, полуграмотным почерком заполнил анкету. Выходило, что до революции я служил конюхом у разных господ, потом меня мобилизовали и я попал во Францию. Там остался военнопленным и после революции вернулся к себе в деревню — в Тверскую губернию, в Осташковский уезд. Женат, двое детей: Сергей и Наталья. Мне было приятно вписать эту правду в анкету.

Уж совсем ночью, после представления, Голуа прошел со мной к удаву.

— Вы волнуетесь? Ничего. Привычка. Бояться змей — предрассудок дикаря, простите меня. Вы будете здесь топить каждый день. Король любит тепло. И вы подружитесь, я вижу.— И Голуа снова метнул на меня черными глазами.— Вот тут дрова, здесь термометр. Не ниже семнадцати градусов. Вот вам ключ. Адьё.

Француз выскочил. Я остался наедине с Королем — Ле Руа, как звал его Голуа по-французски. Я старался не глядеть на эту тяжелую гадину, я осторожно прошел в угол к печке, нашел трубу и взялся за дрова. Но я все время чувствовал за спиной это тяжелое длинное тело, и мне поводило спину: казалось, что удав глядит на меня своими магическими стекляшками. Я раскрыл печь, уселся на полу и стал глядеть на веселый березовый огонь. Поленья густым бойким пожаром гудели в печке. Вдруг я оглянулся. Сам не знаю почему, я сразу повернул голову. И я сейчас же увидел два глаза: блестящие и черные. Змея тянулась к огню и не мигая глядела. «Может быть, не на меня вовсе!» — подумал я. Я встал и отошел в сторону. Удав, медленно шурша кольцами, перевился и повернул голову ко мне.

— Да неужели я трушу? — сказал я шепотом.— Настоящий конюх Мирон только б смеялся.

Я подошел к самой клетке и уперся глазами в черные стекляшки.

— На, гляди,— сказал я громко.— Еще кто кого переглядит-то! — И я показал змее язык.

Мы смотрели друг на друга, между нами было четыре вершка расстояния. Я в упор, до боли глядел в глаза удаву. И вдруг я почувствовал, что вот еще секунда — и я оцепенею, замру и больше не двинусь, как в параличе. Я встряхнулся и со всех ног отбежал в угол. Я ушел вон и вернулся через час. Не зажигая огня, я на ощупь закрыл трубу и запер на ключ комнату.

V

В воскресенье был детский утренник. Дети галдели и верещали, совсем как воробьи после дождя. Я стоял в проходе и все глядел, нет ли Наташки.

Я старательно обводил глазами ряд за рядом, смотрел со стороны входа. Я разглядывал лицо каждой девочки. Были две очень похожих, я было схватился, но нет, не она. Я оба раза ошибся.

Наш номер оказался веселее всех. Я теперь совсем не боялся на арене, подставляя барьеры, подкрикивал собакам и напропалую подсказывал Голуа. А он повторял, как попугай, ничего не понимая. От этого получалось еще смешней. Я ляпнул от себя на ломаном языке — как раз Гамэн тащил за шиворот Гризетт вон с манежа:

— Девошка Наташа не пускайт в сиркус мамаша!

Дети хохотали так, что пугали собак, и они начали лаять, как уличные.

Два номера из-за этого срывались. Голуа под конец так здóрово загнул прощальный жест рукой, что наш «Рыжий» не выдержал, выскочил и сделал совсем как француз. Этого не было в программе. Голуа озлился, я видел, как он резнул глазами и потом махнул «Рыжего» хлыстом по ногам. «Рыжий», однако, ловко подскочил, удар пришелся мимо, а «Рыжий» уже сидел на арене и показывал французу нос.

Голуа побежал жаловаться директору:

— Никакой дисциплины, как будто все кругом итальянцы.

Потом Голуа подошел ко мне и сказал, зло поколачивая хлыстом по своему голенищу:

— Вы мне сейчас должны сказать, начнете ли вы завтра же работать с Королем. Если нет, то мы не друзья и, значит, я в вас ошибся. Утром должен быть ваш ответ, тот или иной.

И он вертко показал мне спину.

Осип был занят на манеже, мне не с кем было поговорить. Обычно кормил собак сам Голуа, а я только подавал ему порции. Но сегодня Голуа уехал сейчас же в гостиницу. Я кормил собак один, они были взбудоражены, лезли ко мне, лизались, и я бормотал им, как дурак: «Что же мне делать, собачки вы мои?» Завтра надо дать ответ. Я знал, что француз за мой отказ работать с Ле Руа совсем, начисто даст мне расчет. Может быть, можно, может быть, не такой уж он страшный, я посмотрю с добром, по-дружески ему в глаза, удаву этому,— может быть, там есть хоть искорка живого, теплого, хоть самая капелька. А вдруг в самом деле можно с ним подружиться?

Я взял ключи и смело прошел в комнату к удаву. Я свистнул еще с порога, как это делал Голуа, и змея зашуршала, заворочалась; я видел, как гнулись доски

на полу клетки. Удав поднял голову и уставился на меня.

Я подошел и сказал веселым голосом:

— Удав, удавушка, чего ты? Да что ты?

И почмокал языком, как собаке.

Я глядел ему в глаза, искал живой искорки, но неподвижные, блестящие, пристальные глаза смотрели неумолимо, жестоко, плотно прицеливаясь. И за ними никакой души, никакой — это была живая веревка, которая смотрит для того, чтобы видеть, кого задушить. Никак, никак я не мог, как ни хотел, найти искру теплоты в этом взгляде.

— Да опомнись ты, черт проклятый! — крикнул я отчаянным голосом.

Удав даже не моргнул глазом.

Я выбежал в коридор. Представленье уже кончилось. В конюшне Самарио сидел на корточках около своей лошади. Он бережно держал в руках ее копыто и что-то причитал по-итальянски. Осипа не было: его услал Самарио за ветеринаром. Я в тоске ходил по пустому цирку, я пошел в темные, пустые ложи. Брошенные программы белели на барьерах. Я подобрал оставленную кем-то газету. Я вышел на свет, прислонясь у стены под лампой, начал читать, чтобы чем-нибудь отвлечь себя, пока вернется Осип. И я бегал глазами по строкам, ничего не понимая.

И вдруг мне бросилась в глаза моя фамилия. Мелкими буквами стояло:

«Родные исчезнувшего в ночь на 15-е января кассира Кредитного товарищества Никонова предполагают ограбление или самоубийство. Об исчезнувшем до сих пор никаких сведений получить не удалось».

Они думают, что я покончил с собой! Вот почему не было Наташки в цирке. Бедные, что же они там делают? Мучаются, мечутся, должно быть... Или это они, может быть, из гордости... или отвести поиски. Я хотел сейчас же побежать, послать открытку, нет! — телеграмму. Но ведь, наверно, следят, следят за всеми письмами. Через товарища дать знать о себе? Но как впутывать его в такое дело?

И мне вдруг показалось, что вокруг нашего дома снуют сыщики, что в квартире все время обыски, чуть не засада... а они там бьются и мучаются, и что им самим хоть топись. Пожалуй, прямо сейчас побежать

к ним, обнять всех,— они меня простят, и я им прощу, а потом пойти и самому заявить в район.

Я решил дождаться Осипа. Я бросился в конюшню. Осип уже был там и помогал Самарио держать его лошадь Эсмеральду: ветеринар внимательно козырял ей копыто.

— Подсоби, свояк, подсоби! — крикнул мне Осип; он совсем запыхался.

Я кинулся помогать. Самарио успокаивал лошадь, ласково хлопал ее по шее. Он увидел меня и буркнул по-французски:

— А, вы здесь! Я думаю, что это работа вашего хозяина, сакраменто!

Ветеринар ковырнул, лошадь дернулась, мы втроем висели у нее на шее. Ветеринар поднес в пинцете окровавленную железную занозу. Все конюхи бросили работу и обступили Самарио. Самарио вырвал у ветеринара пинцет и всем поочередно подносил к глазам кровавую занозу. И каждый качал многозначительно головой.

Я слышал, как конюхи шептались:

— Когда же это француз успел сделать!

Самарио аккуратно завернул занозу в бумагу и спрятал в боковой карман. Я на минуту забыл даже, зачем я прибежал в конюшню. Но я вдруг все вспомнил и бросился к Осипу. Я потащил его из конюшни, а он шел, тяжело дыша, отирая рукавом пот со лба, и все приговаривал:

— Ну, скажи ты, язва какая! И когда он поспел?

Я рассказал Осипу все: все, что в газете, все, что я думаю.

— Пустое дело! — сказал Осип.— Девчонка-то в школу, чай, ходит? Ну вот: ты напиши два словца, а я утречком к школе. Поймаю какую девчонку за косицу. «Наташку такую-то знаешь?» — «Знаю».— «Нá вот, ей в руки передай». И передаст. Очень даже просто.

Я сейчас же достал бумаги и написал записку:

Наташенька, милая! Прости меня и пусть мама простит. Я жив и здоров и скоро все верну. Учись, не грусти.

Твой папа.

Эту записку я передал Осипу. Он ее замотал в платок и засунул за голенище. Я сразу успокоился. Я стал рассказывать Осипу про удава.

— Фюу,— засвистел Осип. — Вона что он ладит! Он раньше все тут вертелся около нас, да ведь мы не поймем ничего, чего он лопочет... А страшный?

— Пойдем, покажу,— сказал я, и мы пошли в темную комнату, где была клетка с Королем.

Осип несколько раз обошел вокруг клетки. Я свистнул. Удав поднял голову, зашевелился.

— Ух ты, гадина какая! — Осип плюнул.— Ну его в болото! Такой быка задавит и не крякнет. Как же с ним работать, не сказывал он?

Да я ни разу не спросил Голуа, в чем будет состоять работа с удавом. Я не хотел думать, что мне придется иметь дело с этой гадиной, и я не хотел говорить об этом. А Голуа, видимо, боялся меня напугать и молчал. Ждал, чтобы я привык к змее.

— Это надо все уговорить, удумать. Серьезное дело. Номер под барабан. Гляди ведь, бревно какое. Идем, ну его.— Осип ткнул меня в плечо.— Гаси, гаси, господь с ним.

Завтра я решил расспросить Голуа, в чем будет состоять мой номер с удавом, валиком обсудить это с Осипом и тогда дать ответ.

VI

Утром явился Голуа. Он придирчиво осматривал лошадь и едва со мной поздоровался. Я молчал и почти не отвечал на его придирки. Да, признаться, мне не до того было: Осип побежал к школе с моей запиской. Я очень боялся, что вдруг ему скажут, что Наташка не ходит в школу, и тогда все сорвалось. Мне поэтому ничего не стоило равнодушно и холодно слушать французово брюзжанье. Я невпопад и рассеянно отвечал. Голуа даже глянул на меня раза два, нажал черными гляделками.

— Эй, Мироша! — услыхал я вдруг Осипов голос. Я не дослушал Голуа и бегом бросился к Осипу:

— Ну что? Что?

Уж по тому, как Осип хитро улыбался, я понял, что дело вышло. А он щурился и не спеша выкладывал:

— ...И валит, валит, мать моя! «Какую бы, думаю, пошустрей прихватить? Не напугать бы». Смотрю, две идут и снежками, что мальчики... Я: «Стой! Чего, говорю, озоруешь?» И хвать одну. «Ну, говорю, отвечай: каких Наташек знаешь?» Она: такую, сякую — хвать и твою. «Ах ты, говорю, милая! Вот ей письмецо передашь». Дал ей письмо, а ее выпустил: «Беги, опоздаешь». Вот, брат, как. А с этим-то? — И Осип кивнул на Голуа.

— Не говорил пока ничего.

— И ладно. Не рвись. Дело, брат, это аховое.

— Мирон! — взвизгнул Голуа.— Мирон, идите сюда.

— Валиком! — крикнул мне вдогонку Осип.

Я неторопливо подошел.

— Ну? — сказал Голуа.— Ваш ответ. Я слушаю,— и наклонился боком.

— Насчет чего? — спросил я спокойно как мог.

— Насчет Короля, удава, змеи! Я жду! — закричал Голуа.

— А что вы, собственно, хотите? Ведь я не знаю, о чем мы договариваемся.

— Ну работать, работать со змеей!

— Слушайте,— сказал я строго. Голуа удивленно на меня вскинулся.— Слушайте, Голуа: я не дурачок и не колпак, вы знаете. Объясните во всех подробностях, в чем состоит номер с удавом, а то вы хотите продать мне зайца в мешке.

И вдруг француз улыбнулся так очаровательно, как он улыбался публике. Он схватил меня под руку и, заглядывая в лицо, потащил из конюшни.

Осип крякнул нам вслед.

— Мой друг,— заговорил ласково Голуа,— месье Мирон! Между друзьями нет споров: я не могу предложить моему другу что-либо тяжелое или безрассудное. Здесь ничего не надо, кроме привычки и аккуратности. Змея — это машина. Глупая, бездушная машина. Локомотив может вас раздавить, но не надо становиться на рельсы. Это так просто...

Все дело в том, что змея будет обвивать вас своими кольцами. Она будет искать удобного положения, чтобы вас сдавить.— Голуа показал сжатый кулак.— Не пугайтесь, дорогой мой! Но она давит только при одном определенном положении: при том, в каком она наползает на свою жертву. Пока она наползает, кольца ее

слабы, они едва висят, они свободны, подвижны. Стоит их сдвинуть — и змея вас никогда — никогда! — понимаете: никогда не сдавит. Она будет делать второе кольцо вокруг вас,— Голуа очертил линию вокруг своего живота,— но вы методически и спокойно сдвигаете и это кольцо. Она делает третье,— какой эффект! Вы представляете зрелище? Публика не дышит в это время. Но вы манипулируете и передвигаете и это третье кольцо. Змее негде навить четвертое, и она сползает.

Но она сейчас же начинает свою работу снова, как автомат, как машина. Так три тура, больше не выдерживает публика. Истерика, крики! Детей выносят! В это время в клетку — она тут же на арене — всовывают кролика, и змея стремится туда, чтобы его проглотить. Кролика выдергивают через заднюю форточку, а дверцу захлопывают. Номер кончен. Три минуты.

И это мировое дело. Афиши и буквы в два метра. С этим номером вам откроют двери лучших цирков Нью-Йорка. Париж у ваших ног, дамы! Цветы! Слава! И вы через полгода откроете кафе на Итальянском бульваре... Мирон, Мирон! — И он хлопал меня по спине.

Француз заглядывал мне в глаза и со всех сил улыбался.

— Надо подумать,— сказал я.

— О чем думать? Думайте о том, что вы будете получать за каждый вечер от меня двадцать рублей! Это будет...— И он назвал какую-то тучу франков.— А в месяц! — кричал Голуа.— В месяц, мой друг, в один месяц вы заработаете десятки тысяч франков.

Голуа стал и сделал рукой тот жест, за который ему хлопал каждый вечер весь цирк.

— Руку! — И он бравым жестом протянул мне свою руку в лайковой перчатке.

— Я подумаю,— сказал я и не торопясь поплелся в конюшню.

— Ну, что он там голосовал так? — спросил меня Осип.

Я рассказал. Осип качал головой, глядя в пол, и молчал.

— Что-то больно он старается около тебя. Сам-то с директора за номер сгребет — будьте здоровы. Долларами, каналья, гребет... А ты думал? А как же! Они все валютчики.

— Попробовать разве? — сказал я.

— Кака уж проба! — вскинулся Осип.— Уж если этот-то тебя попробует, так одного разу и хватит. И зовется удав. Удав и есть. Удавит — и край. Крык, и кишки вон.

Но я уж думал о том, что за пять раз я получу сто рублей, а через месяц я выплачу эти проклятые пятьсот рублей. Нет! Я буду посылать сто рублей жене и сто в Товарищество за растрату. Два месяца, и я свободен. Пускай тогда судят. Я не вор, не вор тогда. И я представил себе, как в банке будут удивляться: «Смотрите-ка, Никонов!» И все будут говорить: «Я всегда утверждал, что он порядочный человек. Ну, случилось, увлекся, со всяким может случиться, но не всякий же...» А дома! Вдруг сто рублей! От папы! И тут уж узна́ют, что и в банке получили... У меня запорхали, заметались в голове такие мысли, как цветы, и дыханье сперло.

— Осип, голубчик,— сказал я,— пусти, я попробую, ты знаешь ведь...

Осип рукой замахал:

— Да что ты! Господь с тобой, да разве я тебя держу, да что я тебе — отец иль командир какой? Только стой, стой! Меньше четвертного ни-ни! Никак! Двадцать пять за выход. И чтоб сто рублей вперед. А ну, не ровен час, с первого же разу — тьфу-тьфу! — да что случится! А за собак чтоб особо. Уж раз твое дело такое...

— Какое дело? — сказал из-за спины конюх Савелий.

— Тьфу, тебя не хватало! — Осип оттер его плечом.— Без тебя тут дело.

Я пошел к Голуа.

Голуа нетерпеливо ходил по коридору. Он бросился мне навстречу:

— Ну, ну?

— Двадцать пять рублей,— сказал я строго.— И сто вперед.

Голуа на секунду сдвинул брови, но сейчас же сделал восторженную улыбку и с размаху ударил рукой мне в ладонь:

— Моя рука. Честь, месье Мирон, это есть честь. Вуаля! А страховка? А, ха-ха-ха! — Он рассмеялся, как актер, отогнувшись назад.— Если я внесу три совет-

ских рубля в три советские кассы, то, вероятно, наш Король этого не испугается. Но вот страховка, вот! — Он вынул из кармана чистенький маузер и хлопнул по нему рукой.— Этот пистолет и мое искусство — вот страховка... Идем!

Он потащил меня в ту комнату, где был удав.

— Вот моя визитная карточка.

Он быстро вытащил из кармана серебряный карандашик и намазал посреди карточки черную точку величиной с горошину. Он ловко плюнул на стену и приклеил карточку.

— Это глаз Короля. Раз, два, три — пять шагов. Прикройте двери.

Француз, почти не целясь, выстрелил навскидку из маузера. Карточка слетела. Я поднял. Черная точка оказалась пробитой.

— Наклейте! — командовал француз.— Вуаля!

Бах! Новой дырки не было на карточке. Голуа бил пуля в пулю.

— Но вы скажете, голова змеи не мешок, это не фантом из музея, голова движется. Великолепно! Бросайте карточку в воздух. Нет, выше!

Я бросил, и карточка завертелась в воздухе.

Бах! Карточка метнулась в сторону. Ясно было, что француз не промазал.

— Вы довольны? Вы поражены? Слово чести — так же будет прострелена голова Короля, если он только на секунду заставит вас почувствовать неловкость,— слово артиста. Вы можете перед каждым выходом проверять мое искусство. Для манежа я заряжаю разрывными пулями. Вы будете увереннее манипулировать кольцами Короля... Ле Руа! — обратился он к удаву.— Мы начинаем работать сегодня, после обеда. Ну!

Змею встревожили выстрелы. Она подняла голову и неподвижно глядела на меня.

Опять на меня...

VII

Мы пошли с Осипом обедать в столовку напротив. Савелий увязался за нами. Я почти ничего не мог есть.

— Ну ничего,— говорил Осип,— оно на работу-то и легче.— И смотрел больше в свою тарелку.

Говорить при Савелии с Осипом я не мог. Савелий все заглядывал мне в лицо, и, когда мы уже кончили обед, он осклабился косорото и сказал:

— А надо, кажется, поздравить, а? С новым ангажементом?

— А что? В чем дело? — сказал Осип, будто ничего не знает.

— Как же, номер его со змеей-то. Слыхать было: француз в конторе уж договор делал. Как же-с. Пятьдесят долларов за вечер. Надо думать, тебе половина. Тоже, значит, валютчик.— Он толкнул меня локтем и подмигнул.— Не грех было бы поставить парочку. Ишь ведь, молчит!

— Брось ты, пристал к человеку,— сказал Осип.— Не то у человека в голове, а он — «парочку» ему: слюни-то распустил. Уж видно будет...— И зашагал быстрее.

Савелий будто надулся. Но мне, верно, было ни до кого. Я думал, что мне сейчас на манеж и начинать...

В цирке Голуа уже ждал меня. На манеже было много народу. Сам директор в пальто и котелке стоял, запустив обе руки в карманы. Самарио я тоже мельком заметил: он стоял в проходе и мрачно глядел, как суетился Голуа. Оркестр вполголоса наигрывал новый марш. Я его в цирке не слыхал прежде. Я потом узнал, что это был мой марш: музыка «под удава». Марш с раскатом, как сорвавшийся поток. Голуа потащил меня в уборную. Он наклеил мне черные усы, напялил какую-то безрукавку — она была мала на меня — и широкие штаны трубой, совершенно желтые.

— Это надо, надо, чтоб вы были другой с удавом, не тот, что с собаками. Кроме того, удав знает этот костюм. Главное, манипулируйте кольцами. Я вам буду показывать. Слушайтесь беспрекословно, тогда это абсолютно безопасно, как стакан кофе. Первое кольцо вы передвигаете вниз. Дайте вашу руку.

Он провел моей рукой по безрукавке вниз.

— Немного — двадцать сантиметров. Второе кольцо вы так же передвигаете вверх. Вот так. Третье опять вниз. Оно придется здесь, на плечах. Идемте. Дю кураж! Не трусить! Это ваша карьера. Идем!

Все служащие, все конюхи были на арене. Все глядели на меня серьезными, строгими глазами.

— Станьте здесь, посредине! Так! — командовал Голуа.— Ноги расставьте шире! Больше упору, ваш партнер не из легких.

Я чувствовал, что у меня чуть подрагивали колени.

— Внесите! — скомандовал Голуа.

Директор дал знак, и шестеро конюхов пошли,— я знал, за клеткой. У меня колотилось сердце, и я нервно дышал. Я бы убежал с арены, если б на меня не глядели кругом люди. Бежать мне было стыдно, и я стоял, стараясь покрепче упереться в песок арены.

— Дю кураж, дю кураж,— вполголоса подговаривал Голуа.

Я видел, как шестеро конюхов внесли клетку, но я старался не глядеть. Клетку поставили против прохода.

— Маэстро! — крикнул француз.

Оркестр заиграл марш.

Голуа подошел к клетке, и я услышал, как взвизгнула дверка, когда ее поднял француз. Вся кровь у меня прилила к сердцу, и я боком глаза увидал, как удав двинулся из клетки на арену. Я боялся глядеть, я закрыл глаза, чтобы не побежать. Я слышал, как шуршит под ним песок, ближе и ближе. И вот сейчас около меня. Здесь! Я слышал шорох каждой песчинки у самых моих ног. И тут я почувствовал, как тяжело налегла змея на мою ногу. Нога дрожала. Я почувствовал, что сейчас упаду.

— Дю кураж! — крикнул Голуа, как ударил хлыстом.

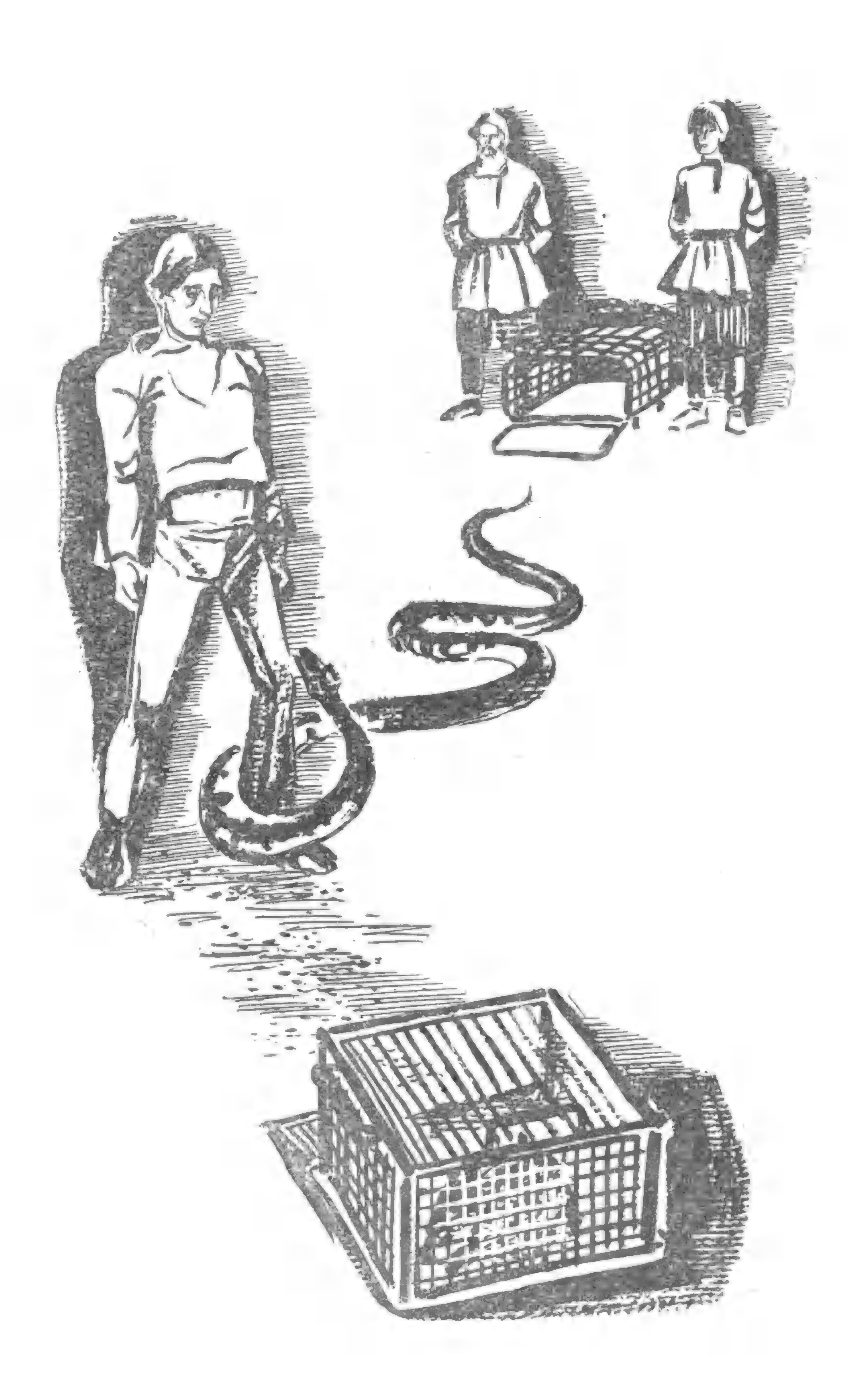
Я чувствовал змею вокруг пояса, тяжесть тянула вниз,— я решил, что пусть конец, пусть скорей давит. Я крепче зажал глаза, стиснул зубы.

— Манипюле́! Манипюле́! — заорал француз. Он схватил мои руки — они были как плети,— зажал их в своих и стал хватать ими холодное и грузное тело.

Мне хотелось вырвать мои руки — ничего не надо, пусть давит, только скорей, скорей...

— Манипюле! Манипюле донк! — слышал я, как сквозь сон, окрики Голуа.— Третье кольцо — вниз! — Он тянул моими безжизненными руками вниз эту упругую, тяжелую трубу.

В это время забренчала клетка, и я почувствовал, что удав сильными, упругими толчками сходит.



Я открыл глаза. Первое, что я увидел,— бледное лицо Осипа там, далеко, в проходе. Голуа поддерживал меня под руку. Ноги мои подгибались, и я боялся, что если шагну, то упаду. Осип бежал ко мне по манежу. Я слышал, как хлопнула дверца клетки. Голуа улыбался.

— Браво, браво! — говорил он и поддерживал меня под мышку.

Я был весь в поту.

— Вам дурно? — спросил меня директор по-французски.

— О! Это храбрец,— говорил Голуа,— настоящий француз — бравый мужчина. Не беспокойтесь, месье, немножко коньяку — и все!

Я неверными шагами шел рядом с Голуа. Мы остановились, чтобы пропустить клетку с удавом. Я сидел в уборной, разбросав ноги, а француз болтал и подносил мне коньяку рюмку за рюмкой. Я едва попадал в рот, до того тряслись руки.

Я хотел пойти к Осипу, я хотел лечь в конюшне, но я знал, что я сейчас не дойду.

VIII

Перед представлением я пошел пройтись по морозу. Осип был занят, я пошел один. В дверях меня нагнал Савелий.

— Ах, как это вы! Я думал — вот-вот с ног падете. Этот номер у вас пойдет.— Он увязался со мной на улицу.— Надо бы спрыснуть, уж как полагается.

Я не говорил, а только кивал головой.

— Ну ладно, вечерком, значит. Все же наш советский артист.

Он снял фуражку, поклонился и побежал обратно в цирк.

Я вернулся за час до начала. В полутемном коридоре под местами я услышал иностранный разговор. Я заглянул и сразу на фоне тусклой лампочки увидал длинный силуэт Голуа. Самарио, приземистый и сбитый, как кулак, стоял против него и сквозь зубы говорил с итальянским раскатом:

— Вы, вы это сделали. Никто, ни Мирон, ни один человек. Здесь только один мерзавец.

— Что? Как! Что вы сказали?

Голуа шипел и, видно, боялся кричать. Я видел, что он слегка приподнял хлыст тоже как бы шепотом.

Я мигнуть не успел, как Самарио залепил оплеуху французу. Он стукнулся об стену и сейчас же оглянулся. Итальянец рванул у него из руки хлыст и резнул два раза по обеим щекам, так что больно было слышать, и хлыст полетел и шлепнулся около меня.

— Мерзавец! Бродяга! — крикнул Самарио и запустил руки в карманы своей венгерки.

Я ушел в конюшню.

Вечером на работу Голуа вышел с наклеенными бакенбардами. Я очень рассеянно работал. Прямо черт знает что получалось у нас в этот вечер. Собаки все путали, а Гризетт вдруг поджала хвост и побежала в проход, вон с арены. Голуа погнался. Он поймал ее за ухо в конюшне. Мне видно было, как лицо у него скривило судорогой от злости и он хлыстом бил и резал Гризетт по чем попало. Собака так орала, что публика начала гудеть. Я хотел бежать за кулисы, но в это время выбежала Гризетт, за ней весело выскочил вприпрыжку Голуа. Он улыбался публике сияющей улыбкой. Мы кое-как кончили номер. Голуа сделал свой знаменитый жест. Публика на этот раз меньше хохотала.

Я стоял в проходе и смотрел, как пыхтели на ковре среди арены два потных борца. Ко мне вплотную подошел Самарио.

Он потянул мою руку вниз и кивнул головой: «Пойдем». Мы вышли в коридор. Самарио глядел мне в глаза, шевелил густыми бровями и говорил на плохом французском языке.

— Ваш хозяин — мовэ-сюжэ! Негодяй! Вы это знаете? Нет? Вы делаете номер с боа, с удавом. Я должен вам сказать, что в прошлом году я читал в заграничном журнале «Артист» про один случай. Катастрофу. Тоже боа, и тоже обвивал человека, и этот номер показывал тоже один француз. И в Берлине этот удав задавил человека насмерть! При всей публике. Поняли? Я не запомнил фамилии француза. Это все равно. Фамилию делает вам афиша. Но я думаю, что на вас платье этого удавленного человека. И змея та же самая. Вероятно. Но что уж наверно — так это то, что вы работаете у подлеца. Вы сами не француз? Нисколько? Вашу руку.

Самарио больно сдавил мне руку и пошел прочь. Походка у него была твердая, казалось, он втыкал каждую ногу в землю. Он звонко стукал каблуками по плитам коридора.

Я все смотрел ему в спину и думал: «Неужели я надеваю этот костюм покойника?» Мне не хотелось верить. Итальянец ненавидит Голуа. Может быть, он врет мне нарочно, чтоб сорвать французу его номер. Мстит ему за то, что он испортил ему лошадь Эсмеральду. Я хотел догнать Самарио и спросить, не шутит ли он, чтоб напугать меня.

Ночью мы, конюхи, сидели в нашей пивной. Я угощал. Савелий опять говорил мне «вы» и называл «гражданин, простите, Корольков». Когда мы вышли на улицу, он отстал со мной и сказал:

— Червончик-то дайте мне на счастьице! А? На радостях-то?

Какие уж были там, к черту, радости: Голуа завтра обещал пропустить удава через меня два раза. Я полез в карман и дал Савелию червонец. Пропили мы одиннадцать рублей. Из всей сотни у меня осталось только семьдесят шесть рублей. Я решил завтра же послать в банк пятьдесят и двадцать пять — домой.

Так я и сделал: на другой день утром я послал два перевода. На том, что в банк, написал не сам; мне за пятак написал под мою диктовку какой-то старик в рваной шинели. Фамилию и адрес отправителя я выдумал, а на «письменном сообщении» так: «по поручению П. Н. Никонова в счет его долга в 500 рублей. Остается 450». Перевод домой я заполнил сам. Фамилию отправителя я выдумал, но на обороте написал по-французски жене: «Милая моя. Я жив и здоров. Я работаю, я плачу свой долг банку, а эти деньги посылаю тебе. Если ты меня прощаешь, и меня и Наташу, купи, дорогая, ей зеленую шапочку вязаную, она так просила. Твой Пьер. Умоляю, не ищи меня. Я вернусь, когда будет все кончено».

Я хотел еще много приписать, но начал так разгонисто, что едва хватило места и на это. Квитанцию я запрятал в шапку, за подкладку. Я шагал по улице совсем молодцом. Я чувствовал в шапке эти квитанции. Мне казалось, что я что-то большое несу в шапке, что шапка набита и я иду, как разносчик с лотком на голове.

Но когда я вошел в цирк, я вспомнил, что мне надо идти топить к удаву. «Ничего,— подумал я,— вот, удав выручает. О! Привыкну». И я сказал себе, как Голуа: «Дю кураж!» Я топил, не глядя на Короля. Вздор! Машина,— черт с ней, что живая. Нельзя же бояться автомобиля в гараже, потому что он тебя раздавит, если лечь на дороге. Но когда змея зашуршала в своей клетке, мне стало не по себе. Я мельком глянул на нее и вышел из комнаты.

После обеда я опять наклеил усы. Как вчера. Я нарочно порвал безрукавку, когда напяливал ее на себя. Весь этот костюм казался мне покойницким саваном. Я спросил Голуа, нельзя ли мне работать в том, что на мне.

— О нет! Змея привыкла именно к этому.

— А разве кто-нибудь в нем уже работал? — спросил я.

— Я! Я! Я сам в нем работал, я учил змею делать номер. Вы сейчас только манекен, фантом. В этот костюм проще было бы нарядить куклу. Она не тряслась бы, по крайней мере, как кролик!

Голуа так орал, что одна бакенбарда отстала, и мне стал виден багровый рубец на его щеке.

На арене повторилось почти то же, что вчера. Только я на втором туре приоткрыл глаза. Но руками я все еще сам не действовал. Голуа ворочал ими и покрикивал:

— Манипюле́ ву мем! Сами старайтесь, сами! Дю кураж!

Он меня снова отпаивал коньяком. Он хвалил меня, он говорил, что теперь он видит, что дело пойдет, что он даст афишу. Через неделю можно выступить.

— Да,— сказал он, когда я уходил, пошатываясь, из уборной,— да, а коньяк купите сами. Серьезно. Вы выберете, какой вам больше по вкусу.

Билетерша, наша делегатка, перед представлением принесла мне книжку. Она долго мне не давала ее в руки, все хлопала книжкой по своему кулачку и выговаривала мне:

— Ты, товарищ, теперь обязан, как член профсоюза, требовать, чтоб твой валютчик этот тебя застраховал. Требовать! Понимаешь? А если что — сейчас же скажи мне. Нашел себе, скажи, дураков каких! Вот тебе книжка, и чтоб завтра же он взял страховку!

Я сделал дурацкую морду и смотрел в пол. Да больше всего потому, что я брал от нее фальшивую книжку.

Теперь в кармане была книжка на Мирона Королькова, мне очень хотелось совсем быть Мироном, но в шапке были эти квитанции, и от них мне и приятно и жутко. Я шел от билетерши, и тут на лестнице меня ждал Савелий.

— С союзом вас! — И он мотнул шапкой в воздухе.— Нынче у вас выходило — ах, как замечательно! Артист, артист вполне. Народный артист Советской республики!

Он шел за мной по лестнице. Мы проходили через пустой буфет, и тут Савелий сказал:

— Трешечки не будет у вас?

У меня были два рубля и мелочь.

— Хочешь рубль? — И протянул в руке бумажку.

— Да что ж это вы? — фыркнул Савелий.— Это что? Как нищему? Скажи, буржуем каким заделался! Давно ты сюда влез-то?

— У меня же нет трешки, понимаешь?

— Поняли! — Савелий мотнул вверх подбородком и зашагал.

IX

Мы работали с удавом теперь уже в три тура, как говорил Голуа. Удав переползал кольцами через меня три раза. Я уж стал двигать кольца, и француз со своей рукой наготове командовал:

— Ниже, ниже! Хватайте второе кольцо.

И я чувствовал под пальцами тяжелое, твердое тело змеи: живая резина.

Теперь уж музыка обрывала свой марш, едва удав подползал ко мне, и барабан ударял дробь тревожно, все усиливая и усиливая. В прежние времена ударяли дробь, когда человека казнили. После третьего тура барабан замолкал, звякала форточка в клетке, удав спешил схватить кролика и волнами, как веревка, которую трясут за конец, быстро уползал в клетку. Я уж не закрывал глаз, я не шатался на ногах.

В воскресенье вечером должен был идти первый раз при публике наш номер с удавом. Оставалось еще четыре дня.

— Вы видите, мой друг,— сказал мне Голуа,— это же просто, как рюмка абсенту. Этот фальшивый риск только опьяняет, правда ведь? Бодрит! И вы на верном пути. Три минуты, и двадцать пять рублей. И вы уже, я заметил, обходитесь без коньяку, плут этакий! — И француз обнял мою талию и защекотал мне бок, лукаво подмигнув.

Я оделся и вышел пройтись. Я шел, совершенно не думая о дороге. Я сам не заметил, как очутился у своего дома. Схватился только тогда, когда уже повернул в ворота. Наш дворник с подручным скребли снег на панели. Я на минуту задержался.

— А кого надо, гражданин? — окликнул меня дворник.

Я бухнул сразу:

— Корольковы тут?

— Таких не проживают,— отрезал дворник.

— Нет у нас такого товару,— сказал подручный, оперся на скрябку и подозрительно уставился на меня.

Я повернул и быстро пошел прочь. Я завернул за угол и ускорил шаги. Улица была почти пуста, и я уже хотел завернуть еще за угол, как вдруг увидал двух девочек. Девочки шли и размахивали школьными сумками. Они так болтали, что не видели ничего. Я узнал — справа моя Наташка. Сердце мое притаилось: окликнуть? Если б одна была она... Я прошел мимо, дошел до угла, обернулся и крикнул громко:

— Наташа! Наташа!

Наташа сразу волчком повернулась. Она смотрела секунду, выпучив глаза на незнакомого человека, красная вся от мороза и волнения, и стояла как вкопанная.

— Наташа! — крикнул я еще раз, махнул ей рукой и бегом завернул за угол.

Тут было больше народу, и я сейчас же замешался в толпе. До цирка я шел не оглядываясь, скорым шагом и запыхался, когда пришел.

На дверях цирка мне бросилась в глаза новая афиша. Огромными красными буквами стояло:

МИРОНЬЕ

Я подошел и стал читать:

Всем! Всем! Всем!

В воскресенье состоится первая гастроль
известного укротителя, неустрашимого МИРОНЬЕ

ПЕРВЫЙ РАЗ В СССР!

На арене царь африканского Конго

КРАСАВЕЦ УДАВ КОРОЛЬ.

Редчайший экземпляр красоты и силы.
6 метров длины!
Борьба человека с удавом!
Детей просим не брать.
Миронье будет бороться с чудовищем на глазах публики.

И тут же в красках был нарисован мужчина в такой же безрукавке и желтых брюках, в каких я работал, и этого человека обвил удав. Удав сверху разинул пасть и высунул длиннейшее жало, а Миронье правой рукой сжимает ему горло.

Вот какую афишу загнул француз. Мне было противно: мне так нравилось, что в наших цирковых афишах правдиво и точно рисовали, в чем состоят номера, и даже артисты бывали похожи. И чего он, не спросясь меня, окрестил меня Миронье? Рожа у меня была на афише, как будто я гордо погибаю за правду.

В конюшне все были в сборе, и, пока еще не начали готовиться к вечеру, все болтали. Я вошел. Осип засмеялся ласково мне навстречу:

— Видал? — И Осип стал в позу, как стоял Миронье на афише, поднял руки вверх.— Иро́й!

Все засмеялись.

— Миронье! Миронье!

Савелий стоял в хлесткой позе, опершись локтем о стойло и ноги ножницами. Держал папиросу, оттопырив мизинец.

— Миронье, скажите! Много Миронья развелося.

Все на него глядели.

— Солист его величества! — фыркнул Савелий.— Удавист. Усики наклеивает. Вы бы, барин, свою бородку буланжой обратно наклеили. Звончей было бы.

Савелий говорил во всю глотку, туда — в двери. Все оглянулись. В дверях наша делегатка-билетерша кнопками насаживала объявление от месткома.

— Своячки! За шубу посвоячились. В советское время, можно сказать, такие дела в государственном цирке оборудовать...

Билетерша уже повернула к нам голову. Я шагнул к ней.

— А, товарищ Корольков! — И билетерша закивала.

— Какой он, к черту, Корольков! — закричал Савелий.

— Знаю, знаю,— засмеялась билетерша,— он теперь Миронье. Идем, Миронье,— дело.— Она схватила меня за руку и дернула с собой.

Я слышал, как Савелий кричал что-то, но все конюхи так гудели, что его нельзя было разобрать. А билетерша говорила:

— Как орут! Идем дальше.

И мы пошли в буфет. Билетерша мне сказала, чтоб я подал заявление в союз, что Голуа не страхует меня и заставляет делать опасный для жизни номер.

— Ты же не в компании, ты нанятой дурак, понимаешь ты, Мирон! Это же безобразие.

Я обещал что-то, не помню, что говорил; я прислушивался, не слыхать ли голосов снизу, из конюшни. Я говорил невпопад.

— Совсем ты обалдел с этим удавом! — рассердилась билетерша.— Завтра с утра приходи в местком.

Мне надо было готовить Буль-де-Нэжа, и я пошел в конюшню.

Там все молчали и все были хмуры. Савелий что-то зло ворчал и выводил толстую лошадь для голубой наездницы. Я принялся расплетать гриву Буль-де-Нэжа.

Самарио вывел Эсмеральду — она уже не хромала. Он пошел на манеж, а лошадь шла за ним, как собака. Она вытягивала шею и тянула носом у самого затылка итальянца.

— Алле! — крикнул Самарио.

Эсмеральда круто подобрала голову и затопала вперед. Самарио топнул в землю, подскочил и как приклеился к крупу лошади. Я вывел Буль-де-Нэжа промяться на манеж. Голуа меня ждал. Самарио остановил свою лошадь около нас.

— Я даю вам неделю,— сказал он, хмурясь на Голуа.— Кончайте здесь, и чтоб вас тут не было. А то не

баки, а всю голову новую вам придется приклеить. Поняли?.. Алле! — И он проехал дальше.

— Слыхали? Слыхали, что сказал этот бандит? — И Голуа кивнул головой вслед итальянцу.— Вы свидетель! Я прямо скажу губернатору... нет, у вас теперь Совет! Прямо в Совет. У меня пять тысяч франков неустойки. Вы свидетель, месье Мирон. Я б его вызвал на дуэль и отстрелил бы ему язык, если бы захотел, но с бандитами разговор может быть только в полицейском участке.

После нашего номера я спросил Осипа:

— Как дело, а?

— Как приберемся, гони прямо в пивнуху, а я приведу Савёла, сделаем разговор.— И Осип прищурил глаз.— Понял? Это надо...

Но Осип сорвался — на манеже сворачивали ковер после борцов.

Я ждал в пивной и потихоньку тянул пиво. Я все думал,— мне казалось, что уж ничего не поправишь, что Савелий уже сходил в местком. Может быть, написал заявление... или прямо донес в район. Мне хотелось поскорее уехать отсюда в другой город. Если б Самарио еще б раз набил рожу Голуа, чтоб завтра же собрался вон с удавом, собаками и со мной! А вдруг все, все уже кончено и мне надо бежать сейчас же, прямо из этой пивной?

Пивную уже закрывали, я спросил еще бутылку. Официант поторапливал. Я решил, что, если не дождусь Осипа, я не вернусь в цирк. Шторы уже спустили. Я уже знал, что через минуту меня отсюда решительно попросят. Чтоб задобрить хозяина, я спросил полдюжины и обещал выпить духом. Мне еще не поставили на стол бутылок,— тут стук на черном ходу. Вваливается Савелий, а за ним Осип.

Мы сидели и молча пили бутылку за бутылкой. Осип спросил еще полдюжины. Савелий только хотел открыть рот, Осип перебил его:

— Ты мне скажи, зачем ты товарища топишь? А? Человек страх такой принимает, а ты эту копейку из него вымучить хочешь? Товарищ этот...

— Какой товарищ? — грубым голосом сказал Савелий.

— А Корольков?

— Какой он Корольков? — И Савелий глянул Осипу в глаза, на-ка, мол, выкуси.

— Не Корольков? А как же его? — И Осип прищурился на Савелия.

— Не знаю как.

— А вот не знаешь ты,— и Осип не спеша взял за горло бутылку,— не знаешь ты, браток, вот что крепче: бутылка эта самая,— и Осип похлопал бутылкой по ладони,— или башка, скажем к примеру. Нет? Не знаешь? И я не знаю. Так можно, видишь ты, спробовать это дело.— Осип пригнулся и все глядел прищуренным глазом на Савелия.

Стало тихо.

Савелий смотрел под стол.

— Ну, это... того... конечно...— забурчал он,— известно...— И вдруг взял свой стакан, ткнул в мой:— Выпьем, что ли, и квит!

Я чокнулся и выпил.

— Так-то лучше,— сказал Осип и тихонько поставил бутылку на стол.

— Допиваем — и пошли,— вдруг сказал Савелий весело, как будто ничего не было.— Вы об лошадке можете не хлопотать, мне ведь между делом, раз-два. А вам ведь после удава-то. Верно: страсть ведь какая.

— Уезжать тебе надо,— шепнул мне на ухо Осип, когда мы расходились.— Все одно он тебя доедет... Савёл-то.

X

В воскресенье был назначен днем детский утренник.

Я не смотрел по рядам на этот раз — я сразу увидал среди темных шапок зеленый огонек: ярко горела зеленая шапочка. Наташка сидела во вторых местах слева. И как я ни поворачивался на манеже во время нашего номера, я и спиной даже чувствовал, как видел, где она, эта зеленая шапочка. Я подозвал Осипа и из прохода показал ему.

Осип заулыбался:

— Скажи, какая хорошенькая! Вот эта, говоришь, что встала?

— Да нет, вон рядом, в зеленом-то.

— Ну, эта еще лучше,— улыбался Осип.— Позвать, может? В антракте скажешь? Аль боязно — вдруг кто заметит! А?

«Рыжий» подошел к нам:

— Кого вы высматриваете? Знаете кого-нибудь?

— Девочка мне будто известная,— сказал Осип.

— Дорогой, пожалуйста, хоть одну, мне надо до зарезу!

Осип глянул на меня, и я незаметно кивнул головой.

— Вон та, зелененькая,—вон-вон, во вторых местах,— как бы не Наташей звать.

«Рыжий» закивал головой.

Пока расставляли барьеры для лошади, «Рыжий», как всегда, путался и всем мешал. Дети смеялись. И вдруг «Рыжий» закричал обиженным голосом:

— Вы думаете, если я «Рыжий», так очень дурак? Я тоже учился... вот... вот...— и «Рыжий» тыкал пальцами ребят,— вот с этой девочкой.— Он ткнул на Наташу.

Он встал на барьер арены и тыкал пальцем прямо на Наташку. Я увидел, как она хохотала и жалась на своем месте. Все на нее глядели.

— Вот, в зеленом колпачке. Да! Я даже насквозь помню, как ее зовут.

«Рыжий» приставил палец ко лбу. Наташка спрятала голову за свою соседку.

Секунду была тишина.

— Наташа! — выпалил «Рыжий» и навзничь ляпнулся с барьера, задрав ноги.

— Верно! — запищало несколько голосов, и все захлопали, загоготали.

Наташка, красная, хохотала в плечо своей подруги.

В антракте дети повалили в конюшню всей гурьбой. Я вертелся тут же, но не мог сквозь густую толпу ребят пробиться к Наташе и только издали следил за зеленой шапочкой.

Вечером шел в первый раз при публике номер с удавом. Но я очень легко о нем думал. Мне скорей хотелось начать получать свои два с половиной червонца. И я считал в уме:

«Воскресенье — раз. Понедельник не работаем. Вторник — уже пятьдесят рублей. Это в банк... Нет, им! А в банк — в пятницу».

Я представлял, как они получат там, дома. Ответ от них у меня уж был — на Наташке зеленая шапочка, как я просил.

Цирк был набит битком, и говорили, что около кассы скандалы и милиция. Мой номер должен идти последним. Директор нашел меня и серьезно спросил вполголоса:

— Вы себя хорошо чувствуете?

Я себя отлично чувствовал.

Представление было парадное. Самарио играл со своей Эсмеральдой в футбол. Осип и «Рыжий» стояли голкиперами. Эсмеральда три раза забила гол Самарио. В конце «Рыжий» прижал мяч коленками к животу и кубарем выкатился с манежа. Эсмеральда кланялась и делала публике ножкой. Потом схватила Самарио за ворот и унесла с арены. Я с этой возней с удавом не заметил, когда итальянец успел наладить этот номер.

Наш номер с собаками и с Буль-де-Нэжем прошел с блеском, как никогда. Голуа вызывали, и он три раза повторял свой жест. Теперь под куполом без сетки работали воздушные гимнасты. Тут Голуа схватил меня под руку и потянул к удаву.

— Я обязан вам показать мое искусство.

Он что-то долго рисовал этот раз на визитной карточке.

— Бросайте! — сунул мне Голуа карточку. Я взглянул. На карточке была довольно похоже нарисована голова Самарио в жокейской кепке.— Бросайте! Еще! Еще! Мы его помучим сначала.

Француз без промаха садил из маузера и подбивал карточку.

— Клейте теперь!

Я налепил карточку на стену.

Бах! Бах —и Голуа всадил две пули рядом на месте глаз картонного Самарио.

Я вышел на манеж в своей безрукавке. Желтые панталоны с раструбами болтались на ногах, как паруса... Я сделал рукой публике и поклонился. Весь цирк захлопал.

— Вот что значит афиша! Какой кредит! — сказал мне француз.

Когда внесли клетку, вся публика взволнованно загудела.

Это волнение вошло и в меня. Сердце мое часто билось. Но вот грянул мой марш, визгнула дверка. Удав пошел на меня.

Я манипулировал кольцами под барабанную дробь. Барабан бил все громче, все быстрей. Перед третьим разом публика заорала:

— Довольно! Довольно!

Удав полз по мне третий раз. Вой и крики заглушали барабан. Удав уже полз к своей клетке. Музыка снова ударила мой марш. Я осмотрелся кругом: весь цирк стоял на ногах. Хлопали, кричали, топали. Я раскланивался. Публика не унималась. Бросилась с мест.

— Долой с манежа! — резко крикнул мне Голуа.— Они будут вас бросать в воздух!

Я проскочил впереди клетки, которую уже несли служители за кулисы.

Клетку поставили в коридоре, и публика тискалась и толкалась — всем хотелось взглянуть на Короля. Голуа в уборной обнимал меня.

— Вы должны меня благодарить, мой прекрасный друг, но я рад, я поздравляю, я горжусь вами! — И он тискал меня со всех сил.

Я вспомнил про пятьдесят долларов в американской валюте. Я спросил деньги.

— Ах, мой друг, ведь вы уже получили за четыре вечера вперед!

Да, действительно, я взял у Голуа сто рублей еще перед первой пробой.

— Но если вам нужны деньги, то я готов. Вот вам двадцать пять,— и он масляно глядел мне в глаза, передавая червонцы,— и даже... тридцать. Я не копеечник,— и он с шиком хлопнул мне в руку дрянную пятерку.— Вы счастливы? Поцелуйте меня!

И мне пришлось с ним поцеловаться.

— Слушайте, мой друг,— сказал Голуа, обняв меня за плечо,— ведь вы француз в душе, в вас есть мужество галла, изысканность римлян и мудрость франков. Вы мне сочувствуете, не правда ли? Скажите, что́ лучше всего предпринять против этого корсиканского бандита? Вы ведь не откажетесь быть свидетелем?

Я знал лишь одно: что надо скорей, скорей уезжать отсюда.

И я сказал Голуа:

— Ведь Самарио тоже может найти свидетелей... Заноза, железная заноза... Вы понимаете?

— Это подлый вздор! — закричал Голуа, и глаза его сжались, кольнули меня.

— Да, но об этом говорят, все говорят.

Француз вернулся и хлопнул себя зло по ляжке. Но вдруг он присмирел и таинственным голосом спросил:

— Вы знаете этого конюха? — И он показал рукой маленький рост и большие усы.

Я узнал Савелия и кивнул головой.

— Вот он,— продолжал шепотом француз,— он мне сказал, будто он видел, и чтоб я ему дал десять рублей. Это вздор, он мог видеть это во сне. Но он бедный человек. Здесь такие маленькие жалованья. Я пожалел его... я дал десять рублей. Как вы думаете?

— Я думаю, что надо ехать, и больше ничего.

— Вы думаете?

— Да,— сказал я твердо.

— Вашу руку, мой друг, я вам верю.— И Голуа посмотрел мне в глаза нежным взором.

Через неделю Голуа назначил отъезд. Приглашений было масса. Даже предлагали уплатить все неустойки.

За эту неделю я успел послать пятьдесят рублей в банк и двадцать пять домой. Долгу за мной теперь оставалось четыреста рублей.

После прощального спектакля Самарио снова подошел ко мне и сказал:

— Еще раз говорю вам — ваш хозяин мер-за-вец!

— Я знаю,— сказал я.

Самарио вздернул плечи.

— Ну... вы не дурак и не трус. Аддио, аддио, синьор Миронье! — И он крепко пожал мне руку.

В день отъезда я бегал к школе — я стоял напротив, у остановки трамвая, и пропускал номер за номером. Выходили школьники, но Наташи я не видал. Может быть, я ее пропустил... Вечером на вокзале бросил в ящик письмо. Я написал длинное письмо домой. Я ничего не писал о том, где и как я работаю. Не написал и о том, что уезжаю. Я до смерти боялся, чтоб не напали на мой след раньше, чем я выплачу эти проклятые пятьсот рублей.

Конюхи меня провожали, и Осип стукнул рукой в мою ладонь и сказал:

— Ну, счастливо, свояк! Пиши, если в случае что. Не рвись ты, а больше норови валиком. Счастли́во, значит.

А я все говорил: «Спасибо, спасибо» — и никаких слов не мог найти больше.

XI

Теперь я уже жил в гостинице, меня прописали по моей союзной книжке. В чужом городе меня никто не знал.

В цирке меня приняли как артиста, артиста Миронье с его мировым номером — борьба человека с удавом.

Голуа все торговался с конторой, чтоб помещение для удава топили за счет цирка.

Здесь уже три дня висели афиши, и все билеты были распроданы по бенефисным ценам. Оркестр разучивал мой марш. Нельзя было менять музыку. Король уже привык работать под этот марш. Я узнал, что Голуа прибавили до семидесяти долларов за выход, и я потребовал, чтоб за это он взял мое содержание за свой счет. Голуа возмутился.

— Это вероломство! — кричал он на всю гостиницу.— Честь — это есть честь!

Но я намекнул, что могу заболеть, и даже сделал кислое лицо.

Француз ушел, хлопнув дверью. Но ночью, после представления, он ворчливо сказал в коридоре:

— Больше семи рублей в сутки я не в состоянии платить за вас,— и нырнул за дверь.

«Ничего, валиком»,— твердил я себе засыпая.

Дела мои шли превосходно. Я получил мое жалованье за месяц. Все сто рублей я перевел в банк. Это уж были последние сто рублей. Я ходил в тот день именинником. Я теперь думал только о том, чтобы собрать еще немного денег для семьи. Я решил, что скоплю им шестьсот рублей. Пока меня будут судить, пока я буду в тюрьме, пусть им будет легче жить.

Мы переезжали с французом из города в город. Голуа уж заговаривал о загранице. К удаву я почти привык. Я говорю «почти», потому что каждый раз, как открывалась на арене клетка, по мне пробегала дрожь. Мы гастролировали на юге, и уже повеяло весной.

Удав стал веселей, он живей подползал ко мне, он спешными крутыми кольцами обвивал меня — этого бы никто не заметил. Сам Голуа этого не видел — это мог чувствовать только я, у которого под руками играли упругие мышцы удава. Я чувствовал, что удав сбросил свою зимнюю лень. Наш номер кончался в две минуты. И я каждый раз слышал вздох всего цирка. Француз не врал: зрители еле дышали, пока удав, как будто со злости за неудачу, с яростью завивал вокруг меня новое кольцо.

У меня было уже шестьсот рублей. Но деньги сами плыли мне в руки. Я играл без проигрыша. Я теперь сам выбирал, куда мне стягивать кольцо змеи — вниз или вверх. Я вертел змеей как хотел. Этот резиновый идиот впустую проделывал свою спираль и оставался в дураках. Мне нравилось даже играть с ним, когда он был на мне, я его уже нисколько не боялся.

Я решил добить мои сбережения до двух тысяч. Свое жалованье за работу с собаками я целиком отправлял семье.

Был, помню, праздник, народу, как всегда на наши гастроли, привалило множесто. Было тепло, толпа была пестрая, и яркими пятнами светились в рядах детские платья. От манежа попахивало конюшней. Шел дневной спектакль — в этот день у меня было два выхода с удавом. Оркестр бодро грянул мой марш, вся публика привстала на местах, когда пополз удав. Он быстрыми волнами скользнул ко мне, шурша опилками по манежу. Голуа стоял рядом, как всегда держа под накидкой свой маузер. Удав набросил свое тело кольцом, но я шутя передвинул его выше: удав скользнул дальше. Я работал уверенно, играючи. Шел третий тур. Я уже лениво перебирал кольца. И вдруг услышал:

— Манипюле́! Манипюле́!

И в это время я почувствовал, что кольцо змеи с неумолимой силой машины сжимает. Я ударил по кольцу кулаком, как о чугунную трубу, и я больше ничего не помню.

Потом мне рассказали, что Голуа выстрелил, что весь цирк сорвался с мест с воем, женщины бились в истерике. Конюхи, пожарные бросились ко мне.

Я очнулся в больнице. Я открыл глаза, обвел эти чересчур белые стены без единого гвоздика, без картинки, увидал на себе казенное одеяло и сразу все понял.

Я не знал, цел ли я, и боялся узнавать. Я закрыл глаза. Я боялся пошевелить хоть одним членом, чтобы не знать, ничего не знать. Я забылся.

Меня разбудил голос: кто-то негромко, но внятно и настойчиво говорил надо мною:

— Миронье! Вы слышите меня, Миронье?

Я открыл глаза: надо мной в белом халате стоял доктор в золотых очках. За ним стояла сестра в белой больничной косынке.

— Как вы себя чувствуете? — спросил доктор по-французски.

— Я русский,— сказал я.— Спасибо. Не знаю. Скажите, доктор, я совсем пропал? — сказал я и почувствовал, что слезы застлали глаза и доктор расплылся: не видно.

Я невольно поднял руку, чтоб протереть глаза. Рука была цела. Но доктор закричал:

— Не двигайтесь, вам нельзя! Но с вами беды большой нет. Мы поправимся. Ничего важного. Помяло вас немного. Но это, оказывается, лучше, чем из-под трамвая... Порошочки давали? — обратился он к сестре.

Я видел, что все больные — нас было в палате человек тридцать — обернулись ко мне. Иные привстали на локте.

— С добрым утром! — говорили мне; и все улыбались.

— Сестрица, что со мной? — спросил я, когда ушел доктор.— Как все было? Я буду жить?

— Живем, чудак! — сказал мне сосед.— Мы-то думали — француз.

— Я спрятала номерок — сами прочтете. Я не была, не видела.

И вот я читал в старом номере местной газеты:

«Ужасный случай в цирке.

Вчера на арене цирка разыгралась потрясающая драма.

Гастролирующий в нашем городе артист, укротитель Миронье, показывал свой номер борьбы человека с удавом. Номер состоял в том, что чудовищная змея обвивала кольцами укротителя, но Миронье удачными маневрами выпутывался из ее объятий. Вчера, когда змея третий раз обвилась вокруг тела артиста, последний почему-то замешкался, и чудовище сдавило несчастного артиста в своих железных объятиях. Стоявший рядом

с револьвером наготове ассистент артиста выпалил и разнес в куски голову чудовища разрывной пулей. В цирке возникла необычайная паника. Судорожные движения змеи, однако, продолжали свое дело. Сбежавшиеся служители и товарищи пострадавшего при участии пожарных освободили несчастного артиста при помощи топора, оказавшегося у дежурного пожарного. В бессознательном состоянии Миронье был доставлен в больницу. У пострадавшего оказались поломанными три ребра и перелом левой ключицы. Опасаются осложнений от внутреннего кровоизлияния.

Думаем, что настоящий случай откроет глаза любителям «сильных номеров», которые приближают наш цирк ко временам развратного Рима».

«Три ребра и ключица! — подумал я.— Вот счастье-то!» И я смело пошевелил ногами. Ноги работали исправно.

Я спросил, какой день. Оказалось, что я третьи сутки в больнице.

XII

На другой день утром я уже из коридора услыхал трескотню Голуа. Он болтал и шел за сестрой. Она ничего не понимала и смеялась.

— Ах, месье Мирон! — кричал с порога Голуа.— Какое несчастье! Но вы живы, и это все. Жизнь — это всё. Но Король — Король! Короля нет. Я размозжил ему голову. Такой красавец! И вы знаете, его разрубили на куски,— вы бы плакали, я уверен, как и я, над этими кусками. Они еще долго жили, они вились и содрогались очень долго, я прямо не смог смотреть. Это ужасно! И это одно ваше неосторожное движение. Да, да! Это ваша халатность. Вы манкировали последнее время. Я ж вам крикнул: «Манипюле!» Еще было время. Вы понимаете, что́ я потерял? Ведь просто продать в любой зоологический сад — и это уж капитал. Такого экземпляра не было нигде. Мне в Берлине предлагали десятки тысяч марок. Я доверил вам это сокровище. Ах, Мирон, Мирон!

Голуа схватился за голову и в тоске шатал ее из стороны в сторону.

— Но, может быть, вы поправитесь. Может быть, вы мне отработаете, не волнуйтесь, месье Мирон, вам

вредно, не правда ли?.. Нет, месье, об этом подумаем. Но эти десятки тысяч... Я буквально разорен. Я буду по дворам ходить с моими собаками.

Голуа встал и с минуту сокрушенно тряс головой и наконец сказал убитым голосом:

— Адью!

Мне теперь вспомнилась та ночь, когда я не мог остановиться в игре, не мог уйти вовремя от стола. И здесь — ведь я назначил себе до двух тысяч, и вот я не мог вовремя бросить эту проклятую работу. Если б был со мной Осип — говорил бы мне почаще «валиком, не рвись...».

На дворе была весна, я видел в окно, как просвечивало солнце свежие зеленые листики в палисаднике под окном. Я был бы теперь дома — я хоть день погулял бы, побегал с Наташкой, с Сережкой, а пòтом бы пошел и заявил бы властям. Пусть бы судили. Теперь я калека. Я позвал сестру и попросил бумаги, чтоб написать письмо. Писать мне самому не позволили, и я продиктовал письмо:

«Дорогой друг Осип!

Меня раздавил удав. Знаешь уж, наверно, из газет. Я в больнице и поправляюсь. Кланяюсь всем».

И больше я не мог ничего сказать. Мне жалко стало своих детей и жену, что они увидят меня калекой и что жена будет корить себя, что это все из-за нее, когда я сам же довел себя до этого.

Я знал, что мне еще долго лежать в гипсовых лубках. А Голуа ходил ко мне и все надоедал, что он пострадал из-за меня, что ему не с кем работать на манеже. И что я его разорил.

И вдруг, как-то после обхода, доктор снова подошел ко мне.

— Простите, Корольков,— сказал доктор.— Не мое дело вмешиваться. Но я понимаю, что говорит вам француз. Он — ваш хозяин? Так ведь выходит?

— Да, как будто,— сказал я.

— Но ведь львиную долю получал он, а вы были на жалованье? Так это он еще обвиняет вас, что вы его разорили? Да что ж вы, не понимаете, что ли, ничего? Вы же не будете больше работать в цирке, вы потеряли все сто процентов вашей цирковой карьеры. Он, он вам должен возместить, а не вы ему отрабатывать! Это же возмутительно. У вас есть семья?

Доктор весь покраснел даже. Все больные слушали, никто не болтал. Все глядели на меня.

— У меня двое детей,— сказал я.

— Довольно,— сказал доктор.— Дальше я знаю, что делать.

Доктор ушел, и я видел по походке, что прямо сейчас возьмется за дело.

Я не успел его остановить. Я боялся, что если подымется дело, то всплывет раньше времени, что я не Корольков, что я обманул местком, что и Осип обманщик, что я скрывшийся растратчик, кассир Никонов. Власти примутся за меня, увидят — дело темное, а пока суд да дело, Голуа и улизнет, все равно ничего не заплатит.

Я мучился весь день от этой мысли. Главное, я боялся подвести Осипа. Я не дотерпел до утра и поздно ночью просил вызвать ко мне доктора. Я сказал, что мне плохо.

Это было верно — я так ворочался от тоски, что разбередил себе все мои ломаные кости.

Доктор пришел сердитый и строгий. Он поправил очки и наклонился ко мне.

— Ну, в чем дело? — Он говорил шепотом, чтобы не разбудить больных.

Я стал говорить, сначала сбивался, запинался. Мой шепот срывался, я говорил, говорил и сказал доктору все, все с самого начала, как со мной все это случилось,— и про карты, и про растрату. Доктор ни разу не перебил меня.

— Всё? — спросил доктор, когда я замолчал.

— Всё.

— Ну, вот что, Петр Никифорович,— меня в первый раз за это время называли моим настоящим именем,— все это, Петр Никифорович, уладится.

Он говорил таким голосом, как говорят со знакомыми.

— Завтра я пришлю к вам моего приятеля, он адвокат.

XIII

Через три дня я узнал, что Голуа обязали подпиской о невыезде из города. Адвокат предъявил ему от моего имени иск в три тысячи рублей.

Я уже мог сидеть на постели. И вот, раз сижу я на постели и жду, что ко мне придет следователь, чтоб снять с меня показания,— я уж заявил, что я кассир Никонов, которого ищут. Но мне было легко. Я скорее хотел уж снять с себя то, что́ вот уж почти полгода висело над моей головой.

Мне сказали, что меня хотят видеть. Я поправился на кровати и сказал:

— Просите, пожалуйста.

Я услыхал мелкие, звонкие шаги по плиточному коридору, у меня — я не понял почему — заколотилось сердце.

Вошла жена; за руку она вела Наташку. Я видел, что она ищет глазами по койкам и не узнает меня. А у меня сдавило грудь и не было голосу крикнуть, позвать их.

И вдруг Наташка со всех ног бросилась ко мне:

— Папа! Папочка!

Жена меня не узнала, потому что я был сед как лунь, как видите.

Это Осип. Осип через школу нашел моих, и он понемногу, «валиком» рассказал им все, как со мной случилось и где я.

Потом меня судили, приговорили к году условно. Голуа уплатил мне две тысячи... Да, а вот крив на правый бок я так и остался.



СОДЕРЖАНИЕ

ЧТО БЫВАЛО



Житков Б. С.

Ж 74 Избранное / Вступ. ст. К. И. Чуковского; Ил. Б. В. Тржемецкого.— М.: Правда, 1988.— 480 с., ил.

В книгу известного советского писателя Б. С. Житкова (1882—1938) вошли его лучшие рассказы. Главная тема этих остросюжетных и драматических произведений — изображение человека в необычной обстановке, в минуту опасности.

Ж $\frac{4702010200-1541}{080(02)-88}$ **1541—88** 84 Р 7

Борис Степанович ЖИТКОВ

ИЗБРАННОЕ

Редактор Т. В. Лодяная

Оформление С. Н. Оксмана

Художественный редактор В. В. Масленников

Технический редактор Т. В. Мешкова

ИБ 1541

Сдано в набор 25.08.87. Подписано к печати 09.11.87.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 25,20. Усл. кр.-отт. 25 20. Уч.-изд. л. 30,45.
Тираж 1 000 000 экз. (2-й завод: 250 001— 500 000 экз.).
Заказ № 3022 . Цена 2 р. 80 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
имени В И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865. ГСП, А-137, Москва, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии изд-ва Ворошиловградского
обкома КП Украины, 348022, г. Ворошиловград,
ул. Лермонтова, д. 1 б.

Уважаемые товарищи!

С 1974 года организован сбор макулатуры с одновременной продажей популярных книг отечественных и зарубежных авторов.

Применение макулатуры для производства бумаги дает возможность экономить остродефицитное древесное сырье, значительно уменьшить расходы по производству бумаги.

Использование одной тонны макулатуры позволяет получить 0,7 тонны бумаги или картона, заменить 0,85 тонны целлюлозы или 4,4 кубического метра древесины. Кроме того, при этом сберегаются леса нашей Родины, чистота ее рек, озер, воздушного пространства.

Сбор и сдача макулатуры — важное государственное дело.

Сдавайте макулатуру заготовительным организациям!

